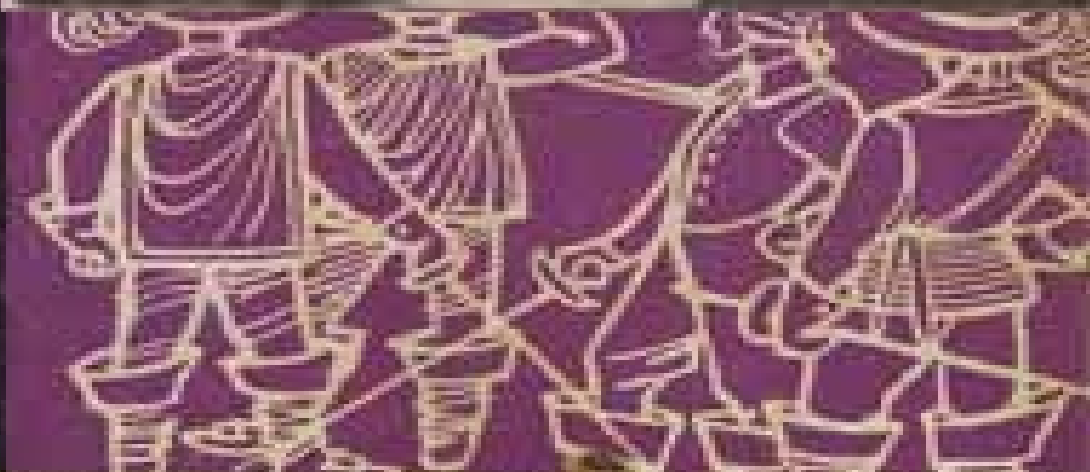


ДЮМА



А. Моруа



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Имя Дюма-отца, автора великих историко-приключенческих романов, известно всему миру. Дюма-сын запомнился читателям как автор нескольких по сей день не сходящих со сцены пьес и романа «Дама с камелиями». И лишь знатоки военной истории помнят имя Дюма-деда — легендарного боевого генерала, человека трудной и яркой судьбы. Какова же была преемственность поколений в этой знаменитой семье? Что объединяло столь разных людей? Об этом и о многом другом повествует Андре Моруа в романе-биографии «Три Дюма».

Подготовлено по изданию ЖЗЛ 1962 года.

- [А. Моруа](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА](#)
 - [Часть первая](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)

- [Часть пятая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
- [Часть шестая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [Часть седьмая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
- [Часть восьмая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
- [Часть девятая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [Часть десятая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
- [ТРИ ДЮМА И АНДРЕ МОРУА](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)

- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)

- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)

- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)

- [194](#)
 - [195](#)
 - [196](#)
 - [197](#)
 - [198](#)
 - [199](#)
 - [200](#)
 - [201](#)
 - [202](#)
 - [203](#)
 - [204](#)
 - [205](#)
 - [206](#)
 - [207](#)
 - [208](#)
 - [209](#)
 - [210](#)
 - [211](#)
-

А. Моруа
ТРИ ДЮМА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Мало есть имен более известных миру, чем имя Дюма-отца. В любой стране читали его книги и продолжают их читать. Поэтому мне нет необходимости оправдывать свой выбор. Изучая жизнь Жорж Санд и Виктора Гюго, я натолкнулся в процессе работы на новые документы, — и мне пришлось добавить к моей галерее романтиков портрет Александра Дюма. Критики поколения Думика^[1] — Брюнетьера^[2], признавая в нем человека, наделенного недюжинными природными способностями, отказывали в таланте его произведениям. Прекрасная книга господина Анри Клуара^[3] возвратила Дюма его законное место в истории французской литературы.

Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скардным? Рубеж, отделяющий в наши дни литературу серьезную, которую только и удостаивают уважением, от литературы развлекательной, в прежние века не существовал. «Мольер вышел из балагана. — пишет Роже Кайуа, — и без труда перешел от простонародного фарса к придворной комедии. Бальзак обычно публиковал свои романы в газетах, позднее так же будут поступать Диккенс и Достоевский. Гюго на протяжении всей жизни умел завоевывать и сохранять любовь самой широкой аудитории». Гомер был поэтом для всех.

Бальзака, Диккенса или Толстого совершенно заслуженно ставят выше Дюма, и я, со своей стороны, их предпочитаю, но это не мешает мне сохранять горячую любовь к писателю, который был отрадой моей юности и в котором я и поныне люблю силу, жизнерадостность и великодушие. Гюго ставил его в один ряд с лучшими писателями своего времени: «Ты уходишь от нас вслед за Дюма, Ламартином и Мюссе», — писал он в «Надгробии Теофилю Готье». Значит, автор «Отверженных» не считал, что писатель унижает себя, если его читают больше пятисот человек. Прибавим, что у самого Дюма в жизни было не меньше приключений, чем в его романах. А это подлинное наслаждение для биографа.

Некоторым читателям, возможно, покажется странным, что я уделил так много внимания в этой работе Дюма-сыну. «Какой Дюма?» — спрашивал Анри Клуар и отвечал: «Единственный», имея в виду Дюма-отца. Я надеюсь, что мне удастся побудить этого столь справедливого критика пересмотреть свою точку зрения. Жизнь Дюма-сына малоизвестна.

Я привлек множество ранее не публиковавшихся документов. Его переписка, гораздо более обширная, чем у Дюма-отца, поможет читателю лучше узнать его. Я надеюсь, она позволит понять, что его пьесы, которые изумляют, а иногда и шокируют зрителя наших дней, отвечали самым глубоким потребностям его души.

На самом деле отец и сын вопреки видимости были очень близки. В обоих была «семейная жилка», унаследованная ими от генерала Дюма. Обоим пришлось с ранних лет бороться против жестокой несправедливости. Дюма-отец много страдал из-за расовых предрассудков, Дюма-сын — из-за незаконного происхождения. Обоим пришлось доказывать себе, что они ничуть не хуже, а даже лучше других. Их любимые герои — Вершители Правосудия: мушкетеры у Дюма-отца, моралисты у Дюма-сына.

У отца «очищение от страстей» достигается путем отказа считаться с реальностью. Его называли хвастуном, вралем, но, по-видимому, он, как и Бальзак, не мог отделить реальное от воображаемого. Судьба отца служила постоянным уроком сыну. Расточительный отец породил бережливого сына, отец легкомысленный — сурового резонера. Дюма-сын решил после бурно проведенной юности перестроить жизнь в соответствии со своими принципами. Он потерпел неудачу, и в этом заключается драма его жизни. Дюма-сын разыгрывал в жизни одну из драм Дюма-сына. Я постарался нарисовать точный портрет этого раздираемого противоречиями человека.

Я должен выразить свою признательность множеству лиц. Незнакомые мне люди, узнав, что я пишу книгу о семействе Дюма, любезно прислали мне бесценные документы, ранее не публиковавшиеся. Александр Липпман, внук одного Дюма и правнук другого, разрешил мне ознакомиться с дневником его отца. Г-жа Балашовская-Пети, которой меня представил мой любезный коллега и друг Эмиль Анрио, подарившая в свое время Национальной библиотеке бумаги Дюма-сына, великодушно открыла передо мной свое частное собрание, точно так же как и г-жа Сенкевич, г-жа Руссо, г-жа А. Дюмениль, Франсис Амбриер, г-н Альфандери, г-н Альфред Дюпон, г-жа Прива, г-н Даниэль Тиро, г-н Рауль Симонсон, г-н Жозе Камби и десятки других. Люсьена Жюльен-Каин любезно перевела для меня некоторые тексты, опубликованные в России. Национальная библиотека, библиотека Арсенала и куратор собрания Шпельберх де Ловенжуль оказывали мне всяческую помощь. Архивы Суассона, Лаона и Вилле-Коттре дали мне возможность познакомиться с документами, проливающими свет на военную карьеру генерала Дюма. И, наконец, моя жена, как и обычно, была моим вторым я.

A. M.

Часть первая ВИЛЛЕ-КОТТРЕ

Послушайтесь моего совета: женитесь на негритянке с Вест-Индских островов. Из них выходят прекрасные жены.

БЕРНАРД ШОУ, «Дом, где разбиваются сердца»



Я собираюсь проследить на судьбе трех поколений последовательные изменения необыкновенного темперамента, родившегося от союза французского дворянина и черной рабыни из Сан-Доминго^[4]. Три человека, о жизни которых я расскажу, обладали, хотя и в различной мере и в разных проявлениях, одними и теми же достоинствами: силой, храбростью,

рыцарственной самоотверженностью, ненавистью к подлецам и одним и тем же недостатком — тщеславием, порожденным мечтой об отмщении. Но мало знать темперамент человека, чтобы понять его судьбу: темперамент лишь канва, по которой вышивают свои узоры события и воля.

Итак, перед вами мой памятник трем Дюма.

Глава первая В КОТОРОЙ ДРАГУН ПОЛКА КОРОЛЕВЫ ЗА ТРИ ГОДА СТАНОВИТСЯ ГЕНЕРАЛОМ РЕСПУБЛИКИ



В 1789 году, вскоре после взятия Бастилии, жителей маленького городка Вилле-Коттре, расположенного к северу от Парижа, на пути из Суассона в Лаон, встревожили слухи о крестьянских бунтах и грабежах. Городок этот славился красивым замком эпохи Возрождения, принадлежавшим некогда королевской семье. Людовик XIII подарил этот замок вместе с герцогством Валуа своему брату, и с тех пор им владели герцоги Орлеанские, то есть младшая ветвь Бурбонов. Людовик XIV часто приезжал туда поухаживать за своей любезной невесткой Генриеттой Английской, которую ее муж Филипп Орлеанский совершенно забросил, чтобы свободно предаваться наслаждениям со своим фаворитом шевалье де Лореном. Позже король привез туда Луизу де Лавальер и представил фаворитку мадам Генриетте, которой пришлось с почестями принимать у себя в доме свою бывшую фрейлину. Первого сентября 1715 года сын Филиппа Орлеанского и Генриетты, тоже Филипп Орлеанский, стал регентом Франции. И на целых восемь лет Вилле-Коттре превратился в пристанище повес и распутников, составлявших двор регента. «Замок, — пишет Сен-Симон, — стал ареной диких оргий и пиров, на которые гости

— и мужчины и женщины — являлись совершенно голыми». Из письма госпожи де Тенсэн мы узнаем, что эти сборища назывались «ночами Адама и Евы». Герцог Ришелье рассказывает:

«По знаку мадам де Тенсэн, предводительницы пиршеств, сразу после шампанского тушили огни, и обнаженные сотрапезники предавались бичеванию, на ощупь отыскивая друг друга в кромешной тьме; гости покорно повиновались установленному распорядку, что немало забавляло Его Высочество. Безудержная любовь к наслаждениям передалась слугам замка и даже горожанам Вилле-Коттре, чьи нравы становились все более распущенными. Нередко случалось, что регент приглашал на свои празднества и ужины именитых жителей Вилле-Коттре, которые не смели ему отказать, а также челядь всех рангов и званий, вплоть до садовников...»

Об этих оргиях следует напомнить потому, что их влияние на местные нравы сказывалось еще спустя полвека, и этим отчасти объясняется та циническая и наивная терпимость, с которой Дюма-отец всегда относился к распутству. Однако пребывание двора в маленьком городке принесло ему процветание. Судьи, судейские чиновники и приближенные Орлеанского дома построили себе красивые особняки. Прекрасный лес, где охотился и завтракал на траве Людовик XIV, привлекал любителей прогулок. Приезжих было так много, что владельцы тридцати трактиров и гостиниц могли безбедно существовать. Одна из гостиниц, под вывеской «Щит», принадлежала Клоду Лабурэ, бывшему дворецкому его королевского высочества герцога Орлеанского.

Такое прошлое создало Лабурэ особый авторитет. Поэтому, когда разразилась революция, он стал командиром местного отряда национальной гвардии. Вилле-Коттре, городок мирный и зажиточный, имел все основания бояться грабителей, рыскавших, по слухам, в окрестностях. Офицеры гражданской милиции попросили правительство Людовика XVI прислать солдат для защиты города. Драгунский полк королевы, расквартированный в Суассоне, отрядил двадцать кавалеристов, которые прибыли в Вилле-Коттре 15 августа 1789 года. Все окрестные жители собрались на площади у замка, чтобы полюбоваться драгунами, красовавшимися во всем великолепии своих мундиров. Один из них больше других привлекал к себе взгляды. Это был статный мулат с бронзовой кожей; изящество движений придавало его могучей фигуре

аристократизм.

Когда солдат распределяли на постой, Мари-Луиза Лабурэ попросила отца, который, как командир национальной гвардии, имел право выбора, взять к себе красавца мулата.

Мари-Луиза Лабурэ — своей подруге Жюли Фортэн:
«Драгуны, которых мы так долго ждали, прибыли позавчера... Приняли их очень тепло и охотно разобрали по домам. Мой отец остановился на одном цветном молодом человеке из этого отряда; он очень мил. Зовут его Дюма, но товарищи говорят, что это не настоящая его фамилия и что он будто бы сын знатного дворянина из Сан-Доминго... Он такой же высокий, как кузен Прево, но манеры у него лучше, так что, как видишь, моя милая и добрая Жюли, это очень славный молодой человек...»

Хозяева сразу же полюбили Дюма: добротой своей он поражал не меньше, чем силой. Командиры Дюма сообщили Лабурэ, что солдат этот — сын маркиза и что настоящее его имя Дюма Дави де ля Пайетри, и это была правда. Отец его, бывший полковник и генеральный комиссар артиллерии, потомок нормандского дворянского рода и маркиз милостью короля, в 1760 году отправился на острова, решив попытать счастья на Сан-Доминго. Он купил плантации в западной части острова, неподалеку от мыса Роз, и там 27 марта 1762 года от чернокожей рабыни Сессеты Дюма у него родился сын, которого при крещении нарекли Тома-Александр.

Мы не знаем, была ли потом рабыня возведена в ранг супруги. Ее внук уверяет, что была. Однако, если вспомнить нравы и обычаи того времени, брак этот представляется маловероятным: нет ни одного документа, который бы его подтверждал, но нет и ни одного, который позволял бы его отрицать. Молодая женщина управляла хозяйством маркиза. Тот признал ребенка и привязался к маленькому мулату, живому и сообразительному.

В 1772 году чернокожая мать умерла. Ребенок сначала воспитывался у отца в Сан-Доминго, но в 1780 году маркиз де ля Пайетри, с тоской вспоминая о соблазнах столичной и придворной жизни, вернулся в Париж. Согласно обычаю французские плантаторы-дворяне, возвращаясь во Францию, сыновей смешанной крови брали с собой, дочерей оставляли на островах. Молодому мулату было тогда 18 лет. Цвет кожи придавал ему экзотический вид; черты лица у него были правильные, глаза великолепные, фигура стройная, а кисти рук и ступни — изящные, как у женщины. Его принимали в свете: ведь он был сын маркиза; смолodu он

пользовался большим успехом у женщин. Он поражал своей силой: однажды вечером в Опере какой-то мушкетер, войдя в ложу, где сидел Дюма, оскорбил его. Молодой Дюма Дави де ля Пайетри схватил обидчика и швырнул его через перила прямо на зрителей партера. За этим последовала дуэль, на которой он ранил своего противника, потому что был так же искусен в фехтовании, как и во всех телесных упражнениях.

И все же юному островитянину жилось в Париже несладко. Маркиз, крепко державшийся за свою мощну, давал ему мало денег. В 79 лет он женился на своей эконожке Франсуазе Рету. Тогда сын, доведенный до крайности, решил завербоваться в королевскую гвардию.

— Кем? — спросил его отец.

— Простым солдатом.

— Превосходно! — сказал старик. — Но я, маркиз де ля Пайетри, бывший полковник, не могу допустить, чтобы мое имя трепали среди всякого армейского сброда. Вам придется завербоваться под другим именем.

— Согласен. Я завербуюсь как Дюма.

И под этим именем он поступил в драгунский полк королевы.

В полку он быстро прославился своими геркулесовыми подвигами. Никто, кроме него, не мог, ухватившись за потолочную балку в конюшне, зажать лошадь в шенкелях и подтянуться вместе с нею; никто, кроме него, не мог, засунув по пальцу в четыре ружейных дула, нести на вытянутой руке все четыре ружья. Этот атлет читал Цезаря и Плутарха, но он завербовался под простонародной фамилией, и потребовалась революция, чтобы его произвели в офицеры.

В августе 1789 года, в те дни, когда Лабурэ оказывали Дюма самое радушное гостеприимство в гостинице «Щит», революция уже началась, но никому и в голову не приходило, что она зайдет настолько далеко и уничтожит освященные веками правила производства в офицеры.

Мари-Луизе Лабурэ, девушке серьезной и добродетельной, понравился красивый и великодушный молодой человек, которого делало неотразимым сочетание незаурядной силы, красивого мундира и таинственного происхождения. Когда молодые люди открылись хозяину гостиницы во взаимной любви и выразили желание пожениться, Клод Лабурэ поставил им единственное и весьма скромное условие: свадьба будет сыграна, как только Дюма получит чин капрала.

В конце года драгун вернулся в полк. Нашивки капрала он получил 16 февраля 1792 года. Как и большинство молодых мулатов благородного происхождения, а их в те времена во Франции было немало, Дюма

решительно стал на сторону революции. Ведь только она позволяла ему надеяться на уравнивание в правах. По всей стране формировались полки добровольцев. Знаменитый шевалье де Сен-Жорж^[5], который, как и Дюма, был смешанной крови, личность широко известная в конце XVIII века, мушкетер, композитор и, по мнению принца Уэльского, «самый обворожительный из всех цветных джентльменов», тоже был покорен новыми идеями; он сформировал Легион свободных американцев и стал его командиром. Он предложил Дюма чин сублейтенанта. Другой офицер, полковник Буайе, наслышанный о храбрости молодого драгуна, пообещал сделать его лейтенантом. Сен-Жорж набавил цену и зачислил Дюма капитаном. Дюма сразу же умножил список своих подвигов, один захватив в плен тринадцать вражеских стрелков. Короче говоря, 10 октября 1792 года его произвели в *подполковники*.

Военный министр — гражданину Дюма, подполковнику:
«Сим извещаю Вас, сударь, о Вашем назначении на вакантную должность подполковника кавалерии Легиона свободных американцев... Вам надлежит вступить в должность не позднее чем через месяц по получении сего письма, в противном случае сочтут, что Вы отказались от должности, и вместо Вас будет назначен другой офицер...

Временно исполняющий обязанности военного министра
ЛЕБРЭН».

Таким образом, драгун, отправившийся на войну с мечтой о чине капрала, стал в тридцать лет подполковником. Он с лихвой выполнил обещание и завоевал свою прекрасную невесту. Свадьба состоялась 28 ноября 1792 года в мэрии Вилле-Коттре. Свадьба на скорую руку, как часто бывает, когда офицер женится на дочери именитого горожанина. Свидетели: подполковник Эспань и лейтенант де Без из 7-го гусарского полка, расквартированного в Камбре; Жан-Мишель Девиолен, инспектор вод и лесов, родственник Лабурэ, полномочный хозяин во владениях герцога Орлеанского, и г-жа Франсуаза Рету, вдова Дави де ля Пайетри, мачеха жениха. Медовый месяц — семнадцать дней в гостинице «Щит», — потом новобрачному пришлось отправиться вдогонку за полком, оставив дома беременную супругу.

Северная армия: 30 июля 1793 года Дюма производит в генералы, 3 сентября того же года «цветной» становится дивизионным генералом. А семь дней спустя Мари-Луиза Дюма разрешилась от бремени девочкой,

которую называли Александрина-Эме. Эпические времена, когда армия делала генералов быстрее, чем женщины детей.

Но революция не особенно церемонилась со своими генералами и перебрасывала их с места на место, как мячики. Получив назначение на пост главнокомандующего Пиренейской армией, влюбленный муж, проезжая через Вилле-Коттре, смог пробыть там всего четыре дня.

Клод Лабурэ — своему другу Данре де Фавролю, 20 сентября 1793 года: «Генерал прибыл к нам 15-го и уехал от нас 19-го, то есть вчера, в почтовой карете. Через несколько дней он будет в Пиренеях. Дитя чувствует себя хорошо, Мари-Луиза тоже. При супруге она держалась очень мужественно и дала волю слезам лишь после его отъезда; сегодня она снова взяла себя в руки. Она утешает себя мыслью, что все эти жертвы идут на благо нации. Пожалуйста, пришли мне в четверг дюжину цыплят... Мне придется угощать офицеров, которые приедут из округа инспектировать бывший замок...»

Теперь и лес и замок, столь дорогие герцогам Орлеанским, стали именовать бывшими так же, как и их владельцев.

По различным военным документам можно было бы проследить за всеми бросками мячика, но это и скучно и бесплодно. Комиссары Республики, откомандированные в действующие армии, не любили генералов. Свои письма они обычно заканчивали: «С братским приветом», — но относились к ним отнюдь не по-братски, особенно если генерал, как Дюма, был либерален с гражданским населением. После того как он приказал изрубить на дрова местную гильотину, его окрестили «Человеколюбцем». Байоннские комиссары встретили вновь прибывшего генерала, посланного им Комиссией по организации и перемещению войск, весьма неприветливо и потребовали его смещения. Комиссия, не пользовавшаяся авторитетом, покорила и вскоре перебросила Дюма с поста главнокомандующего Пиренейской армией сначала в Вандею, а потом в Альпы, где он, как всегда, совершал подвиги, достойные героев древнего эпоса. С отрядом в несколько человек он захватил гору Сенис, где засели австрийцы, вскарабкавшись по отвесному утесу с помощью кошек. Добравшись до вершины, его люди остановились перед палисадом противника, не зная, как его преодолеть. «А ну, пустите меня!» — сказал генерал и, хватая своих солдат за штаны, одного за другим побросал их через палисад прямо на поверженного в ужас противника. Маневр,

достойный Гаргантюа.

В термидоре второго года Республики^[6] (1794) Комитет общественного спасения назначил Дюма начальником Марсовой школы в лагере Саблон (Нейи-сюр-Сен). На первый взгляд это было большой честью. Предполагалось, что школа будет превращать сыновей санкюлотов в офицеров Республики. Но школа только что приняла самое активное участие в термидорианском перевороте, и, хотя она внесла свою лепту в дело свержения Робеспьера, Тальен все же счел опасным оставлять у ворот Парижа столь пылких молодых людей.

Через три дня после назначения Дюма школа была распущена, а генерала отправили в армию Самбры и Мезы. Два месяца спустя новое перемещение: *«Гражданин, ты назначаешься главнокомандующим Брестской армией с штаб-квартирой в Ренне. С братским приветом»*. Этот пост оказался столь же эфемерным, как и остальные.

«Комиссия по организации и перемещению пехотных войск — гражданину Дюма, бывшему главнокомандующему Брестской армией, 13 фримера 3-го года единой и неделимой Французской республики: «Гражданин, комиссия предупреждает тебя, что, поскольку ты не имеешь назначения, твое пребывание в Париже противоречит закону от 27 жерминаля. Следовательно, ты должен выбыть в ту коммуну, которую выберешь, и уведомить комиссию о своем месте жительства. С братским приветом Комиссар Л.-А. ПИЛЛЬ».

Дюма устал от бесцельных переездов и нереальных назначений. Смелый человек, он любил сражаться и побеждать; человек открытый, он ненавидел интриги и подозрения. Он подал в отставку и уехал к родителям жены, в Вилле-Коттре, где и провел восемь первых месяцев 1795 года. Он жил там безмятежно и счастливо до тех пор, пока 14 вандемьера 4-го года Республики Конвент, боявшийся «золотой молодежи»^[7], не вспомнил о военачальнике, пользовавшемся репутацией человека честного и надежного. Дюма, не медля ни минуты, сел в карету, но прибыл в Париж с опозданием на день. Конвент уже успели спасти другие генералы-якобинцы, в их числе и молодой человек с римским профилем по имени Наполеон Буонапарте.

Глава вторая

ГЕНЕРАЛ БОНАПАРТ И ГЕНЕРАЛ ДЮМА



Директория захватила власть, но популярности она не приобрела. Страна была разорена. Только война могла создать этому балаганному правительству какое-то подобие престижа. Поэтому директора обратились к извечной мечте французских королей — завоеванию Италии. Главнокомандующим Итальянской армией был назначен Буонапарте. «Генерал Вандемьер» мог рассчитывать на признательность Барраса, одного из директоров, который, в свою очередь, тоже был уверен в этом худощавом офицере, так как подкинул в постель корсиканцу одну из своих бывших любовниц — креолку Жозефину Богарнэ.

Дюма, проведя несколько месяцев в Альпийской армии, перешел в части Бонапарта, к этому времени офранцузившего свою фамилию, выбросив из нее «у». Хотя Дюма и его товарищам едва перевалило за тридцать, они считали себя старыми служаками, и им казалось оскорбительным попасть под начало желторотого юнца двадцати шести лет от роду. Но сразу же по прибытии в Италию Бонапарт сумел умом и авторитетом подчинить себе этих бравых вояк. Презируя людей, он относился ко всем без различия, как к вещам, а не как к существам, себе подобным. Деспот по природе, он окружал себя только людьми раболепными. Он наделял славой лишь тех генералов, которым она была не по плечу.

Честный Дюма не внушал ему опасений. Поэтому, когда тот в октябре 1796 года прибыл в Милан, Бонапарт и в особенности Жозефина, как уроженка Мартиники, любившая все, что напоминало ей о родных островах, оказали ему самый теплый прием. К тому же главнокомандующему были нужны такие люди, как Дюма. Несмотря на обильный урожай побед, Бонапарт чувствовал себя неуверенно. Директория скупилась на деньги и людей. Итальянская армия была измотана. А Дюма один стоил целого эскадрона. Его легендарные подвиги могут показаться невероятными, но тем не менее они не вымышлены. Из писем Бонапарта мы узнаем, что генерал Дюма лично отбил шесть знамен у численно превосходящего противника, что, умело допросив шпиона, он выведал планы австрийцев, что под Мантуей он остановил армию Вурмзера,^[8] — в этом бою он дважды менял подстреленных под ним коней. Как и герои Гомера, герои итальянской кампании не были свободны от чувства соперничества. Время от времени какой-нибудь новый Ахилл в трехцветной перевязи удалялся в палатку. Всякий раз, когда Дюма почитал себя обиженным, он грозил подать в отставку. Однако Бонапарт хорошо знал, что его легко умиротворить, поручив ему опасное дело. Для этого богатыря было настоящим счастьем очутиться одному в толпе врагов, победить их силой и ловкостью и остаться хозяином поля. Если бой велся за правое дело, господин Человеколюбец убивал, не испытывая угрызений совести. В его отваге был какой-то вызов. «Да, я цветной, — казалось, говорил он, — это так, и я этим горжусь», — и в то же время он стремился во всем быть первым.

Генерал Тибо, служивший с ним, оставил нам такой его портрет: «Под началом Массены служил еще один дивизионный генерал, мулат, по фамилии Дюма, человек весьма способный и, кроме того, один из самых смелых, самых сильных и самых ловких людей, мною виденных. Он пользовался необычайной популярностью в армии: все только и говорили, что о его рыцарской отваге и невероятной физической силе... И все же, несмотря на его храбрость и на все его заслуги, из бедняги Дюма, которого можно было назвать лучшим солдатом своего времени, генерала не получилось». Дюма и вправду скорее слыл хорошим рубакой, чем искусным стратегом, но Бонапарт нуждался только в рубаках. Стратегию он брал на себя.

Ознакомившись с подлинными мемуарами свидетелей, убеждаешься в том, что знаменитое дело при Клаузене отнюдь не выдумка: генерал у въезда на Бриксенский мост действительно задержал в одиночку целый эскадрон. Мост был очень узким, и на Дюма могли наступать

одновременно не больше двух-трех человек. Едва они приближались, он разил их одного за другим. Сам он был трижды ранен, плащ его в семи местах пробил пули, но наступление врага он остановил. После такого подвига солдаты готовы были идти за ним хоть на край света. Австрийцы прозвали его «Черным дьяволом». Генерал Жубер, его друг и начальник, почитал его новым Баярдом^[9]. Но Александр Бертье, офицер генерального штаба и правая рука Бонапарта, относившийся с неприязнью к боевым генералам, всячески старался опорочить «Черного дьявола» перед главнокомандующим. И тот некоторое время отказывался признать заслуги героя. И вновь вскипел гнев Ахилла. Но после того как Дюма совершил столько подвигов, Бонапарт сказал однажды Жуберу: «Пришлите ко мне Дюма».

Дюма, почитавший себя обиженным, отказался идти. Французская революция наложила особый отпечаток на армию, и таким генералам, как Гош^[10], Марсо^[11] и Дюма, славившимся своими республиканскими симпатиями, чувство независимости явно мешало соблюдать дисциплину. С другой стороны, Дюма, у которого порывистость, как это характерно для островитян, сочеталась с приступами апатии, по временам охватывало глубокое отвращение ко всему окружающему. И при первой же неприятности он с тоской вспоминал о Вилле-Коттре и посылал в штаб прошение об отставке. К счастью, его адъютант был начеку и всегда прятал прошение в ящик. Когда же, наконец, Дюма явился в штаб-квартиру, Бонапарт встретил его с распростертыми объятиями.

— Добро пожаловать, тирольский Гораций Коклес^[12]! — сказал главнокомандующий.

Прием был настолько лестным, что славный Дюма не стал упорствовать в своей обиде. Он тоже протянул руки, и они братски обнялись. Бонапарт назначил Дюма губернатором провинции Тревизо. Дюма сумел завоевать горячую любовь населения и, уезжая, получил благодарность от муниципалитетов Местра, Кастельфранко и других городов за мудрое и мягкое правление. Он вполне заслужил, чтобы о нем сказали, как позже о другом французском генерале: «Приехав к нам врагом, он уезжает всеми любимым другом». Бонапарт в это время с триумфом въезжал в Париж. После подписания мира с Италией генерал Дюма получил отпуск. 20 декабря 1797 года он вернулся к своей семье в Вилле-Коттре. Маленький городок, столь процветавший десять лет тому назад, пришел в упадок. Двор герцога Орлеанского давал работу всему городу. Теперь в Вилле-Коттре больше не появлялись знатные вельможи со свитой,

не приезжали богатые путешественники. Прекратилась охота в лесу. Гостиница «Щит» пустовала. Лабурэ, на котором лежало бремя забот о дочери и внучке, решил закрыть гостиницу, «только пожиравшую его сбережения», и жить скромно на деньги, скопленные за годы процветания.

С приездом зятя-генерала, важной персоны в армии Республики, возникли новые планы на будущее. Клод Лабурэ продал все движимое имущество гостиницы «Щит» за 1340 франков. Генерал Дюма, со своей стороны, расстался с пятью из шести лошадей, составлявших его личную конюшню, и выручил за них 980 ливров и 10 су. В 1798 году Лабурэ снял за 300 ливров в год скромный, но довольно просторный дом, в котором с того времени и жила вся семья.

А меж тем в Париже Бонапарт становился надеждой всех французов. Чтобы успокоить Директорию, он объявил, что — отныне у него одна мечта: прогнать англичан из Египта, а если удастся, то и из Индии. «Лишь на Востоке, — говорил он, — есть еще территории достаточно обширные, чтобы основать империю, достойную древних». Не будь Бонапарта, Директория никогда не возымела бы столь фантастических прожектов. К тому же директоры, побаивавшиеся победителя, видели в этой затее то преимущество, что она позволяла удалить Бонапарта из Франции. 12 апреля 1798 года Бонапарт стал главнокомандующим Восточной армией.

Он тотчас же призвал к себе Дюма. Он считал, что Дюма слишком честен, чтобы быть по-настоящему умным, но очень хотел поручить этому генералу, умевшему, как никто другой, увлечь за собой солдат, командование кавалерией в Египетском походе. И Дюма снова прощается с родными и догоняет своего командира в Тулоне.

Бонапарт принял его, лежа в постели, в их общей с Жозефиной спальне. Жозефина, прикрытая одной простыней, плакала.

— Вы только подумайте, генерал, — сказал Бонапарт, — она забрала себе в голову сопровождать нас в Египетском походе! Вот вы, Дюма, разве вы берете с собой жену?

— Конечно, нет! Я думаю, она бы меня очень стесняла.

— Если нам придется провести там несколько лет, — сказал Бонапарт, — мы пошлем за женами. Дюма, который делает одних девчонок^[13], и я, которому и это не удастся, приложим все силы, чтобы сделать по мальчишке. Он будет крестным отцом моего сына, а я — его.

И он ласково похлопал Жозефину по округлостям, вырисовывавшимся под простыней.

Жозефина утешилась. Она всегда быстро утешалась, даже, пожалуй, чересчур быстро.

Выходя от Бонапарта, Дюма встретил Клебера, с которым был дружен.
— Кстати, ты не знаешь, для чего мы туда едем? — спросил Дюма.
— Чтобы дать Франции новую колонию, — ответил Клебер.
— Ты ошибаешься. Чтобы дать ей нового короля.
— Не спеши, — сказал Клебер, — там видно будет.
— Вот ты и увидишь!

Честный Дюма был прав. Эта грандиозная и бессмысленная авантюра была нужна только одному человеку для поднятия его собственного престижа. Оказавшись в Египте полновластным и бесконтрольным хозяином, Бонапарт «вел себя там, как султан». Отношения новоиспеченного властителя и республиканского генерала за эту кампанию вконец испортились. Дюма проявил себя таким же смельчаком, как всегда. Кавалеристы, которых он вел в наступление, отбросили мамелюков к Нилу. Когда он, вздымая на дыбы лошадь, размахивал саблей над головой, даже самые храбрые арабы с криком «Ангел смерти!» в ужасе кидались врассыпную.

Но вскоре победоносную армию обуяло уныние.

Дюма — Клеберу, 9 термидора 6-го года: «Наконец-то мы прибыли, мой друг, в эти края, куда так стремились. Бог мой, как не похожи они на то, что рисовалось в воображении даже самым трезвым людям!

Не терпится узнать, как ты себя чувствуешь и когда сможешь снова принять командование дивизией, которая сейчас в очень плохих руках. Мы все тебя очень ждем. Люди у нас вконец распустились. Я делаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то добиться порядка, но ничего не получается. Солдатам не платят денег, их не кормят, и ты можешь себе представить, какой это порождает ропот...»

Генералы не понимали целей войны и опасались, как бы Бонапарт не использовал их для удовлетворения своего честолюбия. Как-то в палатке Дюма, где собралось несколько человек, чтобы полакомиться арбузами, впервые прозвучали вопросы: «Стоило ли покидать Францию, ее густые леса и плодородные равнины ради этого огнедышащего неба и голых пустынь? Уж не империю ли хочет основать Бонапарт на Востоке?.. Пристало ли старым солдатам нации, патриотам 1792 года, служить интересам одного человека?»

У каждого честолюбца есть своя полиция, и один из присутствующих

немедленно доложил властителю об этих разговорах. И с тех пор главнокомандующий стал называть тирольского Горація Коклеса не иначе, как «*этот черномазый*». Вот как генерал Бонапарт описывает свое столкновение с Дюма Деженету, главному врачу Египетской армии:

«Когда я прибыл в Гизу, мне сообщили, что в армии есть недовольные и что многие генералы высказались открыто; они даже утверждали, будто заставят меня прекратить наступление. Я знал, что Дюма был одним из заводил и что Мюрат и Ланн с ним заодно. Я приказал позвать Дюма и сказал ему: «Я знаю обо всем. И если бы я верил в то, что вы или ваши единомышленники хоть на минуту всерьез думали осуществить ту чепуху, которую вы забрали себе в головы, я немедленно отдал бы приказ страже расстрелять вас у меня на глазах; потом я собрал бы моих гренадеров, чтобы вас осудить; я покрыл бы позором ваши имена...» Тут Дюма заплакал, и я понял, что он добрый малый и действовал по чужому наущению. Впрочем, он никогда не отличался особым умом. К тому же я давно забыл все это...»

Сын генерала Дюма в своих «Мемуарах» тоже рассказывает об этом случае. По его версии, Бонапарт якобы сказал Дюма:

— Генерал, вы пытались деморализовать армию... Вы произносили бунтарские речи. Смотрите, как бы мне не пришлось выполнить свой долг! Ваш высокий рост не помешает мне расстрелять вас через два часа.

Александр Дюма утверждает, что отец его смело ответил:

— Да, я говорил, что ради чести и славы моей родины я согласен обойти весь земной шар, но если бы речь шла об удовлетворении ваших прихотей, я и шагу не сделал бы.

— Значит, вы не дорожите мною и готовы меня покинуть?

— Да, как только я уверюсь, что вы не дорожите Францией.

— Вы ошибаетесь, Дюма.

Разговор этот не так уж неправдоподобен. Дюма был храбр, а Бонапарт в хорошем настроении — снисходителен.

После этого Дюма продолжал вести себя героически: он подавил восстание в Каире, первым вошел в великую мечеть и отослал захваченные сокровища Бонапарту.

Дюма — Бонапарту: «Гражданин генерал, как леопард не может сменить шкуры, так и честный человек не может изменить

своей совести. Посылаю вам только что захваченные мною сокровища, оцененные в два миллиона. Если я буду убит или умру от горя, вспомните, что я беден и что я оставил во Франции жену и ребенка. С братским приветом».

Но в душе Дюма уже охладел ко всему. Красавца мулата охватила ностальгия, столь частая у креолов. Он попросил разрешения вернуться во Францию. Сделать это было нелегко: на Средиземном море хозяйничали англичане. Бонапарт, который был не прочь избавиться от недовольного генерала, разрешил Дюма уехать. Но даже если бы он и хотел предоставить ему корабль, он все равно не смог бы этого сделать. В конце концов Дюма все же зафрахтовал маленькое суденышко «Бель-Мальтэз» и с несколькими товарищами вышел в море. Капитан обещал доставить их во Францию. Но оказалось, что «Бель-Мальтэз» не годится для плавания в открытом море, и, когда стала собираться буря, путешественникам пришлось укрыться в ближайшей бухте: это оказался порт принадлежавший Неаполитанскому королевству.

Бедный Дюма, до которого в Египте не доходили новости из Европы, в своем неведении полагал, что Парфенопейская республика^[14], основанная на заре Французской революции неаполитанскими патриотами, продолжает существовать и примет его с большим почетом. На самом же деле после Абукирской катастрофы^[15] англичане и австрийцы содействовали реставрации Бурбонов в Неаполе. В Таренте республиканский генерал попал в руки правительства авантюристов, которое призывало вести против Франции негласную войну, прибегая к отравлениям и убийствам. Вскоре генерала перевели в Бриндизи, и тут он понял, что его жизнь в опасности.

«На следующий день после моего приезда в замок Бриндизи, когда я прилег отдохнуть, через прутья зарешеченного окна ко мне в комнату влетел большой пакет и упал на пол. В нем было два тома книги Тиссо под названием «Сельский врач». Записка, вложенная между страницами, гласила: *«От патриотов Калабрии: смотри слово «ЯД»*. Я отыскал это слово в тексте: оно было дважды подчеркнуто. Я понял, что мне грозит опасность...

Прошло несколько дней... Тюремный врач посоветовал мне есть бисквиты, размоченные в вине, и вызвался мне их прислать. Через десять минут после его ухода принесли обещанные бисквиты. Я точно выполнил его предписание, но к двум часам пополудни у меня начались такие сильные спазмы в желудке и

рвота, что я не смог обедать. Приступы боли все усиливались, и я лишь чудом не отправился на тот свет. Характер спазм и рвоты свидетельствовал об отравлении мышьяком...

Как следствие отравления, я сильно оглох, полностью ослеп на один глаз, и меня разбил паралич... Эти симптомы одряхления появились у меня в тридцать три года и девять месяцев, что явно доказывает, что в мой организм ввели какой-то яд...»

В конце концов 5 апреля 1801 года генерала Дюма по случаю перемирия обменяли на знаменитого австрийского генерала Мака. Он вышел из тюрьмы изувеченным, полупарализованным, с язвой желудка. Тюрьма превратила атлета в калеку. Много воды утекло за время его заключения. Бонапарт разогнал Советы^[16], сверг Директорию, одержал в Италии победу при Маренго и отправил Мюрата освобождать Рим и Неаполь. Во Флоренции Дюма вновь встретился с Мюратом, своим верным другом и товарищем по оружию. Прославленные кавалеристы бок о бок сражались в Италии и Египте. Мюрат, как и Дюма, сердечный человек и истинный рыцарь, с готовностью протянул руку помощи поверженному судьбой герою. И хотя он теперь был деверем первого консула, чью младшую сестру Каролину пленили его храбрость, любовь и красота, Мюрат забыл о злопамятстве Бонапарта и сделал для своего друга все, что мог. Благодаря ему Дюма удалось послать из Флоренции курьера в Вилле-Коттре.

Дивизионный генерал Дюма — гражданке Дюма, Флоренция, 8 флореаля 9-го года республики: «Всего час назад, моя любимая, я встретился с нашим достойным другом Мюратом. Из-за своего доброго отношения к тебе он стал мне самым дорогим другом, и я до конца дней своих не устану выказывать ему благодарность. Я отправляю отсюда, как я тебе уже писал, памятную записку консулу с перечнем тех ужасов, которых я натерпелся по вине презренного неаполитанского правительства. Я не хочу описывать это в подробностях, потому что не должен огорчать тебя, — ты и без того достаточно истерзана долгими лишениями. Надеюсь, что через месяц я смогу, наконец, пролить бальзам утешения на твою удивительную душу. Я видел все твои письма генералу Мюрату и Бомону и то письмо, в котором моя обожаемая Эме пишет о своей красивой маминьке (sic!), я покрыл его тысячью поцелуев, так же как и те строки, которые ты

приписала. Не могу выразить, насколько я тебе благодарен за то, что ты столь же горячо привязана к девочке, как и я, о чем свидетельствует твоя забота об ее воспитании. Благодаря такому поведению, поистине достойному тебя, ты стала мне еще дороже, и я не дождусь часа, когда смогу выразить тебе свои чувства. До свидания, моя возлюбленная жена, отныне тебе будет принадлежать еще большее место в моем сердце, потому что пережитые нами несчастья лишь укрепили связывающие нас узы. Поцелуй наше дитя, дорогих родителей, а также всех наших друзей. Безгранично преданный тебе

АЛ. ДЮМА, дивизионный генерал».

Генерал был столь любезен, что поручил своей супруге передать тебе 50 луидоров; ты сможешь послать за ними сразу же по получении письма».

«Супругой» этой была Каролина Бонапарт. Бедный Дюма не подозревал еще ни о своей опале, ни о той пропасти, которая отделяла семью, ставшую самодержавной, от тех, кто пять лет назад были ей равны.

Орфография письма сомнительная, пунктуация — ужасная, но стиль очарователен и напоминает нам письма генерала Гюго. Эти солдаты, надолго оторванные от своих семей, проникались к ним самой трогательной любовью. Жены, дети становились для них тем дороже, чем более недостижимы они были. А Дюма, перенесшему немало страданий в Египте и еще больше в тюрьме, мирный семейный очаг в Вилле-Коттре, любящая жена и подавно должны были казаться раем. Госпоже Гюго, романтической бретонке, выданной замуж против воли, супружеская жизнь представлялась малопривлекательной; генеральша Дюма, мягкая и мудрая уроженка Валуа, сама выбрала себе мужа и любила его всем сердцем.

1 мая 1801 года генерал прибыл в дом Лабурэ и свиделся, наконец, со своей молодой женой, дочерью восьми лет и родителями жены, которые начинали стареть. У изувеченного геркулеса не было ни гроша за душой: тюремщики отняли у него все деньги, которые он имел при себе, а жалованья за последние два года он так и не получил. Ну и что с того? Разве он не генерал Дюма, храбрец из храбрецов? Разве у него нет чина, нет прав? Разве у него не осталось в армии надежных друзей, таких, как Мюрат и особенно Брюн, сохранивший верность республиканским идеалам? Он бомбардировал военные канцелярии письмами. Тщетно! Бонапарт никогда не прощал недостаточную преданность своей персоне. Главному врачу Деженету, который, обследовав Дюма, нашел, что он в

очень плохом состоянии, и хлопотал за него, первый консул написал: «Так как вы считаете, что по состоянию здоровья он уже не сможет спать по шесть недель кряду на раскаленном песке или в трескучие морозы на снегу, прикрывшись лишь медвежьей шкурой, то как кавалерийский офицер он мне больше не нужен. Его с успехом можно заменить первым попавшимся капралом...»

Изгнанник осмелился обратиться к самому властителю.

Генерал Дюма — генералу Бонапарту, 7 вандемьера 10-го года: «Генерал-консул, вы знаете, какие несчастья мне пришлось пережить! Вам известны мои стесненные обстоятельства! Вы помните о сокровищах Каира!.. Медленное отравление, жертвой которого я стал в неаполитанской тюрьме, настолько подорвало мое здоровье, что к тридцати шести годам на меня обрушились болезни, которыми обычно страдают лишь люди преклонных лет. Меня постигло еще другое горе, генерал-консул, и, я должен признаться, для меня оно гораздо ужаснее тех бед, на которые я вам уже жаловался.

Военный министр в письме от 29 фруктидора прошлого года известил меня, что мое имя попало в список генералов запаса. Сами посудите, каково мне, в мои годы, с моим именем, быть вот так, одним росчерком пера, сброшенным со счетов. Я старше всех генералов одного со мной звания. И вот уже офицеры моложе меня получают назначения, а я, я — обречен на бездействие!. Я взываю к вашему сердцу, генерал-консул, да внимлет оно моим жалобам. Позвольте мне надеяться, что вы сами сообразоволяете защитить меня от врагов, которых я, возможно, нажил себе».

Ответа не последовало. Он попытался найти поддержку у начальника генерального штаба Леопольда Бертъе, брата своего старого врага по итальянскому походу, и пригласил его поохотиться в живописных окрестностях Вилле-Коттре. Бертъе приехал, увез дичь и прислал благодарственное письмо:

Леопольд Бертъе, бригадный генерал, начальник генерального штаба — генералу Дюма, 7-й дополнительный день 10-го года:

«Мы доехали благополучно, дорогой генерал, и сожалеем лишь о том, что не смогли подольше остаться с Вами, чтобы

засвидетельствовать Вам, как глубоко мы были тронуты тем радушием и дружбой, с коими Вы нас принимали. Было бы очень любезно с Вашей стороны, если бы Вы приехали на несколько дней в мою деревушку в Шампиньоле. Мой адъютант, постоянно находящийся в Париже, привез бы Вас. Не забудьте только отослать собаку накануне. Я заверяю Вас, что Вы у нас не соскучитесь. Помните, что Вы мне обещали приехать и что Вы не можете нарушить данное слово. Я надеюсь увидеть Вас в первые дни вандемьера, потому что в дни сбора винограда наша равнина прекрасна, как никогда. Непременно приезжайте, дорогой генерал, и предоставьте мне возможность оказать вам столь же радушный прием, каким Вы почтили меня.

Прошу вас засвидетельствовать мое почтение Вашей супруге
С дружеским приветом...»

В конце писем теперь расписывались не в республиканском братстве, а в воинской дружбе; но Бертье был из тех людей, для которых соображения карьеры выше всякой дружбы, и уж он никак не стал бы противиться решению первого консула.

24 июля 1802 года в доме на улице Лормелэ Мари-Луиза произвела на свет сына, которого записали под именем Александра Дюма. Позже (в 1831 году) в акты гражданского состояния внесли поправку: к фамилии Дюма прибавили — Дави де ля Пайетри. Генерал попросил своего старого товарища генерала Брюна быть крестным отцом ребенка.

Дюма — Брюну, 6 термидора 10-го года:

«Мой дорогой Брюн, с радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешилась от бремени большим мальчишкой; он весит девять фунтов, и в нем 18 вершков. Так что, если он будет так же быстро расти снаружи, как рос внутри, то, похоже, что он не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить: я рассчитываю, что ты будешь крестным отцом. Моя старшая дочь, которая посылает тебе нежный привет и воздушный поцелуй, будет тебе кумой. Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выражает желания покинуть этот мир; приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться.

АЛЕКС. ДЮМА

P. S. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе, что озорник

только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а?»

Брюн — Дюма, 10 термидора 10-го года:

«Суеверие не позволяет мне исполнить твою просьбу. Я пять раз был крестным отцом, и все мои пять маленьких крестников умерли. Когда скончался последний, я дал себе клятву никогда больше не крестить детей... Посылаю гостинцы малютке крестной и ее матушке».

На самом деле Брюн, всецело сочувствуя старому товарищу по оружию, попавшему в опалу, все же боялся возбудить недовольство властителя. Дюма настаивал, и они в конце концов пришли к компромиссу: Брюн будет крестным отцом, но передаст свои Полномочия деду Лабурэ, который за него поддержат внука над купелью.

Генерал отдал свою дочь Эме в парижский пансион. Он страстно привязался к красавцу сыну, белокожему и голубоглазому, в котором лишь курчавые волосы выдавали, что кровь, текущая у него в жилах, на одну четверть африканская. Ребенок, как только он начал что-то понимать, горячо полюбил добряка отца. Он восхищался его феноменальной физической силой, которую отец сохранил, несмотря на болезни, блестящим шитьем мундира, ружьем с серебряной насечкой и подушечкой из зеленого сафьяна на прикладе.

Семья перебралась в маленький замок «Ле Фосс», находившийся в деревушке Арамон неподалеку от Вилле-Коттре. Жили по-прежнему на широкую ногу. Генерал оставил у себя в услужении садовника, кухарку, сторожа и личного лакея негра по имени Ипполит.

В 1805 году Дюма, понимая, что здоровье его с каждым днем ухудшается, решил поехать в Париж показаться великому Корвизару^[17]. Он взял с собой жену и сына, которых хотел представить своим друзьям. Он чувствовал, что смерть его близка, и хотел, чтобы у мальчика остались влиятельные покровители. У Мюрата и Брюна достало смелости принять приглашение на завтрак. Брюн был при этом сердечен. Мюрат — холоден. Год назад была основана империя. Между новыми сановниками, маршалами, которые на глазах становились принцами или королями, и изувеченными в боях ветеранами революции не было уже ничего общего, кроме обременительных воспоминаний. Но маленький Александр на всю жизнь запомнил, как он в шляпе Мюрата скакал вокруг стола верхом на сабле Брюна.

Генерал Дюма попросил аудиенцию у императора и получил отказ. Корвизар не смог облегчить его страданий, и Дюма покинул Париж со «смертью в душе и теле». Может быть, стесненные средства, а может быть, желание переехать поближе к врачам заставило семью вернуться в Вилле-Коттре. Дюма поселились в гостинице «Шпага» вместе с дедом Лабурэ, который тоже съехал с насиженного места.

О последних месяцах жизни своего отца маленький Александр сохранил очаровательные воспоминания. Ребенок хорошо запомнил октябрьский день 1805 года, проведенный в соседнем замке, обтянутый кашемиром будуар, красивую молодую женщину, раскинувшуюся на софе. Это была Полина Бонапарт, княгиня Боргезе, разведенная со своим мужем.

«Когда отец вошел, — рассказывает Дюма, — она не встала с софы. Она протянула ему руку и подняла голову, вот и все. Отец хотел было сесть рядом на стул, но она усадила его на софу и, положив ножки ему на колени, кончиком туфельки играла пуговицами его мундира. Эта ножка, эта ручка, эта прелестная женщина, белокожая и пухленькая, рядом с темнокожим геркулесом, все еще могучим и красивым, несмотря на свои болезни, — все это создало самую очаровательную из всех картин, какие только можно себе представить.

Внезапно до нас донесся звук рожка, раздававшийся где-то в парке.

— Охота приближается, — сказал отец. — Зверя погонят по этой аллее. Давайте посмотрим на него, княгиня?

— Не стоит, дорогой генерал, — ответила она. — Мне так хорошо, и я не тронусь с места, ходьба меня утомляет; но если уж вам так хочется, можете поднести меня к окну.

Отец взял ее на руки, как кормилица берет ребенка, и поднес к окну. Он держал ее там минут десять. Затем уложил на софу и снова занял свое место подле нее. Что происходило потом за моей спиной, я не знаю. Я был целиком поглощен оленем, промчавшимся по дорожке парка, охотниками и собаками. Все это было для меня тогда гораздо интереснее, чем княгиня...»

В 1806 году Жан-Мишель Девиолен, кузен Лабурэ, который остался полновластным хозяином лесов и распоряжался имперскими владениями точно так же, как когда-то управлял ими при герцоге Орлеанском (умершем на эшафоте), пришел к генералу Дюма с сообщением, что Бертье

выхлопотал для него постоянное разрешение на охоту. Так сильные мира сего отделяются мелкими благодеяниями от тех угрызений совести, которые испытывают, совершив большую несправедливость.

И генералу захотелось еще раз сесть в седло и пуститься вскачь по лесам Вилле-Коттре, но болезнь победила победителя. Однажды, когда он возвратился с верховой прогулки, ему пришлось лечь в постель. Он впал в глубокое отчаяние и на какое-то мгновение потерял самообладание.

— Неужели генерал, — воскликнул он, — который в тридцать пять лет командовал тремя армиями, должен в сорок умирать в постели, как трус? О боже, боже, чем я прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей?

Он призвал священника, исповедался, а потом, повернувшись к жене, испустил последний вздох у нее на руках в тот миг, когда часы пробили полночь.

Маленького Александра заранее увезли из дому к двоюродной сестре его матери. Вечером он заснул, но в полночь обоих, и женщину и ребенка, разбудил громкий стук в дверь. Малыш, несколько не испугавшись, кинулся к двери.

— Куда ты, Александр? — закричала хозяйка.

— Разве ты не видишь?.. Я хочу открыть папе, он пришел проститься с нами.

Она снова уложила малыша в постель, и он заснул. На следующий день она сказала:

— Мой бедный мальчик, твой папа, который тебя так любил, умер.

— Умер?.. Что это значит?

— Это значит, что ты его больше не увидишь.

— А почему я его больше не увижу?

— Потому что господь бог взял его к себе.

— А где живет господь бог?

— На небе.

Маленький Александр смолчал, но в первый же удобный момент кинулся домой. Он вошел, никем не замеченный, направился прямо в комнату, где висело ружье отца, и, взяв его, стал карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах выходила из комнаты покойного.

— Ты куда? — спросила она его.

— На небо.

— А что ты хочешь там делать, мой бедный мальчик?

— Я убью господа бога, который убил папу.

Она взяла его на руки и чуть не задушила в объятиях.

— Не говори таких слов, мой маленький! — воскликнула она. — Мы и без того достаточно несчастны!

Глава третья

ДЕТСТВО, ПРОВЕДЕННОЕ СРЕДИ ЛЕСОВ, В ПРАЗДНОСТИ И НА СВОБОДЕ



Они и в самом деле были очень несчастны. Генерал не оставил им никакого наследства, семье нечего было ждать от императора, который упорно отказывал в аудиенции жене бунтаря. Товарищи Дюма по оружию — Брюн, Ожеро, Ланн — напомнили императору о подвигах генерала Дюма. «Я запрещаю вам раз и навсегда, — сухо сказал Наполеон I, — упоминать в моем присутствии имя этого человека». Добиться для маленького Александра стипендии в лицее или военной школе оказалось невозможным. Наполеон не отличался великодушием Октавиана-Августа.

Жан-Мишель Девиолен, инспектор лесов, родственник и покровитель семьи Дюма, написал генералу Пиллю, графу империи, который состоял с ним в родстве и в бытность свою генеральным комиссаром революционной армии слышал о героизме Дюма, чтобы сообщить о кончине доблестного и несчастного генерала:

«Он отошел в лучший мир вчера, в одиннадцать часов вечера, в Вилле-Коттре, куда вернулся, чтобы находиться под наблюдением врачей. Его унесла в могилу болезнь, явившаяся следствием тяжких испытаний, перенесенных им в

неаполитанской тюрьме по возвращении из Египта...

Оказавшись в запасе, тяжелобольной, он не переставал молить бога о победе французского оружия. Воистину трогательно было слышать, как за несколько часов до смерти он говорил, что ему хотелось бы быть похороненным на поле Аустерлица».

Девиолен просил назначить пенсию вдове и сиротам, которых генерал оставил без всяких средств к существованию, так как долгая болезнь поглотила те скудные сбережения, которые у него были. Он получил от Пилля ответ отрицательный, хотя и скрашенный вполне официальным выражением соболезнования. Все хлопоты оказались напрасными, и старикам Лабурэ снова пришлось взять на себя заботу о дочери и внуках.

Маленький Александр был сообразительным, но непоседливым ребенком. Мать и сестра научили его читать и писать, но в арифметике он никогда не смог пойти дальше умножения. Зато он еще в раннем возрасте выработал почерк военного писаря — четкий, аккуратный, щедро украшенный завитушками. Графолог наверняка увидел бы в этом свидетельство тщеславия, впрочем мальчик и впрямь любил похвастаться. Едва он прочел библию, Бюффона и трактат по мифологии, принадлежащий перу его земляка Демутье, как решил, что знает все на свете, и с апломбом вмешивался в разговоры взрослых, делая им замечания серьезным, наставительным тоном, за что, к своему великому изумлению, «гораздо чаще получал пинки в зад, чем похвалы». Мать, беспокоясь о его будущем, попыталась было учить его музыке, но оказалось, что у него самый фальшивый голос, какой только можно себе представить. Зато он научился танцевать, фехтовать, а немного позже и стрелять. И делал все это отлично.

В десять лет он увлекся физическими упражнениями и мечтал лишь о саблях, шпагах, ружьях и пистолетах. Главным в его жизни была не семья, а лес. Вокруг Вилле-Коттре были огромные леса, и все местные сорванцы бегали туда охотиться, ставить силки, играть в дикарей и дружить с браконьерами.

Дюма было десять лет, когда один из его родственников, аббат Консей, умер, завещав ему стипендию в семинарии при условии, что он примет духовный сан. Бедная мать, не знавшая, куда его определить, ухватилась за эту возможность и умоляла сына пойти в семинарию хотя бы для пробы. Он поначалу согласился и получил от нее двенадцать су на чернильницу — такую, как у семинаристов. На эти деньги он купил хлеба, колбасы и

отправился на три дня в лес охотиться на птиц. На четвертый день он вернулся домой.

Блудным сыновьям обычно оказывают самый горячий прием. И мать, изрядно натерпевшаяся страху, обняла его, расцеловала, пообещала никогда больше не упоминать о семинарии и послала в местный коллеж аббата Грегуара.

Святой отец вскоре понял, что, хотя Дюма и сердечный мальчик, непомерная гордыня мешает ему проявлять добрые чувства. Александр был тщеславен, часто дерзил. Он мало чему научился: усвоил начатки латыни, начатки грамматики да еще усовершенствовал свой почерк, приделывая к буквам всевозможные росчерки, сердечки и розочки. Это производило впечатление грандиозное и отвратительное. Что касается молитв, то тут он, как и в арифметических действиях, не пошел дальше Pater Noster, Ave Maria, Credo (Отче наш, Богородице Дево радуйся и Верую). По своим наклонностям он оставался тем же лесным бродягой, дикарем и сорванцом, которого волновали все звуки, пробуждающиеся в лесу с наступлением ночи.

Мать его, превосходная женщина, работающая и робкая, узнавала своего обожаемого мужа в этом рослом мальчике с африканской наружностью, мускулистом и сильным, которому в десять лет давали не меньше тринадцати-четырнадцати. Находясь полностью под его влиянием, она позволяла ему делать все, что взбредет в голову. Впрочем, ей не пришлось одной воспитывать этого славного и необузданного дикаря: верные друзья не бросили ее в беде. На специалистах в отличие от политических деятелей не отражаются смены режимов, и Девиолен, хоть он и служил империи, при Бурбонах остался на том же посту инспектора лесов; пост этот придавал ему огромный авторитет в глазах юного Александра. Вспыльчивый и ворчливый, но по сути своей добрейший человек, он казался мальчику «королем деревьев и императором листьев».

Опекуном Александра генерал Дюма назначил другого их соседа, Жака Коллара^[18], человека приветливого и веселого; жена его была незаконнорожденной дочерью герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите) и госпожи де Жанлис^[19]. Рассказы госпожи Коллар познакомили маленького Дюма с эпохой старого режима так же, как рассказы матери — с эпохой империи.

То была грандиозная и небывалая эпоха. Через Вилле-Коттре проходили вражеские войска, и маленький Дюма во время французской кампании видел, как проехал русский император, за которым следовали

казаки. Заслышав топот конницы, женщины укрылись в погребке, но ребенок, уцепившись за оконную задвижку, не дал себя увести и следил за боями. Несмотря на жестокость императора по отношению к семье Дюма, мать и сын слыли в городе бонапартистами. Вилле-Коттре оставался верен монархии. После реставрации мальчишки толпами приходили под окна вдовы и кричали: «Да здравствует король!» Но Дюма оставались верны мундиру генерала и в глубине души — Республике.

В 1815 году, когда Наполеон ждал своего часа на острове Эльба, два генерала, братья Лальманы, участвовавшие в заговоре против Людовика XVIII, были арестованы полицией Вилле-Коттре и освистаны населением роялистски настроенного городка. Госпожа Дюма была возмущена оскорблением, нанесенным эполетам, которые когда-то носил ее муж.

«Послушай, мой мальчик, — сказала она сыну, — мы сейчас совершим поступок, который может нас жестоко скомпрометировать, но в память о твоём отце мы обязаны сделать это».

Она повезла сына в Суассон, где содержались в заключении Франсуа и Анри Лальманы^[20], и велела двенадцатилетнему ребенку передать им золото и пистолеты. Он храбро выполнил свою миссию. Но братья, зная, что император, только что высадившийся во Франции, спасет их, отказались от денег и оружия. Однако маленького Дюма это приключение утвердило в уважении к себе, в любви ко всему романтическому и во врожденном стремлении играть роль Вершителя Правосудия.

Во время Ста дней Наполеон дважды проезжал через Вилле-Коттре: первый раз — направляясь на север, где он должен был соединиться с армией, второй раз — после Ватерлоо, больной, безучастный ко всему окружающему, со склоненной на плечо головой. Он открывал шествие разбитой Великой Армии. Зрелище чудовищное, величественное и настолько ужасное, что оно казалось возвышенным. Раненые солдаты, кое-как перевязанные, лежа в телегах, размахивали окровавленными лохмотьями и кричали: «Да здравствует император!» Потом пришла печальная весть. Самый верный из друзей генерала Дюма, маршал Брюн, был убит в Авиньоне.

подагрический старик, король Людовик XVIII вернулся из Гента в обоз чужеземных завоевателей. Смена режима поставила семью перед проблемой: не следует ли Александру, как предлагала ему мать, принять фамилию, на которую он имел право, — Дави де ля Пайетри? Ведь титул маркиза при реставрации открыл бы перед ним все двери.

— Меня зовут Дюма, — гордо ответил молодой Александр, — и другого имени я не желаю... Да и что сказал бы мой отец, если б я отрекся

от него и стал носить фамилию деда, которого я не знал?

Мать просияла.

— Ты действительно так думаешь? — спросила она.

— Но ведь и ты со мной согласна, не так ли, матушка?

— Увы, да! Но что станется с нами?

Генеральша Дюма получила патент на торговлю табаком и сняла лавочку у местного медника по фамилии Лафарж. Однажды к меднику приехал погостить его сын Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Он носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги, его цепочка для часов была увешана брелоками. Маленький Дюма был ослеплен этим великолепием. Он попытался сблизиться с главным клерком, и тот благосклонно отнесся к Александру. Лафаржу доставляло удовольствие рассказывать умному мальчику о Париже, о литературной жизни, о театрах; он даже показал ему собственные эпиграммы в стихах. Дюма увидел в поэзии путь к славе, возможность заставить говорить о себе, о которой он до сих пор и не подозревал, и стал умолять аббата Грегуара научить его писать французские стихи.

— С удовольствием, — сказал аббат, — но через неделю тебе это наскучит, так же как и все прочее.

Аббат хорошо знал своего ученика. К концу недели Александр был по горло сыт стихами. Корнель и Расин нагоняли на него смертную тоску. Сын генерала Дюма, как и все его поколение, слышал слишком много волнующих рассказов, чтобы довольствоваться анализом чувств. Ему нужны были действия, пусть даже бессмысленные, но действия.

Но юноша не может прожить одной охотой. Настало время подыскать Александру занятие. Госпожа Дюма обратилась к нотариусу Вилле-Коттре, метру Меннесону, тоже республиканцу, и попросила его взять Александра младшим клерком. Юному дикарю не хотелось расставаться со свободой, но тут он вспомнил о роскошном главном клерке, о его каррике с тридцатью шестью пелеринами, о золотой цепочке и утешился. Что ж, если служба у нотариуса обеспечит ему карьеру, доход и достаточно свободного времени для охоты, он готов поступить к нотариусу! Вначале ему там было неплохо. Его посылали со всевозможными поручениями, чаще всего он развозил документы на подпись окрестным крестьянам. Великолепная возможность совершать верховые прогулки, а иногда и пострелять в лесу!

Глава четвертая

СЧАСТЛИВОЕ ОТРОЧЕСТВО, ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ, УВЛЕЧЕНИЕ ДРАМОЙ

Жизнь его — самое увлекательное из всех его произведений, и самый интересный роман, который он нам оставил, — это история его приключений.

БРЮНЕТЬЕР



Весна 1818 года. Александру Дюма шестнадцать лет. Это пора, когда пробуждаются желания, когда мальчики, дотоле презиравшие девочек, начинают искать их общества; когда по запрещенным книгам учатся вещам запретным и поэтому столь сладостным. Среди книг, оставшихся от деда, юный Дюма нашел «Похождения шевалье де Фоблаза»^[21]. Шевалье, переодетый женщиной, одерживает одну победу за другой. «Я буду вторым Фоблазом», — решил тщеславный Дюма.

— Но для того чтобы соблазнять, — говорил ему Лафарж, — нужно быть элегантным.

Возможность блеснуть вскоре представилась: бал в Духов день, праздник, отмечающийся в Вилле-Коттре с большой пышностью. На балу должны были присутствовать приезжие барышни: племянница аббата

Грегуара Лоранс и ее подруга испанка Виттория. Передавали, что им по двадцать лет и что они прехорошенькие. Александр перерыл гардероб покойного деда Лабурэ. Там он нашел переложенные камфарой и нардом наряды времен старого режима: парчовые камзолы, шитые золотом красные жилеты, нанковые панталоны. Он запрыгал от радости и, облачившись в сюртук василькового цвета, решил, что он неотразим. На самом же деле наряд его выглядел старомодно и нелепо, но откуда бедному мальчику было знать об этом?

С гордым видом он подал руку белокурой Лоране, острой на язык парижанке. Виттория, ее подруга, высокогрудая и пышнобедрая, типичная андалузка, казалось, вышла из испанской комедии. Он заметил, что, взглянув на него, девушки обменялись улыбками, и кровь бросилась ему в лицо. Однако, когда начались танцы, ему удалось взять реванш. Изумленные подруги признали, что маленький провинциал отлично справляется со сложнейшими антраша. Виттория нашла даже, что он очень неглуп.

Оркестр грянул вальс.

— Да вы прекрасно вальсируете! — сказала она с удивлением.

— Ваше мнение мне тем более лестно, что до сих пор я вальсировал только со стульями.

— Как это со стульями?

— Ну да, аббат Грегуар запретил мне танцевать с женщинами... И поэтому учитель танцев на уроках совал мне в руки стул.

Виттория засмеялась. В тот вечер он впервые ощутил на лице ласкающее прикосновение женских локонов, впервые проник взглядом за низкие вырезы корсажей, впервые любовался обнаженными плечами. Он испустил вздох, трепетный и счастливый.

— Что с вами? — спросила Виттория.

— Ничего, просто мне гораздо приятнее танцевать с вами, чем со стулом.

От неожиданности она опустилась в кресло.

— Ах, какой он смешной, этот молодой человек! — сказала она Лоранс. — Нет, он просто очарователен!

Из этого приключения Александр вышел немного обиженным на хорошеньких девушек, которые обошлись с ним, как с забавной игрушкой, и безумно влюбленным. Но влюбленным не в какую-нибудь определенную женщину, а влюбленным в любовь или, вернее, в удовольствия. И хотя парижанки слегка посмеялись над ним, он получил от них урок, который могут дать лишь женщины. Они помогли ему понять, что он хорошо

сложен и недурен, но что эти врожденные качества следует подчеркнуть тщательным уходом за собой и элегантным нарядом. Словом, они помогли ему перейти границу, отделяющую детство от юности.

Он собирался испытать свои чары на девицах из Вилле-Коттре. А они, бог свидетель, могли вскружить голову. Во всех трех сословиях, на которые делилось общество городка: аристократия, буржуазия и простонародье, — подрастало очаровательное поколение. Какое наслаждение было смотреть на девушек, когда в воскресный день они, надев весенние платьица с розовыми и голубыми поясками и маленькие шляпки собственного изготовления, бегали и резвились, смыкая и размыкая длинную цепь обнаженных округлых ручек!

Вскоре для Дюма наступила очень приятная жизнь. С девяти до четырех он переписывал документы в нотариальной конторе, потом обедал с матерью, а к восьми часам летом и к шести — зимой молодежь собиралась на лугу или в доме у одной из барышень. Образовывались парочки, украдкой пожимались руки, тянулись друг к другу губы. В десять часов каждый кавалер провожал свою избранницу. На скамеечке перед домом они проводили вместе еще час; блаженство их лишь время от времени прерывал ворчливый голос, призывавший девушку в дом, на что она, прежде чем повиноваться, кричала раз десять: «Иду, мама!..» О Маргарита! О Гёте!

Свою первую любовь Александр Дюма отдал не девицам Коллар, удачно вышедшим замуж за сыновей соседних помещиков, и не девицам Девиолен, но девушке из другой среды, промежуточной между буржуазией и простонародьем, которую составляли городские портнихи, белошвейки и торговки кружевами, Дюма встретил двух очаровательных девушек, блондинку и брюнетку, которые всюду появлялись вместе, будто каждая из них старалась оттенить красоту подруги. Блондинка Адель Дальвэн, которую он, чтобы не скомпрометировать ее, в первом издании «Воспоминаний» назвал Аглаей, была скорее веселой, нежели задумчивой, скорее миниатюрной, нежели высокой, и скорее пухленькой, нежели стройной.

«Любить ее было легко и сладостно, добиться ответной любви — очень трудно. Ее родители были старые добрые земледельцы, люди честные, но простые, и можно только удивляться, что в этом прозаическом семействе появился столь свежий и благоуханный цветок...»

В Вилле-Коттре все молодые девушки пользовались полной свободой. «В нашем городке, — писал Дюма, — существовал обычай, скорее английский, нежели французский: молодые люди разного пола могли

открыто посещать друг друга, чего я не видел ни в одном городе Франции; свобода эта казалась тем более удивительной, что родители молодых девиц были людьми крайне добропорядочными и в глубине души твердо верили, что все ладьи, плывущие по реке Нежности, оснащены парусами непорочной белизны и обвиты флердоранжем...»

На самом же деле родители плохо знали человеческую натуру и в своем оптимизме доходили до безрассудства. После года сладостной борьбы, когда «юношеская любовь предъявляет свои требования, не утомляясь постоянными отказами, когда одна за другой завоевываются маленькие привилегии, каждая из которых в тот момент, когда ее даруют, наполняет душу радостью», Адель получила у матери разрешение спать в садовой беседке. И однажды дверь беседки, уже в течение года неумолимо захлопывавшаяся за юным Дюма ровно в одиннадцать часов, в половине двенадцатого тихонько отворилась вновь: за дверью его встретили ласковые объятия, сердце, бьющееся у его сердца, пламенные вздохи и безудержные рыдания. Этой ночью Александр познал свою первую любовь. Безоблачная идиллия продолжалась два года.

По воскресеньям молодежь ватагой отправлялась на деревенские праздники. Во время одного из праздников Дюма, отставший от товарищей, чтобы навестить знакомого фермера, встретил у поворота дороги молодую даму, которую хорошо знал. Каролина Коллар, ставшая несколько лет тому назад баронессой Каппель, гуляла в сопровождении незнакомца, похожего на немецкого студента. Этот высокий, худощавый юноша с темными коротко стриженными волосами, прекрасными глазами, большим, четко вылепленным носом и небрежной аристократической походкой оказался виконтом Адольфом Риббингом де Левеном, сыном графа Адольфа-Луи Риббинга де Левена, шведского вельможи, прославившегося своим участием в убийстве короля Густава III.

Графу де Левену, прозванному «прекрасным цареубийцей», пришлось эмигрировать и жить сначала в Швейцарии, потом во Франции, где он и сблизился с Колларами. С тех пор как любовь связала Дюма с девушкой из другого круга, он редко виделся с семьей своего опекуна. Госпожа Каппель была очень приветлива, сказала, что он непременно должен подружиться с Адольфом де Левеном, который почти одних с ним лет, и пригласила его погостить три дня в замке Вилле-Эллон, где жили Коллары. Там он узнал, что Адольф де Левен пишет стихи и даже посылает молодым девицам элегии собственного сочинения. Это вызвало у Дюма глубокое восхищение. Главный клерк Лафарж открыл ему глаза, рассказав, какую славу приносят занятия поэзией. Дюма получил теперь этому новое подтверждение,

которое произвело на него сильнейшее впечатление.

Левен вскоре возвратился в Париж, но его место занял другой приятель.

Гусарского офицера Амедея де ля Понса в Вилле-Коттре привела, вероятно, любовь, потому что он там вскоре женился.

Этот образованный офицер принял участие в Дюма и однажды сказал ему: «Поверьте мне, мой мальчик, в жизни существует не только охота и любовь, но и труд. Научитесь работать, и вы научитесь быть счастливым».

Работать? Это было нечто совершенно новое для юного Дюма. Амедей де ля Понс, знавший немецкий и итальянский, предложил обучить его этим языкам. Они перевели вместе прекрасный роман Уго Фосколо. Офицер открыл для молодого клерка «Вертера» Гёте и «Ленору» Бюргера.

Здесь важно рассказать о характере Дюма, который сформировали одновременно и наследственность и воспитание. Своему отцу Александр обязан физической силой, великодушием, богатым воображением и честолюбием. Как и вся молодежь его поколения, духовными вождями которой были солдаты империи, он был напичкан рассказами о всевозможных приключениях, небывалых и кровопролитных. Драма была его стихией. Он верил во всемогущество случая, во влияние мелких, незначительных фактов. Всех этих солдат спасал портрет, убивала шальная пуля, повергало в немилость дурное настроение властителя. Дюма полюбил в истории все, что связано с таинственной игрой случая. У него было природное чувство театрального, да и могло ли быть иначе? Сама эпоха была театральной. Но Дюма лучше, чем любой другой, лучше, потому что он сам был подобен стихийной силе, сумел выразить драматизм жизни, в котором тогда была так велика потребность.

Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь, унаследованная им от черной рабыни из Сан-Доминго. «Это второй Дидро, — говорили про Дюма, — аристократ по отцу, простолюдин по матери». Все это так, но вдобавок он был еще наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя, присущим африканцам. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине, и так как в доме не было мужчины, который мог бы его обуздать, он свободно бродяжничал по лесам. Школа не оказала никакого влияния на его характер, она не сформировала и не деформировала его. Любое притеснение было для него несносно. Женщины? Он их любил, всех сразу; он с самого начала убедился, что завоевать их расположение нетрудно, но не мог понять, к чему клясться в верности одной из них. При этом он вовсе не был аморален, он просто не знал общепринятых

моральных норм. Какие любовные истории он слышал? О регенте и его оргиях в замке Вилле-Коттре, отнюдь не подходившие для детских ушей; о титанах эпохи империи, завоевывавших сердца так же легко, как они завоевывали провинции, и относившихся со снисходительностью к женским слабостям. В юности он был страстным охотником, краснобаем, влюблялся во всех девушек, готовых слушать его рассказы, и был жаден до удовольствий. В восемнадцать лет его привлекает все и особенно недостижимое. «Разве во мне нет, — думает Дюма, — того магнетизма, благодаря которому я выйду победителем там, где любой другой потерпит неудачу?»

Он твердо верил в свою звезду. Пыл его неистощим, это он чувствует. Знания, правда, невелики, зато в его глазах все имеет прелесть новизны.

Как-то в Суассон приехала труппа актеров с «Гамлетом» Дюси^[22], и Дюма открыл для себя Шекспира, о существовании которого до сих пор не подозревал. В «Гамлете», обработанном Дюси, не осталось ничего шекспировского. И все же для молодого Дюма эта пьеса была откровением. «Вообразите слепца, — писал он, — которому вернули зрение, вообразите Адама, пробуждающегося после сотворения». На самом деле Дюма открыл для себя в Шекспире самого себя. Кипучая энергия людей Возрождения — что ж, он ею обладал. Он чувствовал себя гораздо ближе к ним, чем к буржуа времен Реставрации. В Шекспире его интересовали не идеи, не философские монологи и даже не изображение страстей, но свободное построение драмы и большая роль конкретных деталей: платок в «Отелло», крыса в «Гамлете», шейлоковский фунт мяса в «Венецианском купце». Словом, мелодраматические эффекты. Александр был потрясен, и так как он не привык сомневаться ни в чем и меньше всего в себе самом, то решил стать драматургом.

Ему удалось заразить своим энтузиазмом нескольких молодых людей из Вилле-Коттре, и среди них некоего Пайе, в ту пору главного клерка метра Меннесона, который пятьдесят лет спустя, уже старым судьей, написал воспоминания об этой любительской труппе. Адольф де Левен, который к этому времени возвратился из Парижа, где он жил у друга своего отца драматурга Арно, был своим человеком в кулуарах и знал многих актрис, руководил первыми шагами молодого Дюма.

«В нашем кружке было несколько прелестных молодых девиц, и это подстегивало в нас желание появиться с ними на подмостках. На чердаке мы пробовали свои силы как в возвышенном, так и в комическом жанре. Чердак этот находился

в большом доме, расположенном в глубине двора гостиницы «Шпага»... Низ его занимал торговец лесом, снабжавший нас досками, из которых наш товарищ Арпэн сколачивал скамьи для зрителей... Оформление зала не представляло трудностей. Охапки веток из соседнего леса, семейные гардеробы, ящики с цветами вскоре превратили наш чердак в приличный и красиво убранный зал. С декорациями мы тоже справились успешно, но сама постановка пьесы, будь то драма или комедия, требовала больших усилий. Вот тут-то Дюма и доказал, что он незаменим. Актер, режиссер, учитель дикции и пластики — он был всем. Он сам выбирал пьесы для постановки в тех случаях, когда не навязывал нам своих: «Артаксеркса», «Абенсерагов» и пр. Он с голоса учил актеров правильной интонации, определял мизансцены, показывал жесты. Он говорил нам, на каких словах в фразе необходимо сделать ударение, куда смотреть, как улыбаться — словом, полностью объяснял каждому его роль. Аплодисменты были ему необходимы как воздух. Если прием оказывался недостаточно горячим, он сердился и считал, что в этом виноваты актеры, но никак не он».

За 1820 и 1821 годы они вместе с Адольфом де Левеном набросали несколько пьес, одну из которых, водевиль в стихах «Страсбургский майор», сам Александр был склонен считать шедевром. Но вскоре Левен опять уехал, увезя с собой его душу, а Адель Дальвэн вышла замуж, разбив его сердце. Ему очень хотелось покинуть Вилле-Коттре и поехать вслед за Левеном в Париж. В воображении он уже представлял себе, как его венчают лаврами, осыпают золотом. А между тем приходилось за стол и жилье переписывать брачные контракты и составлять завещания для нотариуса в Крепиан-Валуа. Туда однажды и зашел его приятель Пайе и предложил ему съездить на два дня в столицу.

Но где взять деньги на дорогу? Молодого браконьера не остановили такие пустяковые препятствия. Он возьмет с собой ружье, по дороге будет охотиться, дичь продаст — и добудет деньги на расходы. Так он и сделал. По прибытии в Париж у него остались четыре зайца, двенадцать куропаток и две перепелки: в обмен на это хозяин отеля «Великие августинцы» согласился приютить его на два дня. Сражение было выиграно. Оставалось только достать билеты в театр. На следующий день в Комеди-Франсэз давали «Суллу» с великим Тальма в главной роли. Дюма дал себе клятву попасть в театр и помчался к Адольфу Левену, который согласился повести

его к Тальма. Они застали великого артиста в его уборной; Адольф сказал, что его друг — сын генерала Дюма. Тальма помнил красавца генерала и выписал контрамарку.

Тальма в то время безраздельно господствовал во Французском театре, где только он один мог еще заставить публику смотреть классическую трагедию, которая из-за своей внешней холодности стала малопопулярной в это бурное время. Традиции предписывали актерам крайний аристократизм в интонации и манерах. Тальма же старался в своей игре спуститься до уровня чувств простых смертных. Наполеон, просвещенный поклонник великих трагиков, как-то сказал ему: «Посмотрите на меня, я, без сомнения, самая трагическая личность нашего времени. И все же видели ли вы когда-нибудь, чтобы мы воздевали руки, вставали в заученные позы, принимали величественный вид? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы мы испускали крики? Конечно, нет, мы говорим естественно... Вот пример, над которым вам следует задуматься».

Тальма последовал совету и задумался. Он постарался освободиться из-под ига напевного стиха, выразить некоторые оттенки чувств пантомимой. В «Британнике», во время знаменитого объяснения с Агриппиной, Тальма, чтобы изобразить скуку, овладевшую Нероном, играл краем плаща и разглядывал узоры на нем. Невероятная для того времени смелость! В ролях классического репертуара он изображал характер, который можно было бы назвать романтическим. В его исполнении герои становились фатальными, сумрачными и вдохновенными. Здесь не обошлось без влияния «Рене» Шатобриана^[23]. В то же время Тальма изучал историю и, отойдя от «универсального человека» классиков, придавал своим героям черты, присущие их национальности и эпохе. Он был постоянным посетителем музеев и библиотек. Короче говоря, он шел по тому пути, по которому затем пойдут Гюго, Виньи и Дюма. Чтобы угодить вкусам боготворившей его молодежи, он превращал трагедию в драму. Был ли он прав? Это уже другой вопрос. Но он хорошо чувствовал свое время, понимал его и льстил ему.

На следующий день Александр увидел Тальма на сцене и был потрясен простотой, мощью и поэтичностью его игры. Когда занавес упал под гром аплодисментов и крики «браво!», юный зритель не сразу очнулся, настолько он был восхищен и околдован. Адольф де Левен предложил провести его в уборную трагика. Дюма вошел туда с бьющимся сердцем, смущенный и красный как рак.

— Тальма, — сказал Левен, — мы пришли вас поблагодарить.

— А, — откликнулся Тальма, — значит, наш юный поэт доволен?..

Пусть он приходит завтра. Я играю в «Регуле».

— Увы, — вздохнул Дюма, — завтра мне придется уехать из Парижа. Я клерк у провинциального нотариуса.

— Ба, — сказал Тальма, — да сам Корнель был клерком у прокурора!.. Господа, представляю вам будущего Корнеля!

Дюма побледнел.

— Прикоснитесь к моему лбу, — попросил он Тальма, — это принесет мне счастье.

— Да будет так! — сказал Тальма. — Нарекаю тебя поэтом во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера. — Потом добавил: — Смотрите-ка, в этом мальчике есть энтузиазм. Из него должно выйти что-нибудь путное.

В мальчике и впрямь были энтузиазм и ненасытная жажда славы. «Не сомневайтесь, — сказал он Адольфу де Левену, — я вернусь в Париж, ручаюсь вам».

Возвратившись в отель, он застал там главного клерка Пайе, ходившего в Оперу слушать «Волшебную лампу». На двоих у них оставалось всего двенадцать франков. Они решили уехать из Парижа на рассвете. Но, пробегая в последний раз по улицам спящего города, Александр уверенно намечал места своих будущих триумфов.

Часть вторая

ЗАВОЕВАНИЕ ПАРИЖА

*Он окинул этот гудевший улей алчным взглядом,
как будто предвкушая его мед, и высокомерно произнес:
«А теперь кто победит — я или ты?»»*

БАЛЬЗАК. «Отец Горио»



Глава первая В КОТОРОЙ ДЮМА ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПАЛЕ-РОЯЛЬ, ШАРЛЯ НОДЬЕ И СТАНОВИТСЯ ОТЦОМ



Возвратившись в Вилле-Коттре, молодой Дюма, у которого от счастья и честолубия закружилась голова, объявил матери, что принял решение перебраться в Париж. Лишь там найдется театр, достойный его таланта, театр, законодателем которого он наверняка станет в один прекрасный день. Но где достать деньги на первые расходы? Когда умерли ее родители, бедная генеральша Дюма была вынуждена реализовать наследство, чтобы вернуть долги. После расплаты с кредиторами у нее осталось всего-навсего двести пятьдесят три франка. Она была готова отдать сыну пятьдесят. Он тоже продал своего пса Пирама за сто франков. Но все это было ничтожно мало. На что жить в столице?

«Я обращаюсь к старым друзьям отца: к маршалу Виктору, герцогу Беллюнскому, он теперь военный министр, к генералу Себастьяни, к маршалу Журдану... Они подыщут мне место в одной из своих канцелярий с жалованьем в тысячу двести франков в год для начала. Потом я получу повышение, и, как только начну зарабатывать полторы тысячи франков, выпишу тебя в Париж».

Если Александр чего-нибудь сильно хотел, для него не существовало

препятствий. Его мать, куда менее склонная к прожектерству, выдвинула ряд возражений. Как отнесутся эти военные, ставшие роялистами, и притом рьяными, как и все вновь обращенные, к сыну республиканского генерала? Александра это вовсе не беспокоило. На всякий случай он запасется письмом к генералу Фуа, депутату, лидеру оппозиции. Что же касается денег на проезд, то он выиграет их в бильярд у папаши Картье, который продает билеты на дилижанс. Так он и сделал.

И вот однажды в пять часов утра дилижанс высадил молодого Дюма у дома № 9 по улице Булуа, в самом центре Парижа. Ему исполнилось двадцать лет, у него не было никакого жизненного опыта, но зато уверенности в своих силах хоть отбавляй. Он отправился в гостиницу «Великие августинцы», где вспомнили историю с зайцами и куропатками. Проспал четыре часа, потом побежал к Адольфу де Левену, чтобы узнать у него адрес маршала Журдана, генерала Себастьяни и герцога Беллюнского. Левен, слегка ошарашенный, посмотрел в «Альманах двадцати пяти тысяч адресов», сообщил необходимые сведения и предсказал крах этой затеи. И он был прав. Хотя оба генерала и приняли Дюма, но один как будто усомнился в личности посетителя и счел его самозванцем, второй — указал ему на дверь. Что же до военного министра, то он просто не дал аудиенции. Теперь вся надежда была на оппозицию, другими словами — на генерала Фуа. Здесь Дюма ожидал совершенно иной прием.

— Вы сын того самого генерала Дюма, который командовал Альпийской армией?

— Да, генерал.

— Он был настоящим героем. Чем могу служить? Буду счастлив оказать вам помощь.

Александр изложил свою просьбу. Он хочет найти место, и как можно скорее.

— Ну что ж, посмотрим. В чем вы сильны? Знаете математику? Имеете представление об алгебре, геометрии, физике?

— Нет, генерал.

— Изучали право?

— Нет, генерал.

— Ах, черт!.. Постойте, я мог бы, пожалуй, определить вас к банкиру Лаффиту... Вы знаете бухгалтерию?

— Не имею ни малейшего понятия.

С каждой фразой генерал все больше приходил в замешательство. Дюма сказал, что сознает, сколь недостаточно его образование, но что он постарается наверстать упущенное.

— Весьма похвально, мой друг, но есть у вас пока хоть какие-то средства к существованию?

— Нет, генерал.

— Черт возьми!.. Оставьте мне ваш адрес, я должен подумать.

Дюма написал адрес. Генерал следил за тем, как он пишет, и вдруг захлопал в ладоши.

— Мы спасены! — воскликнул он. — У вас прекрасный почерк!

И впрямь это было все, чем обладал Дюма, если, конечно, не считать его таланта, в ту пору, впрочем, еще никак не проявившегося. Но генерал, очевидно, думал, что этого вполне достаточно.

— Сегодня я обедаю у герцога Орлеанского, — сказал он. — Буду вас рекомендовать — может, он возьмет вас в свою канцелярию.

Герцог Орлеанский (будущий король Луи-Филипп) и в самом деле был в лучших отношениях с депутатами оппозиции, в чьих интригах он принимал участие, чем с правительством своего кузена Карла X.

Назавтра, когда Дюма, несмотря на весь свой апломб уже начинавший испытывать некоторую тревогу, предстал перед генералом Фуа, тот, улыбаясь, сказал ему:

— Все устроилось. Вы поступаете в канцелярию герцога Орлеанского и будете получать тысячу двести франков в год. Деньги, конечно, небольшие, но работайте хорошо — и дальнейшее зависит от вас.

«Небольшие деньги»! Молодому провинциалу это казалось целым состоянием. Он сразу же написал матери, уговаривая ее продать то небольшое, что у нее осталось, и переехать к нему в Париж. У госпожи Дюма хватило, однако, здравого смысла настоять на отсрочке, а пока она выслала ему мебель, и он снял маленькую комнатку в доме № 1 на Итальянской площади. Ему предстояло работать в Пале-Рояле, штаб-квартире Орлеанского дома. Там размещались личная канцелярия герцога и управление его поместьями, целая армия чиновников, среди которых был и наш старый знакомый Девиолен, управлявший теперь всеми лесными угодьями. Новый начальник Дюма, господин Удар, принял его любезно и сразу же указал ему его конторку. Отныне он будет каждый день работать здесь с десяти утра до пяти вечера, а после двухчасового перерыва возвращаться и сидеть еще с семи до десяти. Где тут найти время, чтобы стать великим человеком?

Он обещал генералу Фуа пополнять свое образование; в этом ему очень помогал Лассань, человек недюжинных знаний. Лассаня в равной мере поразили невежество молодого человека и его ум. Он составил для него превосходный список авторов от Эсхила до Шиллера, не забыв ни

Платона, ни Мольера. Он давал ему читать книги французских и иностранных классиков, мемуары, хроники. Дюма пожирал их с жадностью неопита. И в невежестве есть свои преимущества: когда классиков читают слишком рано, их не понимают и проникаются к ним отвращением. Если же их открывают в двадцать лет, в возрасте, когда начинают испытывать описываемые ими чувства, к ним привязываются. Так было и с Александром Дюма. В 1823 году, когда он приехал в Париж, во Франции зарождалась новая литература. Ламартин опубликовал «Размышления», Виктор Гюго — «Оды и баллады», Альфред де Виньи — поэмы. Скромный чиновник герцога Орлеанского и не подозревал о существовании этих писателей, но, не зная их, он разделял их стремление обновить французскую литературу.

Его первое знакомство с литературной школой, покорившей вскоре Париж, произошло по воле случая, этого самого ловкого из гидов. Как только Дюма переехал в Париж, ему захотелось ходить в театры, чтобы изучать свою *настоящую* профессию, потому что с тех пор, как он познакомился с Левеном и Тальма, он твердо решил стать драматургом. На представлении нелепейшей мелодрамы «Вампир» молодой провинциал сидел рядом с обаятельным седовласым эрудитом и запросто и без околичностей вступил с ним в беседу. Любезный сосед, которого забавляли наивность и искренность Дюма, дал ему урок библиофилии и хорошего вкуса, но был к концу третьего акта выведен из зала за свистки во время действия. На завтра Дюма узнал из газет, что возмутителем спокойствия был не кто иной, как знаменитый писатель Шарль Нодье. Лассань сообщил ему, что Нодье — блестящий критик, автор романов и причудливых сказок и что стать его другом — большая честь. Однако для того чтобы быть принятым в том кругу, где вращается Нодье, необходимо добиться признания.

Но как этого достичь? Левен, с которым Дюма сохранял близкие отношения, убеждал его попытать свои силы в легком жанре. Они сочинили вместе одноактный водевиль в стихах «Охота и любовь», пьеску пошловатую и посредственную, хоть в ней и было несколько довольно занятных карикатур на охотников Вилле-Коттре. Но все же водевиль был принят к постановке в Амбигю и принес Дюма три сотни франков, что равнялось его жалованью за три месяца. Это очень подбодрило Дюма, да и пятнадцать луидоров пришлось как нельзя более кстати, потому что начинающий драматург, успев к этому времени забыть свои провинциальные увлечения, принялся соблазнять чувствительную белошвейку, которая, по ее собственному признанию, была на восемь лет

старше его.

Катрина Лабе была его соседкой по этажу в доме на Итальянской площади. Она содержала там небольшую мастерскую и умело управляла несколькими работницами. Белокурая, пухленькая, с очень белой кожей, весьма серьезная по натуре, Катрина была уроженкой Руана, где она, по ее словам, вышла замуж за «полоумного», которого ей потом пришлось бросить. На самом деле и «брак» и «сумасшедший» муж были плодами ее воображения. Когда, много лет спустя, Катрина Лабе официально усыновляла Александра Дюма-сына, ей пришлось из боязни, что документ могут потом счесть недействительным, признаться, что она никогда не была замужем^[24].

По воскресеньям Александр Дюма возил соседку в Медонский лес. Там они располагались на отдых, первое время на траве, потом — в одном из темных гротов. А что может быть опаснее для добродетели белошвеек, чем гроты? Голубоглазый квартирон был пылок, настойчив, немыслимо мужествен и невообразимо красив. Вскоре Катрина поняла, что у нее будет ребенок. Она убедила любовника экономии ради переселиться в ее квартиру и там 27 июля 1824 года родила ему здорового мальчугана, при крещении получившего имя Александр. Третий по счету Александр в роду Дюма.

Так скромный чиновник в двадцать два года стал отцом семейства. Он очень уважал мать своего ребенка, но отнюдь не был склонен сделать ее подругой жизни, так как мечтал совсем о другом. Прочитанные романы до того распалили его воображение, что он представлял себе знатных дам, кидающихся ему на шею, красавиц актрис, сходящих с ума по нему, роскошные оргии. Маленькая белошвейка обладала всеми достоинствами: здравым смыслом, трудолюбием, преданностью и даже обаянием, но у нее не было ни образования, ни влиятельных родственников. И Дюма решил сохранить свою свободу для более волнующих приключений.

К тому же ему приходилось считаться и с генеральшей Дюма, которой он так и не осмелился сказать ни о своей связи, ни о ребенке. Мать находила, что разлука с сыном слишком затянулась, и, опасаясь, что жить ей осталось недолго, выражала настойчивое желание переехать к нему. Он немедленно дал свое согласие и снял для мадам Дюма квартирку в доме № 53 по улице Фобур-Сен-Дени за триста пятьдесят франков в год. Тут весьма кстати подоспело повышение. Вместо тысячи двухсот он стал получать полторы тысячи франков в год. Прекрасный почерк произвел такое впечатление, что господин Удар рекомендовал его герцогу Орлеанскому как лучшего переписчика канцелярии, выполняющего работу быстро и хорошо.

«Вы сын того храбреца, который по вине Бонапарта умирал с голоду? — спросил герцог. — У вас прекрасный почерк, вы великолепно надписываете адреса; проходите в кабинет и садитесь за стол. Я дам вам для переписки один документ».

Через две недели после этой памятной аудиенции Дюма был зачислен в штат, то есть получил постоянную должность, и, следовательно, был навсегда застрахован от опасности умереть с голоду. Все было бы хорошо, но служба поглощала его целиком, не оставляя времени для занятий театром. Две недели в месяц его назначали ответственным «за почту»: он должен был после обеда отсылать герцогу Орлеанскому в Нейи все вечерние газеты и полученные за день письма, а затем сидеть в канцелярии, ожидая возвращения курьера с указаниями его высочества. В эти вечера он не мог ходить в театр. Исключение составляла Комеди-Франсэз, находившаяся под одной крышей с канцеляриями Пале-Рояля. Когда играли Тальма или мадемуазель Марс, лучшего нельзя было и желать. В остальные вечера Дюма в ожидании курьера читал Вальтера Скотта и Байрона — в переводе.

— Будущее за этими авторами, — говорил ему Лассань. — Наши неоклассические трагедии в самом скором времени будут забыты. Вы увидите, как появятся смелые писатели, не боящиеся нового. Постарайтесь быть одним из них.

Только этого Дюма и желал. А пока, в ожидании блестящего будущего, он зарабатывал четыре франка пять су в день. Генеральша Дюма приехала в Париж, привезя с собой мебель и ту скудную сумму, которая у нее осталась от наследства. Катрина Лабэ и ее сын тоже нуждались в его помощи. Целых три человека на содержании скромного служащего!

Александр не сомневался, что, будь у него время писать, он создал бы шедевры. Но для этого необходимо было освободиться от «почты», пожиравшей все его вечера. Где наблюдать людские страсти, как не в свете? А когда он мог бывать в свете, если он уходил из канцелярии совершенно без сил в десять часов вечера?

Бывали дни, когда угнетенный непомерными расходами, интригами, суетой, неизбежной в большом городе, он сожалел о безмятежной и идиллической жизни в Вилле-Коттре.

Глава вторая

В КОТОРОЙ ДЮМА ОТКРЫВАЕТ ДРАМУ, КОРОЛЕВУ ХРИСТИНУ И МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРС



В 1827 году в Париж приехала на гастроли труппа английских актеров, чтобы дать несколько представлений в Одеоне, а затем в театре Фавар. Еще в 1822 году другая труппа пыталась ставить Шекспира на английском языке в театре Порт-Сен-Мартэн. Но в те годы у французов еще свежи были в памяти Ватерлоо и победы Веллингтона. Англичан считали друзьями Людовика XVIII, этого было достаточно, чтобы они стали врагами парижского партера. Злополучных актеров закидали яблоками и апельсинами, что было, конечно, своеобразной формой проявления патриотизма.

Прошло пять лет после этой неудачной попытки; обстановка изменилась. Великие актеры Фредерик Леметр и Мари Дорваль подняли мелодраму до уровня искусства. Нельзя сказать, что победа была окончательной. Драма, сосланная на бульвары, не получила еще вида на жительство в Комеди-Франсэз, а ведь даже революционная Франция сохраняла свои святилища, в которых освящала любую славу. Наполеон хотел, чтобы его короновали в Соборе Парижской богородицы; молодые драматурги-иконоборцы вознамерились покорить Комеди-Франсэз. Вот

почему состязания между Шекспиром, известным во Франции лишь узкому кругу людей, да и то по отвратительным переводам, и классической трагедией ожидали как большого события. Успех английских актеров превзошел все ожидания. Экспрессия их пантомим сначала поразила зрителей, потом привела в восторг. Сцены агонии, в которых Кин корчился и извивался, ошеломили публику, привыкшую к благопристойным кончинам во Французском театре. Кембль умирал, как умирают в жизни. Его сатанинский сардонический смех долгое время после этого будет звучать на французской сцене. Мисс Гарриет Смитсон в сценах безумия и голода не уступала в реализме своим товарищам. А когда королева трагедии мадемуазель Марс, посетив один спектакль англичан, стала ходить на них каждый день, романтики торжествовали. «Наши актеры ходят к англичанам, как в школу, — писали они, — и смотрят на них во все глаза».

Влияние англичан заставило актеров с бульваров утрировать изображаемые ими чувства, искать пьес со сценами безумия, бреда, агонии. Бокаж и Дорваль хотели найти пьесы, которые позволили бы им соперничать с победоносными гостями. Дюма дал себе клятву создать для них такие пьесы. Он посещал все спектакли англичан и делал записи.

«Я видел в роли Отелло Тальма, Кина, Кембля, Макриди и Жоанни... Тальма играл мавра, которого уже коснулась венецианская цивилизация; Кин — дикого зверя, полутигра, получеловека; Кембль — мужчину в расцвете сил, вспыльчивого и неистового в гневе; Макриди — араба времен гренадского халифата, изящного и рыцарственного; Жоанни — играл Жоанни...»

Он бешено аплодировал Макриди, Кину, Кемблю и прекрасной Гарриет Смитсон. Сцены безумия, убийства, самоубийства, ревность Отелло, смерть Дездемоны потрясали его до глубины души. «В первый раз, — писал он, — я видел в театре подлинные чувства, испытываемые мужчинами и женщинами из плоти и крови». Он не знал английского, но ему было достаточно жестов, поступков и интонаций.

Увидев на сцене шекспировские трагедии, он понял, наконец, к чему стремится сам: свободно живописать великие события, вывести на сцену физическое насилие, которое классики оставляли за кулисами, потрясать зрителей неожиданностью развязок. Он не имел никакого опыта в делах страсти, зато обладал врожденным чувством драматического. Но какой

сюжет выбрать? Античность аннексировали классики. Современные темы были слишком опасны. Случай и тут помог ему: в ежегодном салоне живописи и скульптуры его внимание привлек барельеф, изображающий убийство Джиованни Мональдески, умерщвленного в 1657 году в Оленьей галерее Фонтенбло по приказу Христины, королевы шведской. Мональдески? Христина? Кто они такие? Молодой Дюма ничего не знал об этой мрачной истории. Тогда он одолжил «Всемирную биографию» у одного из своих друзей, Фредерика Сулье, который в отличие от него самого был человеком образованным и даже довольно состоятельным, так как получил в наследство небольшую деревообделочную фабрику. Дюма прочел статью о Мональдески и статью о Христине.

Из них он узнал, что любовник шведской королевы Мональдески, приревновав ее к итальянцу Сентинелли, начинающему входить в фавор, написал оскорбительные и компрометирующие Христину письма и был убит своим соперником в замке Фонтенбло по приказу разъяренной королевы. Да, здесь, несомненно, был материал для драмы.

— Давай напишем ее вместе, — сказал он Сулье, с которым уже пытался переделать для театра один из романов Вальтера Скотта.

— Да ведь это не драма, а трагедия, — сказал Сулье.

Тогда они решили, что каждый напишет свою «Христину». Кто кончит первым, попытает счастья. Но Дюма был всего-навсего мелким служащим в канцелярии герцога Орлеанского и не мог располагать своим временем. Необходимо было любой ценой высвободить себе вечера. Он набрался духу и отправился к господину Удару.

— Я знаю лишь один способ выполнить вашу просьбу, — сказал господин Удар довольно доброжелательно, — а именно: перевести вас из личной канцелярии в одно из управлений, где нет вечерней работы, к примеру, в управление лесными угодьями... Но это погубит вашу карьеру.

Дюма верил, что карьера ждет его не на административном поприще, согласился на перемещение и перешел в управление лесными угодьями, которым ведал отзывчивый ворчун Девиолен. Там он сразу же чуть ли не со скандалом потребовал себе отдельный кабинет, где мог бы работать в полном одиночестве. Благодаря покровительству Удара ему сделали и эту поблажку. Отныне, освобожденный от мелочной опеки, изолированный от начальства и коллег, он смог благодаря своему замечательному почерку выполнять работу с поразительной быстротой и урывать каждый день по несколько часов для пьесы. Вскоре «Христина», пятиактная драма в стихах, была закончена.

«Я был так же смущен этим событием, — вспоминал Дюма, — как

бедная девушка, которая родила, не состоя в законном браке! Но что делать с этим бастардом, с этой рукописью?» Задушить ее, как и те трагедии, что он писал прежде? Мера эта показалась ему слишком жестокой: ребенок был полон сил и явно хотел остаться в живых. Ему нужен был лишь театр, который бы его приютил, и публика, которая бы его усыновила. Но как их найти? Если бы Тальма был еще жив, Дюма напомнил бы ему об их встрече. Но Тальма умер в 1826 году, а Дюма никого не знал в Комеди-Франсэз.

Суфлер прославленного театра каждый месяц приносил в канцелярию Пале-Рояля билеты для герцога Орлеанского. Дюма остановил в коридоре этого человека с густыми бровями и спросил, что следует предпринять, чтобы добиться высокой чести прочесть пьесу перед советом Французского театра. Суфлер сказал, что рукопись оставляют у экзаменатора, но что у того лежат тысячи рукописей, и есть риск прождать долгие годы.

— А нельзя ли обойти эти формальности?

— Можно, если вы знакомы с бароном Тейлором.

Барон Тейлор, англичанин, родившийся в Брюсселе, офицер, принявший французское подданство, друг Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, стал в 1825 году, на тридцать седьмом году жизни, благодаря покровительству Карла X, который пожаловал ему дворянство, королевским комиссаром при Комеди-Франсэз. Выбор был довольно удачен. Тейлор, сам художник, писал декорации ко многим спектаклям, создавал эскизы костюмов. Он сочинял комедии и перевел вместе с Нодье драму с английского. Виньи был его товарищем по полку; Шатобриан познакомил его с Гюго, и Адель Гюго приглашала его приходить к ним «запросто» на завтрак. Как и всех его предшественников, его назначили в Комеди-Франсэз, с тем чтобы он навел там порядок; как и подобает, он лелеял грандиозные проекты, которые предполагали постановку совершенно непригодных для театра пьес, например, шатобриановского «Моисея». Классицисты попрекали его английской фамилией. «Этот соотечественник Шекспира, — говорил один из недовольных актеров, — презирает Корнеля, Расина и Вольтера». Его ругали за пышные декорации, бешеные расходы на постановки и литературные вкусы. В глазах же беспристрастных свидетелей он был честным и либеральным администратором, весьма способствовавшим утверждению романтической школы во Франции. В 1828 году Комеди-Франсэз приняла благодаря ему к постановке «Ромео и Джульетту» Виньи и Дешана. Правда, пьеса так и не увидела света рамп, но разве можно добиться всего сразу?

Дюма спросил у своего любезного и эрудированного начальника

Лассаня:

— Вы знакомы с бароном Тейлором?

— Нет, — ответил Лассань, — но он близкий друг Нодье. Вы мне как-то рассказывали, что сидели с ним рядом в театре... Напишите ему, напомните об этой встрече.

— Он, должно быть, давно меня забыл!

— Он никогда ничего не забывает... Напишите ему.

Риск был невелик. Дюма написал письмо, в котором вспоминал «Вампира», их беседу, библиофилию, свистки, изгнание из театра и в заключение просил Нодье рекомендовать его барону Тейлору. Незамедлительно пришел ответ в виде записки от самого Тейлора, который приглашал Дюма прийти к нему на квартиру в семь часов утра. Дюма явился в назначенный час. Ему открыла дверь старуха горничная.

— Начинайте, молодой человек! Я вас слушаю, — сказал Тейлор, который в это время принимал ванну.

— Я прочту вам только один акт, и, если вам наскучит, вы меня остановите.

— В добрый час! — пробормотал Тейлор. — В вас больше жалости к ближнему, чем в ваших коллегах. Что ж, это хорошее предзнаменование. Я вас слушаю.

Дюма кончил первый акт и спросил, не решаясь от страха поднять глаза:

— Мне продолжать, сударь?

— Ну конечно, — ответил вконец продрогший Тейлор. — Но только сначала я должен лечь в постель. Черт меня побери, это хорошо!

И королевский комиссар сам потребовал, чтобы Дюма прочел сначала третий, потом четвертый, а потом и пятый акты «Христины». Когда Дюма умолк, Тейлор вскочил с постели и закричал:

— Вы сейчас поедете со мной в Комеди-Франсэз!

— Позвольте спросить, зачем, сударь?

— Чтобы вас внесли в списки для прослушивания.

— Значит, я смогу прочесть «Христину» совету?

— В следующую же субботу!

Дюма прочел «Христину» совету и в первый раз увидел в непосредственной близости королей и королев театра. Пьесу приняли при условии «доработки»: поскольку в ней были допущены большие вольности, совет постановил, что она должна быть отдана на суд автору, на которого Комеди-Франсэз может полностью положиться. Но Дюма был слишком счастлив, чтобы придавать значение подобной оговорке. Его пьеса

принята Комеди-Франсэз, а ему всего двадцать шесть лет! Какое чудо! Мать, видя, что он вернулся домой раньше обычного, пришла в ужас. Что случилось? Неужели Александра прогнали со службы!

— Приняли, матушка! — радостно закричал Александр. — Приняли «на аплодисменты»!

И он пустился в пляс. Генеральша решила, что сын сошел с ума. Она обратила его внимание на то, что он пренебрегает службой и может за это поплатиться.

— Тем лучше. У меня будет время сидеть на репетициях!

— А если твоя пьеса провалится, на что мы будем жить?

— Я напишу другую, и она будет иметь успех.

В тот же день знаменитый актер Фирмен зашел к Дюма в канцелярию и сообщил ему, что совет выбрал в судьи «Христины» господина Пикара, автора доброй сотни комедий («Побочный родственник», «Городок», «Провинциалы в Париже», «Два Филибера», «Рикошеты»), имевших шумный, но преходящий успех. Нелепый выбор. Этому комедиографу, не обладавшему ни талантом, ни доброжелательностью по отношению к другим авторам, неистовая и смелая драма Дюма могла внушить только отвращение. И действительно, когда через неделю Фирмен и Дюма пришли к нему за ответом, крохотный горбун с острым носиком, осведомившись о здоровье посетителей, с любезной улыбкой сказал, обращаясь к Дюма:

— Милостивый государь, у вас есть какие-нибудь средства к существованию?

— Сударь, — ответил Дюма, — я служу в канцелярии герцога Орлеанского и получаю полторы тысячи франков в год.

— Отлично! Мое дорогое дитя, я должен дать вам один совет: возвращайтесь в свою канцелярию, да, да, возвращайтесь в канцелярию.

Был ли он искренен или завидовал молодому автору? Фирмен утверждал, что он не кривил душой. Дюма не мог в это поверить. Можно ли, прочтя «Христину», не понять, что у автора есть «искра божия»? Мнение это разделял и барон Тейлор, потребовавший, чтобы пьесу послали на вторую консультацию, и на этот раз — милейшему Шарлю Нодье. Тот не замедлил с ответом. На следующий же день Тейлор показал Дюма надпись, сделанную на первой странице «Христины» рукой Нодье: «По чести и совести заявляю, что «Христина» — одна из самых замечательных пьес, прочитанных мною за последние двадцать лет».

Было ли это суждение трезвым? Стихи Дюма не шли ни в какое сравнение со стихами молодых поэтов, его современников. Гюго, родившийся, как и он, в 1802 году, по силе поэтического таланта, богатству

языка и виртуозности стиха далеко превосходил Дюма. Зато Дюма был настоящим драматургом. Он будто инстинктом чувствовал, как строить пьесу и чем взволновать зрителей.

Актеры прослушали второй раз «Христину» в следующее воскресенье (чтобы не посягать на часы, которые Дюма — увы! — неукоснительно должен был отдавать службе), и пьеса снова была принята при условии, что автор вместе со старейшиной театра Самсоном внесет некоторые исправления. Дюма, как утверждает Самсон, оказался очень покладистым.

И все же пьеса так и не была поставлена во Французском театре. Почему? Дом Мольера был не слишком гостеприимен. После смерти Тальма там воцарилась Марс. Мадемуазель Марс с большой осторожностью приближалась к пятидесятой годовщине, захватывая все лучшие роли — от влюбленных героинь до инженерю с явным предпочтением к ролям инженерю. Она считалась плохим товарищем и защищала свое право на прежнее амплуа с бешеной энергией. Ее враги с притворной снисходительностью говорили, что ей нельзя дать больше сорока восьми. Время от времени она сама объявляла о конце своего долгого царствования, но злые языки утверждали, что и после этого она даст «прощальное представление, а потом еще одно — по случаю скорой встречи». И все же ее удивительная молодость, благородное изящество жестов и совершенство дикции обеспечивали ей неоспоримый авторитет. Она руководила распределением ролей и была грозой всех авторов. Сделав карьеру на классическом репертуаре, мадемуазель Марс не могла приспособиться к романтической драме Гюго и Дюма. Ее стихией был Мариво, а не Шекспир. В драме, которую хотел создать Дюма, героиня должна была рвать на себе волосы, вопить, валяться на коленях. Для того чтобы завывать, необходим дурной вкус, а мадемуазель Марс им не страдала. Голос ее, когда она его повышала, оставался приятным и мелодичным: это был голос рассерженной девушки, а не рыкающей львицы.

Мадемуазель Марс навестила Дюма в его убогом кабинете в Пале-Рояле, где он сидел среди покрытых пылью папок, и завела беседу о «Христине». Очень изящно (а она умела, когда хотела, быть обворожительной) и деликатно она покритиковала распределение ролей, пьесу вообще и, в частности, несколько строк в своей роли, которые попросила вымарать. Королева трагедии среди канцелярских крыс — Дюма был очарован этим зрелищем, но считал — и напрасно — стихи, вызвавшие недовольство Марс, совершенными и поэтому ожесточенно их защищал. Спор длился несколько минут, после чего мадемуазель Марс

встала и сказала тоном, столь же холодным, сколь он был любезным вначале:

— Отлично! Раз вы так упорствуете, пусть будет по-вашему, я скажу эти строки, но вы увидите, какое впечатление это произведет.

На репетициях, когда дело доходило до этих злополучных строк, она их пропускала.

— Дальше, дальше, — говорила она суфлеру Гарнье. — Автор сделает здесь купюру.

— Вовсе нет! — протестовал автор. — Я не хочу вычеркивать эти строки.

— Ах ты черт! — вздыхал Гарнье.

Дюма осведомился, что означает это «Ах ты черт!».

— Это означает, что если мадемуазель Марс не хочет говорить эти строчки, она их не скажет.

— И все же, если пьесу поставят, ей придется это сделать.

— Да, если пьесу поставят, но только ее не поставят.

Суфлер лучше, чем кто бы то ни было, знал бесовскую хитрость мадемуазель Марс: «Христина» так и не появилась на сцене Комеди-Франсэз. Причины для этого нашлись. Через неделю после пьесы Дюма была принята «Христина» некоего Бро, поэта и бывшего супрефекта. Так как Бро был при смерти, его пьесе отдали предпочтение. Кроме того, Фредерик Сулье успел закончить к этому времени свою «Христину» и отдать ее в Одеон. Этот парад «Христин» начал принимать шутовской характер. Дюма ничего не оставалось, как взять пьесу обратно, что, впрочем, пошло на пользу, так как дало ему возможность переделать и улучшить текст, крайне в этом нуждавшийся.

Но на что жить? Ведь существование обеих семей Дюма зависело от постановки «Христины». Гарнье подсказал выход:

— Напишите другую пьесу с главной ролью для мадемуазель Марс. Не заставляйте ее произносить тридцатишестистопные стихи. Не перечьте ей ни в чем — и тогда вашу пьесу поставят!

— Но стихи пишут так, как пишется, мой милый Гарнье, — возразил ему Дюма. — И, кроме того, я собираюсь написать драму в прозе.

— Тем лучше.

— Я ищу для нее сюжет.

И тут же случай — самый надежный друг Дюма — весьма предусмотрительно снабдил его новой темой. Войдя как-то в кабинет одного из своих коллег, он увидел на столе толстый том трудов историка Анкетилья, случайно открытый на странице, где рассказывался анекдот из

эпохи Генриха III. Герцог Генрих де Гиз, по прозвищу Меченый, узнав, что его жена Екатерина Клевская изменяет ему с одним из фаворитов короля, Полем де Коссадом, графом де Сен-Мегрэн, решил, хотя его весьма мало трогала неверность жены, проучить ее.

Однажды на рассвете он вошел к ней в комнату, держа в одной руке кинжал, в другой — чашу. В весьма суровых выражениях предъявив ей обвинение в неверности, он сказал: «Как вы предпочитаете умереть, мадам, от кинжала или от яда?» Она рыдала и просила пощадить ее. «Нет, мадам, выбирайте». Она выпила яд, упала на колени и в ожидании смерти стала молить бога о прощении. Через час Гиз успокоил ее: яд оказался всего-навсего крепким бульоном. Урок, однако, был жестокий.

«Какая великолепная сцена! — подумал юный Дюма. — Хорошо бы ее написать... Но кто был этот герцог де Гиз? А Сен-Мегрэн?..»

Как и всегда, он обратился к своему верному и ученому другу — «Всеобщей биографии», которая сообщила ему кое-какие сведения и отослала к «Мемуарам» л'Этуаль... Л'Этуаль?.. Кто такой л'Этуаль?.. Бесценная «Биография» снова пришла на выручку: Пьер Тэзан де л'Этуаль (1546–1611 гг.) оказался прославленным историографом эпохи Генриха III и Генриха IV. Дюма достал эту книгу и нашел ее восхитительной. Из нее он узнал, что Сен-Мегрэн, первый камер-юнкер короля, был в 1578 году зверски убит на улице по приказанию Генриха де Гиза, прозванного Меченым, — урок каждому, кто посягает на герцогинь. Сцена эффектная, но довольно банальная. У того же историографа Дюма нашел рассказ о событии, которое давало великолепную возможность закрутить пружину интриги. Оно относилось, правда, к совершенно другому вельможе того времени — к Луи де Бюсси д'Амбуазу (1549–1579 гг.). Но какое это имело значение? Дюма собирался писать драму, а не исторический трактат.

Так вот, этот молодой Бюсси, любовник Франсуазы де Шамб, графини де Монсоро^[25], получил от нее записку с приглашением прийти в отсутствие мужа в его замок. Но, оказывается, она назначила ему это свидание по приказу ревнивца мужа и, чтобы спасти свою жизнь, позволила Шарлю де Шамбу застигнуть ее во время прелюбодеяния. Бюсси был убит в полночь в ее комнате мужем, который ворвался туда в сопровождении вооруженных до зубов друзей.

Прочитав главы о Сен-Мегрэне, о Бюсси д'Амбуазе и вспомнив уроки Шиллера и Вальтера Скотта, Дюма решил, что драма на мази. Конечно, надо было узнать какие-нибудь подробности быта и нравов, подпустить местного колорита — словом, воссоздать атмосферу двора времен короля Генриха III. Но Александра не останавливали подобные мелочи! Ведь у

него были книги, образованные друзья и собственное воображение. Он написал драму «Генрих III и его двор» за два месяца.

Глава третья

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ, КАК К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПРИХОДИТ УСПЕХ



«Генрих III и его двор» была вовсе не плохой пьесой. Конечно, эрудиты и снобы подняли бы на смех юного невежду, знакомившегося с французской историей по забытой на столе книге. Конечно, можно признать, что анализу чувств и характеров недостает глубины, что образы герцога де Гиза и короля написаны однолинейно, что вся пьеса держится на внешнем действии (рука герцогини, стиснутая железной рукавицей, потерянный, как в «Отелло», платок), что многие мысли автор позаимствовал у Шекспира и Шиллера.

Все это правда, и все же драма была искусно построена и трогала зрителей. Дюма черпал из всех источников — мемуаров, хроник, гравюр того времени. Эпоха предстала перед зрителем такой, какой она вдруг открылась молодому энтузиасту. Была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Генрих III расстраивал планы герцога де Гиза. Впрочем, Дюма и сам отлично понимал, что в действительности все эти приключения были куда более сложными.

Но какое это имело для него значение? Он хотел лишь одного —

бурного действия. Эпоха Генриха III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы: веселой, красочной, построенной на контрастах, где Добро было по одну сторону, Зло — по другую. Публика 1829 года, наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в «картинах героических, полных драматизма и поэтому хорошо им знакомых». Этим старым служакам была по сердцу грубоватая отвага героев Дюма: ведь и им пришлось обнимать немало красавиц и угрожать шпагой не одному сопернику. Театральный натурализм? Убийства на сцене? Этого не боялись ни Гёте, ни Шекспир. Не гнушались ими Гюго и Виньи. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра.

Вы спросите: а как же «Кромвель» Виктора Гюго?.. «Кромвель», хотя его и читали публично, так и не увидел сцены. Гюго удовлетворился тем, что прочел пьесу, издал ее отдельной книгой и написал к ней «Предисловие». В отличие от него Дюма твердо решил добиться постановки «Генриха III» в Комеди-Франсэз. Он начал с того, что прочел пьесу небольшой группе избранных, которая собралась в доме романтически настроенной хозяйки — Мелани Вальдор, супруги офицера и дочери писателя. Пьеса произвела большое впечатление на этот умеренный кружок, но там нашли, что для первого произведения молодого автора она слишком смела.

Тогда он устроил вторую читку в квартире журналиста Нестора Рокплана^[26]. Пятнадцать молодых людей набились в комнату, рассевшись прямо на матрасах. Смелость была им по душе. Они кричали: «Долой «Христину»! Пусть ставят «Генриха III»!» Актер Фирмен, большой энтузиаст драмы, организовал у себя третью читку, на которой присутствовал и песенник Беранже, считавшийся тогда лучшим поэтом эпохи, — либерал, фрондер и друг банкира Лаффита. Там были и мадемуазель Марс и генеральша Дюма. Успех был огромный. Мадемуазель Марс сочла, и вполне справедливо, что ей очень подходит роль герцогини де Гиз, ибо она давала возможность сыграть скромную и вместе с тем страстную женщину, а роли такого типа всегда превосходно удавались актрисе, в сценах насилия ей приходилось участвовать лишь в качестве жертвы. Короче, она выказала себя горячей сторонницей пьесы.

Присутствовавшие актеры решили просить Комеди-Франсэз принять «Генриха III» вне очереди, и на читке пьеса прошла «на аплодисменты». На

следующий день, едва Дюма появился в Пале-Рояле, как его вызвал к себе генеральный директор барон де Броваль. Броваль этот был высокомерный грубиян и краснбай. Он принял молодого человека с самым хмурым видом, грозно сказал, что занятия литературой несовместимы со службой, и предложил ему сделать выбор.

— Господин барон, — ответил Дюма, — общественное мнение считает его высочество герцога Орлеанского покровителем литературы. Я не буду предпринимать никаких шагов до тех пор, пока он не уведомит меня, что больше не нуждается в моих услугах. Я не собираюсь подавать в отставку. Что касается моего жалованья, то если эти сто двадцать пять франков в месяц ложатся тяжким бременем на бюджет его высочества, я готов от них отказаться.

— А на какие средства вы собираетесь жить?

— Это, господин барон, касается только меня.

На следующий день выплата жалованья была приостановлена. Но у Дюма был свой план: он собирался через посредство Беранже обратиться за помощью к банкиру Лаффиту. Банкир и в самом деле согласился выдать Дюма три тысячи франков при условии, что он положит в сейф банка рукопись «Генриха III». Три тысячи франков — оклад за два года! Дюма помчался с деньгами к матери. Генеральша была потрясена. Неужели театр и впрямь дает возможность заработать на жизнь?

Репетиции проходили без особых происшествий. В исполнении Жоанны де Гиз был «старым солдатом, мужественным и решительным», он великолепно произносил фразы под занавес, которые всегда звучали неожиданно и эффектно:

«Сен-Поль! Пусть приведут тех, кто убил Дюга».

«А теперь пусть эта дверь откроется только для него!»

«Теперь, когда мы покончили со слугой, займемся хозяином».

История с «Христиной» не прошла для Дюма даром, и по отношению к исполнителям он был сама любезность.

— Вы гораздо лучше меня разбираетесь в этом, — говорил он актерам. — Все, что бы вы ни сделали, будет хорошо.

Работа с актерами на этот раз была ему тем более приятна, что он увлекся Виржини Бурбье^[27], молодой актрисой, которая должна была играть в его пьесе второстепенную роль. Противиться плотскому искушению он не мог. Он по-прежнему помогал Катрине Лабе и давал ей деньги на воспитание сына. Но хранить верность одной женщине? Это всегда казалось ему нелепым.

Естественно, что у него возникали кое-какие трения с божественной

мадемуазель Марс. Однако он уже приобрел некоторый опыт и смог на этот раз перехитрить коварную Селимену^[28], хотя по временам ее капризы доводили его до бешенства и скрежета зубовного. «О Французский театр, — писал он, — этот круг Ада, забытый Данте, куда бог помещает драматургов, возымевших странную идею заработать вполтину меньше того, что они могли бы получить в любом другом месте, и удостоиться в конце жизни награды не за достигнутый успех, а за перенесенные муки!» Высказывание явно несправедливое, потому что актеры Комеди-Франсэз сослужили Дюма хорошую службу.

Пока шли репетиции, на него обрушилось большое несчастье. С генеральшей Дюма случился апоплексический удар, частично парализовавший ее. Что делать? Отложить премьеру? Но это не спасло бы его мать, болезнь которой была, увы, неизлечимой. Он позволил назначить премьеру на 11 февраля 1829 года. Накануне он пришел в Пале-Рояль и попросил аудиенции у герцога Орлеанского, который его принял.

— Каким добрым ветром вас принесло сюда, господин Дюма? — спросил герцог.

— Ваше высочество, я пришел просить о милости. Завтра состоится премьера «Генриха III и его двора». Я прошу вас прийти на премьеру. Ваше королевское высочество несколько поторопилось меня осудить... Завтра мое дело будет слушаться при открытых дверях. Я прошу вас, сударь, присутствовать при вынесении приговора.

Герцог ответил, что охотно бы пришел, но завтра у него званый обед, на котором будут присутствовать двадцать, а то и тридцать принцев и принцесс.

— Но, может быть, ваше высочество соблаговолит назначить обед пораньше, а я, со своей стороны, попрошу задержать начало премьеры, и, таким образом, августейшие гости увидят любопытное зрелище.

— Черт побери, это мысль! Скажите Тейлору, что я оставляю за собой все ложи бенуара.

Наконец долгожданный день настал. Зал был великолепен. Принцы, увешанные регалиями, принцессы, блистающие драгоценностями, дамы полусвета, выставившие напоказ свои прелести. В одной из лож — Беранже, Виньи, Гюго. Партер полон друзей. Словом, огромный успех. Третий акт при всей своей необузданной грубости (ревнивец Гиз силой заставляет жену написать роковое письмо Сен-Мегрэну) не только никого не шокировал, но был встречен бурными аплодисментами. В антракте Дюма кинулся на улицу Сен-Дени, чтобы поцеловать мать. После четвертого акта публика пришла в исступление. Когда Фирмен объявил имя

автора, весь зал, включая герцога Орлеанского, встал. На следующее утро Дюма получил письмо от барона Броваля, в свое время безжалостно его уволившего. «Я не могу лечь в постель, мой дорогой друг, не сказав вам, как порадовал меня ваш успех. Мои товарищи и я счастливы вашим триумфом...»

Когда к нам приходит успех, остается только удивляться количеству людей, которые внезапно оказываются нашими друзьями.

Пьеса выдержала тридцать восемь представлений и делала отличные сборы, невзирая на интриги классицистов и «знатоков». Битва романтиков производила фурор в Комеди-Франсэз. Классицисты объяснили триумф новой школы тем, что «несметное число ее сторонников загроудило партер и проникло даже в ложи». Жалели талантливых актеров, которым пришлось «унизиться до драмы». «Если публике нужны рыдания, — с презрением говорили «знатоки», — пусть она идет на бульвары. Комеди-Франсэз необходимо оградить от этой постыдной заразы». Но актеры, которые не могли пренебрегать публикой, придерживались иного мнения.

На следующий день Александр Дюма проснулся знаменитостью. Комната его бедной матери была заставлена букетами, которых больная даже не замечала. Какой-то книгопродавец купил право на издание «Генриха III» за шесть тысяч франков, что превышало оклад самого начальника канцелярии!

Однако, придя в Комеди-Франсэз на второй спектакль, Дюма застал совет в полном смятении: цензура запретила пьесу. Почему? Король Карл X внезапно увидел в Генрихе III и его кузене Гизе сходство с ныне царствующим монархом и его кузеном Орлеанским! Снятия запрета добился сам герцог Орлеанский.

«Я ответил королю, — рассказывал герцог: «Государь, вы заблуждаетесь по трем причинам: во-первых, я не быю свою жену; во-вторых, герцогиня не наставляет мне рога, и, в-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я».

Так в двадцать семь лет молодой человек, совсем недавно приехавший из Вилле-Коттре, не имея ни положения, ни протекции, ни денег, ни образования, превратился в человека известного, почти знаменитого, принятого, как равный, небольшим, но блестящим кружком людей, которые в недалеком будущем вдохнут новую жизнь во французскую поэзию и

драматургию. Для того чтобы он достиг столь ошеломляющего успеха, понадобилась удивительная цепь случайностей: встреча с Левеном, обратившим его внимание на театр; встреча с Нодье на спектакле «Вампир»; барельеф, попавшийся ему на глаза на выставке; книга, будто судьбой открытая на нужной странице; пребывание на посту директора Комеди-Франсэз барона Тейлора, покровительствовавшего новой школе... Но случай благосклонен лишь к достойным. Каждому человеку в течение дня представляется не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит лишь к тем, кто умеет их использовать. На службу своему огромному честолюбию молодой Дюма поставил необузданное воображение, страсть к героизму, удивительное трудолюбие и образование, хотя и бессистемное, но пополнявшееся с пылом и рвением. Он одержал победу не потому, что ему помогло стечение обстоятельств, а потому, что был способен повернуть в свою пользу любое обстоятельство.

Часть третья

АНТОНИ

*Какой славный человек! Он казался огромным
ребенком, таким наивным и добрым было его лицо!*

МАРСЕЛИНА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР



Глава первая

МЕЛАНИ ВАЛЬДОР



В 1829 году Дюма исполнилось двадцать семь лет. Он был колоссального роста и поражал своеобразной, мужественной красотой. Автор на шумевшей пьесы, создатель нового жанра, он был принят как равный в кругу писателей и художников. Можно легко понять, что Виктору Гюго, возглавлявшему «Святое семейство» поэтов, высокомерному и сдержанному, в своем неизменном сюртуке черного сукна, этот шумный и неистовый гигант должен был казаться несколько вульгарным. Но Дюма так наивно радовался своим успехам, что на его бахвальство нельзя было долго сердиться.

Шарль Нодье, его первый покровитель, открыл перед ним двери своего салона в Арсенале^[29], излюбленного места сборищ новой школы. Хозяин дома, блестящий рассказчик, был хранителем библиотеки Арсенала, ставшей его вотчиной. Его дочь Мари росла красавицей; все поэты были ее друзьями, многие из них в нее влюблялись. По воскресеньям в салоне зажигались все люстры. Там можно было встретить патрона Комеди-Франсэз Тейлора, Софи Гэ и красавицу Дельфину Гэ^[30], Гюго, Виньи — короче, всех молодых поэтов; Буланже^[31], Девериа^[32] — короче, всех молодых художников. С восьми до десяти Нодье, прислонившись спиной к камину, с непревзойденным мастерством рассказывал всевозможные

истории. В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и начинались танцы, а люди серьезные, забившись в какой-нибудь угол, продолжали спорить о политике и литературе.

С тех пор как Дюма впервые появился в Арсенале, Нодье мог время от времени дать себе отдых. Молодой Александр был таким же талантливым рассказчиком, как и хозяин дома. О чем бы он ни говорил — о детстве, об отце-генерале, о Наполеоне или о своих схватках с мадемуазель Марс, — все было одинаково живо и занимательно. Дюма и сам любил себя послушать. Как-то раз после обеда в обществе его спросили:

— Ну, как прошел обед, Дюма?

— Черт побери, — ответил он, — если б там не было меня, я бы страшно скучал.

Молодой самоучка, чье невежество во многих вопросах было просто неправдоподобным, испытывал благоговение перед Нодье, знавшим все на свете «и еще целую кучу вещей сверх того». Нодье делал все, что мог, чтобы облагородить вкус Дюма, и даже пытался, правда, безуспешно, излечить его от хвастовства. С тех пор как «Генрих III» начал приносить ему доход, Дюма стал носить пестрые жилеты и обвешиваться всевозможными драгоценностями, брелоками, кольцами, цепочками...

— Все вы, негры, одинаковы, — ласково говорил ему Нодье. — Все вы любите стеклянные бусы и погремешки...

Молодой человек несколько не обижался, когда ему напоминали о его происхождении — ведь он гордился им, — если только собеседник говорил по-дружески, как Нодье. Другие часто оскорбляли его, однако он чувствовал себя слишком сильным, чтобы унижаться до ненависти. Но он ощущал потребность постоянно доказывать самому себе, что стоит не меньше, а то и больше, чем другие. Вот почему у него временами появлялся заносчивый тон, вот откуда его врожденная склонность сочувствовать любому бунту против общества — бунту незаконнорожденных, изгнанников, подкидышей. Каковы бы ни были причины, выкинувшие человека из общества: цвет кожи, раса, незаконное происхождение, увечье, — он чувствует себя братом всех этих отщепенцев. В 1829 году Байрон еще оставался кумиром юношества; молодые люди подражали его дендизму, его разочарованности и, если могли, его храбрости и таланту. Гюго, Виньи и Ламартин, люди семейные и религиозные, были в то время очень далеки от свободы чувств, проповедуемой Байроном. Дюма, человек свободный и с пылким темпераментом, провозгласил себя ее горячим сторонником.

Он не хранил верности кроткой белошвейке Катрине Лабэ, матери

своего незаконнорожденного сына, но продолжал содержать ее и ребенка; иногда он даже проводил с ней ночь, но разве могли прозаические, хотя и очаровательные добродетели швеи удовлетворить человека, живущего в обществе Христины Шведской, герцогини де Гиз и мадемуазель Марс?

В 1827 году кто-то из друзей повел его в Пале-Рояль на лекцию эрудита Матье Вильнава. После чтения его представили семье лектора, и он получил приглашение на чашку чаю.

Вильнавы жили очень далеко, где-то на улице Вожирар, но почему-то решили пойти туда пешком, и Дюма предложил руку дочери хозяина — Мелани. Путь оказался достаточно долгим, чтобы они успели открыть друг другу душу и влюбиться. Шестью годами старше Дюма, Мелани уже семь лет, как была замужем за офицером, уроженцем Намюра, принявшим французское подданство, которому к тому времени стукнуло сорок.

Франсуа-Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, расквартированного в Тионвиле, жил в своем отдаленном гарнизоне. Из дела этого офицера «с отличным состоянием здоровья» мы узнаем, что у него 2200 франков ренты и «еще столько же в перспективе». Характеристика у него была самая блестящая:

«Поведение: Превосходное и в полном соответствии с уставом.

Нравственность: Безупречная.

Способности: Значительные.

Общее образование: Основательное и разностороннее.

Познания в военном деле: Не оставляют желать ничего лучшего.

Отношение к службе: Ревностное, исполнительное...»

Как могла Мелани Вальдор, по натуре похожая на романтическую героиню, поэтесса, «алчущая бесконечного» и «обуреваемая жаждой познать все», полюбить этого положительного валлонца? Она упрекала его за то, что он «недостаточно пылко» за нею ухаживал. Родив от этого брака дочь, что едва не стоило ей жизни, Мелани, которой провинция изрядно наскучила, переехала в Париж и поселилась в доме своих родителей. Там у нее собирался литературный салон. Отец ее, бывший главный редактор «Котидьенн», директор «Журналь де Кюре» и основатель «Мемориаль Релижье», сумел собрать в своем маленьком старинном особняке бесценную коллекцию книг, рукописей, гравюр и особенно автографов. Он был первым во Франции, кто увлекся этим занятием и пропагандировал

его. Этот эрудит, профессор истории литературы, переводчик Вергилия и Овидия, был человеком очень подозрительным; он ревновал свою старую супругу и в слежке за Мелани доходил до того, что перехватывал ее письма.

Но у всякого коллекционера есть своя ахиллесова пята. Хитрый Дюма покорила Вильнава, подарив ему письма Наполеона и маршалов империи, адресованные генералу Дюма, за что тотчас же получил приглашение устроить чтение «Генриха III и его двора» в салоне-музее, где царила Мелани.

«Родственная душа» была красивой и хрупкой женщиной с ласковым взором и видом скромницы, который сводил с ума Александра. Любовным битвам Мелани предпочитала осадные работы; как и Жюльетта Рекамье^[33], «она хотела, чтобы любовный календарь всегда показывал весну» и чтобы период ухаживания длился вечно. Это отнюдь не устраивало пылкого Дюма. Он настигал ее за дверьми, сжимал в объятьях — силой он пошел в отца-генерала — и душил не успевшие родиться протесты нескончаемым потоком пламенных поцелуев. Ей становилось все труднее устоять перед этим бурным натиском. Он ежедневно писал ей неистовые письма, исполненные бешеной страсти, в которых обещал нечеловеческие наслаждения и вечную любовь.

«Пусть слова «Я люблю тебя» всегда окружают тебя...
Покрываю твои губы тысячью жгучих поцелуев, поцелуев,
которые заставляют трепетать и таят в себе обещание неземного
блаженства... Прощай, моя жизнь, моя любовь, я мог бы написать
тебе целый том, но на более толстый пакет, без сомнения, обратят
внимание...»

Мелани сопротивлялась с 3 июня (в этот день она познакомилась с Дюма) до 12 сентября 1827 года. Затем сдалась. Да и как можно было противиться этой «стихийной силе»? Выдерживать такую осаду три с половиной месяца было уже достаточно почетно. Дюма снял маленькую комнатку, которая должна была стать приютом их счастья, взвалив, таким образом, на себя расходы на содержание трех «очагов»: Катрины Лабэ, генеральши Дюма и холостяцкой квартирки. Мелани согласилась прийти к нему и стала, наконец, его любовницей. Так как добродетельный капитан Вальдор познакомил ее лишь с азами плотской любви, она была сначала не только ослеплена, но и поражена.

Александр Дюма — Мелани Вальдор: «Весь день вместе,

какое блаженство!.. Какое блаженство! Я буквально пожирал тебя! Мне кажется, что и вдали от меня ты должна чувствовать на себе мои поцелуи — таких поцелуев тебе еще никто не дарил. О да, в любви ты поражаешь чистотой, я готов сказать — неискушенностью пятнадцатилетней девочки!

Прости мне, что я не дописал страницу, но мать напустилась на меня с криком: «Яйца готовы, Дюма! Дюма, иди, а то они сварятся вкрутую!» Ну скажи, можно ли противиться такой суровой логике? Итак, прощай, мой ангел, прощай! Ну что ж, маменька, если яйца сварятся вкрутую, я их съем с оливковым маслом...»

Вскоре она стала жаловаться на его ненасытность. Ему не хватает деликатности, говорила она. По ее мнению, она не получала от него той порции «возвышенных чувств», на которые имеет право чувствительная женщина. Она упрекала его в том, что он не умеет вкушать наслаждение, и, как всякое существо, еще не вошедшее в новый ритм плотской любви, страдала от сердцебиений, головокружений и приступов ипохондрии. Он оправдывался:

«Мой безумный и злой, добрый и милый друг мой, как я тебя люблю! Больна ты или здорова, весела или печальна, сердита или ласкова, что значат слова твои, если ты сидишь у меня на коленях и я прижимаю тебя к сердцу? Говори мне тогда, что ты ненавидишь меня, что ты меня презираешь, — пусть, если тебе так хочется, — но ласки твои все равно опровергают тебя...»

Дюма, как только у него появлялись деньги, немедленно их тратил. Так как постановка «Генриха Ш» принесла ему приличную сумму, он снял в Пасси маленький домик для Катрины Лабэ и своего ребенка и квартиру для себя в доме № 25 по Университетской улице. Там на подоконниках цвела герань, которая стала для Александра и Мелани символом их любви.

«Переезд почти окончен, мой ангел. Я сам уложил наши картонки, белье, картофель, масло и сахарное сердце. Нам будет там неплохо, к тому же это гораздо ближе к тебе и гораздо меньше на виду, потому что на лестницу выходит только дверь нашей квартиры, а дом принадлежит торговцу мебелью, так что все будут думать, что ты зашла что-нибудь купить...»

Здесь царила Мелани, здесь собирался узкий кружок верных друзей: Адольф де Левен, офранцузившийся швед, очаровательная муза Дельфина Гэ, здесь бывали Бальзак, Гюго, Виньи. Здесь Дюма прочел новый вариант «Христины». Он воспользовался проволочками цензуры, чтобы основательно переделать пьесу, добавил к ней пролог в Стокгольме, эпилог в Риме, ввел второстепенную интригу и еще один персонаж — Паулу, любовницу Мональдески. Теперь королева мстила не за политическое предательство, а за любовную измену.

Тем временем «Христина» Сулье с треском провалилась в Одеоне. Директор театра Феликс Арель написал Дюма письмо с предложением поставить его пьесу. Дюма из щепетильности посоветовался с Сулье, и тот ответил: «Собери обрывки моей «Христины» — а их, предупреждаю тебя, наберется немало, выкинь все в корзину первого проходящего мусорщика — и отдавай твою пьесу». Получив разрешение друга, Дюма принял предложение Ареля.

В те времена считали, что Одеон находится где-то на краю света. В 1828 году его было даже закрыли, но мэры трех кварталов, окружавших Люксембургский сад, потребовали, чтобы его снова открыли. «Для них, — писал Дюма, — это вопрос коммерческий, и дело тут не в искусстве. Они хотят вдохнуть жизнь в парализованную половину могучего тела Парижа». Дюма считал, что конкуренция Одеона подхлестнет Французский театр, который не пускал на свою сцену неизвестных авторов. Но газеты ополчились против этого отдаленного театра: «Одеон? Да кто знает, где это?.. Одеон прогорит и без огня^[34]. Наконец в 1829 году директором Одеона стал Арель.

Арель, личность необычная, был когда-то аудитором государственного совета, генеральным инспектором мостов, при империи префектом департамента Ланды, потом, когда реставрация положила конец его административной карьере, он стал директором театра, так как был любовником мадемуазель Жорж, что, надо сказать, вполне достаточное основание. Умный и язвительный Арель, вечно стоявший на грани банкротства, вряд ли заслуживал доверия, но, как писал Дюма, «видеть его всегда приятно, потому что он очень занятно говорит. Дайте ему в лакеи Маскариля^[35] и Фигаро, и, если он не обведет их обоих вокруг пальца, пусть меня называют Жоржем Данденом^[36]...»

Смеялись над бонапартизмом Ареля, над его неразборчивостью; но он был настоящим гением по части рекламы и вскоре стал глашатаем романтической драмы. Его любовница мадемуазель Жорж была когда-то

любовницей Наполеона и навсегда осталась кумиром бонапартистов. Ей было сорок три года, и ее скульптурная красота продолжала вызывать восхищение. «Жорж — хорошая тетка, — писал Дюма, — она хоть и напускает на себя величественность и держится как императрица, позволяет любые шутки и смеется от всего сердца, тогда как мадемуазель Марс лишь принужденно улыбается...»

Царь как-то сказал, что Жорж носит корону лучше, чем сама Екатерина Великая. В 1830 году бульварные писаки с непристойной жестокостью упражнялись в островах по поводу ее толщины: «Господин Арель утверждает, что весь Одеон — это мадемуазель Жорж. Теперь мы понимаем, почему она так толста!..» «Английской лошади, обежавшей Марсово поле за четыре минуты, вчера удалось всего за пять минут проскакать вокруг мадемуазель Жорж». Но Банвиль писал: «Беспощадное время не коснулось этой блистательной Елены и не смогло превратить ее в старуху...» Романтики из всех сил старались создавать для нее роли, подходящие к ее комплекции. «Каких только толстых королей и тучных императриц, — писал Теофиль Готье, — мы не раскапывали для нее в истории! Теперь вакантными остались княгини небольшого роста и объема, и мы не знаем, что же нам делать?»

Была ли Христина Шведская дородной? Во всяком случае, она была королевой, и мадемуазель Жорж очень хотела получить эту роль. После провала Сулье она стала поддерживать Дюма. Арель пытался добиться некоторых поправок, но актеры одержали верх. Не только мадемуазель Жорж мечтала сыграть Христину, но и молодому, поэтичному, смелому Локруа понравилась роль Мональдески. Пьеса была далека от совершенства, но в ней было много действия и, как всегда у Дюма, прекрасные концовки актов: «Ну что ж, мне жаль его, отец... Пусть его прикончат!»

К дню премьеры, 30 марта 1830 года, в Париже не улеглась еще буря, поднятая «Эрнани». Крикуны и бузенго^[37] перекочевали из Французского театра в Одеон. Раздавались выкрики: «Мошенники! Дураки! Консерваторы! Мерзавцы!» Когда в эпилоге Христина обратилась к врачу с вопросом: «Скажите, долго ли мне смерти ждать?» — один из зрителей поднялся и закричал: «Если через час она не умрет, я уйду». Локруа играл так темпераментно, что Дельфина Гэ, забывшись, громко воскликнула: «Дальше, Локруа, дальше!»

По правде говоря, «Христина» не стоила «Генриха III и его двора». Это было произведение ублюдочного жанра: полудрама, полутрагедия. Стихи Дюма, который был скорее рассказчиком, чем поэтом, не могли сравниться

с его прозой. Сулье, честный собрат, узнав, что против пьесы существует заговор, купил пятьдесят мест в партере и предложил Дюма для поддержки новой «Христины» рабочих со своей деревообделочной фабрики. И все же, несмотря на эту поддержку, когда занавес опустился в последний раз, в зале поднялся такой шум, что никто не мог понять, как рассказывал потом сам Дюма, что это означает: успех или провал. За премьерой последовал ужин на Университетской улице. Среди приглашенных был Гюго, который только что одержал триумф с «Эрнани», и Виньи, чей «Венецианский мавр» имел успех у публики. Как верные товарищи, они по просьбе Александра Дюма, в то время как остальные гости пировали, сели за переделку доброй сотни строк из числа самых неудачных, ошиканных публикой.

Зал хохотал, когда мадемуазель Жорж, рассказывая о приеме шведских послов, продекламировала: «Как ели древние приблизились они». В переделке Гюго, а тут, несомненно, чувствуется его рука, четверостишие зазвучало так:

Они подобны кипарисам в час метели:
Их волосы от бурь дворцовых побелели —
Те бури столько раз грозили им бедой,
И белым снегом их покрыли — сединой^[38].

Это было гораздо лучше, и так как обязательные друзья, кроме того, сделали еще и необходимые сокращения, на втором представлении пьесе аплодировали. Когда Дюма, опьяненный успехом, пересекал площадь Одеона, перед ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина опустила стекло и окликнула его: «Дюма!» Он узнал Мари Дорваль. «Ах, у вас настоящий талант!» — оказала она ему. Это положило начало дружбе — и роману.

На следующий день книгопродавец предложил Дюма двенадцать тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за Славой.

Глава вторая «АНТОНИ»



1830-й. Решающий год для романтической школы. Революции в литературе эхом откликнулась революция на улицах. Бурная эпоха, когда бои шли повсюду — в залах театров, на баррикадах и даже в семьях: ведь романтики обязаны испытывать великие страсти. То было время, когда Сент-Бёв ухаживал за госпожой Гюго, когда будущая Жорж Санд ушла от барона Дюдевана, когда Альфред де Виньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от своей Дилекты^[39], готов был вспылать страстью к неуловимой маркизе де Кастри. Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, но он должен был следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать? Да к капитану Вальдору, смиреннейшему мужу своей любовницы.

И вот однажды, когда Мелани (после продолжительных супружеских каникул) получила от почтенного офицера письмо, в котором тот сообщал, что вскоре приезжает в Париж на побывку, Дюма помчался в военное министерство упрашивать служившего там друга аннулировать отпуск. «Я чуть было не сошел с ума», — говорил он. Однако мучения эти он испытывал лишь на словах. К тому же муж так и не приехал, и комедия эта разыгрывалась еще не раз.

Александр Дюма — Мелани Вальдор: «Если б только господь услышал твои слова, любовь моя, когда ты говорила, что твой супруг, возможно, не приедет в январе! О, если б он услышал тебя, и тогда бы ты снова увидела меня счастливым и довольным! Ты не знаешь, насколько я сжился с иллюзией, что ты моя и только моя. Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой: нет, нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне, только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию... О, повтори еще раз, почему ты думаешь, что он может не приехать в январе: скажи мне, какая фраза в его письме заставила тебя это предположить?.. Я бы предпочел, чтобы ты провела полгода в Жарри, тому, чтобы он приехал хотя бы на два дня в Париж! Там, в Жарри, я не смогу видеть тебя, но там ты будешь одна, а здесь!..

О любовь моя, если б твой план мог осуществиться и ты сняла бы для мужа комнату в отеле, как я был бы счастлив!.. Ты не можешь понять, какие терзания я буду испытывать вдали от тебя, в одиночестве, зная, что в одной постели, совсем рядом... О муки!.. Ангел мой, жизнь моя, любовь моя, устрой это...»

Сам Дюма не упускал случая обмануть свою томную Мелани, в то же время продолжая разыгрывать романтические страсти. Он пишет Мелани об их «неистовых, жгучих поцелуях», угрожает объединить «Любовь и Смерть» и даже убить капитана-консорта, отнюдь не заслужившего подобной жестокости. На деле же он вполне довольствуется тем, что надоедает Военному министерству бесконечными просьбами не переводить Вальдора ни в Париж, ни даже в Курбеуа, так как это слишком близко от Парижа. «Необходимо добиться его производства в майоры, моя любовь. У нас нет другого способа уладить это дело...» Великолепный сюжет для бальзаковского романа: «Во что обходится повышение военным».

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«Наконец ты поняла меня: ты узнала, что такое любовь, потому что ты познала ревность. Что может сравниться с ней? Какие дураки эти богословы, выдумавшие ад с его физическими муками! Мне жаль их! Для меня адом будет видеть тебя в объятьях другого! Проклятье! Одна мысль об этом может довести до преступления!..»

И в стихах (отвратительных):

Ты нежностью своей пьянишь меня напрасно:
За этот светлый день я заплачу тоской,
Когда в других руках, холодных и бесстрастных,
Потухнет завтра трепет твой.

Но, ревностью томясь, познав ее отраву,
Тебя я не смогу презреньем наказать:
Слова пред алтарем другому дали право
Тобой до гроба обладать.

Словами этими ты продала навечно
Те ласки, что теперь запретны для любви.
Когда в супружестве утрачен жар сердечный,
Вступает долг в права свои.

Литературщина? Конечно, но тем не менее она вызвала к жизни «Антони», драму, сыгравшую большую роль в истории театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые была выведена на сцену женщина, совершившая прелюбодеяние, — образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену.

Александр Дюма — Мелани Вальдор:

«В «Антони» ты найдешь многое из нашей жизни, ангел мой, но лишь то, чего никто, кроме нас с тобой, не знает. Так в чем же дело? Публика ведь ничего не поймет, пойдем только мы, ты и я, и для нас это будет источником вечных воспоминаний. Что же до Антони, то я думаю, его узнают, потому что этот безумец очень напоминает меня...»

Конфликт между личностью и обществом, страстью и долгом, который XVII век решал в пользу общества и от которого XVIII бежал в легкомыслие и распутство, мог теперь быть решен лишь насильственным путем. «В современном обществе страсть сорвалась с цепи».

И на весь XIX век страсть воцарится в театре, принеся с собой бурю чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. «Антони» испугал актеров Комеди-Франсэз, но зрителей он потряс.

Антони, бунтарь по натуре, незаконнорожденный (как Дидье в «Марион Делорм»), не может жениться на любимой им Адели, потому что

у него нет ни семьи, ни положения в обществе, ни профессии, ни состояния. Молодую девушку выдали замуж за полковника — барона д'Эрвэ (капитан Вальдор на сцене все же получил повышение). В один прекрасный день Антони вновь появляется: он останавливает лошадей, понесших карету Адели. Антони ранен; его приносят в дом Адели. Они признаются во взаимной любви, но Адель, раба общественной морали, пытается сопротивляться. Страстью, жалобами на несправедливость света Антони доводит ее до того, что она готова пасть. Тогда она, как порядочная женщина, решает бежать к мужу, который находится в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью привлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Иттенхейм. Свет осуждает ее. Полковник спешит в Париж из своего гарнизона и застаёт преступных любовников врасплох.

АДЕЛЬ. Я слышу шаги на лестнице!.. Звонок!.. Это он!.. Беги, беги!

АНТОНИ. Нет, я не хочу бежать! Ты говорила мне, что не боишься смерти?

АДЕЛЬ. Нет, нет... О, сжался надо мной — убей меня!

АНТОНИ. Ты жаждешь смерти — смерти, которая спасет твою репутацию и репутацию твоей дочери?

АДЕЛЬ. На коленях молю тебя об этом.

ГОЛОС (за сценой). Откройте!.. Откройте!.. Взломайте дверь!

АНТОНИ. И в последний миг ты не проклянешь своего убийцу?

АДЕЛЬ. Я благословлю его... Но поспеши! Ведь дверь...

АНТОНИ. Не бойся. Смерть опередит его... Но подумай только: смерть...

АДЕЛЬ. Я хочу ее, жажду ее, молю о ней. (Кидаясь к нему в объятия.) Я иду ей навстречу.

АНТОНИ (целуя ее). Так умри же. (Закалывает ее кинжалом.)

АДЕЛЬ (падая в кресло). Ах...

Дверь в глубине сцены распахивается. Полковник д'Эрвэ врывается в комнату.

ПОЛКОВНИК Д'ЭРВЭ. Негодяй!.. Что я вижу!.. Адель!.. Мертвая!

АНТОНИ. Да, мертвая... Она сопротивлялась мне. И я убил ее.

*Он бросает кинжал к ногам полковника д'Эрвэ.
Занавес*

Пьеса была ловко сделана. Через все пять актов действие с похвальной экономией средств неслось к развязке, ради которой, собственно, и было написано все остальное. Дюма считал, что драматург должен прежде всего найти финальную фразу, а потом, исходя из нее, строить всю пьесу. В эпоху, когда существовали лишь исторические или скабрёзные пьесы, драма, в которой на сцену выводился современный свет с его страстями, не могла не казаться новаторской и смелой. Дюма в «Антони» вкладывает в уста одного из персонажей, писателя Эжена д'Эрвильи, такой монолог:

«История завещает нам факты: они — собственность поэта... Но если мы, мы, живущие в современном обществе, попытаемся показать, что под нашим кургузым и нескладным фраком бьется человеческое сердце, — нам не поверят... Сходство между героем драмы и партером будет слишком велико, аналогия слишком близка, и зритель, следящий за развитием страсти героя, захочет, чтобы тот остановился там, где остановился бы он сам. Если то, что будет происходить на сцене, превзойдет его способности чувствовать или выражать свои чувства, он откажется это понимать. Он скажет: «Это неправда, я ничего подобного не испытываю. Когда женщина, которую я люблю, мне изменяет, я, конечно, страдаю... некоторое время... Но я не закалываю ее кинжалом и не умираю сам. Доказательством тому то, что я сейчас перед вами». А потом вопли о преувеличениях, о мелодраме заглушат аплодисменты тех немногих, наделенных, к счастью (или к несчастью), более тонкой конституцией, которые понимают, что в XIX веке люди испытывают те же чувства, что и в XV веке, и что под суконным фраком сердце бьется так же горячо, как и под железной кольчугой».

Наделить современника неистовством страстей, свойственным людям Возрождения, — вот что пытался сделать Александр Дюма, и это вновь сочли весьма смелым новаторством. Настолько смелым, что, не случись революции 1830 года, цензура никогда бы не согласилась пропустить пьесу. После июльских дней^[40] стало, наконец, возможно изображать нравы, не прибегая к ретуши. Завоевание этих свобод дало нам Бальзака. Но в то

время, когда Дюма писал «Антони» (то есть до 1830 года), цензура была еще сурова. Дюма не мог просто констатировать прелюбодеяние; он должен был осудить и покарать его. Бальзак сможет позволить себе больший цинизм. Диана де Мофриньез, княгиня де Кадиньян, пройдет безнаказанно через тот костер страсти, на котором заживо сгорела Адель д'Эрвэ. Но Дюма еще не имел права заявить со сцены, что женщина может быть счастлива, даже если она и повинна в прелюбодеянии, хоть сам он в это верил — и, возможно, напрасно, потому что его собственное легкомыслие сделало несчастной не одну любовницу.

Глава третья

«ЖОЗЕФ, МОЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ!»



Дюма никогда не отличался постоянством в любви. И хотя Мелани Вальдор оставалась «его ангелом», Дюма окружал еще целый сонм ангелов второстепенного значения. Он увлекался не только Виржини Бурбье из Комеди-Франсэз, но, по всей вероятности, и малюткой Луизой Депрео, которая, исполняя роль пажа в «Генрихе III», показывала прехорошенькие ножки, и, конечно же, Мари Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница актриса Белль Крельсамер, по сцене — Мелани Серре, игравшая в турне герцогиню де Гиз. Фирмен представил ее Дюма в конце мая 1830 года.

У этой красавицы были «черные как смоль волосы, бездонные глаза лазурной синевы, нос прямой, как у Венеры Милосской, и жемчужные зубки». Она пришла просить ангажемент, Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась три недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Белль сняла квартиру на Университетской улице, неподалеку от Дюма, — она жила в доме № 7, он — в доме № 25. В июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жарри (имение Вильнавов около Клиссона), и Дюма стал проводить все свободное время у Мелани Второй. Белль Крельсамер, умная еврейка, вскоре приобрела на Дюма сильное влияние.

В июле, когда «Антони» был почти закончен, Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир, он хотел осмотреть недавно завоеванный город. Белль Крельсамер собиралась проводить его до Марселя. Она, разумеется, не одобряла его поездки: любовь, считала она, должна побеждать любопытство. 26-го утром Дюма пришел к ней и заявил, что она может распаковывать чемоданы.

«Монитор»^[41] опубликовал указы министерства Полиньяка, направленные против свободы печати. Для Дюма, как и для многих других, эти указы предвещали крушение монархии. Республиканец в душе, он искренне надеялся, что Париж восстанет.

— То, что мы увидим здесь, будет поинтереснее того, что я мог бы увидеть там, — сказал он.

Затем он позвал своего слугу.

— Жозеф, иди к оружейнику, — приказал он, — и принеси мое двустольное ружье и двести патронов двадцатого калибра.

Звучная реплика в стиле мелодрамы, но продиктована она была подлинной храбростью. Когда «три славных дня» Июльской революции обернулись драмой, и притом драмой, имеющей шумный успех, Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого. Роль была сыграна с лихостью, не свободной, однако, от тщеславия.

Целых три дня он носился по Парижу, метался между улицами, где шли бои, и местами, где создавалось общественное мнение: Ратушей, Институтом, конторой «Насьоналя»^[42]. В «Мемуарах» он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах. В перерыве между двумя перестрелками он спешил то к больной матери, от которой скрывали происходящее, то к Белль, на Университетскую улицу: «Там были в курсе всех событий. Я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться: лишь под этим условием меня выпускали из дому...»

Но спектакль оказался слишком увлекательным, чтобы можно было удержаться от участия в нем. И, надев охотничий костюм, набив карманы пулями, перекинув ружье за спину, он смешался с толпой.

Его хорошо знали в квартале.

— Что нам делать? — обращались к нему.

— Строить баррикады.

Все в духе лучших традиций. Он отправился в Пале-Рояль и поднялся в канцелярию. Там он встретил своего бывшего патрона Удара, который следил за событиями, чтобы вовремя пристать к победителям, и которого он насмерть перепугал своим воинственным облачением и смелыми

речами.

Он шел по направлению к Сене, когда вдруг увидел, что на башнях Нотр-Дам развевается трехцветное знамя, и застыл на месте, не помня себя от счастья. Двустольное' ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев. Студенты, воспитанники политехнической школы, рабочие братались, объединенные общей ненавистью к Бурбонам. Толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы. Драма сбилась на водевиль. Капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд:

— Куда вы идете?

— В Ратушу.

— Зачем?

— Сражаться.

— Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны.

— Так вы меня знаете?

— Я дежурил у Одеона, когда первый раз давали «Христину»... А кстати, когда же мы увидим «Антони»?

— Как только закончим революцию.

Они откланялись. Дюма зашел к своему другу художнику Летьеру. Колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Летьера отправили на Университетскую улицу успокоить «одну дорогую моему сердцу особу», а именно Белль Крельсамер.

На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюильри вместе с народом и нашел там, в библиотеке герцогини Беррийской, экземпляр «Христины» в лиловом бархатном переплете. Он унес его и подарил молодому Феликсу Девиолену. В Ратуше провозгласили свержение Бурбонов. Раскроено было хорошо, настало время сшивать. Но кто бы мог добиться единства в стране? Способен ли Лафайет^[43] возглавить республику? Нет, он боялся ответственности в той же мере, в какой искал популярности. Тьер и Лаффит предлагали герцога Орлеанского. Но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафайет сказал:

— Мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов.

Не хватало пороха. Но разве нет порохового склада в Суассоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть.

— Генерал, — сказал он Лафайету, — хотите, я привезу вам порох?

Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воином революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. В Вилле-Коттре его встретили настоящей овацией. Вид

его кабриолета с развевавшимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улицы даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить Дюма к себе на обед. Он отправился к своему бывшему сослуживцу Пайе и рассказал ему о событиях трех дней. Рассказ его прерывался восторженными криками, но ехать в Суассон ему отсоветовали. Разве может один человек, ну, пусть даже несколько человек, справиться с роялистским гарнизоном? Однако Дюма поехал, и все обошлось благополучно. В своих «Мемуарах» он сильно драматизирует этот эпизод. По его словам, он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона, виконту де Линьеру. В этот момент в комнату вбежала госпожа де Линьер с криком:

— Сдавайся, немедленно сдавайся, друг мой! Негры опять взбунтовались!.. Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго! Отдай приказ, умоляю тебя...

Линьеры впоследствии утверждали, что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох национальной гвардии Суассона. Но какое это имеет значение? Ведь сам автор, по-видимому, глубоко уверовал в свой рассказ и так увлекательно описал этот подвиг, достойный Горация Коклеса Тирольского. Да и потом как разобраться, где тут истина? Отчет Александра Дюма генералу Лафайету об «изъятии» пороха был опубликован 9 августа 1830 года в «Монитёре», и тогда никто не опровергал его. Точно известно также, что он привез три тысячи пятьсот килограммов пороха в Ратушу и что его бывший покровитель герцог Орлеанский, которому вечером того же дня предстояло сделаться королем Франции, сказал ему, быть может, не без улыбки:

— Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму.

После этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром. Мелани Вальдор, возвращения которой он побаивался (она в это время находилась в Вандее с мадам Вильнав), Дюма писал:

«Все кончено. Как я тебе не раз предсказывал, революция продлилась всего три дня. Мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие, что меня заметили Лафайет и герцог Орлеанский. Вслед за этим последовала ответственная миссия в Суассон, где я в одиночку захватил запасы пороха, что окончательно укрепило мою военную репутацию... Герцог Орлеанский, по всей вероятности, станет королем. И тебе придется адресовать свои письма иначе... Поблаговари меня за мою леность... Я уверен, ты поймешь, как мне трудно покинуть

Париж в такое время. И все же я так хочу видеть тебя, что при первой же возможности сяду в почтовую карету, хотя бы только для того, чтобы сжать тебя в объятиях... Повторяю, в моем положении многое должно измениться. Я не могу тебе об этом сказать в письме, но тем не менее, я думаю, ты можешь не сомневаться, что твоего Александра ждет большое будущее...»

И через несколько дней:

«Не тревожься, мой ангел, все идет хорошо. Герцога Орлеанского вчера провозгласили королем. Я провел вечер при дворе; августейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно, как и раньше. Я написал тебе сегодня три письма и послал их по трем разным адресам. Прощай, любовь моя. Тебе не стоит приезжать сейчас в Париж; я думаю, что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой...»

«Я уезжаю послезавтра, любовь моя. Предприму небольшое путешествие, после чего приеду к тебе. Я счастлив, что могу уехать сейчас из Парижа.

Когда ты получишь мое первое письмо, я буду уже в пути».

Он и в самом деле попросил Лафайета послать его в Вандею для формирования, как говорил он, национальной гвардии на случай нового шуанского мятежа. А главное, он хотел повидаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствие Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая мать, пригласила Дюма провести несколько недель в Жарри. Лафайет, который тогда пытался всем и во всем угодить, дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам. Дюма тотчас же заказал себе немислимую форму: кивер с красными перьями, серебряные эполеты и пояс, васильковый мундир и трехцветную кокарду. В Вандее, где национальной гвардии не было и в помине и где, невзирая на все приказы префектуры, не вывесили ни одного трехцветного знамени, Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани, которая, узнав о похождениях своего любовника, посылала, при подстрекательстве матери, глупейшие письма Мари Дорваль и Белль Крельсамер. Дюма покинул Вандею 22 сентября, оставив Мелани

совершенно больной.

Дюма — Мелани: «Как ты себя чувствуешь, моя любовь? Ты должна понять, что только жестокая необходимость заставила меня уехать. Ради бога, мой ангел, не расстраивайся так, это вредит твоему здоровью. И верь, непременно верь в то, что между нами существует чувство более глубокое, чем сама любовь, которое переживет все наши размолвки... Я не увижу ее по возвращении в Париж, мой ангел. И все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней, чисто по-дружески, чтобы объяснить причину разрыва, но он (этот разрыв) произойдет, сколько бы она ни плакала. Театр утешит ее.

Прощай, моя любовь. Я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь. Если я остановлюсь хотя бы часа на два в Блуа, я напишу тебе».

Как это напоминает излияния Бальзака в письмах к мадам Ганской! Поневоле задумаешься: стоит ли завидовать великим людям!

В Париже он застал status quo^[44], от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета и прямо пропорционально ему росла любовь к королю. Дюма верил в эту любовь, потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности. Он написал отчет о своей «миссии», назвав его «Вандейскими записками». В них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа, давал мудрые советы и в конце склонялся к «стопам государя».

Александр Дюма — Мелани Вальдор, 30 сентября 1830 года: «Всего несколько строк, моя любовь, чтобы поцеловать тебя, рассеять твои страхи и еще раз поцеловать... Письмо твоей матери меня очень беспокоило. Твою записку я получил накануне... Разрешите им, моя любовь, ставить тебе столько пиявок, сколько нужно. И не терзайся по пустякам, не терзайся даже из-за сломанной герани. Наши бурные объяснения привели к этому преступлению — потому что это поистине преступление...

В окружении короля ничего не изменилось. Я послал ему отчет, но даже не знаю, прочел ли он его. Короля полностью оградили от людей — создали настоящую блокаду. К нему

допускают лишь тех, кому нечего (sic!) сказать. Его любят с каждым днем все больше и больше, но ведут себя по отношению к нему с неуместной фамильярностью. Господин Дюпати послал ему на днях билет члена национальной гвардии на том основании, что он живет в округе Пале-Рояля. Как все это глупо...»

Сломанная герань была для любовников символом беременности, окончившейся на этот раз выкидышем. «Не тревожься о будущем: у нас с тобой еще будет герань». Поневоле вспоминается Бальзак, который хотел, чтобы Иностранка подарила ему «Виктора-Онорэ».

Король Луи-Филипп прочел «Вандейские записки» и даже сделал на полях пометки. Дюма советовал кое-где переместить легитимистски настроенных священников. «Сообщено в Церковное ведомство», — написал король. Через Удара он передал Дюма, что ему будет дана аудиенция. Молодой человек явился на нее в мундире национальной гвардии. Он был принят с сердечной улыбкой и тем показным добродушием, которое так обезоруживало министров. Король сказал ему, что он ошибается относительно шуанов.

«Ведь и я тоже, позвольте вам заметить, держу руку на пульсе Вандеи... Я немного сведущ во врачевании, как вам известно... Политика — это печальное занятие. Оставьте его королям и министрам... Ведь вы поэт, вот и пишите свои стихи...»

Надежды на портфель, которые Дюма втайне питал, разом рухнули. Уязвленный, он подал прошение об отставке, в котором отказывался от должности библиотекаря:

«Сир,
так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем, которые ваше величество вправе требовать от лиц, принадлежащих к вашему дому, я прошу ваше величество принять мою отставку и освободить меня от обязанностей библиотекаря. Имею честь остаться почтительнейше и проч.

АЛЕКС. ДЮМА»

После чего он перевелся в артиллерию национальной гвардии, известную своими республиканскими настроениями. А на стенах парижских зданий уже начали замазывать следы июльских перестрелок.

Глава четвертая

МЕСТО В ТЕАТРЕ



Театр вновь принял его в свое лоно. Феликс Арель с самого начала Июльской революции лелеял одну гениальную, по его мнению, идею. Так как бонапартисты объединились теперь с орлеанистами, чтобы создать новый режим, стало, наконец, возможно свободно говорить об императоре. Мадемуазель Жорж, которая была любовницей божества, сохраняла ему самую пылкую преданность и покровительствовала этим планам. Генералу Дюма пришлось столько страдать по вине Бонапарта, что его сыну вовсе не хотелось хвалить покойного императора, а тут не могло быть и речи о том, чтобы хулить его. Да и, кроме того, великие события империи казались ему слишком близкими, чтобы выводить их на сцену.

Но однажды, когда по возвращении из Жарри он ужинал как-то вечером после театра у четы Арель — Жорж, хозяйка, отпустив других гостей, задержали Дюма. С большой таинственностью они провели его через спальню мадемуазель Жорж в красивый кабинет, прилегавший к комнате актрисы, и сказали, что не выпустят до тех пор, пока он не напишет драму. И если тема была ему не по душе, то очаровательное соседство вполне устраивало. Хотя мадемуазель Жорж была к этому времени уже далеко не молода и не без оснований носила прозвище «исполинской Мельпомены», она сохранила плечи, руки и грудь статуи. У нее была естественная и непринужденная манера принимать ванну в

присутствии приятелей-мужчин, показывая при этом свою грудь греческой богини, которая могла воспламенить и менее темпераментного человека, чем Дюма. Он написал «Наполеона Бонапарта» за восемь дней. Это была искусно сделанная драма, никак не соответствовавшая величию темы. «Плохая пьеса, плохой поступок, — писал Виньи. — Я упрекал его за то, что он лягнул павших Бурбонов».

Арель развернул шумную рекламу. Он объявил, что истратил на постановку сто тысяч франков. В день премьеры в антрактах играли военные марши. Зрителей покорнейше просили явиться в мундирах национальной гвардии. Зал был полон военных и настроен воинственно. Императора играл Фредерик Леметр. К тридцати годам этот актер прославился, первым сыграв Робера Макера в «Трактире Адре»^[45] не негодяем, а героем циничным и остроумным, чуть ли не Вершителем Правосудия. В его интерпретации пьеса из мелодрамы превращалась в комедию, наполненную социальным и революционным содержанием — в «Женитьбу Фигаро» июльских дней. В его герое было нечто от шекспировских шутов: мрачные раскаты хохота, горький сарказм. Это была критика общества с позиций бандита, подзаборного Манфреда; такая трактовка роли принесла актеру триумф.

Фредерик, чтобы создать своего Наполеона, советовался со всеми, кто хорошо знал императора, а таких было немало. Из боязни (совершенно напрасной) показаться банальным он отказался от самых характерных внешних примет Наполеона: руки за спиной, нюхательного табака в жилетном кармане. Роль была сыграна смело и с блеском, но это был не Наполеон. Арель был разочарован, публика — тоже, и Дюма, потрясенный своей первой неудачей, задавал себе вопрос: неужели его вдохновение иссякло?

Однако, возвратившись домой, он обнаружил записку, в которой ему сообщали, что в связи с отменой цензурных ограничений (как оказалось, на весьма короткий период) Французский театр начинает репетировать «Антони».

Мадемуазель Марс согласилась играть Адель, Фирмен — Антони. Распределение ролей весьма лестное и — чреватое опасностями. Мадемуазель Марс, в высшей степени грациозная, остроумная и кокетливая, была будто создана для пьес Мариво, но совершенно не подходила для «современного характера Адели, с его переходами от страсти к раскаянию». Фирмен оставался классическим актером, в нем не было ничего от «рокового» героя типа Антони. И еще один признак, помимо множества других, свидетельствующий о том, что оба актера

взялись не за свое дело: ни один из них не решился появиться на сцене в бледном гриме. А ведь бледность была неотъемлемой принадлежностью драм в духе Дюма.

Перед Июльской революцией актеры Комеди-Франсэз оказали «Антони» ледяной прием. Отвергнуть пьесу после шумного успеха «Генриха III» было невозможно, но зато, когда приступили к репетициям, мадемуазель Марс ловко и настойчиво, так, как только она одна умела, постаралась подогнать роль Адели к знакомым ей ролям героинь Скриба. Фирмен, со своей стороны, сглаживал все острые углы своей роли. «В результате этого, после трех месяцев репетиций, — писал Дюма, — Адель и Антони превратились в очаровательных любовников, таких, каких любит показывать театр Жимназ. Они с равным успехом могли бы называться господином Артуром и мадемуазель Селестой». Как мог автор допустить, чтобы его произведение так безжалостно выхолостили? «Ах, да как это происходит? Как ржавчина переедает железо, как волна подтачивает скалы?» Беспощадная мягкость мадемуазель Марс действовала не менее разрушительно. Друзья Дюма, приходившие на репетиции, говорили:

— Очень милая пьеска, очаровательная вещичка. Кто бы мог подумать, что ты будешь работать в этом жанре!

— Во всяком случае, не я, — отвечал Дюма.

Наконец появились афиши: «В субботу, послезавтра, премьера «АНТОНИ». Когда Дюма пришел в Комеди-Франсэз на генеральную репетицию, мадемуазель Марс обратилась к нему медовым голосом.

«— Вам уже сообщили последнюю новость? — спросила она.

— Какую новость?

— У нас теперь будет газовое освещение.

— Тем лучше.

— Нам делают новую люстру.

— Примите мои поздравления.

— Спасибо, но не в этом дело.

— В чем же тогда, мадемуазель?

— Я потратила тысячу двести франков на вашу пьесу.

— Браво!

— У меня четыре смены туалетов.

— Вы будете бесподобны.

— И вы понимаете...

— Нет, не понимаю.

— Я хочу, чтобы публика их видела.

— Справедливое желание.

— И раз нам делают новую люстру...

— А когда же ее сделают?

— Через три месяца.

— Ну и что же?

— Ну вот, я думаю, что хорошо бы ознаменовать новую люстру премьерой «Антони».

— Ах, вот как!

— Да, вот так.

— Значит, через три месяца?

— Да, через три месяца.

— В мае. Это очень хороший месяц.

— Вы хотели сказать, очень пригожий месяц?

— Да, но и хороший тоже.

— Значит, вы в этом году не берете отпуска в мае?

— Нет, только с первого июня.

— Значит, если мы начнем, к примеру, двадцатого мая, то у меня будет всего три спектакля,

— Четыре, — подсчитала мадемуазель Марс, — в мае тридцать один день.

— Целых четыре спектакля — как это мило!

— И мы вернемся к вашей пьесе после моего возвращения.

— Это точно?

— Даю вам честное слово.

— Благодарю вас, мадемуазель. Это очень любезно с вашей стороны.

Я повернулся к ней спиной, — продолжает Дюма, — и столкнулся лицом к лицу с Фирменом.

— Слышал? — спросил я его.

— Конечно... Сколько раз я тебе говорил, что она ни за что не станет играть эту роль!

— Но почему, черт побери, ей не сыграть ее?

— Да потому, что это роль для мадам Дорваль...»

Дюма и сам давно об этом думал. Маленькая, темноволосая, хрупкая, с ниспадающими на лоб локонами, томными глазами, трепещущими губами и вдохновенным лицом, Мари Дорваль была не просто актриса: «Это была воплощенная душа... Фигура ее казалась гибким тростником, колеблемым порывами таинственного ветерка». Незаконнорожденная дочь бедных бродячих актеров, Дорваль выросла среди самых бурных и низменных страстей и в гневе могла браниться, как базарная торговка. Она испытала все в жизни, и, хотя неоднократно выходила замуж, у нее было множество

любовников, в том числе и молодой Дюма. На сцене эта поразительная женщина дышала вдохновением, подлинная жизнь сквозила в каждом ее движении, а искрометный талант покорял всех.

Она создала вместе с Фредериком Леметром спектакль «Тридцать лет, или Жизнь игрока»^[46], где в роли супруги, которая присутствует при падении своего мужа, сумела гениально выразить горе матери и «скорбное величие женщины». «В этой роли, — писал Банвиль, — ей пригодилось все — и скорбное лицо, и губы, дышащие безумной страстью, и горящие от слез глаза, и трепещущее, содрогающееся тело, и бледные тонкие руки, иссушенные лихорадкой!» И Жорж Санд: «У нее все обращалось в страсть: материнство, искусство, дружба, преданность, негодование, вера; и так как она не умела и не желала ни умерять, ни сдерживать своих порывов, она жила в чудовищном напряжении, в постоянном возбуждении, превышающем человеческие силы...» Да, Мари Дорваль сыграла бы Адель куда лучше, чем мадемуазель Марс.

И ее постоянный партнер Пьер Бокаж тоже сыграл бы Антони гораздо лучше, чем Фирмен. Этот руанец, бывший чесальщик шерсти, пришедший в театр по призванию, играл с душой и темпераментом. У него были свои недостатки: слишком длинные руки, гнусавый голос. Его называли «сопливым Фредериком». Ему посчастливилось встретить Дорваль, и она распознала в нем партнера, который сможет выгодно оттенить ее игру. Она видела его смешные стороны: считала его фатом и находила, что он глуповат, но при этом понимала, что для роли Антони он подходит гораздо больше, чем Фредерик, который постарается переключить все внимание на себя. Высокий рост, правильные черты лица, густые брови делали Бокажа мрачным красавцем, таким героем в духе Байрона. Лирический и суровый, страстный и угрюмый, то пылко влюбленный, то свирепый, то возвышенный, он был буквально создан для роли Антони. Дюма взял рукопись из Комеди-Франсэз и отнес ее Мари Дорваль. Она несколько не походила на мадемуазель Марс, эту аристократическую Селимену. Очень простая, она приняла его с очаровательной естественностью и заговорила слегка нараспев, что придавало ее речи особую прелесть:

— Ах, как мило с твоей стороны, мой добрый пес, что ты пришел... Вот уже полгода, как я тебя не видела...

— Что поделаешь, моя прелесть, но за это время я успел сделать ребенка^[47] и революцию... Так-то ты меня целуешь?

— Я не могу тебя поцеловать... Я снова стала благоразумной...

— А кто совершил эту революцию?

— Альфред де Виньи. Я от него без ума... Любовь — единственное, что он делает естественно, но за это ему можно простить все остальное... Он обращается со мной, как с герцогиней. Он зовет меня «мой ангел». Он говорит, что у меня вдохновенное тело.

— Bravo!.. А я принес тебе роль... И хочу тебе ее прочесть.

— Ты прочтешь ее для меня одной? Вот как! Значит, ты меня считаешь великой актрисой?

В тот же вечер Дюма прочел Мари Дорваль «Антони». Она плакала, восхищалась, благодарила:

— Вот посмотришь, как я скажу: «Но она не закрывается, эта дверь». Можешь не беспокоиться. В твоих пьесах играть не трудно, но они разрывают сердце... Ах, мой пес, когда только ты успел узнать женщин? Ведь ты их знаешь наизусть...

Она попросила его переделать пятый акт. Она нашла его «слишком дряблым». Мадемуазель Марс сочла его слишком жестким. Ох, уж эти актрисы! Дюма провел всю ночь в квартире Дорваль. К утру акт был переделан. В девять часов Мари радостно захлопала в ладоши и закричала:

— Ах, как я произнесу: «Я погибла, погибла!» Подожди-ка, а потом: «Моя дочь! Я хочу обнять мою дочь!..» И потом: «Убей меня!..» И потом... да любую реплику!

— Значит, ты довольна?

— Я думаю... А теперь надо послать за Бокажем, чтобы он позавтракал с нами и послушал пьесу.

Бокаж принял пьесу так же восторженно, как и Дорваль. Виньи присутствовал на нескольких репетициях и заставил Дюма вымарать те места, где герой проповедует атеизм. Третьего мая 1831 года «Антони» был готов к постановке в театре Порт-Сен-Мартэн. Теперь мало кто знает, что в свое время премьера «Антони» наделала не меньше шума, чем премьера «Эрнани».

Театр был набит. Особенно много было молодежи: писатели, художники и просто болельщики. «Там можно было увидеть диковинные и свирепые лица, закрученные кверху усики, бородки клинышком, спускающиеся на плечи кудри, невообразимые куртки, фраки с бархатными отворотами... Слегка смущаясь, выходили из карет разодетые женщины, волосы их были убраны а ля жираф, прически украшали высокие черепаховые гребни, рукава платьев вздувались бочонками, из-под коротких юбок виднелись башмачки, зашнурованные как котурны...» Пьеса имела оглушительный успех. Дорваль ошеломила публику эмоциональностью и искренностью своей игры, каждый ее крик потрясал

правдивостью. Когда она, опускаясь в кресло, произнесла, прелестная в своей женской наивности и бессознательном страхе: «Но я погибла, погибла!» — весь зал рыдал.

Вначале зрителей очень удивило, что Мари Дорваль играет светскую женщину. Казалось, ее хрипловатый голос гораздо больше подходил для мелодрамы из народной жизни. Но пьеса была так умело построена, драматические ситуации так стремительно сменяли одна другую, игра была такой реалистической, что после четвертого акта овации не смолкали до тех пор, пока не подняли занавес к пятому акту. Когда Бокаж, бросив кинжал к ногам разъяренного полковника, хладнокровно произнес: «Она сопротивлялась мне. И я убил ее», — в зале раздались крики ужаса. Для исполнителей главных ролей это был вполне заслуженный триумф.

«Они оба, — писал Дюма, — достигли самых ослепительных высот искусства».

Фредерик Леметр, а он знал толк в театре, всегда говорил, что четвертый акт «Антони» с Дорваль и Бокажем — самое прекрасное из всего, что он когда-либо видел. Дюма достаточно хорошо чувствовал театр, чтобы понять, как важно не позволить публике остыть. Он добился от рабочих сцены молниеносной смены декораций. В пятом акте Дорваль целиком завладевала вниманием зала: «Она плакала, как плачут в жизни — настоящими слезами, кричала, как кричат в жизни, проклинала, как обычно проклинали женщины, рвала на себе волосы, разбрасывала цветы, мяла платье, подчас задирая его, без всякого уважения к традициям Консерватории, почти до колен».

«Публика неистовствовала: в зале аплодировали, плакали, рыдали, кричали. Жгучая страсть пьесы воспламенила все сердца. Молодые женщины поголовно влюбились в Антони, юноши готовы были всадить себе пулю в лоб ради Адель д'Эрвэ. Эта пара великолепно воплотила современную любовь, — писал Готье (следует, конечно, иметь в виду любовь, как ее понимали в 1830 году), — Бокаж и мадам Дорваль буквально жили на сцене. Бокаж играл фатального мужчину, а мадам Дорваль — женщину прежде всего слабую. В те времена считали, что преданности, страсти и даже красоты недостаточно для того, чтобы быть совершенным любовником: необходимо было обладать надменной гордостью, таинственностью на манер Гяура и Лары — словом, быть фатальным героем в байроническом духе; в любовнике должен был чувствоваться герой, жестоко обиженный

судьбой и достойный лучшего жребия...

Что касается Дорваль, то интонации ее, казалось, были продиктованы самой природой, а крики, рвавшиеся из глубины сердца, потрясали зал... Один ее жест, которым она развязывала ленты своей шляпки и кидала ее на кресло, заставлял зал содрогаться, словно перед ним разыгрывалась ужасная сцена. Какая правда была во всех ее движениях, позах, взглядах, когда она в изнеможении прислонялась к креслу, заламывала руки и поднимала к небу бледно-голубые глаза, полные слез...»

Можно себе представить, какое впечатление должна была произвести эта неистовая пьеса на пылкую публику и горячую молодежь того времени. Зрители накинулись на Дюма, каждый хотел выразить ему свой восторг, его обнимали, целовали. Фанатики отрезали фалды его фрака, чтобы сохранить память об этом незабываемом вечере. Элегантные завсегдатаи премьер, обычно столь сдержанные, на этот раз потеряли головы. В двадцать восемь лет Дюма становится самым почитаемым драматургом своего времени. Его ставят рядом с Виктором Гюго. Их теперь часто называют соперниками, и благодаря стараниям дурных друзей их добрые отношения время от времени портятся, но всякий раз ненадолго, потому что оба они были людьми великодушными.

Успех «Антони» был прочным и длительным. Сто тридцать спектаклей в Париже. Светские люди впервые пошли в театр Порт-Сен-Мартэн. В провинции эта драма еще долго оставалась триумфом Дорваль, которая обожала пьесу и, играя в ней, старалась превзойти самое себя. Однажды в Руане невежественный помощник режиссера подал знак опустить занавес сразу после удара кинжалом, не дожидаясь финальной реплики Антони. Взбешенный Бокаж покинул сцену и заперся в своей уборной. Публика, которую лишили долгожданной и столь прославленной развязки, бушевала. Дорваль, хороший товарищ, приняла прежнюю позу в кресле. Бокаж отказался вернуться на сцену. Публика кричала: «Бокаж, Дорваль!» — и угрожала разнести театр. Помощник режиссера, насмерть перепуганный взрывом негодования, поднял занавес в надежде, что Бокаж сдастся. Зал затаил дыхание. Мари Дорваль почувствовала, что надо действовать. И вот покойница поднимается, встает и подходит к рампе. «Господа, — сказала она, — я сопротивлялась ему... И он меня убил».

Затем сделала изящный реверанс и вышла под гром аплодисментов. Таков театр.

Чтобы, понять, каким событием в театральной жизни был «Антони», достаточно прочесть статью Альфреда де Виньи в «Ревю де Де Монд»^[48]. Строгий и серьезный поэт пытался доказать, что это талантливое и живое произведение никак не посягает на мораль. Всем, конечно, известно, что Виньи был любовником Мари Дорваль и что иногда статьи пишутся из любезности, но эта статья звучит вполне искренне.

«Меня несколько не огорчает, — пишет он, — что мелодрама вновь завоевала себе место в литературном мире и что на сей раз она проникла туда через салон 1831 года... Во всяком случае, драма имеет невиданный успех, каждый спектакль напоминает вернисаж, но не одного, а по меньшей мере двадцати салонов... Во всех ложах завязываются любопытные споры о том, какова природа любви, споры перекидываются из ложи в ложу, спорят молодые женщины и мужчины, иногда даже незнакомые... По всему залу то здесь, то там ведутся приглушенные разговоры о проблеме рыцарства, о великой и вечной проблеме — проблеме верности в любви... Уступит ли спорщица своему собеседнику, уступит ли он ей, оба они в конечном счете не избегнут влияния «Антони». О великое искусство сцены, если ты и впрямь совершенствуешь нравы, то на этот раз не смех выбрало ты своим оружием! Нет, на спектакле не смеются и мало плачут, но страдают по-настоящему...»

Виньи, видимо, признает, что «Антони» — прекрасное произведение. Однако имеет ли оно социальное значение?

«...Я отнюдь не допускаю, — продолжает Виньи, — что автору можно приписать намерение, как это пытались сделать некоторые, подорвать обычай вступать в брак и привить обычай убивать тех женщин, чьи мужья живут с ними под одной крышей: это было бы слишком мрачно, и господин Дюма, несомненно, не желает ничего подобного... У него выработалась своя манера — сначала придумать развязку, а затем уже, отталкиваясь от нее, строить всю пьесу. Отличная манера, которая вполне удовлетворяет нашу жажду сильных ощущений... да и потом,

разве успех сам по себе не является уже достаточным оправданием?.. Нужно принимать человека таким, каков он есть, и судить его по тому, каковы его намерения...»

Это шпилька. Виньи, «неприступному, как скала», не нравились и не могли нравиться патетические излияния Дюма. Но дело касалось и Мари Дорваль, и, когда речь заходит о ней, Виньи становился лиричным:

«Госпожа д'Эрвэ — меланхолическая женщина, милая и добрая, во всем покорная мужу; она очень любит свою маленькую дочку, но любит также и наряды, и розовые платья, и красивые шляпки, и цветы... Однако она никогда не забывает о том, что ее любил Антони. Стоит ему появиться вновь — и она погибнет... От него она приемлет все: бесчестье, падение и смерть, приемлет без упрека, восклицая лишь: «Но я погибла, погибла!» Наивные слова, которые Адель из Порт-Сен-Мартэн произносит с таким удивленным отчаянием, что ужас пронизывает сердца зрителей, ибо они понимают, что все эти три опьяняющих и самозабвенных месяца она была настолько глуха ко всему окружающему, что впервые очнулась лишь теперь, очутившись на краю пропасти, и лишь теперь поняла, что ей угрожает...»

В конце статьи Виньи описывает женщин, «очень молодых, очень красивых и очень нарядных», которые бросают свои букеты госпоже Дорваль. «Перегнувшись через барьер лож и улыбаясь сквозь слезы, они простирают к ней руки, словно желая обнять и спрятать под свое крыло поверженную у их ног сестру». Александр Дюма в этот вечер вписал не только «новую страницу в историю сердца», но и новую страницу в историю театра, потому что его триумф заставил Гюго доверить театру Порт-Сен-Мартэн «Марион Делорм», а Виньи — написать «Маршальшу д'Анкр» для Мари Дорваль — «первой трагической актрисы своего времени». Так во второй раз в жизни Дюма выступил как человек, прокладывающий новые пути.

Глава пятая

Mille et Tre

«Mille et Tre» — знаменитая ария Ленорелло в опере Моцарта «ДонЖуан», в которой тот перечисляет «Тысячу три» победы ДонЖуана.



Триумф «Антони» вернул Дюма непоколебимую уверенность в себе. Он очень нравился. Тонкий и стройный, как денди, он приближался к тридцати годам. Взъерошенная шевелюра, голубые глаза, «сияющие, как две капли света», маленькие черные усики придавали ему своеобразное очарование. Успех у женщин окружал его особым ореолом. Любовь к Мелани Вальдор не пережила «Антони». Когда автор превращает женщину в героиню своего произведения, она для него умирает. Да и потом сама Мелани, ревнивая, анемичная, снедаемая жаждой литературной славы, всецело поглощенная своей репутацией, стала совершенно несносной.

Тип донжуана имеет множество разновидностей. Донжуан жестокий и циничный мстит всем женщинам за то, что его презрела одна из них, за то, что его произвели на свет или за свое собственное уродство. Донжуан сатанинский не столько стремится внушить любовь, сколько попать все законы божеские и человеческие. Донжуан разочарованный ищет совершенную любовь, не находит ее и с грустью продолжает свои поиски. Донжуан — добродушный сладострастник берет женщин лишь потому, что

хочет их, точно так же как он собирал бы плоды, если б был голоден. В нем нет ничего сатанинского, он не мстителен, ему бы очень не хотелось огорчать ни одну из своих любовниц; он старается сохранять их всех одновременно, что очень великодушно с его стороны, но утомительно; и так как все они ревнивы, ему приходится лгать всем, что неизбежно приводит его в круг Ада, уготованный для лжецов, то есть в круг Опасности.

Таким донжуаном и был Дюма. Строго говоря, он не порывал с Мелани Вальдор, но все символические герани, расцветавшие в окнах их сердец, давно увяли. В октябре 1830 года, по возвращении из Жарри, он все еще обещал ей ребенка. «Да, мой ангел, — писал он, — я мечтаю о нашем Антони». Дитя любви они собирались назвать в честь дитяти вдохновения. Дюма клялся расстаться с Белль Крельсамер: «К тому же я не думаю, что она способна на глубокую любовь... И потом уверенность в том, что я позабочусь о ее театральной карьере, утешит ее во всем...»

Слова, слова!.. Вернувшись в Париж, Мелани Вальдор обнаружила, что Дюма не только не расстался с Белль Крельсамер (по сцене мадемуазель Мелани), но что она живет неподалеку от него и что он проводит с ней все вечера. Мадам Вальдор пришла пагубная мысль отправиться в один прекрасный день к сопернице и устроить ей чудовищный скандал. Взбешенный Дюма попытался было порвать с ней. Мелани Первая, чувствуя, что ее карта бита, сделала последнюю ставку на отчаяние.

Мелани Вальдор — Александру Дюма: «Я пишу вам эти строки ночью: лихорадка не дает мне спать... Я буду вспоминать лишь Алекса, любящего и благородного, который скорее бы почел себя виновным, чем заподозрил меня... О, тот Алекс был моей радостью, моей гордостью, моим богом, моим кумиром. Да, я убила его, это так, но убила, потому что любила слишком сильно; так обезьяны убивают своих детенышей, сжимая их слишком сильно в объятиях...

Умоляю вас, Алекс, дайте мне возможность считать вас лучшим и благороднейшим из людей. Не допустите, чтоб любовь моя обратилась а стыд и раскаяние; пусть я найду в вас оправдание моих безумств, моих ошибок и не только ошибок. Будьте добры и великодушны. *Отбросьте ненужную гордыню*, которая не позволяет вам выслушать и слово упрека... и будьте снисходительнее ко мне. Ибо от кого, о господи, могу я ждать

жалости и снисхождения, как не от вас? И еще, я не знаю наверное, но опасаясь, что, если вы будете присутствовать при моей кончине, ваши уста, вместо того чтобы покрыть меня поцелуями, произнесут горькие слова упрека, и слова эти лишат меня покоя и *там*. Сжальтесь, на коленях прошу вас о милосердии, — иначе вы не человек...»

Здесь на сцену выступает третье действующее лицо, которое будет играть по отношению к Мелани Вальдор и Дюма ту же роль, что доктор Реньо по отношению к Жорж Санд и Жюлю Сандо. Лицо это — доктор Валеран. Врач, наперсник поссорившихся влюбленных становится одной из традиционных масок романтической драмы.

Завещание Мелани Вальдор — доктору Валерану:

«Понедельник, 22 числа, 11 часов утра.

Я хочу получить от него, до того как он покинет меня:

Мои письма, чтоб их перечитывать, и мой портрет.

Нашу цепочку и наш перстень.

Его часы, которые я у него куплю.

Его бронзовую медаль.

«Молитву», «Озеро»^[49], «Ревность».

Кольца, сплетенные из волос бедного Жака

Его печатку.

И если я умру, я хочу, чтобы все, за исключением портрета, погребли вместе со мной на кладбище Иври, рядом с могилой Жака. Я хочу, чтоб на моей могиле установили простую плиту белого мрамора, на которой сверху был бы высечен день моей смерти и мои годы. Ниже: *Sara di te o di morte*^[50] и по углам плиты — четыре даты:

12 сентября 1827 года [день объяснения в любви],

23 сентября 1827 года [день падения],

18 сентября 1830 года [день отъезда Дюма из Жарри]

и 22 ноября 1830 года [день предполагаемого самоубийства Мелани].

Эти четыре дня, и только они, решили мою участь и мою жизнь.

Я хочу также, чтобы моя мать, пока она жива, ухаживала за геранью, посаженной на моей могиле, и я прошу мою дочь, когда она станет большой, заменить свою бабушку. Я хочу, чтобы меня

не обряжали в саван, а надели бы голубое платье и желтый шарф. Шею пусть обовьют нашей черной цепочкой... Я хочу, чтобы его часы и наш перстень положили мне на сердце вместе с нашей сломанной геранью. В ногах пусть положат его стихи и нашу переписку.

Мой портрет я оставляю матери. Мои волосы — ему, если он когда-нибудь выразит желание их иметь, а также рисунки Буланже и Жоанно. Лауре — мою цепочку и браслеты, Анриетте — кольца, моей дочери — сердолики... Альбом — ему, если он захочет его взять...»

Мелани Вальдор было суждено на сорок один год пережить и это романтическое завещание и роковой разрыв. В театре Порт-Сен-Мартэн вовсю шли репетиции «Антони», а она умоляла доктора Валерана повидать Дюма:

«Милый и добрый доктор, я так исстрадалась, что должна написать вам, потому что вы по крайней мере сочувствуете моим страданиям. Увидите ли вы его сегодня? Умоляю вас, постарайтесь повидаться, с ним. Если он не дома, значит он в Порт-Сен-Мартэн. Пошлите ему свою карточку, и он вас примет... Умоляю вас, повидайтесь с ним. Пусть я хотя бы увижу человека, который видел его. Увы, напрасно я ждала его вчера и позавчера. Он обещал мне прийти, и я положилась на его честь, поскольку не могла положиться на его любовь. Но раз он не пришел после того потрясения, которое вернуло мне его таким, каким я всегда его знала — лучшим из людей, — разве этим он не признался окончательно, что бросил меня и что лишь боязнь моей смерти привела его ко мне? Боже милостивый, почему я не умерла? Но это не заставит себя ждать...

Я все еще тешусь и обманываюсь мыслью, что он меня *любит*, хоть и знаю, что это безумие. Ему — любить меня! Боже милостивый, человек, который может любить госпожу Кр[ельсамер], никогда не любил меня. Вы еще плохо знаете ее, эту госпожу Кр[ельсамер]! Но когда-нибудь вы ее узнаете, и он тоже узнает. О, верить госпоже Кр[ельсамер] больше, чем мне! Жертвовать моей жизнью ради поцелуев без любви, поцелуев, которые она готова продать тому, кто за них дороже заплатит, как только она потеряет надежду *выйти за него замуж!*

О господи, почему он не спрятался где-нибудь у нее в тот проклятый день, когда я настолько потеряла голову, что, забыв о чести и достоинстве, пошла к ней! О, если бы только он слышал тогда, что говорила она и что — я!»

Мелани Вальдор — Александру Дюма, 10 декабря 1830 года:

«И вдали от тебя я думаю только о тебе и чувствую, что жизнь уходит от меня с каждым днем. Поверь, я ни в чем тебя не упрекаю. Ты любишь меня, только меня. Но твоя бесхарактерность убивает меня, а я боюсь умереть. Временами я так плохо себя чувствую. О, воображаю, что станет с тобою, когда ты не сможешь уже воскресить меня и искупить свои ошибки силою любви, когда я не смогу уже ни простить, ни благословить тебя. О Алекс, хотя бы из жалости к себе прими сейчас решение, которое тебе все равно придется принять позже: *выбери одну из нас.*»

Есть в этой двойной интриге нечто ужасное, и не тебе с твоей редкой душой мириться с этим. Ты страдаешь, ты разочарован во всем, в двадцать семь лет твоя жизнь испорчена, и ты готовишь себе будущее, которое всецело противоречит твоим наклонностям и твоим представлениям о счастье!

Я сама толкнула тебя на это, но ты еще можешь вернуться ко мне. Доверься мне. Я буду для тебя всем, чем ты пожелаешь. Я ни в чем не буду стеснять твоей свободы: ты будешь дарить мне лишь то, что повелит тебе твое сердце, ты никогда не услышишь от меня и слова упрека, ты не будешь знать ни ссор, ни капризов и будешь счастлив. Но, Алекс, о мой Алекс, Мелани Серре не должна стоять между нами: она преследует меня, как призрак, она отравляет мой покой, мои надежды, *она убивает меня*, а ты не замечаешь этого. Неужели у тебя не хватит сил порвать с ней, когда на карту поставлена моя жизнь?..»

Белль Крельсамер ждала ребенка от Дюма. Мелани об этом знала.

«Напиши ей, умоляю тебя, напиши ей, мой Алекс, и непременно покажи это письмо мне. Обещай ей деньги, внимание, свое покровительство, уважение, дружбу — все, кроме любви твоей и ласк! Они принадлежат мне, мне одной — или же Мел[ани] Серре и ей одной. Но если так, тогда прощай, мой

Алекс, прощай навсегда! Жива я буду или мертва — мы разлучимся навеки...»

И еще письмо: «Ах, эти бесконечные визиты... Мне рассказывают о ней, о том, что она вот-вот разрешится от бремени: о господи, куда бежать, куда скрыться от этого? И еще она играла в «Генрихе III» и была отвратительна. Но ведь ты видел ее игру и ты все еще любишь ее! Ты говорил мне, что *она перестанет тебе нравиться с того самого момента, как ты увидишь ее на сцене*. О, как ты жесток! Какой позор моя любовь к тебе и как я презираю себя!

Но Мел[ани] Серре уже не молода. Ты говоришь: «Она далеко не молода и не очень красива», — чтобы успокоить меня. Но какое все это может иметь значение, если ты находишь ее молодой и красивой, если ради нее ты губишь меня? О, убивай меня, я буду тебе только благодарна, потому что я совсем потеряла голову. Прощай, прощай, будь счастлив с ней...»

5 марта 1831 года Мелани Вторая произвела на свет девочку, которую называли Мари-Александрина. Так как у Белль Крельсамер остался от предыдущей мимолетной связи на руках сын, которому теперь было шесть лет, дальновидная мать потребовала, чтобы Дюма официально признал их дочь, и добилась своего. Через сорок восемь часов после рождения ребенка все необходимые формальности были выполнены. Автор «Антони», выступивший на защиту незаконнорожденных детей, не мог отказаться дать имя собственным детям. Дюма был добр, но беспечен. Вот уже семь лет, как он забывал признать своего сына Александра. Теперь он захотел быть справедливым.

Александр Дюма — нотариусу Жану-Батисту Моро: «Сударь, я прошу Вас оформить необходимые документы, позволяющие мне признать моим ребенка, зарегистрированного 27 июля 1824 года в мэрии на Итальянской площади под именем Александр.

Мать: мадам Лобэ [*sic!*]. Отец — неизвестен.

Я хочу провести усыновление так, чтобы об этом не узнала мать. Полагаю, что это возможно.

Мое полное имя: Александр Дюма Дави де ля Пайетри, Университетская улица, 25.

Дело это не терпит отлагательства: я боюсь, что у меня отнимут ребенка, к которому я очень привязан. Соболаговолите рассказать лицу, передавшему Вам это письмо, какие дальнейшие шаги надлежит предпринять. Я полагаю, что понадобится свидетельство о рождении; если так, его вам принесет это же лицо. Прошу Вас, сударь, принять мои уверения в глубочайшем почтении.

АЛЕКС. ДЮМА».

Когда в мае 1831 года состоялась премьера «Антони», Мелани Вальдор — прообраз Адели д'Эрвэ, которая это знала, получила от автора билеты в ложу бенуара со следующей запиской: «Посылаю вам, мой друг, семь билетов. Не смог занести их лично, так как должен был присутствовать на одном важном государственном совещании. Я постараюсь зайти к вам в ложу. Ваш друг А. Д.».

Были все основания опасаться, что «Антони» лишь усугубит ярость покинутой женщины. Весь Париж сразу же узнал Адель д'Эрвэ, сходство было слишком очевидным: муж — офицер, единственная дочь, характерные детали туалета, любимые словечки. Мелани, публично скомпрометированная, обвиняла Дюма в том, что он «вывел ее в пьесе». «Вскоре, — жаловалась она, — и мой добродетельный отец и моя подрастающая дочь будут видеть в госпоже Вальдор лишь героиню «Антони». А когда оказалось, что роль Адели будет исполнять не мадемуазель Марс, а Мари Дорваль, Мелани и вовсе рассвирепела, увидев, что ее играет соперница. И еще одно усугубляющее обстоятельство: другая соперница, Белль Крельсамер, исполнила небольшую роль мадам де Кан под оскорбительным псевдонимом «мадемуазель Мелани», и весь театр говорил о маленькой Мари-Александрине, дочери актрисы и автора.

Когда пьеса была опубликована, госпожа Вальдор сочла, что ей нанесено новое оскорбление: вместо предисловия книге было предпослано в виде «посвящения, понятного лишь ей одной» стихотворение, написанное два года тому назад, в те времена, когда Дюма ее любил и ревновал к безобидному капитану Вальдору:

В минуты нежности, восторженной и зыбкой,
Ты говорила мне, с трудом скрывая страх:
«Скажи мне, почему горька твоя улыбка
И слезы почему в глазах?»

Знать хочешь, почему? Среди восторгов страсти
Я мучусь ревностью, я позабыл о том,
Что счастлив в этот миг: мне сердце рвет на части
Мысль о грядущем и былом.

И даже поцелуй приносит мне страданье:
Пусть пылок он, но мне напомнил этот пыл,
Что первые твои восторги и желанья
Не я зажег и пробудил!

Затем Мелани Вальдор смирилась. Пережив разочарование в любви, она не перестала заниматься литературой. У нее был салон: Дюма, прославленный автор «Антони», был бы незаменимым его украшением. «Вы придете, не правда ли? Будет Гюго. Мы проведем вечер в интимной болтовне. Вы доставите мне такую радость...» Она просила поддержать ее во мнении критики: «Мне очень важно, чтобы о моих стихах заговорили в обществе...» В соответствии с лучшими традициями она предлагала ему дружбу:

«Любовь, которой больше нет, превратилась в некий культ прошлого. Похвалы в ваш адрес снова возвращают мне вас. Тогда мне кажется, будто я снова завоевала вас и вы вновь стали моим. Ах, все, что в вас есть доброго и хорошего, связало наши души нерасторжимыми узами. Отныне я буду жить *не для себя*, и, если я буду знать, что вы счастливы, любимы и почитаемы, вы возродите меня к новой жизни. Прощайте, друг мой, брат мой, прощайте...»

Обе женщины, Мелани Первая и Мелани Вторая, продолжали еще некоторое время писать друг другу оскорбительные письма. Поэтесса обвиняла актрису в том, что она перехватывает ее письма к Дюма и пересылает их капитану Вальдору, чтобы повредить ей. Дюма добился возвращения украденных писем и лояльно передал их своей корреспондентке. Последняя требовала от него и других услуг, несколько необычного свойства: «Я предпринимаю в настоящее время кое-какие меры к тому, чтобы перевести Вальдора в Париж. Если Вы можете мне в этом помочь, буду Вам весьма признательна...»

Последнее письмо Мелани Вальдор было столь же путаным, сколь

бесконечно длинным.

«Александр, друг мой, несмотря на все твои недостатки, ты лучше большинства мужчин. Я сравниваю тебя с ними и больше не краснею при мысли о том, что любила тебя... Извинением тебе служит твой возраст и африканский темперамент: когда ты меня любил, ты был еще молод и чист душой; ты не готовил хладнокровно мое падение; ты не прибегал к хитростям и уловкам, чтобы погубить меня... Любовь твоя была безыскусна и чужда расчетливости...»

Она извинялась за то, что плохо приняла тайное посвящение к «Антони»: мнимый друг дал ей плохой совет.

«О, прости мне мои письма, прости все, что я писала сб «Антони» и о стихах. Все это было написано под его диктовку. Он хотел, чтобы я возвратила тебе «Антони» и книги Байрона. У меня на это не достало смелости... Теперь я понимаю, как жестоко я ошибалась, поверив тому, что было продиктовано его ненавистью к тебе. Он представлял мне все в ложном свете... Да, твои стихи были *посвящением, понятным лишь нам одним*. То, что он отбросил их с гневом и пренебрежением, не было еще достаточным основанием, чтобы и я вменила их тебе в вину. За эти строки, написанные тобой, я должна была быть тебе благодарна. Он отравил мне все!..

Расскажи мне о твоих драмах. Ты доволен ими? Надеюсь, что да. Суждение публики было для тебя очень благоприятным. Даже среди друзей Виктора все открыто отдавали предпочтение «Антони». Между тем в «Марион» есть поистине великолепные места, а IV акт просто прекрасен. О, работай, тебя ждет огромное будущее, большая слава! И будь счастлив! Пусть хоть один из нас по крайней мере возьмет от жизни все, что в ней есть лучшего...»

Белль Крельсамер, которая всегда была на страже, перехватила и это письмо. Доктора Валерана срочно отправили к Дюма с запиской: «Я прошу господина Дюма, когда он мне вернет мои четыре письма, — а после того, что он мне написал, я уверена, он мне в этом не откажет, — я прошу его ни в коей мере не считать себя со мной связанным и больше не интересоваться мной».

Дюма поймал ее на слове и стал открыто жить с Мелани Серре. Но он нередко встречал Мелани Первую у общих друзей. Видел он ее и в Арсенале, у Нодье, где она в «чудовищном красном платье» танцевала галоп со своим супругом. Пока играли в жмурки и жгуты, Дюма издали разглядел ее как следует, нашел некрасивой и удивлялся тому, как он мог ее любить. И все же ей он был обязан «Антони»,

О горе, горе мне! Я всемогущим небом
Заброшен в этот мир, где я для всех чужой...

Он все еще продолжал писать такие стихи в духе Байрона, хотя под маской Антони этот добродушный бунтарь весело нес тройное бремя: жить на свете, быть мужчиной, да еще мужчиной, которого непрестанно атакуют женщины. Больше всего ему хотелось, чтобы между фуриями царило согласие. Мелани Вальдор вышла из игры, но Катрина Лабе и Белль Крельсамер, которая с тех пор, как стала жить по-супружески с отцом своей дочери, велела именовать себя *мадам Дюма*, беспрестанно ссорились из-за маленького Александра. Ребенок от этого страдал.

Иногда превосходный, но чувственный и легкомысленный человек может причинить много зла, сам того не желая и даже о том не подозревая. Дюма казалось вполне естественным то и дело менять любовниц, но при этом он искренне желал, чтобы брошенные им женщины были счастливы. Когда его непостоянство приводило их в отчаяние, он старался задобрить их подарками. Сын Катрины Лабе на всю жизнь запомнил день, когда отец, которому его плач мешал работать, схватил его и бросил со всего размаха на постель. Перепуганная мать устроила Дюма сцену. На следующий день Дюма вернулся с покаянным видом и принес в знак примирения дыню. И сколько еще таких искупительных дынь приходилось ему приносить за свою жизнь, хотя он был очень добр и никогда никого не хотел обидеть!

В 1830 году, как только ему удалось заработать немного денег, он поселил Катрину и ее сына в небольшом домике в Пасси. Время от времени он наезжал туда, одетый в форму артиллериста национальной гвардии, подышать деревенским воздухом. Когда мальчик заболел или попадал в беду, мать кидалась разыскивать Дюма в Лувре, где он стоял на посту. Однажды, когда врач велел поставить мальчику пиявки, малыш оказал отчаянное сопротивление. Отец поклялся, что ему не будет больно.

— Ну ладно, — сказал маленький Александр, — тогда поставь их себе.
— И Дюма немедленно приложил две пиявки к ладони левой руки.

Отец очень старался завоевать любовь сына, но ребенок, естественно, предпочитал ему ту, которая воспитала его. Катрина Лабе была женщиной «простой, прямой, честной, работающей, преданной и порядочной во всех своих побуждениях». И несомненно, что именно от брабантской белошвейки Дюма-сын унаследовал здравый смысл и здоровую мораль, которые будут уравнивать в его характере буйное воображение, пылкость и тщеславие, доставшиеся ему от предков по отцовской линии. Позже он с нежностью будет описывать их скромную, безукоризненно чистую квартирку и мастерскую, где мать распределяла между работницами изделия, скроенные ее руками.

Акт об усыновлении от 17 марта 1831 года, облакавший родительскими правами автора «Антони», ознаменовал начало ожесточенной войны между Катриной Лабе и ее бывшим любовником. Подстрекаемый Белль Крельсамер, которая обвиняла Катрину в вульгарности, невежестве и утверждала, что та недостойна воспитывать сына, Дюма-отец потребовал, чтобы ему отдали ребенка. Мать подала на него в суд и проиграла процесс. Защита могла бы выиграть дело, если бы Катрина позаботилась объявить в день родов о своем намерении усыновить незаконнорожденного по форме, предписываемой французскими законами. Не имея на этот счет специальных указаний, врач-акушер и два соседа (один — портной, другой — зубной врач) отправились в мэрию, где зарегистрировали рождение младенца «Александра, родившегося 27-го числа текущего месяца, в шесть часов вечера, в квартире своей матери... *незаконнорожденного ребенка мадемуазель Катрины Лабе*», тогда как им следовало после слова «незаконнорожденного» приписать «но усыновленного». В 1831 году Катрина, в свою очередь, забрала ребенка у отца и официально усыновила его 21 апреля. Слишком поздно. Отец имел право первенства. Тщетно Катрина Лабе пыталась бороться, то пряча любимого сына под кроватью, то заставляя его выскакивать в окно. В конце концов «суд отдал приказ полицейскому комиссару забрать у матери семилетнего Александра Дюма-сына и поместить его в пансион».

Нетрудно представить, какое смятение внесла в душу ребенка долгая борьба между родителями. Он хотел бы уважать обоих, но все же ему пришлось сделать выбор, и он встал на сторону матери. Она призывала его быть свидетелем того, как плохо заботится о них отец. Он и сам видел, что мать ведет безупречную жизнь, тогда как отец сожительствует с чужой женщиной. Он начинал смутно понимать, что его мать в чем-то серьезно обидели, что она жертва несправедливости. Дети никогда не говорят о том, что у них на сердце, свое тщательно скрываемое горе они выдают лишь

припадками гнева, которые нам кажутся беспричинными. В сорок два года Дюма-сын признается своему другу, что он «так никогда и не простил отца».

Когда маленького Александра заставили жить под одной крышей с любовницей отца, он стал настоящим бунтарем. Госпожа Крельсамер, пытавшаяся приручить сводного брата своей дочери, натолкнулась на жестокое сопротивление. Она писала Дюма:

«Мой друг, ты знаешь, как я люблю твоего сына, знаешь, что я с ним не только не строга, а, наоборот, очень снисходительна. Так вот, мой друг, я должна тебе сказать, что ты не сможешь воспитать его дома. В самой основе его воспитания есть нечто порочное, и это необходимо исправить как можно скорее. Он, несомненно, очень бы к тебе привязался, если бы ты мог постоянно им заниматься, но сколько времени ты можешь ему уделить? Самое большее — часа два в день... В твое отсутствие никто не может с ним сладить. Даже причесать его не удастся. Не помогают ни просьбы, ни угрозы. Он не хочет учиться читать и писать и предается шалостям с таким буйством, что я зачастую вынуждена его бранить. Но самое худшее, корень всего зла в том, что ему разрешают видаться с матерью по воскресеньям и четвергам. После свиданий с ней он возвращается еще более своенравным, капризным и угрюмым, чем обычно. Я твердо убеждена в том, что мать настраивает его против нас и даже против тебя. Он больше не справляется о тебе, как бывало в первые дни. Он думает лишь об одном — о матери. Все остальные для него ничего не значат. Во вторник он вернулся домой в три часа, и — что же ты думаешь? — завтра он снова идет к ней. Она сама придет за ним, и он, наверное, останется у нее ночевать и проведет гораздо больше времени с ней, чем без нее. Вот в чем корень зла, и день ото дня все это будет лишь ухудшаться.

Сегодня Адель водила его гулять... Он устроил скандал, требуя, чтобы она вела его к матери, вернулся весь в слезах, разозлившись оттого, что его желание не исполнили. Чем больше он ее видит, тем больше ему хочется ее видеть и тем больше он отчуждается от тебя. И твердость, которую ты было проявил, не принесет из-за этого никаких плодов. Ты ставишь между собой и сыном женщину, которая все свои силы направляет на то, чтобы

вытеснить тебя из его сердца. И придет время, когда ребенок, исполненный любви к матери, скажет тебе: «Ты разлучил меня с матерью, ты был жесток к ней». Вот чему его будут учить...

Я глубоко убеждена в своей правоте, мой ангел, и будь я твоей женой, а этот ребенок — нашим сыном, я сказала бы то же самое. Твой мальчик во многих вещах обладает сообразительностью десятилетнего, но он всегда будет верить матери во всем и скорее, чем тебе. Если ты хочешь предотвратить это, нельзя терять времени, ты и сам потом будешь радоваться тому, что разлучил его, по крайней мере на некоторое время, с матерью. Было бы очень хорошо, если бы ты написал *ей* об этом. Целую тебя тысячекратно, мой ангел, и не забудь порвать это письмо».

Дюма, которому быстро наскучила эта борьба, решил снова поместить сына в пансион. Сначала суд департамента Сены выбрал заведение Вотье, находившееся на улице Монтань-Сент-Женевьев. Дюма-сын описал в «Деле Клемансо» последний день, который он провел с матерью, серебряные бокал и прибор, которые купила ему бедная женщина, узелок с вещами, который она ему приготовила: «Каждая из этих вещей говорила о деньгах, заработанных в поте лица, о работе, продолжавшейся далеко за полночь, а иногда и до зари. Сознает ли человек, который делает матерью бедную девушку и заставляет ее содержать ребенка на свои заработки, сознает ли он всю меру своей вины?..» Привыкший к нежной материнской опеке, мальчик глубоко страдал от жестоких нравов мужской школы, к которым никак не мог привыкнуть.

Глава шестая

ПАРИЖ В 1831 ГОДУ



Париж не устраивала революция, остановившаяся на полпути. Как и Дюма, столица дулась на режим. Каждый вечер около театров Жимназ и Амбигю мальчишки швыряли камнями в полицейских. Театральная публика продолжала волноваться. Между корифеями романтизма не было прежнего единства. Ламартин пустился в политику. Сент-Бёв и Гюго не разговаривали друг с другом. В 1830 году Гюго, Виньи и Дюма образовали триумвират драматургов. Но триумvirаты всегда недолговечны. Как-то Гюго сказал с негодованием Дюма:

— Веришь ли, но этот журналист утверждает, будто Виньи первым создал историческую драму!

— Вот дурак! — ответил Дюма. — Ведь все знают, что это сделал я.

Триумф «Антони» «положил начало расколу среди молодых людей, которые до сих пор сражались под общим знаменем, вместе пробивали брешь «Генрихом III» и шли на приступ с «Эрнани». Теперь они разделились на две группы: сторонников господина Виктора Гюго и сторонников господина Александра Дюма, они больше не шли все, как один, на врага, а по временам и сами постреливали друг в друга». Отношения Дюма с братьями-писателями, несмотря на его неиссякаемое добродушие, становились все более и более натянутыми. Многие завидовали его стремительному возвышению, некоторые, а их было

немало, поговаривали, что он не заслужил такого успеха. Его тильбюри и «тигр»^[51] скорее раздражали публику, чем забавляли ее. Маленький рыжий Сент-Бёв, критик с тонким и требовательным вкусом, презрительно говорил: «Дюма? Да это так же легковесно, как завтрак вечного холостяка. «Христина»? Второсортная пьеса, настолько ниже «Эрнани», насколько иссоп ниже кедра». Суждение тем более суровое, что Сент-Бёву не нравился и «Эрнани». Однако брешь пробил Дюма, и «Антони», что бы там ни говорили, ничем не был обязан «Эрнани». Дюма рычал: «Завтрак вечного холостяка»? Предоставьте мне заниматься стряпней, и тогда мы посмотрим, кто кого».

Сам Гюго был по-прежнему дружелюбен и учтив с Дюма. Он считался теперь главой романтической школы. Любое предисловие Виктора Гюго молодежь принимала как приказ генерала армии. Гюго хотел быть мыслителем. Дюма довольствовался ролью развлекателя. «И хотел зарабатывать побольше денег», как добавили бы его недоброжелатели. Он и правда в них нуждался, но только для того, чтобы раздавать их направо и налево, расточать и мотать, а вовсе не для того, чтобы копить. Гюго, великий поэт, вел жизнь бережливого буржуа, Дюма — расточительного и беспутного представителя богемы. И по вечерам в театре Гюго гораздо бдительнее, чем Дюма, следил за сборами. «Виктор ужасен со своими постоянными заботами о сборах», — писал Фонтанэ^[52] в «Дневнике». Но зато Гюго получал царские доходы.

Дюма, прослушав «Марион Делорм» в чтении Гюго, заявил во всеуслышание: «Он нас всех оставил далеко позади! — и потом добавил тихо: — Ах, если б в придачу к моему умению писать драмы, я бы еще умел так писать стихи!» А перечитав «Марион Делорм», объявил: «Я отдал бы год жизни за каждый из этих великолепных актов, но тем не менее я испытываю к Гюго только восхищение, живейшую дружбу и ни крупицы зависти...» И он был вполне искренен. Насколько искренен, что, прочитав «Марион Делорм», захотел переписать свою новую пьесу в стихах «Карл VII у своих вассалов» прозой. Однако актеры отговорили его от этой затеи, и 20 октября 1831 года состоялась премьера в Одеоне с величественной мадемуазель Жорж в главной роли. Еще один сюжет, который он заимствовал из раскрытой наугад книги. Тема? Та же, что в «Андромахе» Расина. Женщина, влюбленная в человека, не отвечающего ей взаимностью, жаждет его смерти, и человек, который ее безответно любит, совершает это убийство. Король Карл VII и Агнесса Сорель введены в пьесу исключительно для завлекательности, а ее главные персонажи — это

жестокая Беранжера, ее муж граф Савуази и убийца Якуб Сарацин, вывезенный графом из крестового похода. Крестоносец когда-то спас Якубу жизнь, но Сарацин любит Беранжеру и, подстрекаемый ею, убивает своего спасителя. Пьеса не представляла никакого интереса, за исключением нескольких удачных монологов в роли Якуба, где речь идет о расовых предрассудках — вопросе, всегда волновавшем Дюма.

Нельзя сказать, чтобы пьеса потерпела полный провал. Вовсе нет. Но на премьере публика оказала ей ледяной прием. Импозантная мадемуазель Жорж играла Беранжеру, женщину двадцати пяти лет, хрупкую и бледную, — роль, явно рассчитанную на Мари Дорваль. Красавец Локруа исполнял роль молодого араба Якуба — роль, рассчитанную на Бокажа. Этим объяснялись все недостатки постановки. Дневник Фонтанэ: «Пьеса гораздо ниже обычного уровня Дюма. Это «Отелло» шиворот-навыворот, вокруг которого накручено невесть сколько классических и романтических перепевов. Своеобразие ее — своеобразие инкрустации; по стилю она эклектична и орнаментальна».

Дюма взял на премьеру сына в надежде, что мальчик, разделив с ним триумф, вернет ему свою любовь. Позже, став прославленным драматургом, Александр Дюма-сын вспомнит этот странный вечер, когда он все время повторял про себя: «Все это сделал папа», а потом они печально шли пешком домой по ночному Парижу, и большая рука отца, сжимавшая его маленькую ручку, слегка дрожала. «Папа несчастен», — думал мальчик. Он чувствовал, что сейчас лучше не говорить о пьесе, а может, и не говорить вообще. Публика тем не менее валила в Одеон.

Для художника, если только он не отличается исключительной добросовестностью, склонность к мотовству опасна. Ибо тогда он не в силах противиться соблазну и берется за любые поделки, лишь бы за них хорошо платили. К создателю «Антони», ставшему теперь признанным мастером драмы, обращались многие начинающие писатели с просьбой стать их соавтором.

Проспер Губо, основатель известного пансиона, и Жак Бедэн, банкир, увлекающийся литературой, принесли Дюма черновой набросок драмы «Ричард Дарлингтон», развязку к которой они не могли придумать. Арель предложил на главную роль Фредерика Леметра, Дюма переписал всю пьесу для Фредерика. Фредерик был актером совершенно иного плана, чем

Бокаж. Чтобы выгодно оттенить талант актера, героя следовало сделать циником и сверхчеловеком. И Дюма перекроил для Леметра весь текст по его мерке. Так появились острые диалоги и разящие реплики, в которых Фредерик был так силен. Уже шли репетиции, а авторы все еще не знали, как им отделаться от Дженни, жены Ричарда. «Выбросьте ее из окна», — посоветовал Дюма. Непреднамеренное убийство стало кульминационным моментом пьесы. Луч зеленого света, падая на лицо актера, придавал ему такой устрашающий вид, что Луиза Нобле (исполнительница роли Дженни) совершенно неподдельно вопила от ужаса.

Фонтанэ, который присутствовал на последней репетиции, записал: «Отменная мелодрама. «Молодая Франция»^[53] — кожаные шляпы, рединготы с огромными отворотами, взлохмаченные шевелюры, зеленые клеенчатые плащи — ни дать ни взять ящерицы под дождем. Петрюс Борель^[54] и его поэзия. Уф!»

Нагромождение ужасов действовало на публику: в зале лица зеленели и искажались не меньше, чем на сцене. В конце пьесы Дюма, увидев, что Мюссе смертельно побледнел, спросил:

— Что с тобой?

— Я задыхаюсь, — ответил Мюссе.

Сумма сборов была внушительной. Но Дюма уже предложили новый сюжет. Бокаж, который сохранил самые приятные воспоминания об «Антони», принес ему набросок пьесы Анисе-Буржуа, довольно ловкого драмателю. Из этого наброска Дюма создал пьесу под названием «Тереза», в которой ему самому не нравилось ничего, кроме одной роли молоденькой девушки; об этом образе он без ложной скромности говорил:

— Это цветок того же сада, что Миранда в «Буре» и Клерхен в «Эгмонте».

На эту роль Бокаж предложил дебютантку, по его словам, очень талантливую.

— Как ее зовут? — спросил Дюма.

— О, вы ее вряд ли знаете. Ее зовут Ида; она играет на Монмартре, в Бельвиле, но она очень способная, прелестная и прямо создана для этой роли.

Прелестной Иду Ферье мог назвать только очень восторженный человек. Она была маленького роста, дурно сложенная, привлекательного в ней только и было, что красивые глаза, хороший цвет лица да густые белокурые волосы. Она пыталась подражать Дорваль, ее «выразительным плечам», «шее, волнующейся, как у горлицы». Но в ней не было

неподражаемой естественности Мари.

Настоящее имя Иды Ферье было Маргарита Ферран; она повсюду таскала за собой свою мать-вдову. И хотя в «Терезе» у Иды была маленькая роль, она имела успех и после пьесы в волнении бросилась на шею автору, говоря, что «он обеспечил ее будущее». Тогда она еще не знала, насколько она права. Дюма повез ее ужинать, потом — к себе домой. Она стала его любовницей. Он гордился этой победой и не уставал восхищаться молодостью, красотой и поэтичностью своей новой возлюбленной. Его восхищало в ней все, вплоть до ее целомудрия. «Это статуя из хрусталя. — говорил он. — Вы думаете, снег белый, лилии белые, алебастр белый? Вы ошибаетесь. На всем свете нет ничего белее ручек мадемуазель Иды Ферье». Такие тирады вызывали улыбки.

В «Терезе» Ида Ферье могла еще произвести впечатление. Став любовницей Дюма, она получила уверенность в том, что отныне у нее будет роль в каждой новой пьесе ее друга, прекратила работать над ролями и опустилась «ниже уровня посредственности. Она стала карликовой Дорваль, точно так же как Мелинг^[55] был карликовым Фредериком... Она стояла на сцене, некрасиво растопырив слишком длинные руки, и разевала огромный рот для того, чтобы проямлить слова, смысла которых не понимала». Ида представляла серьезную опасность для Дюма. Пока романтики писали для талантливых актеров, им все сходило с рук. Банальная фраза, произнесенная Дорваль, потрясала публику; в устах Иды Ферье она оставалась банальной. Драматургу лучше бороться с великим актером, чем властвовать над посредственностью. Это усложняет жизнь, зато спасает произведение.

Из «Дневника» Фонтана мы узнаем, что частое соавторство Дюма вызывает беспокойство в литературных кругах:

«Понедельник, 6 февраля. Иду смотреть «Терезу» в Опера-Комик... Пьесу хорошо принимают, тема ее, как всегда, адюльтер, только на этот раз двойной... Это пьеса Дюма, хотя у нее есть и другой автор, но подписи своей он не поставил, таково условие.

*Четверг, 16 февраля. Был у Дюма и завтракал с ним, его красавицей и Губо... Потом у мадам Гэ. Дюма тоже был там и вел серьезные разговоры о республике и революции. Его хотят заставить заплатить за порох, который он привез из Суассона: отменная шутка. Он привел с собой господина Анисе-Буржуа, его соавтора по «Терезе». Они собираются написать так еще четыре драмы. *For shame!*^[56]. Возвращался вместе с Дюма в два часа.*

Лунный свет освещал нам путь».

Когда Ида Ферье вторглась в жизнь Дюма, Белль Крельсамер находилась в турне. Она вернулась — и разразились семейные бури. Женщинам, которые не возражали бы против quasi-восточных привычек Дюма, было очень просто жить с ним. Он требовал лишь одного — уважения к своему труду. Во всем остальном он был добр до слабости. С тех пор как у него завелись деньги, он стал кормить своих нынешних любовниц, бывших любовниц, их семьи, своих детей, друзей, соавторов, льстецов. Это составляло целую орду нахлебников, часто неблагодарных. Когда не знали, где пообедать, говорили: «Пойдем к Дюма». Его обычно заставляли за работой. На каминной доске лежали последние луидоры, оставшиеся от гонорара.

— Дюма, мне нужны деньги, я их возьму, хорошо?

— Пожалуйста.

— Я верну их вам через неделю.

— Как вам будет угодно.

Он любил устраивать развлечения и участвовать в них. Король Луи-Филипп как-то дал костюмированный бал. Незадолго до карнавала Бокаж и все друзья принялись уговаривать Дюма, который после первых успехов в театре стал набобом от литературы и которому очень нравилась эта роль, в свою очередь, дать бал у себя дома. «У вашего бала, — уверяли друзья, — будут два преимущества: не придут те, кто ходит к королю, и не будет Академии». Препятствие заключалось в том, что в квартире Дюма было всего четыре комнаты, а нужно было пригласить по меньшей мере четыреста человек. К счастью, на той же лестничной площадке пустовала квартира, единственным украшением которой были голубовато-серые обои. Дюма попросил у хозяина дома разрешения использовать ее для праздника и получил согласие. Оставалось только подготовить помещение.

Самые прославленные художники того времени: Эжен Делакруа, Селестен Нантейль^[57], Декан^[58], Бари^[59], братья Жоанно^[60], кузены Буланже были друзьями Дюма и участвовали в оформлении помещения. Каждый должен был выбрать для своей картины сюжет из произведения какого-нибудь из приглашенных писателей. Театральный декоратор Сисери затянул стены холстом, и за несколько дней до праздника художники приступили к работе. Пришли все, кроме Делакруа, который появился только в последний день и, импровизируя, создал за несколько часов великолепную композицию.

Оставалось решить еще один вопрос, впрочем, самый важный, по

мнению Дюма, очень гордившегося своим поварским искусством и умением задавать хорошие обеды, а именно — составить меню ужина. Дюма, разумеется, сразу пришла мысль сделать основой угощения дичь, которую он сам настреляет, — как говорится, «и дешево и сердито». Он получил у Девиолена разрешение на охоту в государственных лесах, отправился туда с несколькими друзьями и привез девять косуль и трех зайцев.

Как и в день своего первого приезда в Париж, он решил обеспечить остальное меню путем товарообмена. Он послал за знаменитым ресторатором Шеве, и тот согласился за трех косуль поставить ему либо семгу весом в тридцать ливров, либо севрюгу в пятьдесят. Четвертую косулю обменяли на гигантский студень, а двух оставшихся зажарили и подали на стол целиком. Заботу обо всех остальных приготовлениях возложили на хозяйку дома, то есть на Белль Крельсамер.

Она постановила, что маскарадный костюм или хотя бы венецианское домино обязательны для всех приглашенных. Самые прославленные и красивые актрисы Парижа обещали прийти. Светские женщины выпрашивали приглашения. К семи часам вечера Шеве соорудил буфет, достойный трапезной Гаргантюа. Три сотни бутылок бордо подогревались, три сотни бутылок бургундского охлаждались, пятьсот бутылок шампанского стояли на льду. В обеих квартирах, утопающих в цветах, играли оркестры.

К полуночи, когда съехались все гости, бал являл собой удивительное зрелище. Там были все великие люди Парижа, не только художники, писатели и актеры, но и такие серьезные люди, как Лафайет, Одилон Барро ^[61], Франсуа Бюлоз из «Ревю де Де Монд», доктор Верон ^[62] из «Ревю де Пари». Мадемуазель Марс, Жоанни, Мишло, Фирмен явились в костюмах, в которых они играли в «Генрихе III и его дворе». Молодые актрисы были вне себя от счастья, когда за ними ухаживал Лафайет, и в один голос твердили, что он, должно быть, такой же галантный и любезный, каким бывал до революции 1789 года на придворных балах в Версале. Россини, одетый Фигаро, соперничал в популярности с Лафайетом.

Вряд ли у нас хватит фантазии вообразить, что это был за бал. Газета «Артист» писала:

«Будь вы принцем, королем, банкиром, имей вы цивилинный лист в двенадцать миллионов или даже миллиардное состояние, — все равно вам не удастся устроить такой блестящий, такой веселый, такой неповторимый праздник. У вас будут более

просторные апартаменты, лучше сервированный ужин, а может, и лакеи у дверей... Но ни за какие деньги вам не купить этих импровизированных фресок кисти лучших мастеров и не собрать такой молодой и озорной компании художников, артистов и других знаменитостей. И главное, у вас не будет искренней и заразной сердечности нашего первого драматурга Александра Дюма...»

Справедливые слова. Какой миллионер мог бы приобрести эти комнаты, расписанные, как лоджии Рафаэля? Кто еще мог бы собрать в своем доме столько красавиц и великих людей? Белль Крельсамер в костюме Елены Фурман, с широкополой черной шляпой, украшенной белыми перьями, выглядела благородно и грациозно. Александр Дюма, затянутый в дублет с огромными ниспадающими рукавами, изображал брата Тициана, Селестен Нантейль — старого рубаку, Делакруа — Данте, Бари — бенгальского тигра, Альфред де Мюссе был в костюме паяца, Эжен Сю — в домино. Библиофил Жакоб (Поль Лакруа) нарядился в остроконечную шапочку и бархатный камзол. Были тут и барон Тейлор и Бокаж в костюме Дидье из «Марион Делорм». Мадемуазель Жорж, одетая итальянской крестьянкой, казалась императрицей. Словом, сюда прислали своих представителей все сословия, все эпохи, все народы; были мобилизованы история, география и прежде всего фантазия. В три часа утра подали раблезианский ужин. Трудно передать впечатление, которое производил зал. «Все перемешалось: бродяги, воины, монахи в рясах с капюшонами, прически с плюмажами, блюда с дичью, бутылки, окорока, бокалы, покрасневшиеся лица; перед этим меркнут и брак в Кане Галилейской и свадьба Гамачо^[63]...»

После ужина снова начались танцы. Гости в шумном галопе носились по квартире, пол «сотрясался от этого бешеного танца. Казалось, — писал далее «Артист», — будто ты присутствуешь на шабаше, куда с четырех сторон света прилетели молодые красавицы-ведьмы вербовать души для дьявола. Даже самые серьезные гости заразились этим неистовым весельем».

Одилон Барро, государственный муж, известный своим высокомерием и сдержанностью, танцевал с Глупостью^[64]. В девять часов утра все гости с музыкантами во главе высыпали на улицу и в последний раз пустились в галоп, образуя длинную цепь, голова которой уже показалась на бульварах, а хвост все еще извивался по Орлеанской площади.

Этот неистовый галоп казался символом. Всего десять лет прошло с

тех пор, как молодой человек покинул провинциальный городишко с пятьюдесятью франками в кармане, твердо решив завоевать Париж. Прошло десять лет, и вот уже он, и только он, смог увлечь все, что есть самого блестящего, умного и прекрасного в Париже, в эту гигантскую фарандолу. Дизраели^[65], когда его спросили, как он представляет себе идеальную жизнь, серьезно ответил: «Победным шествием от юности к могиле». Дюма идеальная жизнь рисовалась роскошной фарандолой друзей, отплясывающих в ритме галопа. И вот уже за ним и впрямь несется целый кортеж, подпрыгивая в ритм его скрипок; мы будем свидетелями того, как в дальнейшем он соберет вокруг себя читателей всего мира и они будут жадно внимать его рассказам, таким же захватывающим и веселым, как эта музыка, — и увлечет их за собой, переодетых мушкетерами и кардиналами, в бесконечном галопе, который скачет и поныне.

Часть четвертая БЛУДНЫЙ ОТЕЦ



Глава первая «НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ»

*Провозгласим «ура» в честь этой мелодрамы,
Она вчера до слез расстрогала Марго.*

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ



Революции похожи на болезни с коротким инкубационным периодом, но бесконечно долгим выздоровлением. Первые годы правления нового короля протекали в беспокойной обстановке, театр от этого страдал. В Париже не прекращались волнения, в Вандее герцогиня Беррийская^[66] собирала недовольных; повсюду свирепствовала холера, и страх перед заразой вредил сборам. Тогда никто в точности не знал причин этой грозной эпидемии — микробы еще не были открыты, но по всему свету от нее умирало множество людей, возможно, в результате испуга и самовнушения. Врачи запрещали есть сырые овощи и фрукты.

Дюма в то время, впрочем, как и всегда, испытывал денежные затруднения. Приятель, который имел привычку упрекать Дюма в мотовстве, был однажды очень удивлен, увидев, что тот ест огромную дыню-канталупу.

— Какая беспечность! — закричал гость. — Ты ешь дыню? В такое

время?

— Мой милый, зато их отдают почти даром.

После чего он заболел холерой, как и все остальные, однако в отличие от всех излечился, выпив полный стакан эфира. Он уже выздоравливал, но еще не вставал с постели, когда ему нанес визит остроумный и коварный Феликс Арель, директор Порт-Сен-Мартэна.

— А, это вы, Арель? — приветствовал его Дюма. — Не бойтесь холеры?

— Эпидемия кончилась.

— Вы в этом уверены?

— Ей пришлось свернуться, а то она перестала окупать себя, — ответил Арель. — Ах, друг мой, сейчас очень подходящий момент, чтобы предпринять новую постановку... Успокоившись, публика накинется на развлечения, и это самым благоприятным образом отразится на театре... Дюма напишите для меня пьесу.

— Но посудите сами, Арель, разве я сейчас в состоянии написать пьесу?

Арель объяснил, что речь идет лишь о переделке пьесы. Молодой человек из Тоннера (департамент Ионн), по имени Фредерик Гайярде, принес в Порт-Сен-Мартэн «недурно задуманную», но очень плохо написанную пьесу. Арель все же договорился с ним и с его разрешения передал рукопись критику Жюлю Жанену, жившему в том же доме, что и чета Арель — Жорж. Жанен переписал драму.

— В чем же дело?

— А в том, что теперь она написана лучше, но не стала более сценичной.

Словом, Арель хотел, чтобы Дюма целиком переделал пьесу.

— А у меня не будет неприятностей с этим юношей из Тоннера?

— Да что вы, дорогой мой, это суций барашек!

— Понимаю... И вы хотите его остричь?

— С вами положительно невозможно разговаривать.

И Арель не ушел, пока Дюма не дал ему обещания переделать пьесу за две недели.

— Позаботьтесь, чтобы там была хорошая роль для Жорж! — кричал на прощание директор.

Удивительно, что самая известная из драм Дюма, выдержавшая не одну тысячу представлений и по сей день считающаяся типичным образцом французской мелодрамы, трескучие реплики из которой цитируют (смеясь) и поныне, вышла первоначально из-под пера Фредерика

Гайярде из Тоннера (департамент Ионн), о чем никто, или почти никто, сейчас не знает. Заключается ли в этом жестокая несправедливость по отношению к Гайярде? Нет, потому что понадобилось вдохновение Дюма, его наивная и великодушная философия, чтобы сообщить этой нелепой истории динамизм и стиль, сделавшие ее классическим образцом театральных излишеств.

Каков сюжет «Нельской башни»? В начале XIV века в Париже прямо напротив Лувра (на том самом месте, где в наши дни находился дворец института) возвышалась старая башня, фундамент которой омывали воды Сены. Таинственная и зловещая, она служила не только дозорной башней, но и тюрьмой. Так вот, каждое утро стража находила в реке, несколько ниже по течению, трупы трех юношей. Кто повинен в их смерти? Оказывается, королева Маргарита Бургундская и ее две сестры, которые каждую ночь устраивали разнузданные оргии в потайной комнате башни. Для своих развлечений благородные дамы ежедневно выбирали трех красивых и сильных дворян, недавно прибывших в Париж (чтобы их никто не знал), назначали им через верных служанок свидание, и юноши приходили к ним в башню с завязанными глазами. После ночи любви Маргарита приказывала убивать юношей, потому что боялась, как бы король Франции^[67], ее супруг, не узнал о преступлениях внучки святого Людовика.

Однако одному из злополучных любовников удалось бежать, и он снова предстает перед королевой. Теперь он называет себя капитаном Буриданом, но, когда он носил свое настоящее имя и служил пажом герцога Бургундского, он был первым любовником Маргариты, которая родила от него сына. И вот тогда-то он получил от нее кинжал вместе с приказом убить ее отца, Робера II, герцога Бургундского. Итак, Буридан посвящен в ужасные тайны юности королевы и может заставить ее «плясать под свою дудку». Она приходит в тюрьму, куда его заключили по ее приказанию, с твердым намерением избавиться от него. И в тот момент, когда мы думаем, что герой погиб, он преспокойно начинает веселый рассказ: «В 1293 году^[68], двадцать лет тому назад, Бургундия была счастливой... И была у Робера, герцога Бургундского, дочь, юная и прекрасная... И был у герцога Робера Бургундского паж, с сердцем чистым и преданным...»

Буридан угрожает передать королю письмо, в котором Маргарита (в 1293 году) признавалась ему в намерении совершить отцеубийство, причем письмо это, конечно, находится в надежном месте. Он говорит так убедительно, что Маргарита обещает ему свободу и снимает с него оковы.

Но ему этого мало, он требует, чтобы его сделали первым министром. Королева тут же предоставляет ему этот высший пост. «В странные времена мы живем», — замечает один из персонажей пьесы. И он совершенно прав. Затем следуют новые преступления, но теперь Маргарита и Буридан выступают как сообщники. В конце пьесы злодеи несут заслуженную кару. Людовик X приказывает арестовать преступников.

— Как! — восклицает Маргарита. — Кто посмеет арестовать королеву и первого министра?

— Здесь нет ни королевы, ни первого министра, — отвечает представитель власти. — Здесь только труп и двое убийц.

Блестящая реплика под занавес, да и вся эта история вызывала живейшее восхищение Дюма. Он обожал героев, которых не могли сломить самые жестокие поражения, которые доблестно сражались против целых полчищ врагов и которые, «если их выставляли за дверь, тут же влезали в окно». Все это очень напоминало жизнь генерала Дюма, да и его собственную жизнь. Его отец один удержал Бриксенский мост против целой армии. Ему самому всегда казалось, что в 1830 году он с револьвером в руках захватил Суассон. Его отец не робел перед императором; он — перед королем. В жизни ему не всегда удавалось удовлетворить свою жажду триумфов и желание «потрясать», зато в театре он мог вознаградить себя и дать волю своей фантазии.

Французский народ разделял чувства Дюма. Он тоже не пасовал перед королями, он сверг одну монархию в 1789 году, другую — в 1830. Народу нравилось, когда ему рассказывали о злодеяниях королей. «Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Мысль о том, что мужчина (или женщина), обладающие слишком большой властью, неизбежно обречены на моральное падение, была очень близка романтикам. Виктор Гюго, как и Дюма, бичует знатных дам в «Лукреции Борджиа» и «Марии Тюдор». Преступница Маргарита Бургундская пытается оправдать свои гнусные злодеяния соблазнами власти. «Я не слышала, — говорит она, — от людей, меня окружающих, ни одного слова, которое напоминало бы мне о добродетели. Придворные улыбаются мне, они твердят, что я прекрасна, что весь мир у моих ног, что я могу разрушить его ради минутного наслаждения...»

Что касается Буридана, то это типичный авантюрист. Он приехал, чтобы покорить Париж, и ради этого готов на все. Он подчеркнуто рыцарствен: «Маргарита, я буду говорить с тобой стоя и с непокрытой головой, потому что ты королева и потому что ты женщина...» Он выражается слишком высокопарно, ему недостает сдержанности героев

Стендаля, хотя он так же циничен, как они. Он не останавливается перед преступлением. Этот образ предвещает появление тех заговорщиков второй империи, которых Гюго пригвоздит к позорному столбу в своем «Возмездии».

В «Нельской башне» нет правдивого изображения человеческих страстей или исторической эпохи. «Нельская башня» — это ни драма, ни трагедия, и Дюма — это не Расин и не Шекспир. «Нельская башня» — это мелодрама, мелодрама чистейшей воды, то есть пьеса, сюжет которой построен на игре случайностей, в которой самые невероятные совпадения поддерживают интерес публики и разрешают все проблемы в тот самый момент, когда пьеса, кажется, зашла в тупик.

Но разве мелодраму, несмотря на все ее крайности, не следует считать одним из жанров искусства, хотя бы и второстепенным? Ведь цель искусства не в подражании действительности, а в преобразовании или даже в искажении ее, с тем чтобы вызвать у публики определенные эмоции — те самые, которые она и желает испытать. Однако зритель 1832 года сильно отличался от зрителя 1782 года. Кого называли тогда «публикой бульваров»? Обитателей пригородов, которым был обязан своим процветанием Порт-Сен-Мартэн. Эту публику мало интересовал анализ чувств, ибо он требует досуга и праздной жизни — привилегии придворных и завсегдатаев салонов. Об успехе, выпавшем на долю такого драматурга, как Пиксерекур, и таких мелодрам, как «Трактир Адре», мечтали многие писатели. Романтическая драма в конечном счете — не что иное, как мелодрама, облагороженная стихотворной формой. Писатели образованные — Гюго, Виньи не желали этого признавать, они даже колебались (хотя и не слишком долго), прежде чем решились отдать свои пьесы театру Порт-Сен-Мартэн. Самоучка Дюма был не столь разборчив. «Мои пьесы, — говорил он в самом начале своей карьеры, — сыграют гораздо лучше на бульварах, чем во Французском театре».

Совершенно справедливое мнение, сослужившее службу не только ему, но и театру, так как мадемуазель Марс и ее школа навязали Комеди-Франсэз условности еще более жесткие, чем те, что господствовали на бульварах. Правда, затем наступило и такое время, когда бульвары, в свою очередь, стали-переживать период упадка, когда Рашель вдохнула новую жизнь в классическую трагедию; когда вновь появились просвещенные круги общества и когда вновь обратились к Расину. Словом, все шло как должно. Такие колебания маятника и составляют историю искусства. Но 1832 год был годом триумфа мелодрамы, а Дюма, казалось, был создан для того, чтобы творить именно в этом жанре, потому что он разделял чувства

толпы: жажду справедливости, стремление говорить горькие истины в глаза сильным мира сего, привычку делить человечество без каких-либо промежуточных категорий на героев и подлецов.

Прочитав рукопись, присланную ему Арелем, Дюма сразу понял, что можно из нее извлечь. Вначале следовало добавить одну картину, чтобы познакомить зрителя со всеми персонажами; затем надо сделать «сцену в тюрьме», которая отсутствовала в варианте Гайярде. Но прежде всего необходимо было выделить основное содержание драмы, которое, по мнению Дюма (его разделила и публика), заключалось в «борьбе между Буриданом и Маргаритой Бургундской, между авантюристом во всеоружии своего гения и королевой во всеоружии своего сана. Вряд ли стоит говорить о том, что гений неминуемо одерживает победу над саном».

Кроме того, необходимо было ввести в пьесу те блестящие диалоги, которые доставляли такое удовольствие Дюма и его публике. Например, в конце первой картины, когда убийца Орсини встречается в таверне с тремя молодыми людьми, жизни и счастьем которых он угрожает, раздается удар колокола, возвещающий комендантский час.

«ОРСИНИ. Пробил колокол, господа.

БУРИДАН (*берет плащ и выходит*). Прощайте, меня ждут во второй башне Лувра.

ФИЛИПП. Меня — на улице Фруа-Мантель.

ГОТЬЕ. Меня — во дворце.

(*Они уходят. Орсини закрывает дверь, свистит. Появляется Ландри, с ним еще три человека.*)

ОРСИНИ. А нас, ребята, — в Нельской башне!»

Текст вульгарный, звучит бравурно, но какие концовки актов!

Когда трем юношам приходится расплачиваться за ночь любви жизнью, Филипп д'Онэ, истекая кровью, падает на землю и кричит.

«ФИЛИПП. На помощь! На помощь! Ко мне, брат!

КОРОЛЕВА (*входит с факелом в руках*). «Увидеть твоё лицо и умереть» — так, кажется, ты говорил? Желание твоё исполнится. (*Срывает маску.*) Взгляни — и умирай.

ФИЛИПП. Маргарита Бургундская, королева Франции! (*Умирает.*)

ГОЛОС СТРАЖНИКА (*за сценой*). Три часа ночи. Все спокойно. Мирно спите, парижане».

Там были фразы выпендрившие и величественные: «Трактирщик дьявола, пронзай мое сердце тысячью кинжалов — тебе не открыть моей тайны!», «Вот руки твои, вот вены, а в венах этих — кровь».

Дюма был сражен, покорен; он немедленно написал Арелю, что готов приступить к работе над «Нельской башней», но необходимо с самого начала урегулировать финансовые условия сотрудничества. Контракт обеспечивал Гайярде сорок франков авторских отчислений с каждого представления плюс билеты, которые он мог перепродать, на сумму в восемьдесят франков. Половину этой суммы он обещал Жюлю Жанену в ту пору, когда тот брался переписать драму. Но Жанен вышел из игры и благородно отказался от своей доли. Дюма все же оставил в пьесе один монолог, принадлежащий перу Жанена, а именно знаменитый монолог о знатных дамах.

«БУРИДАН. Неужели вам не приходила в голову мысль о том, к какому сословию принадлежат эти женщины?.. Неужели вы не заметили, что это знатные дамы?.. Доводилось ли вам когда-нибудь в ваших гарнизонных похождениях видеть такие белые ручки, такие надменные улыбки? Обратили ли вы внимание на эти пышные наряды, на эти нежные голоса, на эти лицемерные взгляды? О, конечно, это знатные дамы! По их приказанию нас разыскала ночью старуха, прикрывающая лицо платком, медовыми словами она заманила нас сюда. О, это, несомненно, знатные дамы! Едва мы вошли в роскошно обставленную комнату, теплую и благоухающую редкими ароматами, как они кинулись нам на шею, ласкали нас, отдались нам без оглядки и без промедлений. Да, да, они бросились к нам в объятия, к нам, хотя они нас видели в первый раз и мы промокли под дождем. Можно ли после этого сомневаться, что это знатные дамы!.. За столом... они предавались любви и опьянению пылко и самозабвенно, они богохульствовали, вели странные речи, уста их изрыгали гнусные ругательства; они потеряли всякий стыд, потеряли человеческий облик, забыли о земле, забыли о небе. Да, это знатные дамы, поверьте мне, очень знатные дамы!..»

Дюма смаковал этот монолог, как гурман. Да, слов нет, мелодрама была что надо; но поскольку Жюль Жанен отказался от своих прав, Гайярде вновь становился единственным собственником пьесы. Дюма предложил оставить в силе прежний договор с ним при условии, что он, Дюма, будет

получать проценты со сбора, ну, скажем, процентов десять. Арель согласился: если пьеса будет иметь успех, Дюма получит кучу денег, если нет — ничего. Конфликт начался с того момента, когда Дюма объявил, что хочет сохранить инкогнито. Это не устраивало Ареля, рассчитывавшего, что имя Александра Дюма привлечет в театр публику. Но Александр был неумолим. Он требовал, чтобы в день премьеры объявили имя одного Гайярде. Почему? Из скромности? Вряд ли его можно заподозрить в этом. Может быть, он считал, что критика, жестоко разгромившая «Карла VII у своих вассалов», отнесется более снисходительно к произведению начинающего автора?

Гайярде он написал великодушное письмо, в котором сообщал, что Арель попросил его «дать несколько советов», что он рад случаю помочь юному коллеге, что он будет счастлив *оказать* услугу, а не *продать* ее, что соответствовало истине, так как по соглашению с Арелем заработки Дюма не уменьшали гонорара Гайярде.

Но молодой человек из Тоннера в сердцах ответил, что не желает никаких соавторов. Дюма кинулся к Арелю, тот возмутился: «Да он, должно быть, рехнулся! Он нисколько не возражал против Жанена!» — и приказал начать репетиции пьесы в варианте Дюма. Гайярде прибыл из Тоннера, закатил скандал и хотел даже стреляться с Дюма. В конце концов они пришли к соглашению — на афишах будет стоять: «Драма господ Гайярде и ***», после премьеры «объявят» одного Гайярде; каждый из авторов будет иметь право включать «Нельскую башню» в полное собрание своих сочинений. Условия как будто вполне честные.

На репетициях в исполнении таких великолепных актеров, как мадемуазель Жорж и Пьер Бокаж, пьеса, по выражению Дюма, «приобрела грандиозные масштабы». Роль Буридана Дюма сперва предназначал для Леметра, но Фредерик, боясь холеры, не появлялся в Париже. К тому же мадемуазель Жорж вовсе не хотелось играть с таким партнером, который постарается забрать себе весь успех, и она настояла на Бокаже. Фредерик тут же сломя голову примчался в Париж, но Арель отказался платить неустойку Бокажу, и Фредерик пришел в неописуемую ярость.

Дюма очень хотелось воспользоваться этим случаем для своей новой протеже Иды Ферье: «Арелю, я уверен, нужна именно такая актриса. Жюльетта не может претендовать ни на одну сколько-нибудь значительную роль». Эта Жюльетта была Жюльетта Друэ, бывшая натурщица скульптора Прадье, полукуртизанка, полуактриса. Но Арель не пожелал использовать в «Нельской башне» не только Жюльетту, но и Иду. Премьера состоялась 29 мая 1832 года. Мадемуазель Жорж была величественна и импозантна,

Бокаж фатален и демоничен. Дюма в «Мемуарах» с наивным самодовольством описывает свой триумф:

«Зал волновался. Все предвещало большой успех, казалось, успех витал в воздухе, все дышало им.

Конец второй картины потряс публику. Буридан выпрыгивал из окна в Сену, Маргарита, срывая маску, обнажала окровавленную щеку... — все это производило огромное впечатление на публику. И когда после оргии, после побега, после убийства, после раскатов смеха, заглушённых стонами, после того, как человек кинулся в реку, после того, как царственная любовница безжалостно велела убить своего любовника, с которым провела ночь, когда после всего этого раздался спокойный и монотонный голос ночного стража: «Три часа ночи. Все спокойно. Мирно спите, парижане», — зал разразился аплодисментами... Потом пришел черед знаменитой сцене в тюрьме.

Как-то сын спросил меня (в то время он еще не был драматургом):

— Какие основные принципы построения драмы?

— Первый акт надо делать предельно ясным, последний — коротким и ни в коем случае не вводить тюремную сцену в третий.

Но, давая такой совет, я проявил неблагодарность: я никогда не видел, чтобы сцена так захватила зрителя, как эта сцена в тюрьме, которую великолепно сыграли два актера, буквально вынесшие ее на своих плечах...

И, наконец, наступил пятый акт, за который Арель очень боялся. Он делится на две картины, восьмую, полную леденящего кровь комизма, и девятую, которую по нагнетению ужасов можно сравнить лишь со второй. Было в нем что-то от античного рока Софокла, соединенного со сценическими ужасами Шекспира. Пьеса имела огромный успех, имя Фредерика Гайярде провозгласили под гром аплодисментов...»

На следующий день Арель приказал поставить на афишах: «Нельская башня», драма господ *** и Гайярде». Дюма кинулся к Арелю.

— Вы меня снова поссорите с этим Гайярде! — кричал он.

— Мой дорогой! — ответил Арель. — Пьеса имела большой успех, не

хватает только маленького скандала, чтобы успех обратился в триумф. Если Гайярде станет протестовать, — тем лучше, я получу свой скандал... Пусть и он хоть что-нибудь сделает для пьесы... Неужели вы думаете, Дюма, что можно создавать шедевры, а потом заявлять: «Это не имеет ко мне никакого отношения»? Нет, хотите вы того или не хотите, Париж все равно узнает, что вы приложили к этому руку.

В этот момент раздался стук в дверь. Вошел судебный исполнитель и принес официальное послание на гербовой бумаге от Гайярде из Тоннера (департамент Ионн), в котором тот требовал поставить имя «господина Три Звездочки» на второе место. Арель отказался. Гайярде затеял процесс и выиграл его, но хитрый директор получил бесплатную рекламу, а этого он и хотел. Ссора Дюма и Гайярде зашла так далеко, что они стрелялись на дуэли, впрочем, безрезультатно. Три звездочки перешли на второе место. С точки зрения закона инцидент был исчерпан.

И тем не менее эта история повредила репутации Дюма. Мелкие газетенки, всегда придиравшиеся к Дюма, утверждали, будто в «Нельской башне» ему не принадлежит ни строки, что было неправдой. Его враги, а их было немало, — несмотря на всю его доброту, потому что его бахвальство раздражало, а успехи в театре и у женщин вызывали зависть, — изо всех сил старались доказать, что он не написал ни слова ни в одной из своих пьес и что все в них сделано его соавторами. Если так, то хочется спросить, почему пьесы Гайярде, написанные им самостоятельно, пользовались самым скромным успехом, а то и вовсе проваливались?

Ворчливый Гюстав Планш писал: «Нам кажется, что господину Дюма, который дебютировал не далее, как в 1829 году, угрожает быстрое забвение». Он упрекал Дюма за желание подменить идеализм классиков низменным реализмом: «Господин Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями; вот почему Дюма кинулся ниспровергать традиции, не соразмерив ценности того памятника, на который посягает». Обвинение Дюма в реализме кажется нам по меньшей мере странным. Трудно представить себе что-нибудь менее реалистическое, чем его театр. Гораздо точнее будет сказать, как это сделал все тот же Планш: «Господин Дюма восстановил против себя всех серьезных художников». В начале тридцатых годов «Молодая Франция» считала Виктора Гюго и Александра Дюма создателями современной драмы. «Генрих III и его двор» проложил дорогу «Эрнани», и публика охотно ставила обоих драматургов рядом. После 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше это мнение. Гюго вырвался далеко вперед. Сент-Бёв, который не отрицал таланта Дюма, говорил: «Да, он талантлив,

но талант его скорее физиологичен... В нем, — пояснял Сент-Бёв, — больше от вдохновения, нежели от искусства. Все дело в его кипучем темпераменте».

Но разве так уж плохо иметь кипучий темперамент?

Глава вторая

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ



В 1832 и 1833 годах Дюма ухитрился делить свою жизнь между Белль и Идой. Первый год он провел с Белль (Мелани Серре) и жил то в Париже на Орлеанской площади, то в Трувиле, нормандском портовом городке, где он обычно скрывался в гостинице, чтобы иметь возможность работать. Но в 1833 году Ида взяла верх и меблировала для Дюма квартиру на улице Блё (лимонное дерево, звериные шкуры), где правила единовластно. Мирное сосуществование весьма облегчал театр. Обе дамы были актрисами, и Дюма заботился о карьере обеих. В «Анжеле», написанной в 1833 году, играли и мадемуазель Мелани и мадемуазель Ида. «Я хочу, — заявлял Дюма директорам, — видеть на сцене тех театров, которым я отдаю свои пьесы, дарования, которые мне приятны». Пожелание, выраженное весьма тактично.

Ида Ферье, более честолюбивая, чем Белль Крельсамер, требовала от Дюма роскоши, что ему очень импонировало. Дюма уже знал все серьезные недостатки своей любовницы: Ида устраивала по несколько сцен на день, восстанавливала против него слуг, перехватывала его письма. «Но у нее, — писала графиня Даш^[69], — были искусно подрисованные брови, белоснежная атласная кожа с легким румянцем, коралловые губки и волосы, завитые мелкими локонами а-ля Манчини^[70]». Полнота ее к этому

времени приняла угрожающие размеры, произношение было отвратительным. Говорила она так, будто страдала хроническим насморком. Но она умела принять гостей, и вскоре Дюма стал больше ценить в ней хозяйку дома, нежели владычицу своего сердца. И хотя Катрина и Белль родили ему детей, Иде все же удалось захватить титул первой султанши и даже поселить у себя вдову Ферран, свою мать.

Молодого Александра, сына Катрины, принесли в жертву. К этому времени он перешел из заведения Вотье в пансион Губо. Директор пансиона Проспер Губо был, как мы уже упоминали, другом его отца. На досуге он писал пьесы, участвовал (под псевдонимом Дино) в создании знаменитой драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и дал Дюма сюжет «Ричарда Дарлингтона». Умный и образованный, Губо был хорошим воспитателем. Он основал пансион Сен-Виктор на улице Бланш, на том месте, где сейчас находится Парижский театр. При финансовой поддержке банкира Лаффита ему удалось создать процветающее заведение, в котором воспитывались сыновья аристократов, крупных финансистов и коммерсантов. Дюма остановил свой выбор на Губо, потому что знал его по театру. Он, конечно, не мог себе представить, какой прием окажут незаконному сыну белошвейки избалованные, испорченные, высокомерные мальчишки.

Матери нескольких учеников были клиентками Катрины Лабе. От них все узнали, что она не замужем и что ее сын — незаконнорожденный. Трудно поверить в то, что произошло потом. «Мальчишки, — писал позже Александр Дюма-сын, — оскорбляли меня с утра до вечера, по-видимому радуясь случаю унижить то имя, которое прославил мой отец, унижить, пользуясь тем, что моя мать не имела счастья его носить». Когда маленький Александр попытался вступить за честь матери, товарищи подвергли его бойкоту. «Один считал себя вправе попрекать меня бедностью, потому что был богат, другой — тем, что моей матери приходится работать, потому что его мать бездельничала, третий — тем, что я сын швеи, — потому что сам был благородного происхождения; четвертый — тем, что у меня нет отца, возможно, потому что у него их было два...» Ночью ему мешали спать, в столовой передавали пустые блюда. В классе его мучители придумали новую игру — они спрашивали учителя:

— Сударь, скажите, пожалуйста, какое прозвище было у Красавца

Дюнуа^[71]?

— Орлеанский бастард.

— А что значит «бастард», сударь?

Ученик Дюма разыскал слово «бастард» в словаре. Словарь объяснял: «рожденный вне брака». Его палачи зашли настолько далеко, что изрисовали все его книги и тетради непристойными сценами, под которыми подписывали имя его матери. Когда чаша терпения переполнялась, маленький Александр плакал, забившись в уголок. Травля ожесточила характер мальчика и подорвала его здоровье. Он стал мрачным, подозрительным и страстно мечтал о мести.

Этот ад произвел на него неизгладимое впечатление. Всю жизнь ему не будет давать покоя судьба соблазненных девушек и незаконнорожденных детей. Он признавался позже, «что так никогда полностью не оправился от этого потрясения, что никогда, даже в самые счастливые дни своей жизни, не мог ни простить, ни забыть этой обиды». Как-то на бульваре он встретил одного из своих прежних мучителей; тот кинулся пожимать ему руку «с великодушием человека, не помнящего зла, которое сам причинил». Но Дюма сурово остановил его. «Любезнейший, — сказал он, — сейчас я на голову выше тебя, и, если ты еще раз вздумаешь заговорить со мной, я тебе все ребра перелому».

Вот откуда у него наряду с чертами, унаследованными от отца, — гигантским ростом, сочувствием к мстителям и желанием самому стать мстителем, и притом грозным, — совершенно иные качества. Дюма-отец всегда окружал себя людьми, около него постоянно вертелись своры прихлебателей и любовниц; сын будет любить уединение и созерцательную жизнь. Отец выдумывал людей, сын будет их изучать. Он станет реформатором, восставшим против царящего беспорядка, и, едва страсти юности утихнут, сделается приверженцем самой строгой морали.

Генерал Дюма бунтовал против начальства, автор «Антони» — против общества. Но все анафемы и проклятия Дюма-отца были лишь данью литературной моде, тогда как протест Дюма-сына, порожденный страданиями, перенесенными в детстве, был искренним и глубоким. Отец обладал пышущим здоровьем; сын будет время от времени подвержен кризисам как физическим, так и моральным, которые даже будут ставить под угрозу его рассудок. Отец, несмотря на все свои злоключения, останется до конца дней оптимистом; сын, несмотря на ранний успех, всегда будет пессимистом. «В своей жизненной философии я исхожу из предположения, что все мужчины — подлецы, а женщины — потаскушки. И если я вижу, что ошибся в отношении одного или одной из них, мое

разочарование становится для меня источником не горя, а радости». Мы судим о рынке по тому, какие товары мы там находим. Дюма-сын на пороге жизни столкнулся с выложенными молодыми негодьями из пансиона Губо. До конца жизни он не сможет их забыть.

В 1832 году театральная деятельность Дюма-отца была прервана на несколько месяцев длительным путешествием по Швейцарии, которое он вынужден был предпринять из соображений осторожности. Июльская монархия оставалась непопулярной; студенты и рабочие устраивали манифестации. В июле похороны либерала генерала Ламарка послужили поводом к серьезным волнениям. Дюма в форме артиллериста шел в толпе демонстрантов, его узнали и объявили республиканцем. В одной легитимистской газете даже сообщалось, что он захвачен с оружием в руках и расстрелян. Все это было, конечно, смешно, но шум, поднятый вокруг его имени, становился опасным. У него были друзья при дворе (и прежде всего молодой и обаятельный герцог Орлеанский, наследник престола), они посоветовали ему в ожидании, пока все забудется, провести несколько месяцев за границей.

Путешествие было живописным и полным драматических событий, как и все путешествия Дюма. Он встречался с Шатобрианом, королевой Гортензией, альпинистом Бальма^[72]. Два тома «Путевых впечатлений», написанных блестяще и живо, появились сначала в «Ревю де Де Монд», затем вышли отдельным изданием. Он согласился также написать для того же журнала несколько рассказов на исторические темы, в которых очень дерзко обращался с историей и к которым, однако, историки относились довольно почтительно. Сент-Бёв, скрупулезный биограф, считал Дюма поверхностным автором; читатели были снисходительнее.

Отбыв свой срок в чистилище, Дюма вернулся в Париж. Там к нему сразу примчался Арель с просьбой написать пьесу для Порт-Сен-Мартэна. Вот тут-то и начался разлад между Дюма и Гюго. Гюго всю свою молодость прожил как примерный отец и супруг. Но в 1833 году эта примерная чета была изгнана из рая. Адель и Виктор по обоюдному согласию сохраняли перед посторонними и своими четырьмя детьми видимость респектабельной семьи. На самом же деле Адель разрешала Сент-Бёву ухаживать за собой, да и не только ухаживать; Гюго взял в любовницы Жюльетту Друэ, актрису блистательной красоты и посредственного таланта. До сих пор Гюго и Дюма неплохо ладили друг с другом. Каждый из них был слишком уверен в себе, чтобы завидовать другому, но между актрисами существует соперничество куда более жестокое, чем между писателями. И с тех пор как у Гюго появилась своя протеже — Жюльетта,

точно так же как у Дюма — Ида, конфликты стали неизбежны, тем более что обе женщины жаждали играть одни и те же роли и состояли в труппе одного и того же театра — Порт-Сен-Мартэн.

Арель, директор, и мадемуазель Жорж, богиня-покровительница театра, чаще поддерживали Иду, чем Жюльетту Друэ, во-первых, потому, что Ида была все же лучшей актрисой, во-вторых, потому, что Жюльетта была гораздо красивее, но прежде всего потому, что мадемуазель Жорж имела на Гюго зуб за то, что он никогда не пытался за ней ухаживать. Она вовсе не хотела сделать его своим любовником, но ей было неприятно, что такой красивый мужчина стал любовником другой, да к тому же еще и более молодой женщины. Арель же во всем поступал так, как хотела его величая и властная подруга. Он пытался пропустить вне очереди пьесу, которую Дюма написал для Иды («Екатерина Говард») и задержать представление «Марии Тюдор» Виктора Гюго, что и вызвало первые размолвки, рассеявшиеся лишь благодаря великодушному и лояльному поведению Дюма. Он вмешался в это дело и помирил Ареля и Гюго.

Но Гюго требовал, чтобы Жюльетте отдали вторую роль в его пьесе (Джейн Тальбот), главную роль в которой (королевы Марии) должна была играть мадемуазель Жорж. Все в театре говорили, что Жюльетта провалит пьесу и что следует отдать роль Иде. Бокаж и мадемуазель Жорж, державшие в страхе божием весь театр, обращались с нежеланной партнершей настолько оскорбительно, что она совершенно терялась и от страха не могла и слова вымолвить. В результате первое представление «Марии Тюдор» прошло очень плохо. Жюльетту освистали. Все герои битвы за «Эрнани» с Сент-Бёвом во главе говорили, что Ида, к счастью, знает роль и что ее необходимо ввести со второго же представления. Жюльетта с горя заболела и слегла; Гюго, желая спасти пьесу, сдался.

Однако за несколько дней до этих событий в «Журналь де Деба» появилась статья Гранье де Кассаньяка, который обвинял Дюма в подражании Шиллеру, Гёте, Расину и в том, что на «Христину» его вдохновил пятый акт «Эрнани». Дюма мог бы просто посмеяться над этим. Разве Виньи, например, не обвинял Гюго в том, что он обкрадывает всех и вся? Но Дюма знал, что в «Деба» Кассаньяка устроил сам Гюго, поэтому он пришел в ярость и написал поэту: «Я уверен, что вам была заранее известна эта статья». Гюго отрицал это, заверял Дюма в своей дружбе, а Гранье де Кассаньяк в письме, напечатанном в «Деба», подтвердил, что Гюго не имел никакого отношения к статье. Но опровержениям редко верят, и они еще реже того заслуживают. Очевидно, и это письмо постигла обычная участь, так как в переписке Сент-Бёва мы читаем: «Статья одного

из приятелей Гюго, направленная против Дюма, настроила его против Гюго; они рассорились навеки и, что еще хуже, со скандалом, а это всегда бросает тень на литературу...»

Добрейший Сент-Бёв лицемерил; он был слишком рад ссоре Дюма и Гюго, чтобы думать о престиже литературы. Но он не учел природного добродушия Дюма, не любившего долгих ссор. Некоторое время спустя, когда Дюма понадобился секундант, он без колебаний обратился к своему старому другу Гюго:

«Виктор, каковы бы ни были наши нынешние отношения, я надеюсь, что вы все же не откажете мне в услуге, о которой я хочу вас просить. Какой-то наглец позволил себе оскорбить меня в мерзком листке, четвероногой гадине, именуемой «Медведь». Сегодня утром этот тип отказался встретиться со мной под предлогом, что не знает имен моих секундантов. Одновременно с письмом вам я отправляю письмо Виньи, чтобы иметь возможность сказать своему противнику, что если он еще раз попытается отделаться подобной отговоркой, я сочту это дурной шуткой. Я жду вас завтра, в семь часов, у себя. Одно слово посыльному, чтобы я знал, могу ли я рассчитывать на вас. И потом — разве это не даст нам повод снова пожать друг другу руки: я, по правде говоря, этого очень хочу».

После таких лестных для Гюго авансов дружеские отношения восстановились. В 1835 году Дюма уехал в длительное путешествие по Италии, из которого он привез три драмы, стихотворный перевод «Божественной комедии» и новые «Путевые впечатления». По пути в Италию и по возвращении он останавливался в Лионе, где ухаживал за актрисой Гиацинтой Менье, ловкой инженерю, которая умела удержать около себя Дюма, почти ничего ему не позволяя. «Гиацинта, дорогая, я никогда не думал, что можно сделать мужчину столь счастливым, отказывая ему во всем...» Подле нее он мечтал «о любви возвышенной, небывалой, любви сердца, а не чувств». Эта полуплатоническая идиллия началась в 1833 году и длилась, правда с перерывами, несколько лет. Юной Гиацинте он признавался, что разочарован в Иде. «Я надеялся, — писал он, — обрести в этом союзе единство физической красоты и духовной близости. Но вскоре я понял, что любовь ее по силе не равна моей. Слишком гордый, чтобы давать больше, чем мне хотят возвращать, я заключил в душе избыток бушующей во мне страсти». Этот-то избыток он и предлагал Гиацинте. Но

рамки, в которых она старалась его удержать, были для него слишком тесны. «Прощай, мой ангел, я люблю тебя и целую твой лоб и твои колени. Ты видишь, я не касаюсь того, что мне не принадлежит». Однако платонизм никогда не относился к числу его достоинств: «Прощайте, Гиацинта, и на этот раз мои надежды оказались обманутыми. Отныне моим уделом станет честолюбие, и вы будете в числе тех, кто настолько иссушил мое сердце, что теперь лишь оно сможет там обитать».

Следующим летом по приглашению Адели он посетил семейство Гюго в Фурке, одном из пригородов Парижа, где они обычно отдыхали, и очаровал детей своими рассказами. Он слишком любил жизнь, чтобы пережевывать прошлые обиды, ссоры ему быстро надоедали.

1836 год ознаменовался для Дюма новым триумфом: драмой «Кин, или Гений и беспутство» — о великом английском актере, который незадолго до этого трагически скончался в результате слишком бурно проведенной жизни. Как и почти всегда у Дюма, в создании этой драмы случай играл ведущую роль. Фредерик Леметр только что перешел в театр Варьетэ. Заглавие пьесы «Гений и беспутство» как нельзя более точно характеризовало самого Фредерика. Дюма считал его первым актером своего времени. Он создал для него «Наполеона» и находил, что Леметр исполнял роль Буридана гораздо лучше, чем Бокаж. Но характер у него был трудный. Он появлялся на сцене мертвецки пьяным, выходил через суфлерскую будку и мог неожиданно для всех надеть зеленые очки, играя Буридана. До безумия тщеславный, он всегда считал, что его имя напечатано на афише недостаточно крупными буквами.

— Но, господин Фредерик, — спросил его однажды какой-то директор, — где же прикажете тогда печатать имена остальных?

— С той стороны, где клей, — надменно ответил Фредерик.

У него было много общих черт с Кином, и ему очень хотелось сыграть эту роль для своего дебюта в Варьетэ. Два драматурга, Теолон и Курси, авторы столь же плодовитые, сколь и бездарные, предложили ему сценарий пьесы. Фредерик был им не слишком доволен и обратился за помощью к Дюма, который оживил интригу, переписал диалог и поставил под пьесой только свое имя. Он вложил в нее много от Фредерика и от самого себя. Сцена, в которой Кин оскорбляет пэра Англии, воспроизводила ссору Леметра и Ареля, свидетелем которой оказался Дюма. Яростный монолог Кина об английской критике во втором акте был инвективой самого Дюма в адрес французской критики.

Дюма не изменил сценария Теолона: Кин, соперник принца Уэльского, оспаривает у него любовь прекрасной жены датского посла и прерывает

спектакль «Ромео и Джульетта» для того, чтобы обратиться со сцены с издевательской речью к наследному принцу. После этого трагика «предлагают» проехаться в Америку. В ссылку его сопровождает преданная ему молодая девушка, которая давно его любит.

Благодаря картинам театральной жизни и образу Кина, воплощенному Леметром с «гением и беспутством», пьеса имела бешеный успех. Генрих Гейне, критик не слишком снисходительный, писал: «Потрясает правдивость всего спектакля... Между персонажем и актером удивительное родство... Фредерик — возвышенный шут, его дикие клоунады заставляют Талию бледнеть от ужаса, а Мельпомену смеяться от радости...»

Директор Варьетэ обещал Дюма тысячу франков премии, если двадцать пять первых представлений «Кина» дадут ему шестьдесят тысяч франков. В вечер двадцать пятого представления Дюма вошел к нему в кабинет и потребовал премию.

— Вам не повезло, — сказал директор, который только что закончил подсчеты. — У нас всего 59997 франков.

Дюма занял у него двадцать франков, кинулся в кассу и купил билет в партер за пять франков.

— Теперь у вас 60002 франка, — сказал он. И получил премию.

Глава третья

БРАКИ ВО ВРЕМЕНА ЛУИ-ФИЛИППА



В 1837 году герцог Орлеанский женился. Его отец пытался получить для него эрцгерцогиню Австрийскую, но королевская семья дулась на «узурпатора». И ему пришлось довольствоваться немецкой принцессой Еленой Мекленбург-Шверинской, которая, впрочем, оказалась очень милой, романтической и образованной девушкой. Луи-Филипп объявил, что в честь этого события в Версальском дворце будет дан парадный обед, за которым последует бал для всех, кто составляет славу Франции.

Накануне праздника разгневанный Дюма прибежал к Гюго. Ожидалось представление к ордену Почетного легиона. Дюма был в списках, но король его вычеркнул. Сказалась обида на республиканца, артиллериста национальной гвардии, и давняя антипатия к непокорному чиновнику Пале-Рояля. Оскорбленный Дюма отослал обратно пригласительный билет на версальский праздник. Виктор Гюго благородно объявил, что полностью солидарен со своим другом и коллегой, и написал герцогу Орлеанскому письмо, в котором отказывался от приглашения и объяснял причину отказа.

Наследный принц, большой поклонник обоих писателей, очень огорчился, еще больше огорчилась юная герцогиня, с нетерпением ожидавшая встречи со своими любимыми авторами. Они ходатайствовали перед королем, и все уладилось. Дюма был восстановлен в списках. Друзья

решили отправиться в Версаль вместе, и так как мундир был обязателен, оба надели мундиры национальной гвардии, чтобы еще сильнее подчеркнуть свое единство. Там они встретили Бальзака в придворном костюме, взятом напрокат у костюмера, и Эжена Делакруа. Король и принцы были очень любезны. Давали «Мизантропа» с участием мадемуазель Марс. Аудитория, состоявшая из генералов и высшего чиновничества, чувствовала себя обманутой в своих ожиданиях. «Так это и есть «Мизантроп»? — переговаривались зрители. — А мы-то думали, что это смешно...» Когда празднество кончилось, пришлось долго разыскивать кареты. Дюма и Гюго нашли свою лишь к часу ночи и возвратились в Париж на рассвете.

Отныне обоим писателям была навсегда обеспечена дружба королевской четы. Виктору Гюго она принесла розетку офицера Почетного легиона, Дюма — ленточку кавалера. Дюма, который узнал эту новость от наследного принца, сразу же оповестил Гюго:

«Мой дорогой Виктор, ваше и мое представление были подписаны сегодня утром. Меня просили сообщить вам об этом полуофициально. Ее высочество герцогиня Орлеанская очень гордится вашим подарком, она хочет ответить вам сама. Об этом меня просили вам сообщить вполне официально. Обнимаю вас».

Гюго принял награду с обычным для него надменным достоинством. Дюма радовался, как ребенок, гордо разгуливал по бульвару, украсив себя огромным крестом, рядом с которым он приколот орден Изабеллы Католической, какую-то бельгийскую медаль, шведский крест Густава Вазы и орден святого Иоанна Иерусалимского. В любой стране, которую он посещал, Дюма выпрашивал себе награды и скупал все ордена, какие только можно было приобрести. Его фрак в торжественные дни превращался в настоящую выставку лент и медалей. Невинное удовольствие!

Генералыша Дюма так и не дожидая до того дня, когда ее сын получил награду, в которой всегда отказывали ее мужу. Она умерла от второго апоплексического удара 1 августа 1836 года. Дюма, не переставая ее любить, последнее время был к ней менее внимателен. Она жила на улице Фобур-дю-Руль, неподалеку от улицы Риволи, где ненасытная Ида незадолго до этого заставила своего любовника снять роскошную квартиру. Дюма поспешил к матери и у ее постели написал письмо своему верному другу герцогу Орлеанскому: «Здесь, у изголовья моей умирающей матери,

я молю бога хранить ваших родителей...» Через час в квартиру поднялся лакей и сообщил, что принц ожидает его в карете. Дюма спустился, сел в карету и расплакался, уткнувшись в колени самого человеческого из всех принцев.

Дюма — художнику Амори Дювалю: «Моя мать умирает, дорогой Амори. У меня нет ее портрета. Рассчитывая на Вашу дружбу, я прошу Вас оказать мне эту последнюю услугу. Ожидаю Вас на улице Фобур-дю-Руль, в доме № 48, у мадам Лорсэ. Искренне Ваш».

После смерти матери Ида Ферье окончательно забрала Дюма в свои руки. Этот добряк, прекраснодушный и слабохарактерный, не умел устроить свою жизнь. И он охотно позволял руководить собой умной женщине, которую не слишком любил, но которая зато не стесняла его свободы, доказала свою бесплодность и была неплохой актрисой. Он взял ее с собой в Ноан, к Жорж Санд, и обе женщины очень сблизились. Хотя каждая из них на свой лад была связана с романтизмом, и та и другая оставались трезвыми реалистками. Санд считала, что Ида на сцене «моментами достигала совершенства», и восхваляла ее ум. Ида Ферье была достаточно мудра, чтобы не противиться увлечениям Дюма. Она хотела быть и оставалась первой султаншей, к которой повелитель мог вернуться всякий раз, когда разочаровывался в других. В награду за это он жил с ней, содержал ее по-царски, брал с собой во все путешествия и писал для нее роли:

И слышал, слышал я ваш голос дорогой:
«Мне драму написать должны вы...» Вот она.

Он подолгу жил с нею в Италии, и в особенности во Флоренции, где она сумела завоевать сердца многих итальянских аристократов.

Теперь она была очень толста. «Она не всегда была такой, — писал Теофиль Готье. — Мы помним ее, когда она была стройной и даже тоненькой». Но добрый Тео тут же добавляет, что Ида Ферье зато «в изобилии обладает тем, чего не хватает половине парижских женщин; вот почему женщины худые считают ее слишком толстой и слишком грустной... Я должен признаться, рискуя прослыть турком, что цветущее здоровье и роскошные формы являются, по-моему, очаровательным недостатком в

женщине». «В теле всякой женщины есть скелет, — писал Виктор Гюго. — Но нам нравится, когда этот скелет облечен плотью и незаметен...»

Пределом мечтаний для честолубивой Иды был в то время ангажемент в Комеди-Франсэз. В обмен на эту услугу Дюма обещал театру две пьесы, и 1 октября 1837 года Иду взяли в труппу на амплуа «молодой героини». Для дебюта своей любовницы и ради собственной славы Дюма написал шестиактную трагедию в стихах «Калигула». Античный сюжет, александрийский стих — словом, Дюма бросал вызов Расину на его собственной территории. Пьеса уж одной своей наивностью должна была бы обезоружить критиков. Политическая и любовная интриги в ней переплетались, как и в «Марии Тюдор» Гюго. (Акила, молодой галл, соглашается убить развратного императора, так как тот обесчестил его невесту.) Для Иды Дюма создал чисто голубую роль Стеллы, римлянки, обращенной в христианство, которую похитил и соблазнил Калигула. У нее в полном соответствии с традициями романтической литературы есть свой антипод — Мессалина, героиня кровожадная и порочная, «алчущая извращенных наслаждений», которая очень похожа на Маргариту Бургундскую.

И тем не менее Готье рассыпался в похвалах этой нелепой пьесе: «Калигула» — единственное добросовестное поэтическое произведение, появившееся в 1837 году; написать большую шестиактную драму в стихах представляется мне героическим поступком в наши дни... Я не хочу сказать, что это произведение лишено недостатков, но оно, безусловно, заслужило более благосклонный прием со стороны критики...» Добрый Тео был, как всегда, слишком добр.

Комеди-Франсэз потратила бешеные деньги на постановку «Калигулы». Роскошные декорации сменяли одна другую: римская улица с видом на Форум, вилла, скопированная с домика Фавна в Помпее (где Дюма прожил некоторое время, чтобы «проникнуться местным колоритом»), терраса дворца Цезаря и, наконец, триклиний императора. Дюма хотел еще, чтобы колесницу Цезаря вывозила четверка лошадей.

— Лошади на сцене Французского театра! — возмущались актеры.

Дюма настаивал на своем.

— Как, — говорил старейшина Самсон, — требовать лошадей от нас, когда мы из-за нашей классической нищеты сами еле волочим ноги?

В конце концов автору пришлось уступить. Декорации, едва не разорившие театр, вызывали только хохот. Завсегдатаи освистали пьесу. Большинство актеров откровенно ненавидело свои роли. «Ты мне окалигулел», — сказал Лижье одному актеру. Нельзя сказать, что Ида

провалилась, но особого успеха она не имела: хвалили ее красивое лицо, сожалели о толщине и гнусавой дикции. Одна газета осмелилась назвать ее «каллипигийской мученицей»^[73]. Но вскоре хроникеры прекратили свои издевательства, сборы упали, и пьеса исчезла с афиш.

Однако собратья-драматурги продолжали обращаться к Дюма, как к костоправу, считая, что только он может спасти их хромящие детища. Дюма в припадке литературного пуританства благородно отвергал их предложения.

Александр Дюма — Арману Дюрантэну, 29 июня 1837 год:
«Сударь, я сейчас настолько занят моей трагедией «Калигула» (которую не позже 15 августа рассчитываю прочесть во Французском театре), что не могу быть вам полезным в той мере, в какой бы мне хотелось. Но в любом случае, сударь, я не стал бы вашим соавтором. Я совершенно отказался от такого рода работ, которые низводят искусство до уровня ремесла; и, кроме того, сударь, ваша пьеса либо хороша, либо дурна. Я еще не прочел ее, но разрешите мне, быть может с излишней прямоотой, сказать вам, как я понимаю этот вопрос: если она хороша, к чему вам моя помощь и тем более мое соавторство? Если же она дурна, я не настолько уверен в себе, чтобы полагать, что мое участие ее улучшит. И тем не менее я всецело к вашим услугам, сударь, в том немногом, что я стою, и в том немногом, что я имею...»

Но этот приступ добродетели длился недолго.

Гюго и Дюма, помирившись, пытались объединенными усилиями получить разрешение основать второй Французский театр. Оба были в плохих отношениях с ведущими актерами Комеди-Франсэз, а также имели основания быть недовольными-Арелем. Дюма жаловался герцогу Орлеанскому, их покровителю, на то, что у новой литературы нет своего театра, поскольку Комеди-Франсэз посвятила себя служению мертвецам, а Порт-Сен-Мартэн — служению глупцам, — и современное искусство оказалось беспризорным. Герцог признал, что два таких великих драматурга имеют право на собственную сцену, и обещал поговорить с Гизо.

— Иметь театр — это, конечно, очень хорошо, — сказал Гюго, — но нам понадобится директор.

И он предложил на этот пост театрального критика, который не раз выступал в защиту новой школы, — Антенора Жоли.

— Антенор Жоли! — воскликнул Дюма. — Да ведь у него ни гроша за душой!

— Если у него будет разрешение, — ответил Гюго, — он найдет деньги.

В сентябре 1837 года Жоли получил разрешение, раздобыл немного денег и снял зал «Вантадур», который и стал театром Ренессанс. Гюго должен был написать для открытия новую драму («Рюи Блаз»), что не могло не тревожить Дюма. Ида подстрекала его требовать уравнивания в правах с Гюго и уверяла, что тот втайне поддерживал заговор против «Калигулы». Жюльетта Друэ надеялась, что ей удастся сыграть в «Рюи Блазе» роль испанской королевы. Адель Гюго написала Антенору Жоли, чтобы предотвратить этот «скандал», и директор сдался. Ида Ферье плела интриги, желая снова отнять роль у бедной Жюльетты, но это значило бы нанести ей жесточайшее оскорбление, и поэтому роль досталась третьей актрисе — Атале Бошен. Участие Фредерика Леметра обеспечило пьесе успех. Фредерик, в восторге от того, что на этот раз ему не придется выступать в своем обычном амплуа, великолепно сыграл Рюи и давал Гюго ценные советы, рекомендуя «усилить комическую струю в пьесе».

В 1838 году настала очередь Дюма, и он выступил с «Алхимиком» — пьесой, которую, несмотря на все свои филиппики против соавторства, он написал в содружестве с очаровательным молодым поэтом Жераром де Нервалем. Нервалю, влюбленному в актрису Женни Колон, очень хотелось написать для нее пьесу, и он создал вместе с Дюма комедию «Пикилло», которую подписал один Дюма и главную роль в которой играла Женни. После чего соавторы написали «Алхимика» для Иды Ферье, затем «Лео Бурхарта», вышедшего за подписью одного Нерваля. Так как эта драма была основана на истории студента Карла Занда, убийцы Коцебу^[74], политическая цензура надолго задержала ее постановку. Может быть, именно поэтому Дюма отдал пьесу Жерару, который к тому же (если судить по стилю) проделал бóльшую часть работы.

Сохранились письма Нерваля к Дюма, написанные в 1838 году:

«Мой дорогой Дюма... Я только что прочел во франкфуртской газете, что вы были 24-го в Кобленце mit Ihre lebenswurde Gattin^[75] (sic!). Значит, мое письмо еще застанет вас во Франкфурте... Я заканчиваю подготовку материала для нашего общего детища — надеюсь, что смогу предложить вам нечто увлекательное. Я засыплю вас сюжетами рассказов, появись у вас в том нужда; никогда мне не работалось лучше, чем этим

летом...»

Супругой этой была Ида Ферье.

Пьесы Дюма, в создании которых участвовал Нерваль, носят отпечаток его таланта. «Пикилло» кажется предтечей театра Мюссе. Теофиль Готье это понимал:

«Вот, наконец, пьеса, не похожая на остальные... Мы были рады увидеть, как среди непроходимых зарослей колючего чертополоха, жгучей крапивы, овсюга и бесплодных растений, которые пробиваются под бледным светом люстр между пыльными досками подмостков, вдруг распустился прекрасный цветок фантазии с граненым серебряным стеблем, с ажурными листьями, зелеными, как морские волны, искрящимися, как прожилки кварца, — той идеальной и небывалой зелени, в которой преобладает морская синь и которую художники называют *зеленю веронезе*, диковинный цветок с расширяющейся чашей, расписанной пламенеющим причудливым узором, цветок — полубабочка, полуптичка, из которого вместо пестиков торчат хохолки павлина, бородки цапли и спирали золотой филиграни...

Стиль пьесы напоминает легкую и быструю иноходь маленьких комедий Мольера: он точен, остер, меток и несется вскачь с задорным видом, развевая султан по ветру; он резко отличается от тяжелого и вялого стиля наших обычных комических опер; тщательно отделанные строки напоминают свободный стих «Амфитриона»^[76], «Психеи»^[77] и интермедий Кино^[78]...»

Удивительная проницательность критика не может не вызвать восхищения.

Приведенное ниже письмо Жерара де Нерваля является грустным свидетельством того, как сложились финансовые отношения между этими людьми, постоянно нуждавшимися в деньгах:

«Я глубоко сожалею, сударь, что могу в столь незначительной мере отблагодарить вас за те услуги, которые вы мне оказали, но я и сам никак не ожидал, что общий доход так сократится. Я далек от того, чтобы жаловаться на моего соавтора

Дюма, но, вероятно, он мог бы отдать мне все билеты на «Лео Бурхарта», так как в свое время забрал себе все билеты на «Алхимика». Это настолько щекотливый вопрос, что его почти невозможно поставить даже через третье лицо, особенно ввиду того, что каждый из соавторов обычно считает, что он проделал большую часть работы. Так вот за «Пикилло» Дюма, по-видимому, хотел получить две трети, я был с этим не согласен, но тем не менее отдал всю рукопись в его полное распоряжение. Я вернул ему все, что был должен за наше путешествие, как только получил от вас деньги. Правда, он платил за меня, когда мы возвращались из Франкфурта, но ведь он получил премию за «Алхимика» в пять тысяч франков. Кроме того, я никогда не упоминал о тех пятистах франках, которые я дал ему накануне его отъезда в Италию и в возмещение которых он обязался посылать мне статьи для газеты, являющейся основной причиной моего нынешнего затруднительного положения.

И, наконец, он отлично знает, что «Лео Бурхарт», четыре акта которого написаны им и два — мной (сценарий мой целиком), в своем первом варианте не устраивал театр Ренессанс, и мне пришлось его полностью переделать, так что в пьесе осталось от силы две сотни строк, принадлежащих ему, и что лишь благодаря этой коренной переработке театр принял пьесу.

Простите мне эти подробности, сударь, но для нас, писателей, вы являетесь своего рода врачом, и мы ничего не можем от вас скрыть. Прошу вас переговорить с Дюма о моих билетах в том случае, если вам покажутся недостаточными те гарантии, которые я вас прошу принять. Но пока я предпочел бы, чтобы вы удовлетворились тем, что я вам предлагаю, потому что если б не та крайняя нужда, в которой я сейчас нахожусь, мне никогда и в голову не пришло бы вступить с Дюма в переговоры о наших денежных делах.

Впрочем, все эти трудности лишь временные. Я заканчиваю две пьесы, одну — для театра Ренессанс, другую для Опера-Комик (обе приняты по сценарию), и надеюсь, что они позволят мне выйти из этих денежных затруднений.

Преданный вам

ЖЕРАР ЛАБРЮНИ ДЕ НЕРВАЛЬ».

К тому времени, когда был написан «Алхимик», Александру Дюма-

младшему исполнилось четырнадцать лет. В 1838 году он перешел из заведения Губо в пансион Энон (дом № 16, улица Курсель), который готовил учеников к поступлению в Бурбонский коллеж. Дюма-сын предпочитал школу плавания в Пале-Рояле и гимнастический зал на улице Сен-Лазар латыни и математике. Если не считать браконьерства и бродяжничества, то юность сына во многом напоминала юность Дюма-отца: его свободу тоже никто не стеснял. Правда, Дюма-отец не знал страданий, вызванных столкновениями покинутой матери с тираническими любовницами. Дюма-сын не хотел признавать Иду Ферье точно так же, как в свое время Белль Крельсамер.

Странная вещь: история с Александром, сыном Катрины Лабе, в точности повторилась с Мари, дочерью Белль Крельсамер. Добрая Марселина Деборд-Вальмор была очень взволнована этим: «Я встретила госпожу Серре-Дюма, еще более красивую, чем всегда, она не перестает оплакивать свое несчастье и свою дочь, с которой он не позволяет ей видеться. Непонятный деспотизм». К такой жестокости его принуждала Ида; по словам Марселины, Дюма «совершил большую ошибку», пожертвовав ради этой эгоистичной женщины госпожой Серре, которая «гораздо красивее, бесконечно элегантна и обладает золотым сердцем».

В 1840 году Дюма женился на Иде Ферье. Он не питал иллюзий на ее счет. К чему же тогда ему понадобилось превращать связь, которой он изрядно тяготился, в постоянный союз? Рассказывают, что однажды Дюма совершил погрешность против этикета, взяв Иду на прием к герцогам Орлеанским в надежде, что ее не заметят в толпе приглашенных. Но принц тихо сказал ему: «Я счастлив видеть госпожу Дюма. Надеюсь, вы вскоре представите нам вашу жену в более узком кругу», — что прозвучало не только как урок хороших манер, преподанный в вежливой форме, но и как приказание. Но рассказ этот представляется нам маловероятным. Вьель-Кастель^[79] утверждает, будто Ида скупилась Дюма и поставила его перед выбором: либо долговая тюрьма, либо женитьба. Актер Рене Люге рассказывает, что сам Дюма, когда его спрашивали, зачем он вступает в брак, отвечал: «Дорогой, да чтобы отделаться от нее».

Когда оглашение было опубликовано, Мелани Вальдор пришла в неопишемую ярость. Александр Дюма-сын, который проводил каникулы у матери, остался в самых хороших отношениях с Мелани Первой. Под

нажимом двух брошенных любовниц Дюма-младший написал Дюма-старшему негодующее письмо. Жених поневоле скрывался в это время в Петит-Вилетт, в доме Жака Доманжа, богатого подрядчика ассенизационных работ, которого Ида называла «дорогим благодетелем» и который, кстати, должен был дать за невестой приданое. Туда-то и отправила Мелани через денщика майора Вальдора возмущенное послание лицеиста, протестовавшего против женитьбы своего отца.

Мелани Вальдор — Александру Дюма-сыну, 15 января 1840 года: «Вот какой прием, мое дорогое дитя, встретило твое письмо к отцу. Его доставили в Петит-Вилетт через посредника. Проникнуть в дом господина Доманжа удалось с большим трудом, причем на звонок вышел один господин Доманж, который уверял, что твоего отца у него нет, и распечатал письмо, говоря, что иначе не даст расписки в получении. Он задал множество вопросов, на которые ему не ответили. По расписке ты увидишь, что завтра он отправится в твой пансион. Я пишу тебе на адрес твоей матери^[80].

Очень боюсь, что твое письмо не дойдет до отца: приняты все меры для этого. Я сама ожидала возвращения денщика. Он ушел часов в десять, а вернулся лишь в два. Завтра меня не будет дома с одиннадцати до пяти; если захочешь со мной поговорить, ты сможешь меня застать утром или вечером.

Господин Доманж уверял посыльного, что твой отец находится на улице Риволи^[81].

Думаю, твоей матери следует с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждения: ведь их уверили, что ты с радостью дал согласие на этот брак! Может быть, так удастся спасти твоего отца.

Прощай, мой дружок, нежно тебя целую. Приходи ко мне в воскресенье, если не сможешь раньше, и, если у тебя есть *хоть какая-нибудь надежда*, напиши мне...»

Дюма-отец ответил Дюма-сыну письмом, которое представляет собой удивительный образчик защитительной речи:

«Не моя, а твоя в том вина, что между нами уже давно не существует отношений отца и сына. Ты приходил в мой дом, тебя все хорошо принимали, и вдруг ты позволил себе неизвестно по

чьему подстрекательству не здороваться с особой, к которой я отношусь, как к своей жене, поскольку живу с ней под одной крышей. Так как в мои намерения не входит получать от тебя советы (даже косвенные) — этот день, естественно, положил начало тому положению вещей, на которое ты жалуешься и которое, к моему великому сожалению, длится уже шесть лет.

Но оно может прекратиться в любой день, когда ты поделаешь. Напиши письмо госпоже Иде: попроси ее, чтобы она стала для тебя тем же, чем она стала для твоей сестры^[82], и ты будешь отныне и навеки самым желанным для нас гостем. В твоих же интересах, чтобы мои отношения с госпожой Идой продолжались, ибо за те шесть лет, что мы живем вместе, у нас не было детей, и я твердо уверен в том, что их не будет и в дальнейшем, так что ты останешься не только моим старшим, но и моим единственным сыном...

Больше мне нечего добавить. Подумай, если я женюсь на другой женщине, не на госпоже Иде, у меня могут появиться еще три-четыре ребенка, с ней же у меня никогда не будет детей. Я надеюсь, что ты будешь руководствоваться тем, что тебе подскажет сердце, а не соображениями выгоды, хотя в данном случае это совпадает. От всей души обнимаю тебя...»

Брачный контракт был подписан 1 февраля 1840 года в Вилетт в присутствии метра Деманеша (нотариуса Жака Доманжа). Свидетели жениха: виконт де Шатобриан и Франсуа Вильмэн^[83], министр народного просвещения в кабинете Гизо. Свидетели невесты: граф де Нарбонн-Лара и виконт де ля Бонардьер, государственный советник. Сумма приданого — 120 тысяч франков во «французской золотой и серебряной монете».

Мемуарист Гюстав Клодэн приписывает Шатобриану остроту, на наш взгляд вполне вероятную: разглядывая корсаж невесты, прославленный пэр Франции с горечью прошептал, намекая одновременно и на французскую монархию и на несколько увядшие прелести госпожи Иды: «Видите, судьба преследует меня. Все, что я благословляю, гибнет». Анекдот, конечно, пикантный, но не вымышлен ли он? Свидетельство Клодэна вызывает некоторое недоверие, так как в его рассказе две серьезные неточности^[84]: он упоминает в числе свидетелей Роже де Бовуара, что неверно, и утверждает, что церковный брак имел место в часовне Палаты пэров. На самом деле венчание состоялось 5 февраля 1840 года в церкви святого Роха,

приходской церкви обоих супругов, поселившихся к этому времени в доме № 22 по улице Риволи.

Шатобриан, который был в тот день нездоров, послал в церковь своего представителя. Свидетельство о церковном браке подписали художник Луи Буланже, архитектор Шарль Роблен и «Жак Доманж, домовладелец». Приведем забавные заметки Поля Лакруа (библиофила Жакоба) о свадьбе Дюма:

«Сейчас много говорят о женитьбе нашего друга Александра Дюма. Не могу ничего добавить, помимо того, что автор «Генриха III» и «Антони» был волен признать пользу и, если хотите, — святость статьи 165 Гражданского кодекса... Да и кто может позволить себе порицать или критиковать законный союз (если прибегать к стилю катехизиса), при заключении которого в качестве свидетелей присутствовали министр народного просвещения и господин Шатобриан. Вот два имени, воистину достойные украсить брачный контракт любого литератора. Вот два имени, которые говорят: «Молодой человек, заслуженно пользующийся самым шумным успехом на поприще драматургии, вы — поэт, вы — романист, вы — путешественник, чтобы добиться поста министра и попасть в Академию, вы должны пройти через позорную капитуляцию в Кавдинском ущелье^[85] классического Гименя!»

Можно смело предсказать, что отныне Александру Дюма обеспечен пост бессменного секретаря Французской академии и министра народного просвещения. Благодаря святости брака, санкционированной ее величеством королевой Франции, можно достичь всего в этот век владычества золота и гражданского листа... О Матримониомания Дворца!..

Итак, господа Вильмэн, Шатобриан и Шарль Нодье (мне кажется, я оставил этого остроумного представителя французской словесности в книжной лавке Тешенера) сопровождали новобрачных в мэрию, где и состоялась церемония, на этот раз не слишком торжественная, но на неофициальную церемонию в церковь они послали вместо себя других свидетелей. Вышеозначенные сменные свидетели были люди с умом и талантом, хотя и не принадлежавшие к академической пастве.

Священник церкви святого Роха, венчавший нашего Александра Дюма, приготовил приличествующую случаю речь,

которую он намеревался представить двору вместе с первым хлебом, освященным в его приходе.

«Прославленный автор «Гения христианства», — сказал он, обращаясь к одному из свидетелей (способному художнику колористической школы), — и вы, писатель, известный своим правильным и изысканным стилем, держащий в своих руках судьбы французской словесности и народного просвещения, — добавил он, адресуясь к другому свидетелю (который был просто хорошим архитектором), — вы, господа, взяли на себя почетную и благородную задачу оказать покровительство этому молодому неопиту, пришедшему к подножью алтаря умолять о священном благословении своего брака!.. и т. д. ...Молодой человек, напомню вам слова великого епископа Реми, обращенные к королю Кловису: «Склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал...»^[86] Пусть отныне из-под вашего пера выходят лишь произведения, исполненные христианского духа, поучительные и евангельские. Отриньте гибельные волнения театра, коварных сирен страсти, постыдную суетность диавола... и т. д. ... Господин виконт де Шатобриан и господин Вильмэн (я сожалею, что господин Шарль Нодье не смог прийти), вы отвечаете перед богом и людьми за литературное обращение этого мятежного ересиарха романтизма. Отныне вы будете крестными отцами его произведений и его детей. Вот чего я желаю ему, мои дорогие братья во Христе. И да будет так!»

Почтенный кюре святого Роха узнал о своей ошибке уже в ризнице, когда прочитал подписи свидетелей в приходской книге. Он говорил потом своей экономке, что у него закрались некоторые подозрения относительно этого *qui pro quo*^[87], когда он заметил, что господин Шатобриан носит бородку в стиле «Молодая Франция», а господин Вильмэн — желтые перчатки по два франка пятьдесят сантимов. Утешает его лишь воспоминание о полном обращении Александра Дюма».

Женитьба не пошла Иде впрок. Вероятно, она внушила ей слишком большую уверенность в нерасторжимость брачных уз. До нас дошел анекдот, хотя, возможно, и апокрифический, о том, что она почти сразу же изменила мужу, — как и следует по традиции, — с лучшим другом дома Роже де Бовуаром, поэтом и драматургом, на семь лет моложе ее мужа.

Бовуар был очарователен.

«Ах, как он был элегантен и эксцентричен! — писала графиня Даш. — Какие прелестные стихи он писал и какие прелестные давал ужины! Он сочетал в себе Анакреона и Мецената. Он писал романы и покровительствовал искусствам. В его приемную каждое утро стекались толпой писатели, у которых не было издателя, художники, которые нуждались в студиях; он принимал их, вставая с постели, угощал всех котлетами и шампанским, и они, уходя, говорили, что у него безграничное обаяние.

В те времена у Бовуара было тридцать тысяч ливров ежегодной ренты, тильбюри, грум, лошади... Его повсюду узнавали по великолепной черной шевелюре, выразительному лицу и тому шуму, который он поднимал. Он носил золоченые жилеты и халаты... Он менял туалеты по крайней мере три раза в сутки. Он расходовал на дню по четыре пары светло-желтых перчаток... Он не пропускал ни одного спектакля в Опере и в антрактах носился между кулисами и зрительным залом, чтобы обратить на себя всеобщее внимание и завязать знакомства... За вечер он успевал побывать во всех театрах... Он обедал в Кафе Англэ, Кафе де Пари или Роше де Канкаль, что не мешало ему еще и приезжать туда ужинать. Словом, он вел головокружительную жизнь. Никто не мог перед ним устоять...»

Как тут было устоять Иде?

Обе Мелани, и Вальдор и Серре, трагически отнеслись к законному браку их общего любовника.

Марселина Деборд-Вальмор — своему мужу, 7 февраля (840 года: «Тебе, наверно, уже сообщили о женитьбе Дюма на толстой мадемуазель? Говорят, что брачный контракт подписали Шатобриан, Нодье, Вильмэн и Ламартин. Узнав об этом, госпожа Серре упала в обморок перед его домом. Она будет судиться, чтобы ей вернули дочь. Госпожа Вальдор тоже поспешила туда, вне себя от великодушной радости, ибо она считала, что он берет в жены честную женщину. Незадолго до этого она написала ему, что, «наконец, вздохнула с облегчением, узнав, что он порвал эту постыдную связь». Представь себе, какой эффект должно было

произвести это письмо. Что касается меня, то я ничего не могу к этому добавить. Он женился, и все тут!...»

Женитьба отца, бросившего его мать, на другой женщине стала для молодого Александра источником новой драмы.

Глава четвертая

КОМЕДИИ



«Алхимик» потерпел провал, «Рюи Блаз» тоже не имел особого успеха. Жанры старятся так же, как и люди. Драма агонизировала.

«Как это ни досадно, но мы должны признать, — писал Теофиль Готье, — что переживаем сейчас полнейший упадок; фабричные методы проникли повсюду, пьесу теперь изготавливают точно так же, как сюртук: один из соавторов снимает с актера мерку, другой — кроит материю, третий — сметывает куски; изучение человеческого сердца, стиля, языка теперь не ставят ни во что... Соавторство в творчестве совершенно невысказано... Представьте себе Прометея, перед которым, подперев рукой подбородок, сидит соавтор, с интересом наблюдая, как бунтарь борется с остроклювым коршуном, ловко выклевывающим у него сердце и печень, и при этом делает на клочке бумаги пометки карандашом Конте!...»

Дюма, на лету схватывавший перемены в настроениях публики, решил сменить регистр. Если вдуматься, покажется странным, почему этот жизнерадостный человек гораздо чаще писал мрачные драмы, чем веселые комедии. Если он и умел повергать в ужас, то еще лучше умел веселить.

Подходя к четвертому десятку, он начал пробовать свои силы в пьесах а ля Мариво. Готье с присущей ему проницательностью объяснил эту эволюцию таланта: «Комедия чужда ранней юности, которая ко всему откосится серьезно и все принимает близко к сердцу... Если бы господин Дюма стал теперь переделывать «Антони», Адель д'Эрвэ не умерла бы, а любовник, спокойно представившись ее супругу, играл бы с ним в экарте... Чем дольше вы живете, тем сильнее вами овладевает смертельная тоска — и тут-то вы и начинаете писать комедии...»

В 1839 году Комеди-Франсэз поставила комедию Дюма «Мадемуазель де Бель-Иль». Сент-Бёв, всегда отрицательно относившийся к драматургии Дюма, вдруг стал неожиданно любезным.

«Когда писатель, — говорил он, — заблуждается на свой счет, когда он, занимаясь без должных оснований высокой поэзией, тщетно пытался казаться более великим, чем есть на самом деле, всем радостно узнать, что он одержал неожиданный, блестящий и легкий успех, — и все, наконец, стало на свои места. Господин Александр Дюма — писатель, пользующийся любовью публики, и все искренне аплодировали его живой и остроумной комедии... Хотелось бы, чтобы господин Дюма пустил корни где-то между Эмпиреями и Бульваром, *не так высоко и не так низко...*»

Актеры Комеди-Франсэз разделяли чувства Сент-Бёва:

— Вы чудесно пишете комедии, — говорили они Дюма.

— Уж не потому ли, что я всегда писал драмы, вы мне это говорите? — отвечал Дюма.

«Мадемуазель де Бель-Иль» напоминает по тону пьесы Мариво и Бомарше, которые Дюма старательно читал и которым ловко подражал, хотя в ней и нет их изящества. После стольких преступлений, самоубийств и мятежей было приятно очутиться в обществе изысканно дерзких ловеласов в пудренных париках, которые умеют без слез и воплей предаваться наслаждениям. От XVIII века в пьесах Дюма сохранились всего три черты: любезная его сердцу свобода нравов, насмешливое отношение к верным мужьям или женам и гнетущий страх перед Бастилией, неминуемо ожидающей побежденных вслед за упоением поединка.

Сюжет «Мадемуазель де Бель-Иль» довольно прост, зато пикантен. Герцог Ришелье, самый большой распутник века, побился об заклад с

компанией повес, что станет любовником первой же дамы, девицы или вдовы, которая пройдет по галерее, где они находятся, и что уже в полночь красавица назначит ему любовное свидание у себя в комнате. В этот момент объявляют о приезде маркизы де При, любовницы герцога Бурбонского.

«— Ну, эта в счет не идет, господа, — говорит Ришелье, — обкрадывать вас я не намерен».

В конце галереи появляется мадемуазель де Бель-Иль, которая приехала просить фаворитку похлопотать за ее отца, заключенного в Бастилию.

Тут же выступает вперед молодой шевалье д'Обиньи и заключает пари с Ришелье:

— Через три дня я собираюсь жениться на той, которую господин Ришелье хочет сегодня вечером обесчестить... Я ручаюсь за нее.

Клинки скрещиваются.

Во втором акте маркиза де При, взяв под свое покровительство молодую девушку, отправляет ее в своей карете в Бастилию на свидание с отцом. Сама фаворитка запирается в спальне мадемуазель де Бель-Иль, тушит свет и поджидает чересчур предприимчивого герцога. «На самом деле, — пишет Сент-Бёв, — невозможно предположить, чтобы герцог, пробираясь на цыпочках к своей нежной жертве, не заподозрил почти сразу же подвоха и не обнаружил своей ошибки... Я заранее извиняюсь перед читателями, но дело тут не в литературе, а в физиологии... Любопытно отметить, что мы подошли к такому этапу, когда для того, чтобы судить о достоверности драматического произведения, приходится заниматься случаями, касающимися чуть ли не судебной медицины; я пропустил этот промах, так же поступила и публика...»

В театре публика принимает на веру все, особенно невероятное. Она охотно допускает, что Ришелье, проведя ночь с мадам де При, думает, будто он обесчестил девушку. И вот герцог с твердой уверенностью в своей правоте посылает д'Обиньи записку, в которой сообщает, что выиграл пари.

До сих пор мы находились в атмосфере комедий Мариво или даже Кребильона. «Но нельзя забывать, что мы имеем дело с нашим Дюма, большим любителем нагнетать страсти». С нашим Дюма, который больше всего на свете любит драматические ситуации и который в глубине души разделяет здоровую мораль народа. По правде говоря, он за свою жизнь лишил невинности не одну девицу, но со сцены он порицает порок, и начиная с третьего акта комическое в пьесе шествует бок о бок с патетическим. Такова сцена объяснения шевалье д'Обиньи с его

нареченной, когда он, по-прежнему любя ее, обвиняет ее в неверности, а она не может оправдаться, потому что торжественно поклялась никому не выдать тайны своего посещения Бастилии и, следовательно, не может сказать, где она провела ночь. Такова и сцена между Габриэль де Бель-Иль и герцогом Ришелье, когда герцог, уверенный, что говорит с соучастницей, фатовски вспоминает подробности прошлой ночи и этим окончательно убеждает д'Обиньи в справедливости его подозрений. Габриэль в отчаянии восклицает: «О боже, боже, сжался надо мной!»

Пари превращается в пытку! С этого момента и до последней сцены комедия вдруг становится драмой наподобие тех, что ставились в Порт-Сен-Мартэн. Но в финале пьесы вновь оборачивается комедией, и веселая развязка кажется тем более приятной, что она совершенно неожиданна. Герцог Ришелье, которому маркиза открывает глаза, приходит вовремя и выводит всех из заблуждения. Д'Обиньи под занавес торжественно представляет: «Мадемуазель де Бель-Иль — моя — жена! Герцог Ришелье — мой лучший друг».

Сент-Бёв язвительно заметил, что герцог, «должно быть, улыбнулся, услышав во время венчания, что ему выдают патент на звание *лучшего друга*; может быть, к пьесе следовало бы добавить еще один чисто комический акт под заглавием «*Два года спустя...*». Роже де Бовуар оказался бы в этом случае незаменимым соавтором. Но и в таком виде комедия имела бешеный успех. Она была последним триумфом мадемуазель Марс, которая в шестьдесят лет сыграла Габриэль трогательно, как и подобает инженеру. Молодость в театре всегда вопрос условности. Фирмен, который был первым другом Дюма в Комеди-Франсэз, исполнял роль герцога Ришелье с чисто аристократической заносчивостью. Словом, прелестный спектакль.

Дюма, ободренный успехом, захотел повторить себя. В 1841 году он отдал театру пьесу «Брак при Людовике XV», написанную, как он сам признавался, на довольно избитый сюжет, «который, однако, можно было омолодить остроумными деталями». Это старая история о двух супругах, поженившихся по воле родителей и расставшихся по обоюдному согласию. Но потом они признают свою ошибку и покидают: он — любовницу, она — поклонника, которых они, как им казалось, любили, и сходятся вновь, на этот раз по взаимной склонности.

Комедия «Воспитанницы Сен-Сирского дома» (1843 г.) была встречена менее благосклонно. «Она, как и все пьесы, выходящие из-под пера этого автора, — писал Сент-Бёв Жюсту Оливье, — довольно жива, увлекательна и не лишена занятости, но ее портят незавершенность, небрежность и

вульгарность. Ну посудите сами, станет ли воспитанница госпожи Ментенон^[88] разговаривать, как лоретка с улицы Гельдер... Читая Дюма, все время восклицаешь: «Какая жалость!» Теперь я начинаю думать, что мы ошибались на его счет: он из тех натур, которые никогда не достигли бы подлинных высот и вообще не способны к серьезному искусству. Нам кажется, что он разбрасывается и не реализует своих возможностей, тогда как на самом деле он как раз пускает их в ход и выигрывает еще и на том, что заставляет публику думать, будто он мог бы создать нечто лучшее, тогда как на самом деле он на это совершенно не способен...»

Жюль Жанен яростно напал на пьесу: «Если это убожество будет и впредь продолжаться, придется закрыть Французский театр. Перед премьерой только и разговоров было: «Ах, вы увидите, как это интересно! Ах, вы услышите...» Сколько шума из ничего...»

Дюма рассердился и, так как от природы был добр, ответил неловко. Мстительность была ему не к лицу: желая быть злым, он оказался просто нудным, припоминая давно забытые истории, которые не имели никакого отношения к делу. В своем ответе он воскрешал те времена, когда Жанен жил на улице Мадам в одном доме с мадемуазель Жорж и Арелем и был третьим членом этого семейства, нисколько не нарушавшим, однако, согласия достойной четы. Выпад, несомненно, дурного вкуса.

Одной из причин излишней суровости Жанена было то, что Дюма изо всех сил старался проникнуть во Французскую академию. Избрание Гюго подало надежды всем романтикам. Гюго и сам расценивал это именно так: «Академии, как и все остальное, будут принадлежать новому поколению. А в ожидании этого времени я буду той живой брешью, через которую туда уже сегодня входят новые идеи, а завтра войдут новые люди...» Какие люди? Гюго, как человек великодушный, думал о Виньи, о Дюма, о Бальзаке и даже о своем враге Сент-Бёве. Дюма же думал только о Дюма. В 1839 году, после успеха «Мадемуазель де Бель-Иль», он написал Франсуа Бюлозу, директору «Ревю де Де Монд»: «Поговорите обо мне в «Ревю» в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не представил свою кандидатуру, особенно если учесть, что Ансело^[89] представил?» И 15 января 1841 года: «Замолвите за меня словечко в вашем журнале перед выборами в Академию. Меня нет в списке кандидатов, но я уверен, что все этому удивляются...»

После избрания Гюго Дюма воззвал к своему старому другу Нодье, который сам уже давно был членом Академии: «Как вы думаете, есть ли у меня сейчас какие-нибудь шансы пройти в Академию? Гюго уже прошел, а

ведь почти все его друзья являются и моими друзьями... Если вам кажется, что ситуация благоприятная, поднимитесь на академическую трибуну и от моего имени расскажите вашим достопочтенным собратьям, как велико мое желание занять место среди них... Одним словом, скажите им все хорошее, что вы обо мне думаете, и даже то, чего вы не думаете...» Однако Дюма никогда не удастся проникнуть в эту дверь. Так же как и Бальзаку. Но Бальзак умер молодым. Дюма же, хоть и дожил до шестидесяти восьми лет, так и не смог добиться избрания.

«Значит, слава может служить препятствием? — с гневом спрашивала Дельфина де Жирардэн. — Почему людям прославленным так трудно добиться избрания в Академию? Значит, заслужить признание публики — это преступление?.. — Бальзак и Александр Дюма пишут по пятнадцать-восемнадцать томов в год; этого им не могут простить. — Но ведь это великолепные романы! — Это не оправдание, все равно их слишком много. — Но они пользуются бешеным успехом! — Тем хуже: вот пусть напишут один-единственный тоненький, посредственный романчик, который никто не будет читать, — тогда мы еще подумаем. Оказывается, излишек багажа является препятствием. В Академии такие же правила, как и в саду Тюильри: туда не пропускают тех, у кого слишком большие свертки...»

На самом деле академиков испугал отнюдь не огромный литературный багаж Дюма. Ведь избрали же они Гюго, который тоже был очень плодовитым автором. Они просто боялись скандалов, а Дюма, этот типичный представитель богемы, мог, конечно, попасть в любую переделку. Двое незаконнорожденных детей, строптивые любовницы, огромные долги... Если он и зарабатывал большие деньги, то тратил еще больше...

— Я никогда и никому не отказывал в деньгах за исключением моих кредиторов, — говорил он.

Однажды, когда у него попросили двадцать франков на похороны судебного исполнителя, умершего в бедности, он ответил:

— Вот сорок франков. Похороните двух исполнителей.

Это, конечно, была всего лишь шутка, но в официальных местах таких шуток не любят.

«Дюма очарователен, — говорили о нем, — но его нельзя принимать всерьез».

Во Франции, если человек не носит голову, будто чашу со святым причастием, его считают весельчаком, но не уважают.

Людям скучным всегда отдают предпочтение.

Глава пятая БЛУДНЫЙ ОТЕЦ



С тех пор как Дюма женился на Иде, отношения его с сыном никак не могли наладиться. Любовь отца к сыну оставалась неизменной, но неглубокой, у сына привязанность к отцу подрывали приступы дурного настроения. Невозможно было не любить его и не восхищаться им, таким веселым товарищем, но прошло немало времени, прежде чем сын привык к сумасбродным выходкам отца. Завершив без особого блеска свое образование, Дюма-сын пытался время от времени жить в доме отца. Там он видел не слишком положительный пример. «Мой сын, — торжественно говорил отец, — если имеешь честь носить фамилию Дюма, приходится жить на широкую ногу, обедать в Кафе де Пари и ни в чем себе не отказывать...»

Ни один юноша, как бы добродетелен он ни был по природе и воспитанию, не может устоять перед соблазнами. Позже Дюма напишет: «Я вел эту жизнь не столько по склонности, сколько по инертности характера, по лени и из подражания». И еще: «Мне не доставляли радости легкие удовольствия. Я чаще наблюдал кутежи, чем участвовал в них сам». Все посмеивались над несколько «скабрёзной дружбой отца и сына, которые вместе бегали в поисках приключений, брали друг друга в доверенные своих любовных дел, платили из общего кошелька и тратили деньги, не считая...» Кое-кто порицал отца за то, что он «отдавал сыну не только свои

старые башмаки, но и своих любовниц».

Что касается Дюма-сына, то он некоторое время участвовал в той роскошной и полной развлечений жизни, которую вели в отцовском доме, хотя и не одобрял ее: «К восемнадцати годам я с головой окунулся в то, что я назвал бы паганизмом современной жизни... Разумеется, жил я отнюдь не как святой, если только не считать *Блаженного Августина в ранней юности...*»^[90]

Он нередко посещал девиц легкого поведения, которых в те времена было множество, и все они были весьма привлекательны. В восемнадцать лет у него был первый роман с замужней женщиной. В письме к майору Ривьеру (от 11 апреля 1871 года) он вспоминает это счастливое время:

«Представьте себе (это пришло мне в голову, когда я ставил дату на письме), что сегодня, в тот самый миг, когда я вам пишу (а именно в половине третьего), исполнилось ровно двадцать восемь лет с тех пор, как прекрасная мадам Прадье^[91], послужившая мне моделью для мадам Клемансо, впервые пришла ко мне. Помню, на ней было платье из белого шелка, расшитое букетами цветов, такой же шарф и шляпка из рисовой соломки. Мне было в ту пору восемнадцать лет. Я только что окончил коллеж. Впервые порог моей холостяцкой квартирки переступила, что называется, светская женщина. Представьте себе эту сцену! Она была замечательно хороша: золотые волосы, сапфировые глаза, жемчужные зубки, розовые пальчики, тоненькие и хрупкие, маленький букет цветов за corsageм... Должен сказать, она не теряла времени даром... Черт побери, хотелось бы мне вновь пережить этот день...»

Холостяцкая квартира, элегантные любовницы, обеды в Кафе Англэ — такая жизнь стоит не дешево. И Дюма-сын тоже завел долги. Когда это начало его тревожить, отец, которому очень хотелось поставить себе на службу расцветающий талант Александра Второго, сказал: «Работай, и ты сможешь расплатиться. Почему бы тебе не сотрудничать со мной? Уверю тебя, это очень просто, надо только во всем полагаться на меня». Но у Александра Второго были другие планы. Встать на буксир к отцу и идти по фосфоресцирующему следу этого могучего корабля — нет, его не устраивала такая судьба. Свидетель блестящих триумфов своего отца, он жаждал завоевать славу самостоятельно. Он не знал еще, о чем он будет писать и будет ли писать вообще (ведь успеха можно добиться и в других

областях), но он уже был блестящим и остроумным собеседником, и отцу, гордившемуся своим талантливым сыном, очень нравилось цитировать его словечки. Прослушав чтение «Шарлотты Кордэ» Понсара, Александр Второй сказал:

Так дух он испустил. О небо! Месть ужасна.
Ему не повезло. Он в ванну влез напрасно.

Александр Первый пришел в восторг от этого школярского двустипшия. Сыну уже и тогда не хватало простоты отца и его легкости в обращении с людьми.

— Послушайте, мой милый, — сказал ему как-то старый друг их дома, — я обращаюсь на «ты» к автору «Антони», а вам говорю «вы». Это же смешно! Давно пора это исправить.

— В самом деле, — ответил молодой Дюма, — вам давно пора говорить папе «вы».

Время от времени между мужчинами разгорались ссоры из-за Иды. Ида, которой удалось завоевать расположение своей падчерицы Мари, тщетно пыталась приручить своего пасынка. Дюма-отец вступался за супругу.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Ты ошибаешься, мой друг, потому что я добился — а вернее сказать, потребовал — гораздо большего. Мадам Дюма напишет тебе и пригласит прийти к нам, когда у нас будут мои друзья. Таким образом, ты войдешь в мой настоящий дом, коим являются мои друзья, что вознаградит меня за твое долгое отсутствие и поможет наладить дела в будущем. Целую тебя. Увижу ли я тебя сегодня вечером?»

Он давал ему советы по поводу его карьеры:

«Мой дорогой мальчик, твое письмо слегка успокоило меня в отношении финансовом и моральном, но оно нисколько не успокоило меня в отношении твоего будущего. Ты сам выбрал себе будущее в области умственного труда. Однако ни одно место не может отвечать тем *потребностям*, которые у тебя перешли в *привычки*, по моей вине столько же, сколько и по твоей. Любую славу можно перевести на деньги, но деньги приходят к нам лишь

следом за славой. Неужели ты думаешь, что, ложась спать на заре и вставая в два-три часа дня, отягощенный вчерашними неприятностями и исполненный тревоги за завтрашний день, неужели ты думаешь, что при такой жизни у тебя останется время для размышлений и ты сможешь создать что-либо путное? Дело не в том, чтобы просто что-то делать, а в том, чтобы делать хорошо. Дело не в том, чтобы ты имел деньги, а в том, чтобы ты их зарабатывал. Поработай год, два, три. Потом, когда у тебя будет почва под ногами, делай что хочешь и как хочешь...»

В 1844 году Александр Второй, который не мог дольше мириться с госпожой Дюма, попросил отца дать ему деньги на путешествие. Сначала отец воспротивился: ему нравилось общество красивого и блестящего юноши. Он пытался отговорить его от этой затеи.

«Мой друг, я отвечаю тебе, как ты и просил, — письмом, и притом длинным. Ты знаешь, что мадам Дюма является моей женой лишь формально, тогда как ты — мой настоящий сын, и не только мой сын, но и почти единственное мое счастье и утешение.

Ты хочешь поехать в Италию или в Испанию. Я уже не говорю о том, что с твоей стороны будет черной неблагодарностью бросить меня одного среди людей, которых я не люблю и с которыми меня связывают лишь светские отношения. Да я что ждешь тебя в Италии или в Африке? Если тебе просто хочется путешествовать — это еще куда ни шло. И все же мне представляется, что ты бы мог подождать, пока нам не удастся поехать вместе.

У тебя в Париже, говоришь ты, *глупое* и *унизительное* положение. В чем же, спрашиваю я тебя? Ты — мой единственный друг. Нас так часто видят вместе, что наши два имени перестали разделять. Если тебя где-нибудь и ждет будущее, то, конечно, в Париже. Работай серьезно, пиши и через несколько лет ты будешь получать ежегодно тысяч десять франков. Не вижу в этом ничего *глупого* и *унизительного*. Впрочем, ты сам знаешь, что ради счастья тех, кто меня окружает, и ради благополучия тех, за кого я несу ответственность перед богом, я привык обрекать себя на любые лишения и что я готов поступить так, как ты пожелаешь. Ведь если ты будешь

несчастен, ты в один прекрасный день обвинишь меня в том, что я помешал тебе последовать твоему призванию, и решишь, что я принес тебя в жертву эгоизму отцовской любви, единственной и последней любви, которая мне осталась и которую ты обманешь так же, как это делали до тебя другие.

Может быть, тебе приглянется другая перспектива. Хочешь получить место в одной из парижских библиотек, место, которое сделало бы тебя почти независимым? Но поразмысли, хватит ли у тебя, привыкшего быть себе хозяином, выдержки посвящать каждый день четыре часа службе?

Короче, пойми одно: разрыв мой с мадам Дюма может быть лишь *разрывом* духовным, ибо супружеские раздоры заинтересовали бы публику, что было бы для меня очень неприятно, — а следовательно, просто *исключено*. И кроме того, я нахожу очень непорядочным и несправедливым, когда ты, которому принадлежит вся моя любовь и нежность, говоришь: «*Выбирай* между мной и той, которая, не располагая твоей привязанностью, распоряжается твоими деньгами». Ты не прав, когда не хочешь поговорить обо всем этом лично. Буду ждать тебя до трех часов. Теперь ты видишь, что я всецело принадлежу тебе, тогда как ты мне — лишь отчасти...»

Но так как Александр продолжал настаивать на отъезде, отец послал его на некоторое время в Марсель, где у него было много друзей. Там была очень приятная литературная среда: поэт Жозеф Отран, родом из старой марсельской семьи, взбалмошный и эксцентричный Жозеф Мери, библиотекарь и писатель, и некая леди Сюзанна Грейг, уроженка острова Мальта, в доме которой на улице Сен-Ферреоль собирался салон. Молодой Дюма одержал в Марселе лестные победы. Отран посвятил ему следующую эпистолу:

Я помню твой приезд, о юноша-поэт.
Ты нам назвал себя, и словно вспыхнул свет:
При имени твоём раскрылись наши двери.
Мы, восхищенные, своим глазам не веря,
Смотрели на тебя, ты покоришь сердца:
Ниспосланный нам друг был копией отца.
Казалось, он, став юным, к нам явился,
Мы видели глаза, в которых ум искрился,

И голос был его, и речь, как будто он
Всем существом своим в тебе был отражен.
И кто из нас тогда не доказал на деле,
Увидев копию столь верную модели,
Что восхищеньем преисполнен он к тому,
Кто блеск такой придал творенью своему?

Дюма-отец пекся о «своем творении» издалека, посылал ему деньги, что является основной задачей даже блудных отцов, и предлагал различные возможности их заработать. Отца попросили написать небольшую книгу о Версале. Почему бы сыну не заняться этим делом?.. Он пошлет ему все необходимые книги, справки, план работы. Но это поручение, скучное и незначительное, не могло заинтересовать молодого честолобца, который пописывал стишки, работал над романом и ухаживал за красивой актрисой, прибывшей в Марсель на гастроли. Когда гастроли кончились, он последовал за ней в Париж и написал оттуда Мери, сообщая о конце этого приключения. Письмо это стоит привести, оно характеризует юношу:

Александр Дюма-сын — Жозефу Мери, 18 октября 1844 года:
«Мой милый и добрый Мери, ваше окно сейчас, должно быть, распахнуто, а мое закрыто, но зато у меня в камине разведен огонь, «за отсутствием Фебова огня», как сказал бы наш друг Делиль. Я по уши увяз в Людовике XV, как сказали бы вы, и последние две недели предавался меланхолии.

Помните ли вы тот день, когда я уезжал в Лион, откуда я вернулся, получив еще один солнечный удар и утерев еще один предмет своей страсти? Когда я рассказал вам о своих приключениях, вы заверили меня, что я поступил мудро и что вы на моем месте не проявили бы такой силы воли. Ну так вот, мой милый, то, что я недавно сделал, еще похлестче.

Недавно отец подал мне здравый совет расстаться с той, за которой я помчался в Париж, но так как у меня не было для этого никакого повода, я был в затруднении. Наконец настал день, когда та молодая и привлекательная особа, которая была столь любезна ко мне в вашем прекрасном городе, произнесла следующие памятные слова: «Боюсь, как бы, моя связь с тобой не поссорила меня с твоим отцом и не помешала бы моей карьере. Хочу я того или нет, я неизбежно трачу гораздо больше денег, чем ты

можешь мне давать, даже если бы ты ради этого стеснял себя. Кончим на этом. Однако уверяю тебя, ты ни в чем не можешь меня упрекнуть».

Я поймал ее на слове и две недели носу к ней не казал. На другой же день она начала преследовать меня, бегала ко всем моим друзьям, подсылала их ко мне и шла на всевозможные уступки, — я не отвечал, но, оставшись один, плакал горючими слезами. Наконец мы успокоились. В прошлое воскресенье она пришла и застала меня дома. Она дала мне понять, что, хотя она и живет с другим человеком, которого считает своим мужем и который ей нужен лишь для денег, она была бы счастлива не порывать прежних отношений и со своими марсельскими друзьями.

Тогда я взял ее руки в свои, почтительно их поцеловал и дал ей совет не посещать меня слишком часто, потому что она будет только зря себя компрометировать. Я по-братски проводил ее до двери, невзирая на слезинки, блиставшие в ее огромных голубых глазах, этих звездах, освещающих небосклон Жимназ, и, поверьте, ни один брат и сестра не были столь целомудренны, как мы. В прошлый четверг она снова приходила, но, к счастью, я был на скачках. Таковы последние новости, друг мой. Я должен был рассказать вам о них, потому что вся эта история началась у вас на глазах.

Но теперь я уже не слишком горюю. Я работаю, чувствую себя хорошо и, вспоминая о Марселе, а это случается нередко, думаю гораздо чаще о доме на Музейной улице, чем о доме на улице де ля Палю. И все же, признаюсь, временами сердце у меня сжимается. Ведь вы помните, как необычно и мило начался этот роман? Ну вот! Я вижу, как вы улыбаетесь, читая эти строки. Вы говорите себе: «Все это я уже пережил. Я хорошо знаю, чем все это кончается», — и вы будете правы, потому что я и сам тоже знал об этом: ведь я не раз говорил с вами о начале этого романа и никогда о его будущем.

Да, у нас большие новости, мой милый и добрый друг! Дом Дюма на пороге краха. Супруги вот-вот разойдутся, как Авраам и Агарь^[92], хотя причиной тому будет отнюдь не бесплодие, и я полагаю, что вскоре вы увидите, как некая толстая особа проследует через Марсель, направляя стопы свои в Италию, чтобы обосноваться там навечно! Все это меня радует. Что

касается нас, то мы в следующем году собираемся поехать в Китай и по дороге прихватим с собой Мери. Вот вам наши новости и наши планы...»

Дюма-сын не без цинизма говорит о женщине, недавно им любимой. И хотя юноша еще способен расчувствоваться и пролить несколько слезинок, укротитель уже начинает размахивать хлыстом.

Чету Дюма и впрямь постиг крах. Вот уже несколько лет, как Ида завоевала во Флоренции сердце знатного итальянца Эдуардо Аллиата, двенадцатого князя Виллафранка, герцога Салапарутского, испанского гранда первого класса, князя Монреальского, герцога Сапонарского, маркиза Санта-Лючии, барона Мастрского, сеньора Мирии, Манджиавакки, Виагранде и других мест... Готский альманах, а он не шутит с подлинностью титулов, помещает Эдуардо де Виллафранка в разряд сиятельнейших высочеств. Князь Священной империи и граф Палатинский, он имел (в теории, конечно) наследственное право чеканить монету.

Виллафранка, единственный наследник стольких ленов, выполнил свой долг дворянина: женился молодым и сделал единственного сына, нареченного при крещении Джузеппе-Франческо-Паоло-Гаспар-Бальтазар. После чего он оставил жену и ребенка в Палермо, а сам переселился на полуостров, где и жил то в Риме, то во Флоренции с госпожой Дюма. Она была на семь лет старше своего любовника и на десять лет старше покинутой им княгини. Но она была из тех женщин, которые, умея завоевать любовь мужчины, умеют и удерживать ее. Актриса, наделенная всеми соблазнами парижанки, она была далеко не глупа. Ее здравый смысл пленял сицилийца.

Начиная с 1840 года она каждый год проводила по несколько месяцев во Флоренции. Туда к ней часто приезжал и Дюма, которого этот дележ нисколько не тревожил. Затем она возвращалась в Париж и с присущей ей грацией правила домом маркиза де ля Пайетри.

Ида Дюма — Теофилю Готье, 1843 год: «Мой дорогой поэт, как решиться предложить обыкновенную чашку чаю вам, питающемуся поцелуями олеандровых лепестков? И все же, если вы захотите на мгновение спуститься с синих небес вашей

прекрасной Испании^[93], вы застанете нас в среду дома в обществе нескольких более или менее остроумных друзей, и мы по возможности попытаемся не скучать. Ваш друг...»

Между Идой и Дюма-сыном продолжалась отчаянная борьба за власть над Дюма-отцом. Когда молодой Александр был в Марселе, его двоюродный брат Альфред Летелье, сын Александрины-Эме^[94], служивший секретарем у Дюма-отца, вызвал его в Париж:

«Твое чересчур затянувшееся пребывание в Марселе может тебе сильно повредить. Твой отец добр, слишком добр, но так как тебя здесь нет, и некому противостоять влиянию *некоей особы*, тебе придется потом нелегко... Я откровенно говорю тебе обо всем этом, как брат, как друг и как человек, который *видит* положение дел. Теперь, когда ты рассеялся и отдохнул в Марселе, тебе следовало бы вернуться в Париж. Подумай о том, что тебе двадцать лет и что тебе необходимо поступить на службу. Твой отец начинал так, и это не помешало ему стать тем, чем он стал...»

В 1844 году супруги решили любовно разойтись. Ида хотела жить со своим князем; Дюма, которому она изрядно надоела, был рад с ней расстаться. В контракте, заключенном 15 октября 1844 года, он обещал ей ежегодную ренту в двенадцать тысяч франков золотом плюс три тысячи франков «на карету». Он даже предложил купить у нее спальный гарнитур лимонного дерева за фантастическую сумму в девять тысяч франков.

На бумаге щедрость Дюма производит внушительное впечатление. Но чем он рисковал? Ведь ему ничего не стоило раздавать несуществующие ренты и устанавливать пенсии на доходы с несуществующего капитала. Ида лучше, чем кто бы то ни было, знала, что ей никогда не получить назад своего приданого (ста двадцати тысяч франков золотом). Значит, надежды были только на Виллафранка.

Разрыв фактический, за которым не последовало никаких формальностей. Дюма повел себя рыцарски по отношению к женщине, носившей его имя. Когда Ида уезжала в Италию, он дал ей письмо к французскому послу, письмо очень теплое, из которого никак нельзя было понять, даже читая между строк, что путешествие это означает окончательный разрыв и что прославленное семейство распалось. Маркиз де ля Пайетри, вполне равнодушный к Иде, но отнюдь не равнодушный к

аристократии, решил, что его маркиза нашла ему воистину достойного преемника.

Он и в самом деле был рад вновь обрести свободу. Хотя Ида и не ревновала его, все же она по праву занимала супружеский дом и мешала поселить там очередную временщицу. Дюма представлял себе счастье так: уединенная комната; работа по десять-двенадцать часов в сутки за простым некрашеным столом; огромная кipa голубой бумаги; женщина, молодая и пылкая в любви; сын и дочь, которых он любил бы от всего сердца, с которыми бы обращался по-товарищески и которые никогда не читали бы ему морали; веселые друзья, которые опустошали бы его кошелек, объедали бы его, опивали и платили бы за все остротами; и ко всему этому — театральная суэта, запойное чтение и клокотание непрерывно рождающихся грандиозных сюжетов. Короче говоря, он обожал независимость, силу, веселье и ничего на свете не боялся, кроме скучных людей, плаксивых любовниц и кредиторов. Но нарисованная нами картина была бы неверной, если бы мы не отметили, что за этим роскошным и безалаберным существованием таилось желание служить униженным и оскорбленным, желание, которое ему так и не удалось воплотить в жизнь и которое он отныне будет удовлетворять в своих романах.

Часть пятая
ОТ «ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ» ДО «ДАМЫ
С КАМЕЛИЯМИ»



Глава первая В КОТОРОЙ ДРАМАТУРГ СТАНОВИТСЯ РОМАНИСТОМ

Никто так не чувствовал театр, как он, это видно по всем его романам.

АРСЕН ГУССЭ



Первую половину жизни Дюма критика и публика считали его прирожденным драматургом — и тут они нисколько не ошибались. Правда, наряду с драмами он писал такие эссе, как «Галлия и Франция», путевые записки, романы; но в каком бы жанре он ни работал, всегда сказывалось его врожденное умение строить напряженное действие, которое и делает драматургом, да и кроме того, он в это время еще не приступил к осуществлению своего грандиозного замысла — воскресить историю Франции в серии романов, которые гораздо больше, чем драмы, будут способствовать его славе.

Литературные жанры рождаются от союза гения и обстоятельств. Дюма был в своем роде гениален: он обладал вдохновением и чувством драматического. Обстоятельства довершили остальное. Первым из этих обстоятельств было возрождение исторического романа. Романы, в которых наряду с вымышленными героями действуют известные исторические

персонажи, писали еще до Вальтера Скотта. Пример тому — «Принцесса Клевская». Скотт первым сумел воссоздать эпоху и среду. Бальзак, Гюго, Виньи и Дюма были его восторженными почитателями.

Почему? Потому что он отвечал потребностям своего времени, лишенного эффектных развязок эпохи империи и изголодавшегося по всему необычному. Кто-то сказал, что воображение молодых людей 1820-х годов напоминало пустой дворец, на стенах которого висят портреты их славных предков. Дворцу надо было придать жилой вид. И так как современная мебель для этого не годилась, писателям пришлось прибегнуть к тому гигантскому мебельному складу, что зовется Историей. Но история в скучном пересказе может стать мрачным кладбищем. Фантазия Вальтера Скотта сделала ее живой и красочной. Даже историки и те относились к нему с почтением: «Я считаю Скотта, — говорил Огюстен Тьерри^[95], — непревзойденным мастером, умеющим, как никто, передать исторический колорит».

Молодые французские писатели шли по стопам Вальтера Скотта. Альфред де Виньи написал «Сен-Мара», Гюго — «Собор Парижской богородицы», Бальзак — «Шуанов», Мериме — «Хронику времен Карла IX». Эти книги имели большой успех у немногих избранных, но только Гюго удалось завоевать «широкую публику». А между тем публика так же была готова читать исторические романы, как до этого ходить на исторические драмы, и объясняется это одними и теми же причинами. Людям, которые *делали* историю и были свидетелями грандиозных переворотов, хотелось заглянуть за кулисы этого столь недавнего прошлого. Но чтобы заинтересовать толпу жизнью королей и королев, фаворитов и министров, надо было показать ей, что под придворными нарядами таятся те же страсти, что и у простых смертных. В этом Дюма не имел себе равных.

Он не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее. «Что такое история? — говорил он. — Это гвоздь, на который я вешаю свои романы». Дюма мямлил юбки Клио, он считал, что с ней можно позволить любые вольности при условии, если сделаешь ей ребенка. А так как он был смел и чувствовал себя на это способным, он не был склонен выслушивать мелочные признания, поучения и попреки этой несколько педантичной и болтливой музы. Он знал, что как историка его никогда не будут принимать всерьез. «Только неудобочитаемые истории имеют успех, они похожи на обеды, которые трудно переварить... Обеды, которые перевариваешь легко, забываешь на следующий день...» Он не обладал терпением, необходимым для того, чтобы стать эрудитом; ему всегда

хотелось свести исследования к минимуму. Он испытывал необходимость в сырье, переработав которое он мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение. Счастливый случай свел Дюма с любителем и знатоком мемуарной литературы: талант сочинителя оплодотворился более скромной, но весьма драгоценной страстью к прошлому.

Как мы помним, очаровательный Жерар де Нерваль стал одним из постоянных сотрудников Дюма. Так вот у Нерваля был друг, преподаватель Огюст Маке. Сын богатого фабриканта, этот элегантный молодой человек с мушкетерскими усиками был страстно влюблен в литературу. С 1833 года Маке, тогда еще двадцатилетний юноша, входил в маленькую группу смельчаков, боровшихся с классицизмом; там он встречал, кроме Нерваля, Теофиля Готье, Петрюса Бореля, Арсена Гуссэ и художника Селестена Нантейля. В этом кружке Маке, находивший свое имя недостаточно романтичным, велел называть себя Огастэсом Мак-Китом. Он преподавал историю в лицее Карла Великого, но не любил своей профессии и мечтал с ней расстаться. В 1836 году он поступил в «Фигаро» и стал пробовать свои силы в драматургии.

Он предложил Антенору Жоли, директору театра Ренессанс, драму «Карнавальный вечер», которую тот отверг. «Недурно написано, но для театра не годится», — сказал Жоли. Высшим жрецам театра доставляло жестокое наслаждение закрывать непосвященным доступ в святилище.

Жерар де Нерваль предложил показать «калеку» Дюма, прославленному костоправу, спасшему немало «хромающих» пьес. Диагноз был таков: «Полтора акта очень хороши, полтора акта нуждаются в переделке. У Дюма нет на это времени, потому что он должен в ближайшие две недели закончить «Алхимика»...» Но если друг был настойчив, Дюма всегда находил время и успевал сделать все.

Жерар де Нерваль — Огюсту Маке, 29 ноября 1838 года:
«Дорогой друг, Дюма переписал всю пьесу, в соответствии с твоим замыслом, конечно; твое имя будет упомянуто. Пьеса принята, она нравится всем без исключения и будет поставлена. Вот и все...

Прощай. Завтра я встречу с тобой и представлю тебя Дюма...»

Вот так Огюст Маке в двадцать пять лет поставил трехактную пьесу и свел знакомство с «архизнаменитостью». Драма получила новое название — «Батильда», премьера состоялась 14 января 1839 года. Маке, в восторге

от такого дебюта, на следующий год принес Дюма набросок романа «Добряк Бюва», историю Селламара (испанского посла, затеявшего заговор против регента и высланного за границу), рассказанную безвестным писцом (добряком Бюва), замешанным в события, смысла которых он не понимал. Дюма эта история понравилась. Он и сам обращался к этой эпохе в своих комедиях; он знал ее нравы и стиль. Он предложил Маке переработать роман и удлинить его.

В это время в игру вступает новая сила, которая создает благоприятную конъюнктуру для появления романов с продолжениями.

Вот уже несколько лет две газеты, «Ля Пресс» Эмиля Жирардэна и «Ле Сьекль» Ледрю-Роллена, прилагали огромные усилия, чтобы расширить круг своих читателей. Годовая подписка стоила всего сорок франков, поэтому в подписчиках и объявлениях не испытывалось недостатка, но подписчиков надо было не только завоевать, но и удержать. Лучше всего этого можно было достичь публикацией «захватывающего» романа-фельетона — то есть романа, печатающегося подвалами из номера в номер. Формула «Продолжение в следующем номере», которую изобрел в 1829 году доктор Верон для «Ревю де Пари», стала могучей движущей силой журналистики.

В глазах директоров газет самым выдающимся писателем был тот, чьи романы привлекали наибольшее число читателей. Самые талантливые писатели могли оказаться непригодными для жанра романа-фельетона. Бальзак, постоянно нуждавшийся в деньгах, не желал ничего лучшего, как поставлять подобные романы. «Как только он почует туго набитую мошну, — говорили его недоброжелатели, — он не может сдвинуться с места, будто замороженный, и готов часами караулить ее, словно кошка — мышку». Но издатели колебались: Бальзак казался им трудным автором. Длинные описания места действия, которыми начинались его романы, отпугивали читателей. По мнению издателей, техникой этого жанра в совершенстве овладели Эжен Сю, Александр Дюма и Фредерик Сулье. «Будь я Луи-Филиппом, — говорил Мери, — я пожаловал бы ренту Дюма, Эжену Сю и Сулье с условием, что они вечно будут продолжать «Мушкетеров», «Парижские тайны» и «Записки дьявола». И тогда бы мы навсегда покончили с революциями».

«Ля Пресс», — писал Сент-Бёв, — пустилась в дерзкую спекуляцию: она скупилась всех писателей, которые сейчас есть на книжном рынке; она не стоит за ценой и приобретает все про запас; она поступает, как те богатые промышленники, которые,

желая стать хозяевами рынка, скупают все масло и зерно, чтобы затем продавать в розницу мелочным торговцам. Если, например, вы, владельцы маленькой газеты, газеты не такой богатой, как «Ля Пресс», захотите дать вашим подписчикам произведение Александра Дюма, «Ля Пресс» вам его переуступит: ведь она скупила все, что Александр Дюма может написать или подписать на двенадцать-пятнадцать лет вперед; у нее есть гораздо больше того, что она может использовать, но отныне только у нее и на ее условиях вы сможете приобрести желаемое...

«Ля Пресс» объявляет, что она будет публиковать «Дневник с острова Святой Елены» генерала Монтолона^[96] в переработанном варианте, объявляет она также и то, что к этому произведению приложит руку сам Александр Дюма, чтобы придать больше достоверности воспоминаниям почтенного генерала. «А ведь не далее, как вчера, — пишет «Ле Глоб», — «Ля Пресс» восторгалась стилем генерала. Что за комедия! Виданное ли дело — издеваться над публикой с таким апломбом!» Но если не принигать во внимание всех этих мелких и неизбежных посредников, можно сказать, что отныне Наполеон станет одним из трех главных авторов «Ля Пресс».

В этом объявлении «Ля Пресс» не скупится на самые лестные похвалы в свой адрес: Александра Дюма там сравнивают и ставят в один ряд и с Вальтером Скоттом и с Рафаэлем одновременно».

Дюма размышлял о мастерстве гораздо больше, чем принято считать. Он тщательнейшим образом изучал приемы Вальтера Скотта. Тот начинал романы с подробнейших описаний действующих лиц, чтобы, встретив их впоследствии, читатель мог сразу узнать в них старых знакомых. Но в романе-фельетоне, который должен с первых же строк «увлечь» читателя, автор не имеет права начинать с длиннот, и Дюма, наметив несколькими яркими мазками действующих лиц, тут же переходил к действию — диалогу. Его талант драматурга находил, таким образом, полное применение. Специфика жанра требовала обрывать каждую главу на самом интересном месте, чтобы держать читателя в напряжении. Дюма издавна овладел трудным искусством блестящих концовок. В 1838 году «Капитан Поль» (роман с захватывающей интригой, написанный в подражание «Пирату» Фенимора Купера) за три недели принес «Ле Сьекль» больше пяти тысяч новых подписчиков. После этого Дюма стал кумиром всех

директоров.

Когда Дюма переделал книгу Маке и дал ей новое название — «Шевалье д'Арманталь», он несколько не возражал против того, чтобы и молодой человек поставил под ней свое имя, но газета воспротивилась: «Роман, подписанный «Александр Дюма», стоит три франка за строку, — сказал Эмиль Жирардэн, — подписанный «Дюма и Маке» — тридцать су». Жирардэн рабски подчинялся вкусам своих читателей. «У меня нет времени читать, — говорил он. — Если Дюма или Эжен Сю пишут или подписывают любую ерунду, публика, видя марку фирмы, все равно считает это шедеврами. Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают». Теофилю Готье, который жаловался, что его не допускают в круг избранных, Жирардэн цинично ответил: «Все вы, конечно, великие писатели, это так, но вы не способны дать мне и десяти подписчиков. В этом все дело...» Директора крупных газет, гонявшиеся за громкими именами, боялись новичков. Поэтому Дюма подписал книгу один, а Маке получил восемь тысяч франков, огромную по тем временам сумму, которую без помощи Дюма ему бы никогда не заработать. Компенсация показалась ему тогда вполне справедливой. Позже он будет жаловаться! Но в начале их сотрудничества он сам признавал, что благодарен Дюма, восхищен и очарован им.

Успех «Шевалье д'Арманталя» показал Дюма, что исторические романы — это золотая жила. Поэтому он был в восторге, когда Маке принес ему план романа из эпохи Людовика XIII, Ришелье, Анны Австрийской и герцога Букингемского, романа, который впоследствии станет «Тремя мушкетерами». Кто из двух авторов первым натолкнулся на «Мемуары господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», поддельные мемуары, написанные Гасьеном де Куртилем (часто именуемым Куртилем де Сандра, или Сандра де Куртилем) и изданные в 1700 году в Кельне, а затем в 1704 году в Амстердаме Жаном Эльзевиром? Маке утверждает, что он. А между тем формуляр Марсельской библиотеки свидетельствует, что Дюма взял эту книгу в 1843 году и не вернул ее. Библиотекарем в то время был его друг Мери, и он, должно быть, посмотрел на это сквозь пальцы.

Несомненно, что многие эпизоды романа и даже имена (слегка измененные) — Атос, Портос и Арамис — были заимствованы у Гасьена де Куртиля; несомненно и то, что этот пасквильант был довольно бездарен, и лучшие эпизоды романа (история мадам Бонасье, история леди Винтер) были целиком переделаны, а по большей части и придуманы Дюма и Маке; и, наконец, то, что Маке выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором

был Дюма. У Дюма уже выработались более или менее постоянные приемы работы с соавторами. Соавтор писал сценарий. Дюма прочитывал его «в один присест» и затем использовал как черновик. Он переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог, непревзойденным мастером которого был, тщательно отшлифовывал концы глав и увеличивал общий объем, чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к роману-фельетону, который должен был тянуться долгие месяцы и держать читателей в постоянном напряжении.

Дюма ввел новых героев, например лакея Гримо, великого молчальника, односложно отвечавшего на все вопросы: выдумка, свидетельствующая о большой находчивости Дюма, так как газеты платили построчно. Столь стремительный диалог имел двойное преимущество: облегчал чтение и удешевлял гонорар автора. Но в один прекрасный день все пошло прахом. «Ля Пресс» и «Ле Сьекль» объявили, что отныне они будут платить лишь за те строки, которые занимают больше половины колонки. Директор «Фигаро» Вильмессан случайно оказался в этот день у Дюма. Он заметил, что тот перечитывает рукопись и вымарывает целые страницы.

— Что вы делаете, Дюма?

— Да вот убил его...

— Кого?

— Гримо... Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему.

Писатель того времени Вермерш написал позже пародию на знаменитые диалоги Дюма:

«— Вы видели его?

— Кого?

— Его.

— Кого?

— Дюма.

— Отца?

— Да.

— Какой человек!

— Еще бы!

— Какой пыл!

— Нет слов!

— А какая плодовитость!

— Черт побери!»

Нельзя отрицать, что Маке много работал над «Тремя мушкетерами». Сохранились полные беспокойства записки, которые посылал ему Дюма:

«Как можно скорее принесите рукопись, и прежде всего первый том д'Артаньяна («Мемуаров»)…»

«Не забудьте заглянуть в том по истории царствования Людовика XIII, где говорится о процессе Шалэ и есть соответствующие документы. Вместе с ним принесите мне все, что вы сделали для Атоса…»

«Любопытная вещь: сегодня утром я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, а потом бросил письмо в камин, решив, что сделаю это сам. Первое же слово, которое я прочел, доказало мне, что наши мысли совпали…»

Однако другие письма свидетельствуют о том, что игру вел Дюма.

Александр Дюма — Огюсту Маке: «Мне кажется, можно было бы ввести очаровательную сцену — ночь у Мари Туше^[97]. Прелестная женщина утешает всемогущего короля; она одна во всем королевстве любит его. Маленький герцог Ангулемский в колыбельке. Король забывает обо всем... Думайте, читайте, смотрите…»

«Мой дорогой друг, в следующей главе мы должны услышать от Арамиса, который обещал д'Артаньяну разузнать, в каком монастыре содержится мадам Бонасье, рассказ о том, что она там делает и какое покровительство оказывает ей королева».

«Дорогой друг, мне кажется, что мы не уделили достаточно внимания нашему Горенфлю^[98]. Надо бы, коль уж мы увозим его из монастыря, увезти для чего-то более серьезного. Нам непременно нужно увидеться завтра».

«Раз у нас не получается ничего путного от того, что Диксмер и Мэзон-Руж^[99] изолированы и ничего не знают друг о друге, давайте объединим их. А то маловероятно, чтобы они, действуя в одной тюрьме, так и не обнаружили друг друга».

«Сегодня надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Бражелоном, чтобы в понедельник или вторник мы смогли возвратиться к нему и закончить второй том...

[\[100\]](#) А сегодня вечером, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся Бальзамо, — черт его побери!»

Маке позже опубликует главу о смерти Миледи в том виде, в каком он ее написал. Он хотел доказать, что подлинным автором «Трех мушкетеров» был он, но доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. Так же глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с источниками. Ведь это он исправил все погрешности, которые содержались в книге памфлетиста Гасьена де Куртиля, и нашел множество дополнительных сведений у госпожи де Лафайет, Тальмана де Рео [\[101\]](#) и десятка других авторов. Прежде всего он превратил мушкетеров, которых Гасьен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами, в легендарных героев, восхищающих нас и поныне. Ведь это он унаследовал от отца вкус к невероятным, но тем не менее невыдуманным битвам, в которых один человек обезоруживал сотню врагов, как было, например, на Бриксенском мосту; ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции, мог так хорошо «чувствовать» эту историю.

«Настоящий французский дух — вот в чем заключается секрет обаяния четырех героев Дюма д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Кипучая энергия, аристократическая меланхолия, сила, не лишенная тщеславия, галантная и изысканная элегантность делают их символами той прекрасной Франции, храброй и легкомысленной, какой мы и поныне любим ее представлять. Конечно, за пределами этого суетного мирка, занятого любовными и политическими интригами, существовали Декарты и Паскали, которые, впрочем, тоже были не чужды обычаям света и армии... Зато сколько великодушия, изящества, решительности, мужества и ума проявляют эти молодые люди, которых шпага объединяет раньше, чем мушкетерский плащ В романе все, вплоть до мадам Бонасье, предпочитают храбрость добродетели.

Д'Артаньян, хитрый гасконец, лихо подкручивающий свой ус; тщеславный силач Портос, знатный вельможа Атос, настроенный романтически; Арамис, таинственный Арамис,

который скрывает свою религиозность и свои любовные похождения, ревностный ученик святых отцов (*non inutile est desiderium in oblatione*^[102]) — эти четверо друзей, а не четверо братьев, как их изображал Куртиль, представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера. А с каким невероятным упорством, с каким мужеством они добиваются своих целей, вы и сами знаете. Они совершают свои подвиги с удивительной легкостью. Они мчатся во весь опор, они преодолевают препятствия так весело, что вселяют мужество даже в нас. Путешествие в Кале, о котором в «Мемуарах» упоминалось лишь вскользь, по своей стремительности может сравниться лишь с итальянской кампанией. А когда Атос выступает в роли обвинителя своей чудовищной супруги, мы поневоле вспоминаем и военные трибуналы и трибуналы времен революции. Если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма в «Трех мушкетерах» был ее национальным поэтом...»

Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений никогда не ошибаются. Прочная популярность «Трех мушкетеров» во всем мире свидетельствует о том, что Дюма, наивно выражая через посредство своих героев собственный характер, отвечал той потребности в энергии, силе и великодушии, которая присуща всем временам и всем странам. Его творческая манера так подходила к избранному им жанру, что она и поныне остается образцом для всех, подвизающихся в нем. Дюма или Дюма-Маке^[103] отталкивались от известных источников, иногда поддельных, как «Мемуары д'Артаньяна», иногда подлинных, как «Мемуары мадам де Лафайет», из которых вышел «Виконт де Бражелон». Сравним «Мемуары» и роман.

Мадам де Лафайет повествует о первых увлечениях Людовика XIV, о его разрыве с Марией Манчини, о встрече с Луизой де Лавальер, о смерти Мазарини и опале Фуке^[104]. Стил ь ее краток, сдержан и совершенен; конфликты остаются нераскрытыми, госпожа де Лафайет никогда не описывает сцен, при которых она не присутствовала.

Дюма заимствовал у нее Героев и общий костяк сюжета. Но каждый раз, когда в «Мемуарах» сцена только намечена, он пишет ее так, как написал бы драматург, прибегая к всевозможным эффектам, неожиданным поворотам сюжета, умело чередуя драматические и комические элементы.

Тонкий штриховой рисунок мадам де Лафайет у Дюма превращается в музей, где выставлены раскрашенные, разодетые скульптуры, которые при всей своей карикатурности все же создают иллюзию подлинной жизни. Исторические персонажи изображаются автором с явно предвзятых позиций. Дюма любит одних героев и ненавидит других. Его Мазарини столь же отвратителен, как у кардинала де Ретца^[105]. Дюма всецело принимает сторону Фуке, против Кольбера. Верность истории требовала бы передачи нюансов; читатель романов-фельетонов любил, чтобы героев изображали только двумя красками: черной и белой.

Но прежде всего, и в этом и заключался секрет успеха Дюма, он ввел в повествование второстепенных персонажей, вызванных к жизни им самим, и объяснял поступками этих неизвестных все великие исторические события. Иногда эти герои действительно существовали. Некий виконт де Бражелон, например, бледной тенью проходит в «Мемуарах» госпожи де Лафайет. Иногда Дюма придумывал их целиком. Но чудо заключается в том, что эти вымышленные герои ухитряются присутствовать в решающие моменты подлинной истории. Атос прячется под эшафотом во время казни Карла I Стюарта и слышит его последние слова; именно ему адресует Карл знаменитое «Remember!»^[106]. Атос и д'Артаньян вдвоем восстанавливают Карла II на английском троне. Арамис пытается подменить Людовика XIV его братом-близнецом, который впоследствии станет Железной Маской. История низводится до уровня любимых и знакомых персонажей и тем самым до уровня читателя.

Метод этот безупречен при условии, если у писателя темперамент Дюма-отца. Правдоподобных героев можно создать, только вкладывая в них многое от самого себя. Точно так же как Мольер нашел в себе Альцеста и Филинта^[107], Мюссе — Оттавио и Челио^[108], Дюма раздвоился, чтобы произвести на свет Портоса и Арамиса. В Портосе воплощены те черты, которые Дюма унаследовал от своего отца; в Арамисе — элегантность, доставшаяся обоим Дюма от Дави де ля Пайетри. «Тонкая кость и могучая мускулатура», — таков Дюма.

Не следует забывать и о том, что по своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей. Вальтеру Скотту, добродетельному шотландцу, его моральное и художественное кредо диктовало нравственные эпилоги. Мораль Дюма — это сочетание любви к славе и «здорового смысла», не лишённого цинизма. Таким образом, Дюма объединяет Францию героических поэм и Францию фавлю — сочетание, представляющее, если не всю Францию, то, во всяком

случае, значительную ее часть. Как и Рабле, Дюма любил пирушки, попойки, любовные похождения. Если бы д'Артаньян не был героем, он казался бы нам чрезвычайно безнравственным. Мушкетеры, и в этом они похожи на своего творца, не видят ничего дурного ни в том, чтобы менять любовниц, ни в том, чтобы иметь по несколько любовниц зараз, ни в том, чтобы брать у них деньги. Все это так, и тем не менее романы Дюма не были ни непристойными, ни воинствующе аморальными. Его творчество разительно отличалось от творчества его друзей романтиков, напоминавшего лавку похоронных принадлежностей. Дюма доставлял удовольствие. «Да, это нечто невероятное, — писал Жюль Жанен, — этот роман, интрига которого тесно связана с самыми крупными событиями в истории Европы». Жанен был прав. В 1845 году по прихоти Дюма Париж действительно гораздо больше интересовался Анной Австрийской, чем Луи-Филиппом, и похождениями герцога Букингемского, чем угрозами Англии.

Глава вторая

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЕКСАНДР ДЮМА И К^о»



За всю историю французской литературы ни один писатель не был столь плодовит, как Дюма в период с 1845 по 1855 год. Без передышки обрушивает он на газеты и журналы романы, в восемь-десять томов каждый. Перед нами проходит вся история Франции. За «Тремя мушкетерами» следуют «Двадцать лет спустя», за которыми потянется «Виконт де Бражелон». Другая трилогия («Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять») выводит на сцену Валуа. В «Королеве Марго» повествуется о борьбе между Генрихом Наваррским и Екатериной Медичи; в «Графине де Монсоро» увлекательно рассказывается о царствовании Генриха III. В «Сорока пяти» Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси д'Амбуаза.

Одновременно в другой серии романов («Ожерелье королевы», «Шевалье де Мэзон-Руж», «Жозеф Бальзамо», «Анж Питу», «Графиня де Шарни») Дюма описывает закат и падение французской монархии. Можно с полным основанием говорить об «историческом империализме» Дюма. Он еще смолodu замыслил объединить в своей писательской державе всю историю. «Мечты мои не имеют границ, — говорил сам Дюма, — я всегда желаю невозможного. Как я осуществляю свои стремления? Работая, как никто никогда не работал, отказывая себе во всем, часто даже во сне...»

Вот откуда эта цифра — пять или шесть сотен томов, потрясающая читателя.

Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма (прочсть их так же невозможно, как написать), но весь земной шар читал Дюма... Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, то он, наверное, сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует добавить, что и весь мир и сама Франция знакомилась с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато она далеко не во всем фальшива и всегда полна самого захватывающего драматизма. «Заставляет ли Дюма думать? — Редко. — Мечтать? — Никогда. — Лихорадочно переворачивать страницы? — Всегда».

Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснобайством, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики изящной словесности. Казалось оскорбительным, что один-единственный писатель захватил все подвалы во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый отряд анонимных соавторов — Фелисьена Мальфиля (обычно сотрудничавшего с Жорж Санд), Поля Мериса, Огюста Вакери (обычно сотрудничавшего с Гюго), Жерара де Нерваля, Анри Эскироса и, конечно же, Огюста Маке. Человек, заставляющий работать на себя «негров», никогда не вызывает ни уважения, ни симпатии — такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую-то приличную форму. Сент-Бёв, например, никогда не смог бы завершить свой гигантский труд без помощи секретарей. Но в отличие от Дюма Сент-Бёв сам уважал свой сан и заставлял других его уважать: его помощники казались не рабами или эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику в свершении таинств.

А о Дюма все думали (и совершенно напрасно), что он покупает на 250 франков рукописей, с тем чтобы перепродать их за десять тысяч. Говорили, что Дюма, создав в начале своей карьеры фабрику пьес, присоединил к ней предприятие по производству романов. Во времена «Нельской башни» история с Гайярде вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассаньяка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Ломени, которому его почтенные труды не принесли славы, опубликовал «Галерею знаменитых современников, написанную никчемным человеком». Он жаловался на этот «чудовищный колокол, который заглушает звон его маленького бубенчика»; он извергал громы и молнии против «этой литературной фабрики». Сент-Бёв заклеил

«коммерческую литературу», Ломени писал: «Пораженный постыдной заразой индустриализма, этой язвой нашего века, господин Дюма, это можно и даже должно сказать, видно, телом и душой отдался культу золотого тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, в какой только лавчонке, торгующей литературной бакалеей, не фигурирует его имя? Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем».

В 1845 году памфлетист Эжен де Мирекур (настоящее имя которого было Жан-Батист Жако) опубликовал брошюру «Фабрика романов «Торговый дом Александр Дюма и К⁰», наделавшую много шума. Небезынтересно отметить, что, прежде чем напасть на Дюма, Мирекур выказывал желание работать на него и предлагал ему сюжет романа, из которого могло бы выйти «замечательное произведение». Так что этот праведник был сам не без греха и, если б только мог, охотно принял бы участие в «предприятии». Потерпев неудачу, он сразу же обратился в «Общество литераторов» с протестом против такого положения дел, при котором писатели (как он говорил) не имеют возможности заработать себе на жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилю Жирардэну, издателю «Ля Пресс», в котором требовал закрыть двери перед «беззастенчивым торгашом Александром Дюма» и открыть их перед «талантливыми молодыми писателями» (читай: Эженом де Мирекуром). Жирардэн ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мирекур решил написать и опубликовать «Торговый дом Александр Дюма и К⁰».

По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно ценят, а их таланты не получают законного признания, делились с Мирекуром своими обидами. Он разобрал все произведения Дюма, драму за драмой, роман за романом, и обнародовал имена тех, кого называл «подлинными авторами»: Адольфа де Левена, Анисе-Буржуа, Гайярде, Жерара де Нерваля, Теофиля Готье, Поля Мериса и прежде всего — Огюста Маке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если б Мирекур обладал чувством меры. Но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями.

«Поскребите труды господина Дюма, — писал свирепствующий Мирекур, — и вы обнаружите дикаря... На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку — и пожирает ее прямо с кожурой. Он домогается почестей... Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции,

продажных литераторов, которые унижают себя, работая, как негры под свист плетки надсмотрщика-мулата».

Мирекур нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался над Идой Ферье, маркизой де ля Пайетри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если б соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задела за живое, сурово осудил Мирекура: «Мне показали, — писал он, — памфлет «Торговый дом Александр Дюма и К⁰». Это до омерзения глупо, хотя, к сожалению, верно... Но так как во Франции больше верят остроумной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком повредит Дюма».

И в самом деле, памфлет не только не повредил Дюма во мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затеяв против Мирекура процесс, он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мирекуру. Забавно, что несколько позже обвинителя, в свою очередь, обвинили, и вполне справедливо, в том, что он нанимал соавторов, имена которых скрывал. В 1857 году некто Рошфор в памфлете, озаглавленном «Торговый дом Эжен де Мирекур и К⁰», история, изложенная бывшим компаньоном», рассказал о том, как Мирекур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу эрудиту Уильяму Дакетту; тот, будучи занят, в свою очередь, перепоручил ее Рошфору, получившему за свои труды сто франков. Дюма был щедрее. Чтобы окончательно разгромить Мирекура, Дюма обратился за помощью к Огюсту Маке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, буде таковые появятся; письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо. Позже, когда оно было опубликовано, Маке, к этому времени поссорившийся с Дюма, уверял, будто письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? Тон письма кажется искренним и недвусмысленным.

4 марта 1845 года: «Дорогой друг, в нашей совместной работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно; так что мы, написав почти полмиллиона строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы

поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы; вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться; вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг, вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали — и даже прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе?

У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок; но представьте себе, что я умру — и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением, и потребует от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом, — вы заставляете меня взяться за перо.

Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно: «Шевалье д'Арманталь», «Сильванир», «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мэзон-Руж», и утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью.

Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я.

МАКЕ».

Чтобы составить себе верное представление об этом процессе, следует вспомнить, что во времена Дюма коллективная работа над литературными произведениями не считалась зазорной. И, конечно, напрасно, потому что великим может называться лишь тот художник, на всем творчестве которого лежит отпечаток его гения. И все же прославленным художникам — Рафаэлю, Веронезе, Давиду, Энгру — в работе над большими композициями помогали ученики. В театре спектакль неизменно является плодом сотрудничества автора, режиссера, актеров, декоратора, а иногда и композитора. Дюма, чтобы его воображение работало, нужен был «стимулятор идей». В этом он не был одинок. Бальзак написал не один большой роман по сюжетам, которые ему давали целиком или в общих чертах (сюжет «Беатрисы» дала ему Санд, «Лилии долины» — Сент-Бёв, «Департаментской музыки» — Каролина Марбути). Стендаль обязан

«Люсьеном Левеном» рукописи одной незнакомки. Так в чем же тут преступление?

Дюма вовсе не был «ленивым королем», передавшим власть ловким «мажордомам»^[109]. Он вовсе не эксплуатировал своих сотрудников, скорее наоборот — он придавал их трудам слишком большое значение. Легкость, с которой он превращал любого мертворожденного литературного уродца в жизнеспособное произведение, заставляла его предполагать талант в самых бездарных писателях.

— Никак не могу понять, — сказал он однажды, — чего не хватает Мальфилю, чтобы быть талантливым писателем.

— Я вам скажу, — ответил собеседник, — по всей вероятности, ему не хватает таланта.

— И правда, — сказал Дюма, — а мне это никогда не приходило в голову.

Когда вышли «Жирондисты», он написал: «Ламартин поднял историю до уровня романа». Нельзя сказать, что Дюма поднял роман до уровня истории — этого не хотел бы ни он сам, ни его читатели, — но он вывел на народную сцену историю и роман, воплотил их в незабываемых образах, сделал достоянием самой широкой публики, которая только и является настоящей публикой, и под лучами его прожекторов история и роман зажили новой жизнью, к великой радости всех времен и народов!

Главе третья

МАРИ ДЮПЛЕССИ

Под роскошными камелиями я увидел скромный голубой цветок.

ЭМИЛЬ АНРИО



После отъезда Иды во Флоренцию отношения между отцом и сыном наладились. Дюма-отец сказал однажды Дюма-сыну: «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя, но не воспитывай его так, как я тебя воспитал». В конце концов Дюма-сын стал принимать Дюма-отца таким, каким его создала природа: талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма-отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом, но он любил его скорее отцовской, нежели сыновней любовью.

«Мой отец, — говорил он, — это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец из рассказов его матери, мудрой Катрины Лабе, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветреного любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий.

У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно-хвастливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли привратника твоей славы, — сказал однажды Александр Дюма-сын Александру Дюма-отцу, — обязанности которого заключаются в том, чтобы впускать к тебе посетителей. Стоит мне подать руку женщине, как она просит познакомить ее с тобой».

К этому времени, чтобы не путаться, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшего.

«Вместо того чтобы подписываться Алекс[андр] Дюма, как я, — что в один прекрасный день может стать причиной большого неудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково, — тебе следует подписываться Дюма-Дави. Мое имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно, чтобы тут могло быть два мнения, — и я не могу прибавлять к своей фамилии «отец»: для этого я еще слишком молод...»

В двадцать лет Дюма-сын был красивым молодым человеком, с гордой осанкой, полным сил и здоровья. Он был высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица, и ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой светло-каштановой шевелюры, не выдавало в нем правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался, как денди или как «лев», по тогдашнему выражению: суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Счета портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал островами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лабэ; Дюма-сын скрывал эту сторону своей натуры.

В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство своим друзьям. Дюма-сын приглашал их любезными посланиями в стихах:

Коль ветер северный не очень вас пугает,
То знайте, вас прием горячий ожидает
Здесь, в Сен-Жермен-ан-Лэ, где, право же, давно
Хотели б видеть вас отец и сын его.
И если озарил нас луч, зажженный Фебом,
И если ясный день нам был ниспослан небом,
И если публика в краю, где мы живем,
Подобна дикарям, но солнце светит днем,
Так приезжайте к нам; мы здесь вдвоем, быть может,
Поможем вам забыть все то, что вас тревожит,
Взамен синеющих небес и красок дня
Вам предложив табак и место у огня
Мы ждем еще гостей, друзей мы ждем, вернее;
Художники придут и свод оранжереи
Нам разрисуют весь, обычай их таков;
Теперь там нет цветов, но слышен стук шаров.
Приедет Мюллер^[110] к нам, постель его чудесна,
Приедет и Доза^[111], который повсеместно
Слывет за гения. И будет с ним Диас^[112],
Ни с кем он не сравним, и позабавит вас.
И, наконец, мой друг, когда настанет вечер,
Вы дам увидите, изысканны их речи;
И этот аргумент столь весок, что к нему
Прибег я под конец; с ним спорить ни к чему.
Чтоб не пришлось вам зря излишний делать крюк,
Я точный адрес дам. Запомните, мой друг:
Идите улицею Медичи, потом,
Пройдя ее насквозь, ищите крайний дом,
В нем дверь зеленая. Но если вам случится
Приют наш не найти или с дороги сбиться,
Зайдите в первый же знакомый особняк,
И там вам объяснят, куда пройти и как.
Прощайте, от души я вас обнять хотел бы...

Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена Дежазе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли напрокат лошадей и совершили прогулку по лесу, затем вернулись в Париж и отправились в

театр Варьетэ. Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В Комеди-Франсэз «молодые, еще никому не известные дебютанты играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы», — писала Дельфина де Жирардэн. В залах Пале-Рояля и Варьетэ можно было встретить красивых и доступных женщин.

Эжен Дежазе питал так же мало уважения к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Баловень матери, он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений лорнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложи Варьетэ. Красавицы держались с простотой, присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного — знаменитые, известные всему Парижу, эти «высокопоставленные кокетки» образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и гризеток.

Хотя все они и были содержанками богатых людей (надо же на что-то жить), они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион Делорм и — Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами: чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного — встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Тиволи, посещения зарешеченной ложи в Амбигю, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но, даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Жорж Санд умножила число непонятых женщин, мечтающих о «вечном экстазе». Все это объясняет, почему два юных циника в Варьетэ смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью.

В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся своей красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонсина Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была, — пишет Дюма-сын, — высокой, очень тонкой брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора...» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и

невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое кольцо, золотые браслеты — все это делало ее царственно прекрасной. Дюма был ослеплен, поражен в самое сердце и покорен.

Ни одна женщина в театре не могла соперничать с ней в благородстве наружности, и тем не менее, кроме одной из ее бабок, Анны дю Мениль, происходившей из дворянского нормандского рода и совершившей мезальянс, предки Мари Дюплесси были лакеями и крестьянами. Ее отец, Марэн Плесси, человек мрачный и злобный, считался в деревне колдуном. Он женился на Мари Дезайес, дочери Анны дю Мениль, которая родила ему двух дочерей, а потом сбежала от него. Альфонсина родилась в 1824 году; она была одних лет с Дюма. Она не получила никакого образования и до 15–16 лет бегала по полям. Потом отец — во всяком случае, так рассказывают — продал ее цыганам, которые увезли ее в Париж и отдали в обучение к модистке. Гризетка, зачитывавшаяся романами Поль де Кока, она танцевала со студентами во всех значных уголках Парижа, а по воскресеньям в Монморенси охотно позволяла увлекать себя в темные аллеи. Ресторатор Пале-Рояля, который однажды возил ее в Сен-Клу, меблировал для нее небольшую квартирку на улице Аркад, но почти сразу же вынужден был уступить Мари герцогу Аженору де Гишу, элегантному студенту политехнической школы, который в 1840 году ушел из армии для того, чтобы стать одним из предводителей «модных львов» Итальянского бульвара и «Антином 1840 года». Через неделю у «Итальянцев» и в знаменитой «инфернальной ложе» авансены № 1 Оперы, своего рода филиале Жокей-клуба, только и говорили, что о новой любовнице молодого герцога.

Молодой красавицей увлекались самые блестящие мужчины Парижа: Фернан де Монгион, Анри де Контад, Эдуард Делессер и десятки других. Знатные любовники привили ей изящные манеры и культуру, хоть и поверхностную, но весьма приятную. Под руководством лучших наставников одаренная и чувствительная девушка расцвела. В 1844 году, когда Дюма-сын с ней познакомился, в ее библиотеке были Рабле, Сервантес, Мольер, Вальтер Скотт, Дюма-отец, Гюго, Ламартин и Мюссе. Она превосходно знала произведения этих авторов, любила поэзию. Ее обучали музыке, и она с чувством играла на пианино баркаролы и вальсы.

Короче говоря, она с головокружительной быстротой шла в гору, окруженная все более изысканной роскошью. В 1844 году она считалась самой элегантной женщиной Парижа и соперничала с Алисой Ози, Лолой Монтес и Аталой Бошен. У нее можно было встретить не только «львов»

Жокей-клуба, но и Эжена Сю, Роже де Бовуара, Альфреда де Мюссе. Все испытывали к ней восхищение, смешанное с уважением и жалостью, потому что она была явно выше своей постыдной профессии. Почему она ею занималась? Во-первых, потому, что привыкла тратить сто тысяч франков золотом в год, а во-вторых, потому, что, больная, лихорадочно-возбужденная, вечно недовольная собой, она могла забыться лишь в наслаждении.

В тот вечер в ложе Варьетэ с Мари сидел дряхлый старик граф Штакельберг, бывший русский посол. Позже она рассказала Дюма, что этот выживший из ума старик взял ее на содержание потому, что она напоминала ему умершую дочь. Выдумка чистой воды. «Граф, несмотря на свой преклонный возраст, искал в Мари Дюплесси не Антигону, как Эдип, а Вирсавию, как Давид»^[113]. Он поселил ее в доме № 11 по бульвару Мадлен, подарил ей двухместную голубую карету и двух чистокровных лошадей. Благодаря ему и другим поклонникам квартира Мари Дюплесси была всегда украшена цветами, и не только камелиями, а всеми цветами, какие только можно было достать в это время года. Она, однако, боялась роз, от запаха которых у нее кружилась голова; больше всего она любила камелии, эти цветы без запаха. «Ее заточили, — пишет Арсен Гуссэ, — в крепость из камелий...»

Мари Дюплесси старалась знаками привлечь внимание толстой женщины, с которой Дюма был слегка знаком, — немного модистики, а преимущественно сводни, по имени Клеманс Пра. Эжен Дежазе хорошо знал эту особу, которая тоже жила на бульваре Мадлен и была соседкой Мари Дюплесси. Мари села в свою карету и покинула Варьетэ, не дожидаясь конца спектакля. Немного погодя фиакр высадил Дюма, Дежазе и Клеманс Пра у дверей дома Клеманс, где они должны были ждать дальнейшего развития событий. В романе «Дама с камелиями» Дюма рассказывает об этой сцене, но там он превратил Штакельберга в «старого герцога», а Клеманс Пра назвал Прюданс Дювернуа.

«— Старый герцог сейчас у вашей соседки? — спросил я Прюданс.

— Нет, она должна быть одна.

— Но ей, наверное, ужасно скучно!

— Мы часто проводим вечера вместе. Когда она возвращается, она зовет меня к себе. Она обычно не ложится до двух часов ночи. Она не может раньше заснуть.

— Почему?

— Потому что у нее больные легкие, и ее почти всегда лихорадит».

Вскоре Мари крикнула из своего окна Клеманс, чтобы та пришла и

освободила ее от докучливого гостя, графа N, который до смерти ей надоел.

— Никак не могу, — сказала Клеманс Пра. — У меня сидят два молодых человека: сын Дежазе и сын Дюма.

— Берите их с собой. Я буду рада кому угодно, лишь бы избавиться от графа. Приходите скорее!

Все трое поспешили на ее зов и застали в гостиной соседнего дома Мари за фортепьяно и графа, прислонившегося к камину.

Она любезно приняла молодых людей, а с графом обращалась так грубо, что он вскоре откланялся. Мари сразу развеселилась. За ужином все много смеялись, но Дюма было грустно. Он восхищался бескорыстием этой женщины, которая прогнала богатого поклонника, готового ради нее разориться; он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, «ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутки». От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным румянцем. К концу ужина она зашлась в кашле и убежала.

— Что с ней? — спросил Эжен Дежазе.

— Она слишком много смеялась, и у нее началось кровохарканье, — ответила Клеманс Пра.

Дюма пошел к больной. Она лежала, уткнувшись лицом в софу. Серебряный таз, в котором виднелись сгустки крови, стоял на столе.

«Я приблизился к ней, но она не обратила на это никакой вниманя; я сел и взял ее руку, лежавшую на диване.

— Ах, это вы? — сказала она с улыбкой. — Разве вы тоже больны?

— Нет, но вы... вам все еще плохо?

— Ничего, я уже к этому привыкла.

— Вы себя убиваете, — сказал я ей взволнованным голосом, — мне хотелось бы быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам губить себя.

— Чем объяснить такую преданность моей особе?

— Той непреодолимой симпатией, которую я питаю к вам.

— Значит, вы в меня влюблены? Так скажите об этом прямо, это проще.

— Если я и признаюсь вам в любви, то не сегодня.

— Лучше будет, если вы мне этого никогда не скажете.

— Почему?

— Потому что это может привести только к двум вещам.

— К каким?

— Либо я вас отвергну, и тогда вы на меня рассердитесь. Либо сойду с вами, и тогда у вас будет незавидная любовница: женщина нервная, больная, грустная; а если веселая, то печальным весельем. Подумайте только, женщина, которая харкает кровью и тратит сто тысяч франков в год! Это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы... Все молодые любовники покидали меня.

Я ничего не ответил, я слушал. Эта ужасная жизнь, от которой бедная девушка бежала в распутство, в пьянство и в бессонницу, все это произвело на меня такое впечатление, что я не находил слов.

— Однако, — продолжала она, — мы говорим глупости. Дайте мне руку, и вернемся в столовую».

Почему она стала его любовницей? Он был беден, а страстные признания в любви ей доводилось выслушивать не меньше десяти раз на дню. Но он продолжал свои атаки с пламенным упорством. «Эта смесь веселости, печали, искренности, продажности и даже болезнь, которая развила в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстное желание обладать ею...» В ней жила трогательная непосредственность, «временами она страстно рвалась к более спокойной жизни... Пылкая, она легко поддавалась искушению и была падка на наслаждения, но при этом не теряла гордости и сохраняла достоинство даже в падении».

Молодому Дюма не были чужды благородные порывы: любовь к матери научила его жалеть всех женщин, несправедливо выброшенных из общества. Чистосердечный, несмотря на всю свою пресыщенность, он сочувствовал их горестям, умел вызывать их на откровенность и угадывал слезы под маской притворного веселья. К куртизанкам он был бесконечно снисходителен. Он считал их не преступницами, а жертвами. Они были благодарны ему за то уважение, которое он им оказывал в их унижении. И нет никакого сомнения, что именно это привлекало к нему Мари Дюплесси. Однажды она сказала ему: «Если вы пообещаете беспрекословно выполнять все мои желания, не делать мне никаких замечаний, не задавать никаких вопросов, то, быть может, в один прекрасный день я соглашусь вас полюбить...»

Какой юноша в двадцать лет откажется дать такое невыполнимое обещание? И на время Мари бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого «пажа». Ей доставляло

удовольствие, вновь превратившись в гризетку, гулять с ним по лесу или по Елисейским полям. В ее комнате, «где на возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которой изображали фавнов и вакханок», она давала ему упоительные «празднества плоти». Ах, как ему нравились ее огромные глаза, окруженные черными кругами, ее невинный взгляд, гибкая талия и «сладострастный аромат, которым было пронизано все ее существо».

Дюма-отец рассказывает о том, каким образом сын поведал ему о своей победе.

«Проследуйте за мной во Французский театр; там в этот вечер давали, кажется, «Воспитанниц Сен-Сирского дома». Я шел по коридору, когда дверь одной из лож бенуара отворилась, и я почувствовал, что меня хватают за фалды фрака. Оборачиваюсь. Вижу — Александр.

— Ах, это ты! Здравствуй, голубчик!

— Войдите в ложу, господин отец.

— Ты не один?

— Вот именно, Закрой глаза, а теперь просунь голову в щелку, не бойся, ничего худого с тобой не случится.

И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие, лихорадочно горячие губы. Я открыл глаза. В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати — двадцати двух. Она-то и наградила меня этой отнюдь не дочерней лаской. Я узнал ее, так как до этого видел несколько раз в ложах авансцены. Это была Мари Дюплесси, дама с камелиями.

— Это вы, милое дитя? — сказал я, осторожно высвобождаясь из ее объятий.

— Да, я, а вас, оказывается, надо брать силой? Ведь мне хорошо известно, что у вас совсем иная репутация, так почему же вы столь жестоки ко мне? Я уже два раза писала вам и назначала свидания на балу в Опера...

— Я полагал, что ваши письма адресованы Александру.

— Ну да, Александру Дюма.

— Я полагал, Александру Дюма-сыну.

— Да бросьте вы! Конечно, Александр — Дюма-сын. Но вы вовсе не Дюма-отец. И никогда им не станете.

— Благодарю вас за комплимент, моя красавица.

— И все-таки почему вы не пришли?.. Я не понимаю.

— Я вам объясню. Такая красивая девушка, как вы, приглашает на любовное свидание мужчину моих лет лишь в том случае, если ей что-нибудь от него нужно. Итак, чем могу быть вам полезен? Я предлагаю вам свое покровительство и освобождаю вас от своей любви.

— Ну, что я тебе говорил! — воскликнул Александр.

— Тогда, я надеюсь, вы разрешите, — сказала Мари Дюплесси с очаровательной улыбкой и взмахнула длинными черными ресницами, — еще навестить вас, сударь?

— Когда вам будет угодно, мадемуазель...

Я поклонился ей так низко, как поклонился бы только герцогине. Дверь закрылась, и я очутился в коридоре. В тот день я в первый раз целовал Мари Дюплесси. В тот день я видел ее последний раз. Я ждал Александра и прекрасную куртизанку. Но спустя несколько дней он пришел один.

— В чем дело? — спросил я его. — Почему ты ее не привел?

— Ее каприз прошел, она хотела поступить в театр. Все они об этом мечтают! Но в театре надо учить роли, репетировать, играть — это тяжелый труд... А ведь куда легче встать в два часа пополудни, не спеша одеться, сделать круг по Булонскому лесу, вернуться в город, пообедать в Кафе де Пари или у «Братьев-провансальцев», а оттуда отправиться в Водевиль или Жимназ, провести в ложе, после театра. поужинать и вернуться часам к трем утра к себе или отправиться к кому-нибудь, чем заниматься тем, что делает мадемуазель Марс! Моя дебютантка уже забыла о своем призвании... И потом, мне кажется, она очень больна.

— Бедняжка!

— Да, ты прав, что жалеешь ее. Она гораздо — выше того ремесла, которым вынуждена заниматься.

— Надеюсь, это не любовь?

— Нет, это жалость, — ответил Александр.

Больше я никогда не разговаривал с ним о Мари Дюплесси...»

Дюма-сын придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма-отец. Мари Дюплесси читала «Манон Леско». И она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль де Грие. Он отказался. А чего бы он хотел? Перевоспитать ее? Убедить изменить свой образ жизни? Она,

возможно, смогла бы это сделать, так как была скорее сентиментальна, чем корыстна. Дюма сам сказал о Мари: «Она была одна из последних представительниц той редкой породы куртизанок, которые обладали сердцем». Но суммы, потраченной на один вечер с Мари: билеты в театр, камелии, конфеты, ужин, всевозможные прихоти, — было достаточно, чтобы разорить молодого Александра. Он мало зарабатывал и был вынужден беспрестанно обращаться к отцу, который, хотя и сам часто сидел без денег, все же давал ему время от времени записку на имя госпожи Порше — билетерши, продававшей его билеты, с просьбой выдать сыну сто франков.

Александр Дюма-сын — госпоже Порше: «Вы сказали, сударыня: «потерпите несколько дней». Но это равносильно тому, что попросить человека, которому вот-вот отрубят голову, сплясать ригодон или сочинить каламбур. Да через несколько дней я стану миллионером! Я получу пятьсот франков. Если я обращаюсь к вам, если я надоедаю вам своими просьбами, так это потому, что впал в такую нищету, что мог бы дать несколько очков вперед Иову, а ведь он был самым бедным человеком древности. Если вы не пришлете мне с моим посланцем сто франков, я покупаю на последние гроши кларнет и пуделя и начинаю давать представления под окнами вашего дома, написав большими буквами на животе: «Подайте литератору, оставленному милостями госпожи Порше!» Хотели бы вы, чтоб я представил вам в качестве залога свою голову? Чтоб я кричал «Да здравствует республика!»? Чтоб я женился на мадемуазель Моралес? Или бы вы предпочли, чтоб я отправился в Одеон, чтоб я восхищался талантом Кашарди, носил складные шляпы? Что бы вы мне ни приказали, я все выполню — только пришлите мне эти сто франков. И еще лучше, если пришлете побольше.

Ваш покорнейший слуга А. ДЮМА

Мне совершенно безразлично, пришлете ли вы эти сто франков серебром или банковскими билетами, так что не утруждайте себя».

Каждое утро Мари Дюплесси присылала ему приказ на день: «Дорогой Аде...» Из инициалов своего любовника она сделала прозвище. Вечером он заезжал за ней. Они обедали, ехали в театр, потом снова возвращались в будуар Мари, где в огромных китайских вазах стояли цветы

без запаха. «Однажды, — писал он, — я ушел от нее в восемь часов утра, и вскоре настал день, когда я ушел от нее в полдень».

Вы помните ль еще те ночи? Страсть пылала.
И поцелуи жгли, и обрывался стон.
Вас лихорадило. Потом глаза устало
Вы закрывали вдруг и погружались в сон.

(А. ДЮМА-сын. («Грехи юности».)

Часто она не могла заснуть, выходила из спальни в пеньюаре из белой шерсти, накинутом на голое тело, «садилась на ковер перед камином и грустно следила за игрой пламени в очаге». В такие минуты Дюма страстно любил ее. В другие он боялся оказаться обманутым. Он знал, что она часто лжет ему, возможно из деликатности. Штакельберг по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же как и человек более молодой — Эдуард Перрего, по отцу — внук знаменитого финансиста, председателя Французского банка, по матери — герцога Тарентского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мари Дюплесси писала ему: «Вы доставили бы мне большое удовольствие, дорогой Эдуард, если бы посетили меня сегодня вечером в Водевилье (ложа № 29). Не могу пообедать с тобой: чувствую себя очень плохо». И на бледно-голубой бумаге: «Нед, дорогой, сегодня в Варьетэ будет совершенно необычайное представление по случаю бенефиса Буффэ^[114]... Ты доставишь мне большое удовольствие, если сможешь добыть для меня ложу. Ответь мне, дорогой друг, тысячу раз целую твои глаза...»

Неду она говорила: «Сегодня я проведу вечер с Зелией», — и проводила его с Дюма. С Дюма же она играла роль кающейся грешницы. Когда однажды у нее спросили, почему она так любит лгать, она расхохоталась и ответила: «От лжи зубы белеют». Она тщательно пыталась «примирить любовь и дела».

И для Дюма вслед за несколькими днями счастья потянулись долгие месяцы подозрений, тревог и угрызений совести. Он полагал, что разрывается между Любовью и Честью. Сколько суетности скрывают эти слова с большой буквы!

К исходу второго месяца ласки сменились упреками. Теперь он реже видел Мари. Она чувствовала, что он отдаляется. «Дорогой Аде, — писала она, — почему ты не даешь о себе знать и почему ты не напишешь мне обо

всем искренне? Мне кажется, что ты мог бы относиться ко мне как к другу. В ожидании вестей от тебя нежно целую тебя, как любовница или как друг — по твоему выбору. И в любом случае остаюсь преданной тебе. Мари».

30 августа 1845 года он решил порвать с ней.

Александр Дюма-сын — Мари Дюплесси: «Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба: вы — имя, которое вам было, должно быть, почти безразлично; я — счастье, которое мне больше недоступно. Бесполезно рассказывать вам, как мне грустно, потому что вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячью лучших воспоминаний.

А. Д.

30 августа. Полночь».

Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. Исчезнувшая Мари постоянно занимала мысли Аде.

Глава четвертая

НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



После разрыва отца с Идой Ферье и сына с Мари Дюплесси оба Дюма съехались. Жили они беспорядочно и на основах взаимной терпимости. Сын стал любовником актрисы Водевиля Анаис Льевенн. Во время ужина, который она давала у «Братьев-провансальцев», и была спровоцирована ссора, которая кончилась дуэлью (приобретшей потом скандальную известность) между талантливым журналистом Дюжарье, заведующим отделом романов-фельетонов в «Ля Пресс», и профессиональным бретером Роземоном де Бовалоном, предательски убившим своего противника, как говорили тогда, по приказу и за деньги соперничавших изданий. В борьбе за подписчиков газеты стали прибегать даже к убийствам.

Сначала Бовалон был оправдан, но решением кассационного суда его дело передали руанскому суду, который приговорил его к восьми годам заключения. Оба Дюма, вызванные на суд в качестве свидетелей, приехали в Руан со своими любовницами, за что общественное мнение сурово осудило их.

В письме Нестора Рокплана его брату Камиллу мы читаем:

«Что до Дюма (отца), то он сделал себя посмешищем своим ответом председателю суда. «Ваша профессия?» — спросили его. «Я сказал бы, драматург, если б не жил на родине Корнеля».

Гиацинт, мой актер, спародировал эту плоскую остроту. Когда его, как сержанта национальной гвардии, вызвали приносить присягу, он должен был объявить о роде своих занятий. И он ответил: «Я сказал бы, драматический актер, если б тут не было Брендо^[115] из Комеди-Франсэз».

На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, человеком рафинированным и завзятым бретером, навсегда скомпрометировал само понятие «джентльмен», настолько он им злоупотреблял. На премьере его пьесы «Дочь регента» первого же актера, который произнес слово «джентльмен», ошिकाи и освистали... Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели общее хозяйство...»

Дюма-сын, должно быть, страдал от столь широкой гласности.

В 1846 году отец и сын с радостью ухватились за возможность уехать из Парижа. Они вместе совершили большое путешествие по Испании и Алжиру. Почему по Алжиру? Потому что граф Сальванди, министр просвещения, посетив эту прекрасную страну, заметил: «Как жаль, что об Алжире так мало знают! Но как его популяризировать?» Его спутник, писатель Ксавье Мармье, ответил: «А знаете, господин министр, что я сделал бы, будь я на вашем месте? Я постарался бы каким-нибудь образом устроить так, чтобы Дюма проделал то же путешествие, что и мы, и написал об этом два-три тома путевых записок... Их прочтут три миллиона человек, а пятьдесят-шестьдесят тысяч из них, возможно, всерьез заинтересуются Алжиром.

— Дельная мысль, — согласился министр. — Я об этом подумаю.

По возвращении в Париж Нарцисс де Сальванди, который и сам был литератором (он принял, правда, без особого энтузиазма, Виктора Гюго во Французскую академию), пригласил Дюма на обед.

— Мой дорогой поэт, — сказал он, — вы должны оказать нам услугу.

— Поэт может оказать услугу министру! С удовольствием, хотя бы в честь столь редкой просьбы. О чем-идет речь?

Сальванди рассказал о своем проекте и предложил десять тысяч франков на путевые расходы. Дюма величественно ответил:

— Я добавлю сорок тысяч из своего кармана и совершу это путешествие.

И так как министр был удивлен непомерностью суммы, то Дюма объявил, что берет с собой (за свой счет) своего сына Александра, соавтора Огюста Маке и художника Луи Буланже. Он просит только, чтобы в его

распоряжение предоставили военный корабль, на котором он мог бы совершать прогулки вдоль берегов Алжира.

— Вот как! — сказал министр. — Но вы хотите, чтоб мы оказали вам такие почести, какие обычно оказывают только принцам крови.

— А как же иначе? Если для меня сделают лишь то, что и так доступно каждому, не стоило меня беспокоить. Я и сам могу написать в дирекцию пассажирского пароходства и попросить оставить для меня каюту.

— Пусть будет по-вашему, вы получите ваш военный корабль. Когда вы намереваетесь отправиться в путь?

— Мне еще надо закончить два-три романа. На это потребуется две недели.

Но почему Испания? Потому что на следующий день после аудиенции у министра Дюма обедал у его королевского высочества герцога де Монпансье.

В 1842 году герцог Орлеанский, наследник престола, покровитель писателей, друг Виктора Гюго и Александра Дюма, скоропостижно скончался в результате дорожной катастрофы. Непоправимая утрата для Франции! Большое горе для Дюма, который хранил, как реликвию, полотенце, пропитанное кровью несчастного принца. Несколько лет спустя на премьере «Мушкетеров», состоявшейся 27 октября 1845 года^[116], Дюма представили пятому сыну Луи-Филиппа, юному герцогу де Монпансье. Герцог был с ним очень любезен, говорил о той дружбе, которую питал к Дюма его покойный брат, герцог Орлеанский, и предоставил драматургу привилегию основать новый театр под названием Исторический театр, Европейский театр или даже Театр Монпансье. Дюма будет ведущим автором и директором этого нового театра, где, помимо своих пьес, он должен будет ставить Шекспира, Кальдерона, Гёте и Шиллера.

Эта привилегия возбудила всеобщую зависть.

Нестор Рокплан — своему брату, художнику Камиллу Роклану: «Все только и делают, что гоняются за голосами, покровителями, депутатами и принцами. Принцу вообще свойственна крайняя решительность в театральных делах. Герцог Монпансье на днях преподнес Дюма свой огромный театр. Затея эта настолько нелепа и комична, что, быюсь об заклад, не пройдет и года, как он обанкротится и попадет в лапы коммерческого суда. Поведение Дюма совершенно неслыханно. Вот как он рассуждает: «За семнадцать лет театры заработали на моих пьесах десять миллионов; за пять лет каждая из четырех газет

ежегодно зарабатывает на моих романах триста тысяч франков. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы, и газету, которая одна могла бы дать миллион двести тысяч франков...» Тем временем за ним охотятся судебные исполнители, и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантам из Амбигю, игравшим в «Мушкетерах», его арестовывают судебные приставы. Содержанка его сына, актриса Водевиля мадемуазель Льевенн, стоит 2 тысячи франков в месяц... Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужиная с любовницей. Веселость, беспечность, прожектерство, остроумие, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодovitость совершенно феноменальны».

Привилегия была выдана на имя Ипполита Остэна, молодого человека — немного врача, немного критика, немного драматурга, который был в свое время секретарем Комеди-Франсэз и директором нескольких театров. Необходимый капитал дали герцог Монпансье и владелец Пассажа — Жофруа. Дюма брал на себя финансовую ответственность за руководство всей антрепризой. Они купили земельный участок на углу Бульвара и Фобур дю Тампль и договорились, что за время путешествия Дюма по Алжиру там построят огромный театр.

Обедая у Монпансье, Дюма рассказал ему о своем разговоре с Сальванди.

— Великолепная мысль! — сказал молодой принц. — Только непременно поезжайте через Испанию, чтобы присутствовать на моей свадьбе.

10 октября 1846 года герцог Монпансье должен был сочетаться браком с четырнадцатилетней испанской инфантой Луизой-Фернандой, младшей сестрой и признанной наследницей королевы Изабеллы II. Этот союз, благодаря которому испанский трон мог в один прекрасный день достаться французу, не давал покоя английским министрам. Дюма в тот же день послал приглашения Огюсту Маке, Луи Буланже и своему сыну.

Виктор Гюго по этому поводу писал:

«Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье. Вот как добывали деньги на это путешествие: полторы тысячи франков отпустило министерство просвещения из фонда «Поощрения и

пособия литераторам», еще полторы тысячи — из фонда «Литературных поручений», министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда, господин де Монпансье — двенадцать тысяч франков. Общая сумма составила восемнадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал: «Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам».

Оставалось найти образцового слугу. Ресторатор Шеве предложил Дюма абиссинского негра с ароматным именем О-де-Бенжуэн — Бензойский бальзам. Они поехали по железной дороге, новому для того времени способу передвижения, и Дюма тут же начал путевой дневник: «До нас донеслось зловонное дыхание локомотива; огромная машина сотрясалась; скрежет металла раздирал нам уши; фонари стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше; оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орлеану...»

Много шума из ничего! Но под пером Дюма даже локомотив превращался в персонаж драмы. В «Записках» Дюма изображает Маке серьезным, храбрым, честным человеком, хотя и несколько консервативным и тяжелым на подъем. Луи Буланже — художником-мечтателем, которому все кажется величественным (недаром он был лучшим другом Виктора Гюго). Что касается Александра Дюма-сына, то он «соткан из света и тени... Он гурман и воздержан в еде, он расточителен и экономен, пресыщен и чистосердечен, он изо всех сил издевается надо мной и любит меня всем сердцем. И, наконец, может в любой момент ограбить меня, как Валер^[117], и биться за меня, как Сид^[118]... К тому же он бешено храбр и всегда готов вскочить на коня, выхватить шпагу, пистолет или ружье... Время от времени мы ссоримся, и тогда он покидает отчий дом; но в тот же день я покупаю тельца и начинаю его откармливать...»

Рассказ о путешествии по Испании четырех мушкетеров в сопровождении черного Гримо читается увлекательно, как роман. Одному бою быков отведена добрая сотня страниц. При виде крови Маке теряет сознание, Александру Второму тоже не по себе, он просит принести стакан воды. Воду приносят. «Вылейте ее в Мансанарес, — острит Дюма, — это пойдет ей на пользу». Проезжая мимо, он заметил, что река обмелела. Описания ночных схваток с хозяевами *posados*, или *paradores*^[119], как их называют в Испании, достойны пера Сервантеса. Испанские танцы нарисованы с изяществом, присущим лучшим страницам Готье. Отец и сын бредят балконами, гитарами, дуэньями и пылкими красотками. Дюма-сын

имел немало приключений и описал их в стихах, обращенных к Кончите или Анне-Марии. В них он, идя по стопам Мюссе, рифмовал Севилью с мантилей и Прадо с досадой.

Прелестны вы, и, кто хоть раз
Увидел ваши руки, плечи,
Увидел блеск влюбленных глаз,
Тот не забудет этой встречи,
Тот вечно будет помнить вас.

Монпансье дал в Мадриде большой прием в честь приехавших французских писателей и художников. Испанцы и сами спешили выказать Дюма свое восхищение: ««Меня лучше знают и, пожалуй, больше чтут в Мадриде, чем во Франции. Испанцы находят в моих произведениях нечто *кастильское*, и это им весьма по вкусу. Что это правда, видно хотя бы из того, что я стал командором ордена Изабеллы Католической прежде, чем сделался кавалером Почетного легиона...»

Однако на Кювийе-Флери, бывшего наставника герцога Омальского, который сопровождал французских принцев в Испанию, прославленный путешественник произвел не такое хорошее впечатление, как на самого себя: «Прибыл Дюма, посланный Сальванди с этой дурацкой миссией. Он потолстел, подурнел и вульгарен до ужаса...» Но Кювийе-Флери был нетерпим и совершенно лишен чувства юмора.

Обе «испанские свадьбы» должны были состояться одновременно: свадьба королевы Изабеллы II с инфантом доном Франсиском Ассизским (по прозвищу Пакита) и свадьба Монпансье с «сестрой Изабеллы, более красивой, чем королева, у которой были прекрасные глаза, великолепные волосы, гордо посаженная головка и очаровательное личико». Двойной брак благословили в присутствии всего испанского двора в зале Послов Восточного дворца, а на следующий день церемонию повторили в соборе Nuestra Senora de los Atocha^[120]; на ней присутствовал и восхищенный Александр Дюма. Через несколько дней (17 октября 1846 года) Дюма обедал у католической королевы в колонном зале. Стол был накрыт на сто персон. «Мы затерялись среди людей, которые не знали ни слова на нашем языке, — писал Кювийе-Флери. — У Александра Дюма, как и у меня, по правую руку сидел епископ, по левую — камергер с ключом, перекинутым за спину. Но так как ключ этот не отмыкает уста, то Дюма вынужден был пожирать обед молча, а путевые наблюдения ограничить тонзурой своего

соседа. «Самый уродливый из всех епископов!» — заметил он после обеда...»

Четверо новобрачных обошли все залы. Изабелла II, которой едва исполнилось шестнадцать лет, была с ног до головы усыпана бриллиантами, но «кожа у нее была слишком темная и щеки лоснились». Предсказывали, что с годами «она станет такой же безобразно толстой, как и ее бабушка». Король-супруг (таков был отныне официальный титул Пакиты) казался девчонкой, одетой в форму дивизионного генерала; он говорил пискливым голосом. Двоюродные брат и сестра, объединенные браком по политическим соображениям, молодые правители ненавидели друг друга с детства. И, наоборот, инфанта Луиза-Фернанда, герцогиня де Монпансье, гордая своим Прекрасным Принцем, вся светилась от счастья. «Восхитительное существо! — писал Кювийе-Флери. — Лицо ее дышит прелестью и лукавством...»

18 октября 1846 года Дюма-сын, которого, несмотря на Кончиту и Антонию, преследовали воспоминания о Мари Дюплесси, написал ей из Мадрида, умоляя простить его. Он раскаивался в несправедливой суровости.

«Мутье приехал в Мадрид и сказал мне, что, когда он покидал Париж, вы были больны. Разрешите мне присоединиться к числу тех, кого глубоко огорчают ваши страдания.

Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я найду на почте хотя бы записочку от вас, из которой узнаю, что вы простили мне то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи, и — совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии.

Ваш друг А. Д.».

Когда догорели огни последних фейерверков, Александр Первый и его «двор» отправились в Алжир. Там не было недостатка в развлечениях: плавание на военном корабле «Велос» («Стремительный»), визит к маршалу Бюжо, освобождение французских пленных из рук арабов (Дюма так много раз об этом рассказывал, что в конце концов сам в это поверил), банкет в его честь на Алжирском рейде, охота на орла, покупка грифа, которого он окрестил Югуртой, прогулка с остановкой в Тунисе (куда он не имел никакого права приводить французский военный корабль).

Зато какой скандал подняла палата по его возвращении! — Как могло

случиться, что военный корабль со всей командой предоставили в распоряжение увеселителя публики? — Почему, — вопрошал граф Кастеллан, — министр доверил «научную миссию» автору романов-фельетонов? — Правда ли, — осведомлялся Мальвиль, депутат от Перигора, — что министр сказал: Дюма откроет Алжир господам депутатам, которые о нем ничего не знают? — Но Сальванди не спасовал перед крикунами. Что касается Дюма, то он послал им секундантов: депутаты не приняли вызова, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность. Мушкетер играл в этом деле самую выигрышную роль.

Это кульминационный пункт карьеры Дюма. Власти обращаются с ним как с особой королевского ранга. С появлением каждого нового романа увеличивается список его триумфов. Романы эти Маке и Дюма, или Дюма-Маке, переделывают в драмы, на которые стекаются толпы народу. Спектакль «Мушкетеры» в Амбигю начинается в половине седьмого и кончается в час ночи. Теофиль Готье писал в своем фельетоне:

«У нас достаточно времени, чтобы познакомиться с героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность... Пьеса, — добавлял он, — выдержит столько же представлений, сколько номеров газеты занял роман. А это не так уж мало... Успех этой пьесы, — продолжает Готье, — тем более замечателен, что в ней нет и намека на любовь — там нет даже Арисии^[121], чтобы кинуть кость петиметрам. Правда, петиметры никогда не ходят на Бульвары. Притягательная сила пьесы в идеях дружбы и верности — благородных идеях, которые и сами по себе достойны стать содержанием любой драмы. В союзе четырех храбрецов, объединивших свои помыслы, сердца, силу и доблесть, есть нечто трогательное. Эти четыре брата — братья не по крови, а по родству душ — образовали такую семью, о которой можно только мечтать. Кто в пору доверчивой юности не пытался установить такие же отношения, но — увы! — они распадались при первой же трудности или первом же соперничестве — по вине Ореста ли, Пилада ли, не все ль равно? В этом успех романа и успех пьесы...»

Суждение умное и даже глубокое. Да, только неиссякаемой щедростью натуры Дюма-отца можно объяснить его удивительный успех и его безраздельное господство на сцене и в подвалах газет.

Глава пятая

СМЕРТЬ МАРИ ДЮПЛЕССИ

Мы воздадим ей лучшую хвалу, сказав, душе ее так быстро наскучила жизнь, которую вело ее тело, что она убила его, чтобы покончить с этим существованием.

ПОЛЬ ДЕ СЕН-ВИКТОР



На письмо из Мадрида молодой Дюма не получил никакого ответа, и вот почему.

Мари никогда не хотела разрыва с ним. Но она «привыкла к тому, что все ее привязанности попираются, привыкла заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, и постепенно стала, — пишет Жюль Жанен, — ко всему безразличной. О сегодняшней любви она помышляла не больше, чем о завтрашней страсти». Безразличной? Нет, скорее смилившейся. Она «тосковала по тишине, покою и любви. У нее была душа гризетки, которая приспособлялась, как могла, к телу куртизанки». Куртизанка старалась привлечь богатых любовников: Штакельберга, Перрего; гризетка искала друга сердца, который мог бы заменить ей Аде.

И она нашла Франца Листа, которого ей представил в ноябре 1845 года лечивший ее доктор Корев, странная личность, похожая на персонажей

Гофмана, полушарлатан, полугений. Лист — великий музыкант, «прекрасный, как полубог», только что порвал свою продолжительную связь с Мари Агу.

Немногие мужчины занимали тогда более видное положение в обществе. «Мадемуазель Дюплесси вас хочет, и она вас завоюет», — сказал Жанен виртуозу.

Она и впрямь завоевала его, и он никогда не смог ее забыть. «Вообще мне не нравятся такие женщины, как Марион Делорм или Манон Леско. Но эта была исключением. Она была очень добра...» И все же Лист отказался связать свою жизнь с прекрасной куртизанкой и даже не пожелал поехать путешествовать с ней по Востоку, чего ей очень хотелось.

Эдуард Перрего пригласил Мари в другое путешествие, весьма неожиданного свойства. Он увез ее в Лондон, и там 21 февраля 1846 года сочетался с ней гражданским браком перед регистратором графства Мидлсекс. Она стала графиней Перрего. Но брак, по всей вероятности, был заключен не по правилам, так как церковное оглашение не было опубликовано. Он не мог считаться действительным во Франции, потому что не был утвержден французским генеральным консулом в Лондоне, как того требовал закон. К тому же по возвращении в Париж супруги по взаимному согласию вернули друг другу свободу. Так к чему же тогда эти необъяснимые формальности? Возможно, Перрего надеялся крепче привязать к себе Мари Дюплесси; возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей, потому что у Мари к тому времени развилась скоротечная чахотка, и она знала, что часы ее сочтены. Лондонская свадьба *in extremis*^[122] позволила ей заказать на дверцы своей кареты гербовые щиты. «Лишь самые интимные друзья, самые надежные советчики» знали, что она имеет на это право. У поставщиков, которым она задолжала, вошло в привычку адресовать счета на имя «графини дю Плесси».

Но на самом деле она к этому времени чувствовала себя слишком плохо, чтобы быть настоящей женой или любовницей. «Волнующая бледность» ее щек сменилась лихорадочным румянцем. Она пыталась искусственно возродить свою былую красоту при помощи блеска драгоценностей. Она разъезжала по модным курортам, переселялась из Спа в Эмс — восхитительная танцовщица, Мари продолжала вызывать восхищение; но с каждым новым местом ее состояние только ухудшалось. В счетах отелей стоит: «Молоко... Вливания...»

Мари Дюплесси — Эдуарду Перрего: «Я молю вас на коленях, дорогой Эдуард, простить меня; если вы меня еще

любите, напишите мне всего два слова, слова прощения и дружбы. Напишите мне до востребования, Эмс, герцогство Нассау. Я здесь одинока и очень больна. Итак, дорогой Эдуард, скорее — прощение. До свидания».

По возвращении в Париж Мари в течение нескольких недель еще появлялась на балах — лишь призрак, тень своей былой красоты. Потом настал день, когда она уже не смогла более покидать квартиру на бульваре Мадлен. Ей минуло двадцать три года, и она была обречена. И вот в ее комнате появились «налой, крытый трипом», и «две позолоченные Девы Марии». Иногда по вечерам, надев белый пеньюар и обмотав голову красной кашемировой шалью, она садилась у окна и наблюдала, как проходят мимо светские дамы и кавалеры, направляясь ужинать после театра.

Так как она не могла больше зарабатывать деньги своим истощенным телом, ей пришлось продать одну за другой почти все драгоценности, которые она так любила. Когда она умирала, у нее из всех украшений оставались лишь два браслета, одна коралловая брошь, хлысты и два маленьких пистолета. Эдуарда Перрего, пришедшего навестить ее, она не приняла. Она умерла 3 февраля 1847 года, в самый разгар карнавала, за несколько дней до масленицы, которую Париж в те времена бурно праздновал. Шум веселья врывается в окна маленькой квартирки, где лежала в агонии Мари Дюплесси. Викарий церкви святой Магдалины пришел причастить ее, затем, перекусив, отправился восвояси. «На ветчину для священника, — записала в книге расходов горничная, — два франка».

5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, «украшенным белыми венками». За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплесси: Эдуард Перрего и Эдуард Делессер. Мари похоронили временно на Монмартрском кладбище, потом, 16 февраля, в жирный четверг^[123], тело ее эксгумировали и предали земле на участке, приобретенном Эдуардом Перрего за 526 франков в вечную собственность.

В этот день «низко нависшее небо было темным и мрачным, к полудню небеса разверзлись и потоки ливня хлынули на процессию «жирного тельца», а ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал».

Дюма-сын, путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Мари. Он никогда не переставал любить эту редкую и

трогательную женщину. «Я шел, и воспоминания о наших ночах преследовали меня», — писал он. Что, впрочем, отнюдь не мешало ему не отказываться от тех приключений, которые выпадали на его долю во время путешествия. Из Туниса он вернулся в Алжир, чтобы встретить там Новый год. 3 января 1847 года пассажиры «Велоса» («Стремительного») пересели на пакетбот «Ориноко», 4-го они прибыли в Тулон, на следующий день — в Марсель. Оттуда Дюма-отец поспешил в Париж, куда его призывали дела Исторического театра. Дюма-сын соблазнился гостеприимством д'Отрана, Мери и возможностью закончить вдали от Парижа плутовской роман «Приключения четырех женщин и одного попугая», о выходе которого уже объявил издатель Кадо.

О смерти Мари он узнал в Марселе. Это известие повергло его в грусть и раскаяние. Нельзя сказать, что он плохо обошелся с Мари, но он был слишком суров, а значит, и несправедлив к бедной девушке, чья жизнь была столь тяжелой, что ее ни в чем нельзя винить. Недовольный собой, он решил с жаром взяться за работу и расплатиться со всеми долгами. Но такую клятву гораздо легче дать, чем сдержать. Когда он возвратился в Париж, ему в глаза бросилось объявление, возвещавшее о посмертной продаже мебели и «предметов роскоши» в доме № 11 по бульвару Мадлен. Лиц, желающих что-нибудь приобрести, приглашали посетить квартиру, где была выставлена вся движимость. Дюма-сын помчался туда. Он вновь увидел мебель розового дерева, бывшую некогда свидетельницей его короткого счастья, тончайшее белье, облекавшее нежное и прелестное тело, платья покойницы, за право обладать которыми будут спорить так называемые порядочные женщины. Он был потрясен и, возвратившись домой, написал свое лучшее стихотворение:

Расстался с вами я, а почему — не знаю,
Ничтожным повод был: казалось мне, любовь
К другому скрыли вы... О суета земная!
Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь?

Потом я вам писал о скором возвращенье,
О том, что к вам приду и буду умолять,
Чтоб даровали вы мне милость и прощенье.
Я так надеялся увидеть вас опять!

И вот примчался к вам. Что вижу я, о боже!
Закрытое окно и запертую дверь.

Сказали люди мне: в могиле черви гложут
Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь.

Один лишь человек с поникшей головою
У ложа вашего стоял в последний час.
Друзья к вам не пришли. Я знаю: только двое
В последнем шествии сопровождали вас.

Благословляю их. Они одни посмели
С презреньем отнестись к тому, что скажет свет,
Умершей женщине не на словах — на деле
Отдав последний долг во имя прошлых лет.

Те двое до конца ей верность сохраняли,
Но лорд ее забыл и князь прийти не мог;
Они ее любовь за деньги покупали,
И не могли купить надгробный ей венок.

Чарльз Диккенс присутствовал на аукционе. «Там собрались все парижские знаменитости, — писал он графу д'Орсэ. — Было много великосветских дам, и все это избранное общество ожидало торгов с любопытством и волнением, исполненное симпатии и трогательного сочувствия к судьбе девки... Говорят, она умерла от разбитого сердца.

Что до меня, то я, как грубый англосакс, наделенный малой толикой здравого смысла, склонен думать, что она умерла от скуки и пресыщенности... Глядя на всеобщую печаль и восхищение, можно подумать, что умер национальный герой или Жанна д'Арк. А когда Эжен Сю купил молитвенник куртизанки, восторгу публики не было конца».

Диккенс, несмотря на свою сентиментальность, был, как он сам признавал, слишком англосаксом, чтобы его могла тронуть участь женщины легкого поведения. Дюма же купил «на память» золотую цепочку Мари. Распродажа дала 80917 франков, что с лихвой покрыло пассив наследства. Мари Дюплесси завещала деньги, которые останутся после уплаты долгов, своей нормандской племяннице (дочери ее сестры Дельфины и ткача Паке), поставив условием, чтобы наследница никогда не приезжала в Париж.

Жизнь и смерть Мари Дюплесси сыграли решающую роль в моральной эволюции Дюма-сына. Его отец, как и все романтики, воспевал

права страсти, но сам очень скоро перестал следовать этим идеалам. Любовницам типа Мелани Вальдор он предпочитал снисходительных и непостоянных девиц. Его сын с двадцати лет тоже пристрастился к необременительным увлечениям, но пример матери показал ему, к каким печальным последствиям приводят подобные связи; судьба Мари окончательно убедила его, что комедия удовольствий в жизни, увы, часто оборачивается трагедией.

В мае 1847 года он отправился на прогулку в Сен-Жермен и вспомнил тот день, когда он скакал по лесу с Эженом Дежазе. Оттуда друзья отправились в Варьетэ, что положило начало его роману с Мари. Александр снял комнату в отеле «Белая лошадь», перечитал письма Мари и написал о ней роман под названием «Дама с камелиями». С начала века у поэтов вошло в привычку описывать в стихах свои увлечения. Гюго, Санд, Мюссе и даже Бальзак романтизировали таким образом свои связи. Книга Дюма-сына не автобиография, хотя, конечно, в основе этой истории лежит роман автора с Мари Дюплесси, которая в книге получила имя Маргариты Готье. В действительности Дюма сразу отказался от мысли возродить грешницу к новой жизни. В романе Арман Дюваль пытается заставить ее вступить на стезю добродетели.

«Я убежден в одном: женщине, которую с детства не научили добру, бог открывает два пути, ведущие к нему, — путь страдания и путь любви. Они трудны: те, кто на них вступает, стирают до крови ноги, раздирают руки, зато они оставляют украшения порока на придорожных колючках и приходят к цели в той наготе, в которой не стыдно предстать перед господом».

Роль отца Дюваля, его визит к Маргарите Готье, решение Маргариты продать лошадей и драгоценности, чтобы любовью искупить свои грехи, героическое самоотречение куртизанки, жертвующей собой, чтобы не повредить любимому человеку, — все это придумал Дюма, точно так же как и душераздирающие письма покинутой, разоренной, умирающей Маргариты. Нельзя представить, чтобы Дюма-отец мог устроить в жизни подобную сцену Маргарите Готье. В его привычках было скорее завоевывать куртизанок, чем защищать их добродетель.

Роман имел огромный успех. Все женщины — содержанки или просто согрешившие — были глубоко растроганы. «Туберкулез и бледность приобрели теперь мрачное очарование». Через несколько дней после выхода книги в свет автор встретил драматурга Сиродэна, и тот сказал ему:

«Почему бы вам не сделать драму из вашего романа? Ведь это, мой дорогой, — плодородная почва, ее не следует оставлять невозделанной».

Дюма-сын поговорил с отцом. Отец в ту пору был абсолютным монархом в Историческом театре, открывшемся 21 февраля 1847 года постановкой «Королевы Марго». Создавая этот театр, Дюма, как всегда, носился с грандиозными прожектками. Он хотел повторить на сцене то, что уже совершил в своих романах, — воспроизвести национальную историю, создав пьесы на манер греческих трагедий и хроник Шекспира.

Спектакль был блестящий и — бесконечный. Он начинался в шесть часов вечера и кончался только к трем часам утра.

«Да, — писал на следующий день в своей рецензии Теофиль Готье, — Дюма совершил чудо, сумев удержать публику натошак девять часов кряду на своих местах. Правда, ближе к концу, в коротких антрактах, зрители начали поглядывать друг на друга так, будто они плывут на плоту «Медузы»^[124], и те, кто пожирней, уже начинали тревожиться за свою судьбу. Слава богу, нам все же не пришлось оплакивать ни одной жертвы каннибализма; но на будущее, если дирекция еще собирается ставить драмы в пятнадцати картинах с прологом и эпилогом, ей следует добавлять на афишах: «Большой выбор блюд...»

Десять тысяч зевак собрались на улице перед театром, чтобы поглазеть на зрителей и на фасад. Узкое здание торжествующе вздымалось между двумя огромными домами на бульваре Тампль. Оно казалось оригинальным, потому что в отличие от большинства тогдашних театров не походило ни на «биржу, ни на храм, ни на гауптвахту, ни на музей». Архитектору, а возможно и Дюма, пришла в голову мысль стилизовать подмости, на которых играли в бродячих театрах, заменив две бочки двумя кариатидами, поддерживающими балкон. Теофиль Готье хвалил архитектора Сешана за то, что тот не поддался искушению построить вместо театрального здания Парфенон.

«Только подчеркивая целевое назначение здания, — указывал Теофиль Готье, — и максимально используя полезные элементы, современная архитектура найдет те новые формы, которые она тщетно ищет». На фресках внутри помещения были изображены все старые друзья Дюма: Софокл, Аристофан, Эсхил, Еврипид, Корнель, Расин, Мольер, Мариво плюс Тальма и мадемуазель Марс. Дюма, подобно древним, любил окружать себя своими богами.

Герцог Монпансье и молоденькая пятнадцатилетняя герцогиня присутствовали на премьере, которая затянулась далеко за полночь. Беатриса Персон, которую Дюма-отец в ту пору жаловал своим вниманием, играла роль королевы-матери Екатерины Медичи. Девятнадцатилетняя актриса была явно молода для этой роли, но любовь великих людей возлагает короны на самые неподходящие головы. «Королеву Марго» на афишах сменил «Гамлет», странный «Гамлет», адаптированный Дюма, который, желая придать пьесе счастливую развязку, не стал, в отличие от Шекспира, убивать принца Датского.

Дюма-сын надеялся, что вслед за драмами его отца на сцене Исторического театра появится «Дама с камелиями».

— Нет, — сказал Александр Первый, — сюжет «Дамы с камелиями» не годится для театра, я бы никогда не смог ее поставить.

Сына задели слова отца, тем более что многие профессиональные драматурги предлагали ему переделать его роман в пьесу. «А почему бы мне не взяться за это самому?» — подумал он. И скрылся на восемь дней в своем маленьком домике в Нейи. Так как у него не было времени выйти купить бумаги, он писал на любых клочках, какие только попадались ему под руку. Закончив пьесу, он тут же помчался к отцу. Тот, по-прежнему убежденный в нелепости этой затеи, из родительских чувств все же согласился прослушать пьесу. После первого акта он сказал: «Очень хорошо!» После второго Александру Второму пришлось отлучиться по неотложному делу. Вернувшись, он застал Александра Первого, только что закончившего чтение пьесы, в слезах.

«Мой дорогой мальчик, — сказал он, обнимая сына, — я ошибался. Твоя пьеса принята Историческим театром».

Но дни Исторического театра были уже сочтены. Франция стояла на пороге драм куда более реальных, чем те, которые создавали Дюма-Маке. Господствующая монархия катилась к гибели. Господствующая литературная школа дряхлела. В феврале 1847 года скончался Фредерик Сулье, автор первой «Христины». Парижане толпами стекались на его похороны: он был очень популярен, его «Хуторок Женэ» имел шумный успех. Массы, бурлившие в предвкушении грядущей революции, хранили верность тем, кто говорил им о надежде и милосердии: Ламартину, Гюго, Мишле, Дюма, Санд, Сулье. На кладбище Виктор Гюго произнес речь. В ту самую минуту, когда отзвучал последний залп над открытой могилой, в толпе раздались крики: «Александр Дюма! Александр Дюма!»

Дюма вышел вперед, хотел заговорить, но слезы душили его. Впрочем, и сами по себе они были достаточно красноречивы. «Седой гривой он

походил на старого барана, огромным брюхом — на быка», — записал Рокплан. Фредерик Сулье был одним из его первых друзей-литераторов. Это он, — призвав на помощь пятьдесят столяров со своей фабрики, спас «Христину» от свистков партера. Ветеран романтической школы, он умер молодым и разочарованным. «Париж, — писал он, — это бочка Данаид: вы кидаете туда иллюзии юности, замыслы зрелых лет, раскаяние старости — он пожирает все и ничего не дает взамен». Дюма-сын, сопровождавший отца, услышал в толпе такой разговор:

— Ну и народу собралось!

— На похоронах Беранже будет еще больше. Придется пускать специальные поезда.

А через месяц, 20 марта, пришел черед мадемуазель Марс. Ей одной из живых выпала честь быть изображенной на фресках Исторического театра. В день открытия кто-то сказал: «Мадемуазель Марс попала в компанию мертвых: теперь она долго не протянет». Пророчество сбылось. Гюго пришел на отпевание, которое состоялось на кладбище Мадлен.

Огромную толпу, собравшуюся у входа в церковь, освещало яркое солнце. Гюго, прислонившись к колонне, остался стоять под перистилем вместе с Жозефом Отраном и Огюстом Маке.

«Там были люди в блузах, — писал Гюго, — которые высказывали живые и верные мысли о театре, об искусстве, о поэтах... Наш народ нуждается в славе. И когда нет ни Маренго, ни Аустерлица, он любит Дюма и Ламартинов и окружает их славой... Александр Дюма пришел со своим сыном. Толпа знала его по взлохмаченной шевелюре и стала выкрикивать его имя... Катафалк тронулся, мы пешком следовали за ним. Собралось добрых десять тысяч человек. Казалось, что этот мрачный поток толкает перед собой катафалк, на котором развевались гигантские черные плюмажи... Дюма дошел до кладбища вместе с сыном... Актрисы Французского театра, одетые в траур, несли огромные букеты фиалок; они бросили их на гроб мадемуазель Марс».

Самым большим был букет Рашель, соперницы покойной.

Но хотя парижане почитали и чествовали Дюма, кредиторы не оставляли его ни на минуту в покое: директор журнала затеял против него процесс за нарушение контракта. Сын защитил его в великолепном стихотворении:

Мыслитель и поэт! Отец мой! Значит, снова
Литературные гнетут тебя оковы,
И вынужден ты вновь, свой продолжая путь,
Других обогащать, — они всегда на страже;
А твой удел таков, что ты не смеешь даже
В конце недели отдохнуть.

В окне твоём всегда — и вечером, и ночью,
И в час, когда петух зарю уже пророчит, —
Я вижу лампы свет, извечный свет труда.
Да! К каторге тебя приговорил твой гений:
За двадцать долгих лет ночных трудов и бдений
Свободы обрести не мог ты никогда.

Работай! Если вдруг ты завтра, обессилев,
Французский спустишь флаг, которым осенили
Тебя в стране, где ты добро был сеять рад,
Лжецы, гордящиеся предками своими,
Пигмеи — Мирабо, чтоб их узнали имя,
Обрушат на тебя злых оскорблений град.

Работай, мой отец! Я у дверей на страже.
Мне, право, все равно, что эти люди скажут
О будущем моем: путь изберу я свой
И обойдусь без них, питомцев лжи и лени.
Теперь же долг велит спасти от оскорблении
Отцовской славы блеск: я — верный часовой.

Отныне сын будет заботиться об отце, у которого появится печальная
потребность в помощи сына.

Часть шестая МОНТЕ-КРИСТО

Глупцы и чудаки более человечны, чем нормальные люди.

ПОЛЬ ВАЛЕРИ



Глава первая

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»



Монте-Кристо — это имя ключ к пониманию как творчества, так и жизни Дюма. Так назвал он свой самый популярный после «Трех мушкетеров» роман, и так же назвал он тот чудовищный дом, который был предметом его гордости и причиной его разорения; это имя лучше всего вызывает в нашей памяти его извечные мечты о роскоши и справедливости.

Как родилась у Дюма идея книги? Это произошло не сразу. В «Беседах» Дюма рассказывает, что в 1842 году, в бытность свою во Флоренции, Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, поручил ему сопровождать своего сына (принца Наполеона) на остров Эльбу — одно из самых священных для императорского дома мест. Дюма было тогда тридцать восемь лет, принцу — восемнадцать; однако писатель оказался моложе своего подопечного. Они пристали к Эльбе, исходили остров вдоль и поперек, а затем отправились поохотиться на соседний островок Пианозу, где в изобилии водились зайцы и куропатки. Их проводник, окинув взглядом вздымавшуюся над морем живописную скалу, напоминающую по форме сахарную голову, сказал:

— Если ваши превосходительства соблаговолят посетить этот остров, они смогут там великолепно поохотиться.

— А как называют этот благословенный остров?

— Его называют островом Монте-Кристо.

Это имя очаровало Дюма.

— Монсеньер, — обратился он к принцу, — в память о нашем путешествии я назову «Монте-Кристо» один из романов, который я когда-нибудь напишу.

Вернувшись на следующий год во Францию, Дюма заключил с издателями Бетюном и Плоном договор, по которому он обязался написать для них восьмитомный труд под общим заглавием «Парижские путевые записки». Дюма намеревался совершить продолжительную прогулку в глубины истории и археологии, но издатели сказали ему, что они мыслят этот труд совершенно иначе. Им вскружила головы удача Эжена Сю, который только что с потрясающим успехом опубликовал «Парижские тайны»; им хотелось бы, чтобы Дюма написал для них приключенческий роман, действие которого разворачивалось бы в Париже.

Убедить Дюма было нетрудно, его не пугали самые дерзкие проекты. Он сразу же принялся за поиски интриги. А между тем когда-то, давным-давно, он заложил страницу в пятом томе труда Жака Пеше «Записки. Из архивов парижской полиции». Его поразила одна из глав под названием «Алмаз отмщения». «История эта сама по себе, — писал потом Дюма в письме, свидетельствовавшем о его неблагодарности, — была попросту глупой. Однако она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина. Жемчужина бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности, — короче говоря, жемчужина, нуждавшаяся в ювелире...»

Сам Пеше когда-то действительно служил в парижской префектуре полиции. Из архивных папок он сумел извлечь шесть томов «Записок», которые и ныне могли бы послужить неисчерпаемым источником для авторов бульварных романов. Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма.

В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Оппортюн, к своему другу, кабатчику, который, как и он сам, был уроженцем города Нима. Кабатчик этот, Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабачке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда все принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите Вигору; у влюбленной в него девушки было к тому же приданое в сто тысяч франков золотом. Четверо друзей онемели от изумления, так поразила их удача

сапожника.

— А когда состоится свадьба?

— В следующий вторник.

Не успел Пико уйти, как Лупиан, человек завистливый и коварный, сказал:

— А я сумею отсрочить это торжество.

— Как? — спросили его приятели.

— Сюда с минуты на минуту должен прийти комиссар. Я скажу ему, что, по моим сведениям, Пико является английским агентом. Его подвергнут допросу, он натерпится страху, и свадьба будет отложена.

Однако наполеоновская полиция в те времена не любила шутить с политическими преступниками. Один из трех земляков, по имени Антуан Аллю, заметил:

— Это скверная шутка.

Зато остальным идея показалась забавной.

— Будто уж и нельзя повеселиться во время карнавала, — говорили они.

Лупиан сразу же приступил к делу. И тут, весьма кстати, ему попался недостаточно осмотрительный, но весьма ретивый комиссар, который увидел в этом случае возможность отличиться и, даже не произведя предварительного следствия, настроил донос на имя министра полиции, самого Савари, герцога Ровиго. Герцог был в то время очень обеспокоен повстанческим движением в Вандее. «Нет никакого сомнения в том, — подумал он, — что этот Пико — тайный агент Людовика XVIII». И вот бедного малого поднимают среди ночи с постели, и он исчезает. Родители и невеста пытаются навести справки, но розыски не дают никаких результатов, и они в конце концов смиряются: отсутствующий всегда виноват.

Проходит семь лет. Наступил 1814 год. Империя Наполеона пала. Человек, до времени состарившийся от перенесенных страданий, выходит из замка Фенестрель, где он пробыл в заключении целых семь лет... Это Франсуа Пико, изможденный, ослабевший, изменившийся до неузнаваемости. Там, в тюрьме, Пико преданно ухаживал за арестованным по политическим мотивам итальянским прелатом, дни которого были сочтены. Перед смертью тот на словах завещал ему все свое состояние и, в частности, спрятанный в Милане клад: алмазы, ломбардские дукаты, венецианские флорины, английские гинеи, французские луидоры и испанские монеты.

По выходе из замка Пико ищет клад, находит его, прячет в надежное

место, а затем под именем Жозефа Люше возвращается в Париж и появляется в квартале, в котором жил до ареста. Там он наводит справки о сапожнике Пьере-Франсуа Пико, том самом, который в 1807 году собирался жениться на богатой мадемуазель Вигору. Ему рассказывают, что причиной гибели этого юноши была злая шутка, которую сыграли с ним во время карнавала четыре весельчака. Невеста Пико два года его оплакивала, а потом, сочтя, что он погиб, согласилась выйти замуж за кабатчика Лупиана — вдовца с двумя детьми. Пико осведомляется об остальных виновниках карнавальной шутки. Кто-то говорит ему: «Вы можете узнать их имена у некоего Антуана Аллю, который проживает в Ниме».

Пико переодевается итальянским священником и, зашив в одежду золото и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата Балдини. Антуан Аллю, прельстившись прекрасным алмазом, называет имена трех остальных участников роковой карнавальной шутки. А через несколько дней в кабачок Лупиана нанимается официант по имени Проспер. Этому человеку с лицом, изможденным страданиями, одетому в поношенный костюм, можно дать на вид не менее пятидесяти лет. Но это тот же Пико в новой личине. Оба уроженца Нима, имена которых выдал Аллю, по-прежнему остаются завсегдатаями кабачка. Однажды один из них, Шамбар, не приходит в обычное время. Вскоре становится известно, что накануне в пять часов утра он был убит на мосту Искусств. В ране торчал кинжал с надписью на рукоятке: «Номер первый».

От первого брака у кабатчика Лупиана остались сын и дочь. Дочь его, девушка лет шестнадцати, хороша как ангел. В городе появляется денди, выдающий себя за маркиза, обладателя миллионного состояния. Он соблазняет девушку. Забеременев, она вынуждена во всем признаться Лупиану. Лупиан легко и даже с радостью прощает дочь, поскольку элегантный господин выражает полную готовность сделать своей женой ту, которая в недалеком будущем станет матерью его ребенка. Он и впрямь сочетается с ней гражданским и церковным браком, но сразу после благословения, когда гости готовились приступить к свадебному ужину, разносится весть о том, что супруг бежал. Супруг этот оказался выпущенным из заключения каторжником и, разумеется, не был ни маркизом, ни миллионером. Родители невесты вне себя от ужаса. А в следующее воскресенье дом, где живет семья и помещается кабачок, сгорает дотла в результате загадочного поджога. Лупиан разорен. Лишь два человека ему верны: это его друг Солари (последний оставшийся в живых из бывших завсегдатаев кабачка) и официант — виновник всех несчастий, постигших ничего не подозревающего кабатчика. Как и следовало ожидать,

Солари, в свою очередь, погибает от яда. К черному сукну, покрывающему его гроб, прикреплена записка с надписью печатными буквами: «Номер второй».

Сын кабатчика молодой Эжен Лупиан — безвольный шалопай. Хулиганам, неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удается втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадает на краже со взломом, и его приговаривают к двадцати годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты. Деньги, добрая репутация, счастье — все исчезает в стремительной лавине следующих одна за другой катастроф. «Прекрасная мадам Лупиан», урожденная Маргарита Вигору, умирает от горя. Так как у нее не было детей от Лупиана, остатки ее состояния Лупиан вынужден; вернуть родственникам, которые являются ее прямыми наследниками. И тут на сцену выступает официант Проспер: он предлагает разоренному хозяину все свои сбережения при условии, что прелестная Тереза, дочь Лупиана и жена беглого каторжника, станет его любовницей. Чтобы спасти отца, гордая красавица соглашается.

От бесконечных несчастий Лупиан на грани безумия. И вот однажды вечером в темной аллее Тюильри перед ним внезапно возникает человек в маске.

— Лупиан, помнишь ли ты 1807 год?

— Почему именно 1807-й?

— Потому что в этом году ты совершил преступление.

— Какое преступление?

— А не припоминаешь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, ты упрятал его в тюрьму?

— Бог наказал меня за это... жестоко наказал.

— Не бог тебя наказал, а Пико, который, чтобы утолить жажду мщения, заколол Шамбара, отравил Солари, сжег твой дом, опозорил твоего сына и выдал твою дочь за каторжника. Так знай, что под личиной официанта Проспера скрывался Пико. А теперь настал твой последний час, потому что сейчас я покончу с Номером третьим.

Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из Тюильри, но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и уносят под покровом темноты. Он приходит в себя уже в подвале, где находится с глазу на глаз с незнакомым человеком.

— Ну как, Пико? Я вижу, мщение кажется тебе детской забавой? Ты потратил десять лет жизни на то, чтобы преследовать трех несчастных, которых ты должен был бы пощадить... Ты совершил чудовищные

преступления и меня сделал их соучастником, потому что я выдал тебе имена виновников твоего несчастья. Я — Антуан Аллю. Издалека следил я за твоими злодеяниями. И, наконец, понял, кто ты такой. Я поспешил в Париж, чтобы разоблачить тебя перед Лупианом. Но, видно, дьявол был на твоей стороне и ты на какое-то мгновение опередил меня.

— Где я нахожусь?

— Не все ли тебе равно? Ты там, где тебе не от кого ждать ни помощи, ни милосердия.

Мсть за мсть. Пико зверски убит. Его убийца уезжает в Англию. В 1828 году Аллю, тяжело заболев, призывает католического священника, который под его диктовку записывает во всех подробностях рассказ об ужасных преступлениях и разрешает священнику после его смерти передать эту исповедь французскому суду.

Исповедник в точности исполняет последнюю волю Антуана Аллю и передает этот бесценный документ в архивы парижской полиции, где с ним и ознакомился Жак Пеше.

Для Дюма, Бальзака или Эжена Сю в этой истории заключался готовый роман. И не только для них, но и для читающей публики. Уже в течение многих тысячелетий страждущее человечество утешает себя мифами о торжестве справедливости. Из мифических персонажей наибольшей популярностью пользуются Волшебник и Вершитель Правосудия. Униженные и оскорбленные с надеждой, не ослабевающей от разочарований, уповают на бога или героя, который исправит все ошибки, покарает злодеев и вознаградит, наконец, праведников, посадив их одесную. Древние наделяли Вершителя Правосудия большой физической силой; примером тому может служить Геракл. Дюма в память о своем отце-генерале с успехом воскресил в образе Портоса миф о Геракле.

В «Тысяче и одной ночи» Вершитель Правосудия становится магом. Сила его носит уже не столько физический, сколько оккультный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей, может открыть беднякам пещеры, полные драгоценностей.

В эпоху Дюма Волшебник превращается в набоба, обладателя гигантского состояния, которое позволяет ему осуществлять самые дерзновенные фантазии. Дюма всегда мечтал быть таким распределителем земных благ. И в пределах, к сожалению весьма ограниченных его

собственными денежными затруднениями, он тешил себя, играя эту роль по отношению к своим друзьям и любовницам. Все его золото можно было уложить в один кубок, но он рассыпал его жестом столь широким, что ему мог позавидовать любой набоб. Дюма доставляло большое удовольствие сделать своего героя баснословным богачом, пригоршнями раскидывающим направо и налево сапфиры, алмазы, изумруды и рубины. К тому же Дюма очень хотелось, чтобы этот герой был бы еще и мстителем во имя великой цели. Ведь и у самого Дюма, несмотря на всю широту его натуры, накопилось много обид как против общества, так и против отдельных личностей. Его отца-генерала травили, самого Дюма преследовали кредиторы, обливали грязью всевозможные клеветники. Он разделял со многими обиженными ту жажду мщения, которая еще со времен «Орестейи» вдохновляла людей на создание стольких шедевров. И ему очень хотелось хотя бы в романе вознаградить себя за все те несправедливости, которые нанесло ему общество.

Пеше дал ему готовую интригу. А подлинные истории могут служить великолепной основой, если к ним приложит руку настоящий художник. Дюма уже довольно далеко зашел в своей работе, когда его друг Маке пробудил в нем некоторые сомнения.

«Я рассказал ему о том, что я сделал, и о том, что мне еще оставалось сделать.

— Мне кажется, — заметил он, — что вы опускаете самые интересные моменты жизни героя... а именно — его любовь к Каталанке, измену Данглара и Фернана, десятилетнее заключение с аббатом Фариа.

— Я расскажу обо всем этом, — говорю я.

— Не можете же вы *рассказывать* четыре или пять томов, а здесь получится не меньше.

— Возможно, вы правы. Приходите ко мне завтра. Мы потолкуем об этом.

Весь вечер, всю ночь и утро я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части, озаглавленные: Марсель — Париж — Рим. В тот же вечер мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей. Первую часть мы отвели под экспозицию, в трех последующих речь должна была идти о

заточении в замке Иф, в пятой — о бегстве из замка и о вознаграждении семейства Морель. Все остальные части, хоть и не были разработаны в деталях, были в общем ясны.

Маке считал, что он оказал мне всего-навсего дружескую услугу. Я полагаю, что он проделал работу соавтора...»

А теперь настало время рассказать о том, как Дюма использовал «Записки» Пеше.

Герой Дюма, Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья. Как и в истории, рассказанной Пеше, невеста Пико выходит замуж за Лупиана, так и у Дюма рыбак Фернан отнимает у Эдмона Мерседес. Но Дюма раздвоил личность Лупиана: он сделал на его материале двух героев — Фернана и предателя Данглара. Следовательно Вильфор, видевший в гибели Дантеса лишь средство сделать карьеру, имел живым прототипом того самого ретивого комиссара, который с такой готовностью принял на веру клеветнический донос Лупиана.

Аббат Фариа, товарищ Эдмона Дантеса по заточению в замке Иф, становится на место миланского прелата, завещавшего свои сокровища Франсуа Пико. После того как он бежал из замка и стал богат, Дантес последовательно перевоплощается в аббата Бузони, в Синбада-морехода, в лорда Уилмора и в графа Монте-Кристо, точно так же Пико выдавал себя за Жозефа Люше, аббата Балдини и официанта Проспера.

Не оставил без внимания Дюма и тот факт, что дочь Лупиана, обольщенная самозванцем, надеялась, выйдя замуж за уголовного преступника, выдававшего себя за маркиза, породниться с самыми знатными домами. Этот эпизод легко поддавался романизации. И он, в свою очередь, вводит в дом Дангларов Бенедетто, незаконного сына Вильфора, осужденного за мошенничество, воровство и подлоги и сосланного на тулонскую каторгу. Убежав с каторги, этот арестант так удачно выдает себя за итальянского князя, что очаровательная Эжени, дочь Данглара, отдает ему руку. В день, когда должно состояться торжественное подписание брачного контракта, жениха арестуют по обвинению в убийстве.

Но не из жизни было взято гениальное, мгновенно запечатлевающееся в памяти название романа «Граф Монте-Кристо». В реторту с таинственным составом, из которого выходят шедевры, было подбавлено новое бесценное вещество, и произошло это в тот самый день, когда Дюма отправился охотиться на островок близ Эльбы.

Живой Пико был слишком кровожаден в своей мести, чтобы стать популярным героем. И Дюма сделал Дантеса не свирепым убийцей, а неумолимым мстителем. Пико собственноручно убивает своих врагов. Он мстит за себя сам, тогда как Дантес направляет руку судьбы. Фернан, успевший стать генералом, графом де Морсерф и супругом Мерседес, кончает жизнь самоубийством, Данглар разорен, Вильфор сходит с ума. Чтобы бросить луч света в это царство мрака и заодно придать роману колорит «Тысячи и одной ночи», Дюма снабжает Монте-Кристо любовницей гречанкой Гайдэ, дочерью паши Янины. Именно о такой великолепной рабыне всю жизнь мечтал сам Дюма.

К концу книги Эдмон Дантес, пресытившись мщением, наделяет приданым дочь своего врага мадемуазель Вильфор и выдает ее замуж за сына своего друга Мореля. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопо: «Где граф? Где Гайдэ?» — Джакопо указывает рукой на горизонт.

«Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидели белый парус не больше крыла морской чайки».

Итак, «Граф Монте-Кристо» заканчивается также, как заканчиваются фильмы Чаплина — кадром, на котором мы видим силуэт человека, уходящего вдаль.

Глава вторая В КОТОРОЙ РОМАН ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ

*В блокноте этом наш Дюма
Ведет расходам счет. Но только
Важнейшей нет графы там: сколько
Он в день расходует ума.*

РОЖЕ ДЕ БОВУАР



Успех «Графа Монте-Кристо» превзошел все, что знал до сих пор Дюма. Весь Париж был без ума от романа, и сам Дюма больше, чем любой другой парижанин. Он никогда не проводил четкой грани между своими романами и личной жизнью. Ему доставило огромное удовольствие вести через посредство Эдмона Дантеса столь бесподобное существование, и он захотел пережить все это сам в реальной жизни. Разве он не был набобом от литературы? Разве он не зарабатывал двести тысяч франков золотом в год? Так почему же ему не построить замок Монте-Кристо?

С 1843 года Дюма, сохраняя за собой квартиру в Париже, снял (за две тысячи франков в год) виллу «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ и взял в аренду театр этого маленького городка. Он пригласил туда Комеди-

Франсэз, кормил артистов и обеспечивал их жильем, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег. Зато его двор, гарем и зверинец весело копошились вокруг него, а доходы железной дороги из Парижа в Сен-Жермен сразу поднялись. Толпы любопытных стекались в Сен-Жермен, чтобы поглазеть на великого человека. И он, знатный вельможа, пожимал руки, отпускал остроты и первый смеялся над ними.

Удивленный король спросил однажды у министра Монталиве:

— Отчего в Сен-Жермене царит такое оживление?

— Сир, — последовал ответ, — желает ли ваше величество, чтобы Версаль веселился до упаду? Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен — прикажите ему провести две недели в Версале.

Но не в Версале, а по дороге из Буживаля в Сен-Жермен купил Дюма поросший лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему:

— Вот здесь вы разобьете мне английский парк, в центре его я хочу построить замок в стиле Возрождения, напротив — готический павильон, окруженный водой... На участке есть ручьи. Вы сделаете из них каскады...

— Но, господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поползут.

— Господин Дюран, вы будете копать, пока не дойдете до туфа... Вы отведете два подземных этажа под погреба и своды.

— Это вам обойдется в несколько сот тысяч франков.

— Надеюсь, не меньше, — ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке.

Самое удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими ивами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марлиле-Руа, стоят очаровательные службы (в стиле Вальтера Скотта), которые по современным представлениям могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам «замок», по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Бальзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно!

Окна, скопированные с окон замка д'Анэ, вызывают в памяти Жана Гужона^[125] и Жермена Пилона^[126]. Саламандры на лепных украшениях взяты из герба, дарованного Франциском Первым городу Вилле-Коттре — родине Александра Дюма. Скульптурные изображения великих людей от

Гомера до Софокла, от Шекспира до Гёте, от Байрона до Виктора Гюго, от Казимира Делавиня до Дюма-отца образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка: «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи трубадуров соседствует с Востоком «Тысячи и одной ночи». Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из пятнадцати комнат: по пяти на каждом этаже, — и все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал — белый с золотом — выдержан в стиле Людовика XV. Арабская комната украшена тонкими гипсовыми арабесками, на которых еще можно прочесть изречения из корана, хотя позолота и яркая краска вязи везде уже облупились.

В двухстах метрах от «замка» возвышается удивительное строение в готическом стиле — нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами. Стены обтянуты голубым сукном, над скульптурным камином — рыцарские доспехи. Сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббатства. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия.

Леон Гозлан был в восторге.

«Я могу сравнить эту жемчужину архитектуры, — писал он, — только с замком королевы Бланш в лесу Шантийи и домом Жана Гужона... У здания усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгера... Оно не принадлежит к определенной эпохе — его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование... Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было, знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок, Огюсту Прео, Джеймсу Прадье и Антонэну Миму... По фризу первого этажа он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего времени...»

Гозлан рассыпался в похвалах тунисским скульпторам за «тонкость и изящество работы, какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры; сложный скульптурный узор кажется роскошным кружевом... Я вне себя от восхищения... В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для «Монте-Кристо». С центрального балкона открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена...»

Гозлан здесь выказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле «замок» был всего-навсего причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма, однако, жил как знатный вельможа.

На новоселье (25 июля 1848 года) Дюма пригласил к обеду шестьсот гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане («Павильон Генриха Четвертого» в Сен-Жермене), столы накрыли на лужайке. В курильницах дымились благовония. Повсюду красовался девиз маркизов де ля Пайетри: «Ветер раздувает пламя! Господь воспаляет душу!» Сияющий Дюма расхаживает среди приглашенных. На сюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролет рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив.

Бальзак — Еве Ганской, 2 августа 1848 года: «Ах, «Монте-Кристо» — это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он — самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы все закончить. Но он не отступится от него до тех пор, пока не осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг захочется распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторое представление о характере Дюма! Строить этакое чудо, ибо замок — поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права! Крестьянин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, оказаться не в состоянии сдержать слово, данное их отцом!..

Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вила, она куда красивее

виллы Пампили, потому что с нее открывается вид на террасы Сен-Жермена, и, помимо всего прочего, там есть еще и вода!.. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анэ, который вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная — одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшения эпохи Возрождения. Говорят, что все это уже обошлось Дюма в 500 тысяч франков и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его ограбили, как на большой дороге. Он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков...»

Очень забавно читать, как Бальзак отчитывает расточительного Дюма и поучает его искусству бережливости.

Так началась неповторимая жизнь в «замке» «Монте-Кристо». Хозяин дома поселился в микроскопической крепости; над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стол из некрашеного дерева и два стула. Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь рубашка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стол, а между тем он ест самую простую пищу: пантагрюэлевские пиры он задает гостям. В «Монте-Кристо» он держит открытый дом. В «Монте-Кристо» радушно принимают всех, кто бы ни пришел. Дюма протягивал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-беарнски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготавливал какое-нибудь блюдо по-своему и с увлечением стряпал соусы.

Любой писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в «Монте-Кристо». Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфитрион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему нескольких сот тысяч франков в год. А кроме того, были еще и женщины...

В «замке» «Монте-Кристо» одна любимая султанша быстро сменяла другую: в их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали Аталой Бошен, дебютантки Исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая Дежазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в водевилях. Любовница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери.

Селеста Скриванек — Дюма-сыну: «Мой дорогой Александр, я на вершине блаженства: я не расстанусь с вашим отцом. Он согласился взять меня с собой. Я буду путешествовать с вами под видом мальчика: портной только что снял с меня мерку. Ах, я схожу с ума от счастья! Простите меня, мой милый, добрый друг, за то, что я не сообщила вам обо всем этом раньше [sic!]; изо дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь мешало. Ваш отец заставляет меня много работать, я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого *универсального* человека. Я надеюсь через месяц увидеть вас здесь, но тем временем все же черкните мне несколько дружеских слов.

Мы выполнили все ваши поручения. Сейчас я подрубаю ваши галстуки; как только портной закончит ваши брюки, мы выйдем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте, напишите мне поскорее.

Ваша преданная маленькая мама
С. СКРИВАНЕК».

Что касается Лолы Монтес, то хотя она и провела несколько дней в «Монте-Кристо», нам представляется маловероятным, чтобы она была любовницей Дюма, так как, став милостью своего любовника короля Людвига I Баварского всемогущей графиней Ландсфилд, она писала в «Монте-Кристо»:

«Мюнхен, 14 апреля 1847 года: «Мой дорогой господин Дюма! Для меня было большим удовольствием *получать* [sic!] несколько дней назад ваше письмо. Если вы к нам приедете, я могу вас заверить, что вам будет оказан прием, достойный такого талантливого и прославленного писателя, как вы. Его величество король просит меня передать вам его благодарность за те лестные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть вас в Баварии. Я считаю, что вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от ваших прекрасных произведений, и я уверена, что вас примут по-царски. Я пишу вам обо всем этом для того, чтобы вы обязательно приехали

повидаться с королем. Я думаю, что вы *останетесь довольные* друг другом. Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать вас. Но разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных ваших поклонниц.

ЛОЛА МОНТЕС».

Лола Монтеc, баварская графиня, была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми грамматическими и орфографическими ошибками. Но содержание письма говорит о том, что Лола не была любовницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью.

В «Монте-Кристо» безраздельно правил итальянский мажордом синьор Раскони. Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток «Словаря естественных наук», приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негритенок Алексис, которого Мари Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами.

— Я не могу его прокормить, — сказала очаровательная актриса, обремененная долгами, — и поэтому дарю его тебе, мой славный пес.

— Откуда он родом?

— С Антильских островов.

— А на каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик?

— На креольском.

— А как будет по-креольски: «Здравствуйте, сударь»?

— Здравствуйте, сударь.

— Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски... Мишель! Мишель!..

Вошел садовник.

— Вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами.

Был в «Монте-Кристо» еще один слуга, приставленный к псарне, и другой — к вольерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвятил очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна — мартышка (которых он назвал в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы), два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукуллом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисуф и гриф Югурта,

вывезенный из Туниса, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в бочке.

Монте-Кристо хорошо работалось под писк и гомон зверинца. На столе у него всегда лежала стопка бумаги — голубые листки для романов, розовые — для статей и желтые, предназначенные для поэм одалискам. Его поглощали мысли об Историческом театре, для которого он переделывал в пьесы один роман за другим; он был бы счастлив, если бы его сын согласился войти на паях в фирму «Александр Дюма и К⁰». Пожелай он только играть роль Маке, говорил отец, он мог бы легко заработать от сорока до пятидесяти тысяч франков в год.

«Это вовсе не трудно, поверь мне... Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать».

Дюма-сын, несмотря на успех своего романа, очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Посылаю тебе пятьсот франков. Постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе две тысячи франков...»

Иногда Дюма-сын под натиском какой-нибудь красотки обращался за помощью к Ипполиту Остэну, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором Исторического театра:

Мой дорогой Остэн! Бедней церковной мыши
Покорный ваш слуга. Увы, с трудом он дышит:
Ему фиакр не по карману, а Дюлон
Сам без гроша сидит. (Так утверждает он.)
Порше, как я узнал, в таком же положении
И денег мне не даст... Так вот, об одолжение
Хочу вас попросить: могли бы вы сейчас
Мне триста франков дать? Не разорю я вас,
А мне окажете услугу вы... Засим
Жду с нетерпением ответа.

ДЮМА-СЫН.

Но и этот жалкий источник вскоре иссякнет.

Глава третья

РАЗОРЕНИЕ МОНТЕ-КРИСТО

Дырявая корзина, говорите вы? Это правда, но не я сделал в ней дыры.

АЛЕКСАНДР ДЮМА



Первый сезон в Историческом театре был очень удачным: сборы дали 707905 франков. Вторым открылся триумфом Дюма-Маке — «Шевалье де Мэзон-Руж», драмой, в которой трогательная любовная история разворачивается на фоне великих событий революции. Пьеса кончается последним банкетом жирондистов и песней «Умереть за родину»... 7 февраля 1848 года Исторический театр ввел смелое новшество: драма «Монте-Кристо» должна была идти два вечера кряду. Первая часть, кончавшаяся побегом Эдмона Дантеса, длилась с шести часов вечера до полуночи.

«Все расходились, — писал Готье, — с твердым намерением вернуться завтра. Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затянувшимся антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры... Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом —

словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем... Когда занавес упал в последний раз, из груди всех присутствующих единодушно вырвался вздох сожаления: «Как, уже? Расстаться так скоро, пробыв вместе всего два дня? Неужели великий Александр Дюма и неутомимый Маке так мало верят в нас?.. Да мы бы отдали им всю неделю...»

Но 24 февраля разразилась революция 48-го года. Восстания губительны для театров, и залы опустели. Только Рашель удавалось еще делать аншлаги в Комеди-Франсэз, декламируя Марсельезу в антракте между четвертым и пятым актом трагедии Корнеля или Расина. Читала она превосходно, в голосе ее звучали гордость и непреклонность. Однако, несмотря на всю свою преданность республике, Дюма предпочел бы немного меньше гимнов и побольше зрителей. И хотя он нисколько не жалел о Луи-Филиппе, который всегда относился к нему плохо, в молодых принцах он терял ценных покровителей. Вполне вероятно, что он, как и Виктор Гюго, приветствовал бы регентство герцогини Орлеанской. Но поскольку на это не было никакой надежды, он решил стать на сторону нового режима и выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

«Революционная буря вместе с коронованным старцем унесла и скорбную мать и хилого ребенка. Франция в эти дни бедствий, — писал Дюма, — обращается к своим лучшим сыновьям... Мне кажется, я имею право быть в числе тех достойных мужей, которых она призвала на помощь...» Это означало, что он, как Ламартин и Гюго, был намерен заняться политикой.

Осталось только выбрать департамент, чтобы выставить свою кандидатуру. У Гюго не было никаких сомнений на этот счет: башни Собора Парижской богородицы образуют «Н» — инициал его фамилии Нуге; Париж — вот его город, парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма, которого считали слишком большим шутником, чтобы испытывать к нему уважение. Может быть, попытать счастья в департаменте Эн, где он родился? Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственность — замок «Монте-Кристо» — и где он командует батальоном национальной гвардии в Сен-Жермен-ан-Лэ? Увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повести своих людей на Париж, и они не простили ему «легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью». Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей

территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира.

Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте Ионн и что он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте Ионн он так же популярен, как и в любом другом департаменте Франции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдает предпочтение землякам. «Кто он такой, этот Дюма? — спрашивали ионнцы. — Он из здешних? У него есть виноградники? Или, может, он виноторговец? Нет?.. — Так, значит, это тот политикан, да к тому же друг герцогов Орлеанских, сторонник регентства? — говорили одни. — Аристократишка, маркиз!» — подхватывали другие. Дюма только что основал газету «Ле Муа» (под скромным девизом «Господь диктует, и я пишу»), там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе и признательности, напоминал о том горе, которое причинила трагическая гибель юного принца, заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и — провалился на выборах.

Однако в Париже он все же посадил перед Историческим театром дерево свободы, сказав директору: «Остэн, сохраним любовь народа. Принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте Ионн какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками: «Эй ты, маркиз, эй ты, негр!» — он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма — или Портос. Он схватил крикуна за штаны и поднял над парашютом: «Проси прощения, не то я кину тебя в воду!» Крикун принес извинения. Дюма сказал: «Ладно. Я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего...» Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах: «Я пошлю им прядь волос, и они увидят, что я свой». Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться, и так как он не имел возможности творить историю, он снова стал сочинять истории.

Но сколько б драм и романов он ни писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающуюся лавину его долгов. Исторический театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» (25 мая 1848 года) с треском провалилась. Несмотря на возобновление «Нельской башни», театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюма напугал своей расточительностью Остэна, с

которым, по отзыву Марселины Деборд-Вальмор, «ладить было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим». А бедный большой ребенок обещал все и всем. Он раздавал ангажементы направо и налево: «Актеры стекались к нему, но всех приводила в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как Бокаж, о чем должен будет позаботиться господин Остэн...» Но даже Остэн вскоре отказался быть «здравым смыслом Дюма». В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспели в этом не больше, чем он. Ненасытный Исторический театр пожирал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон осаждали кредиторы. На «Монте-Кристо» был наложен арест, и сумма залога, отягощавшая недвижимость, поднялась до 232469 франков и 6 сантимов.

Ида Ферье, или, вернее, маркиза Дави де ля Пайетри, как она величала себя в Италии, привилегированная кредиторша, которой Дюма задолжал сто двадцать тысяч франков ее приданого плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, но при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату, метру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма.

Неаполь, 1 августа 1847 года. «Что может сделать женщина, одинокая и бедная, чья единственная сила в истине, к которой она вынуждена взывать издалека, что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель он обладает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неистощимый в поэтических и забавных выдумках, так же неутомим в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздавить меня и обелить себя. И как бы я ни была права, я вынуждена буду отступить, или, в лучшем случае, его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно потому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию... Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого

он всеми силами пытался меня лишить. Мы по-разному смотрим на вещи: он считает, что скандалы лишь удваивают популярность его книг, и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу вас, сударь, сообщить мне, какие неприятные последствия такого рода может повлечь за собой моя просьба об алиментах. Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия, а вы сами, сударь, знаете, сколь чувствителен к подобным вещам свет, законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит...»

В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность, и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран, которой Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали «друзья».

Ида Дюма — метру Лакану: «Мои друзья во Флоренции, так же как и я, считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я вращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под свою гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь, куда меня уже давно призывала забота о моем здоровье. Здесь мне на помощь пришли другие люди, иначе я не смогла бы даже дожидаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, — решения, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу.

Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. Восемнадцать тысяч франков на жену, тещу и дочь — не так уж много, особенно если сравнить эту сумму с теми

гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности во время процесса против одной из газет, названия ее я не помню (это было зимой 1845 года), превышают двести тысяч франков в год! Впрочем, его заработки известны буквально всем...»

Мари Дюма согласилась подтвердить эти факты и выступить свидетельницей против отца. Она назвала Иду «дорогой и нежно любимой маменькой» и жаловалась на то, что ей, девице шестнадцати лет, приходится быть свидетельницей разгула, царящего в «Монте-Кристо».

Мари Дюма — мачехе, Париж, 28 августа 1847 года: «К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрестанно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняют мне и требования отца, который хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая, и это в его положении!.. Я никак не могу на это согласиться, меня до глубины души оскорбило, что он не постыдился вынудить меня подать руку дурной женщине. Он не краснел, принуждая меня находиться в обществе женщины, которую — имей он отцовские чувства — он должен был бы изгнать из «Монте-Кристо» в тот же день, как я туда приехала, женщины, имени которой не следовало бы даже упоминать в моем присутствии!.. Я клянусь *тобой, которая мне дороже всего на свете*, что только силой меня смогут заставить быть в подобном обществе...»

Ида вполне искренне хотела взять на себя воспитание Мари.

Ида Дюма — метру Лакану, Флоренция, 1 февраля 1848 года: «Я еще раз прошу вас добиться того, чтобы мне вернули мою падчерицу. Я прекрасно понимаю, что директриса ее пансиона по корыстным соображениям изо всех сил будет препятствовать этому. Она имела беседу по этому поводу с господином Ножаном де Сен-Лоран. Я умоляю вас, сударь, рассказать ему о подлинном положении девушки, к которой я отношусь, как к дочери. Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су.

То немного, на что она может надеяться, она получит от меня. Молодой девушке придется безвыездно оставаться в Париже, где она ни на один день не сможет покинуть пансион, так как у нее нет ни матери, ни семьи, ни хоть сколько-нибудь подходящего для нее окружения и, что всего важнее, никакого будущего. Возвратившись ко мне, она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что явится для него отнюдь не последним соображением. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование... Мари будет возвращаться здесь в обществе гораздо более высокопоставленном, чем то, которое она могла видеть в Париже. Если думать о ее устройстве в жизни, надо сказать, что во Флоренции ей в этом смысле будет гораздо лучше, чем в любом другом месте. Удерживая силой это несчастное дитя в Париже, они не только разбивают ее сердце, но и губят ее будущее...»

Метру Лакану в конце концов удалось выхлопотать небольшую пенсию для вдовы Ферран, но Ида говорила, что она глубоко убеждена в том, что господин Дюма дает обязательства лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них увильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был «Монте-Кристо». Маркиза де ля Пайетри была уверена, что рано или поздно Дюма каким-либо ловким маневром ухитрится передать дом подставному лицу. Она не ошиблась. И все же справедливости ради следует добавить, что Дюма не мог жалеть женщину, которая, как он знал, находится на содержании у богатого итальянца, и, помимо всего прочего, сокрытие наличности представлялось ему вполне похвальным делом, так как всякого кредитора он считал своим врагом. Разве Портос платил когда-нибудь долги?

10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов Дюма в ущерб супругу и приговорил его: во-первых, возвратить жене растраченное им приданое в сто двадцать тысяч франков; во-вторых, платить алименты (в размере шести тысяч в год) под обеспечение недвижимым имуществом. Потерпев поражение в первой инстанции, Дюма обжаловал решение суда. Революция, разорив его, усугубила и его семейные неурядицы. «Монте-Кристо» и вся обстановка виллы должны были пойти с молотка, но Дюма предпринял меры к тому, чтобы продажа была фиктивной.

Александр Дюма — Огюсту Маке: «Мне необходима ваша

помощь в той мере, в какой вы сможете мне ее оказать. Чтобы урегулировать дела с госпожой Дюма, я вынужден продать обстановку моего дома, но собираюсь выкупить все, что смогу. Можете ли вы выручить ваши тысячу франков в «Ле Сьекль» и занять еще тысячу у вашего отца или у Коппа и купить на две тысячи франков те предметы, которые я вам укажу? Затем, поскольку все эти вещи следует увезти из «Монте-Кристо», вы переправите их в Буживаль ^[127], откуда я их заберу... Сегодня я буду целый день дома. Приходите. Я хочу видеть вас еще до вечера...»

«Замок» «Монте-Кристо» был продан по приказу суда за смехотворно малую сумму в 30100 франков Жаку-Антуану Дуайену, который, несомненно, был подставным лицом Дюма, потому что он так никогда и не вступил во владение домом. 28 июля 1848 года судебная палата (суд второй инстанции) подтвердила решение гражданского суда. Ида одерживала одну победу в суде за другой, но денег у нее от этого не прибавлялось.

Ида Дюма — метру Лакану, Флоренция, 9 сентября 1848 года: «Все наши усилия могут оказаться бесполезными и ни к чему не приведут благодаря уверткам господина Дюма, с помощью которых он обходит закон. Но что бы ни произошло и каковы бы ни были результаты процесса, моя благодарность вам остается неизменной... Если бы не ваша энергичная помощь, если бы не доброта и преданность моих друзей во Флоренции, я не нашла бы в себе сил дожидаться исхода моего дела. Моя мать говорит, что пройдет еще немало времени, прежде чем станет ясно, сможем ли мы получить что-нибудь от продажи «Монте-Кристо». Она не в состоянии добиться даже выплаты пенсии и живет на одолженные деньги, ожидая, пока решится моя судьба.

Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную головку и сердце, которого я так опасалась, уже дает себя знать. Я предвижу, что все усилия, которые я прилагала, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, обречены на провал. Но, как я вам уже говорила, сударь, я не перестаю уповать на вас и на божественный промысел... Моя мать (а она немного разбирается в этих вещах) пыталась мне объяснить, как обстоят наши дела. Она говорит о «необходимой отсрочке в три года», после которой мы сможем вчинить новый иск против этого господина Дуайена.

Но на каком основании? Вот этого я совсем не поняла... Я очень опасаюсь, как бы отчуждение [sic!] имущества господина Дюма не разрушило ту последнюю надежду, которая у нас еще оставалась. Да будь мы тысячу раз правы в глазах закона, если господин Дюма не будет владеть никаким осязаемым имуществом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки...»

Дюма, который и впрямь не обладал более никаким осязаемым имуществом, обладал даром проматывать неосязаемое. Кредиторы понапрасну преследовали его. Сапожник, которому он был должен двести пятьдесят франков, приехал в Сен-Жермен, надеясь заставить Дюма заплатить по счету. Обедневший владелец «замка» принял его крайне любезно:

— Ах, это ты, мой друг, как хорошо, что ты приехал: мне нужны лакированные башмаки и сапоги для охоты.

— Господин Дюма, я привез вам небольшой счетец.

— Конечно, конечно... Мы займемся им после обеда... Но сначала ты должен у меня отобедать...

После обильной трапезы оробевший сапожник снова предъявил счет.

— Сейчас не время говорить о делах... Пищеварение прежде всего... Я прикажу заложить карету, чтобы тебя отвезли на вокзал... Держи, вот двадцать франков на билет.

Эта сцена, как будто взятая из комедии Мольера, повторялась каждую неделю. В конце концов сапожник перебрал у Дюма около шестисот франков и не меньше тридцати раз обедал за его счет. Потом приходил садовник Мишель.

— Должен вам сообщить, сударь, что у нас вышло все вино для прислуги; необходимо сделать новые запасы, в погребе остались только иоганнесбергер и шампанское.

— У меня нет денег. Для разнообразия пейте все шампанское.

Вскоре судебные исполнители перешли в наступление. Из «замка» увезли мебель, картины, кареты, книги и даже зверей! Один из исполнителей оставил такую записку: «Получен один гриф. Оценен в пятнадцать франков». Это был знаменитый Югурта-Диоген.

Но вот настал день, когда Дюма пришлось, наконец, покинуть свой «замок»; на прощание он протянул приятелю тарелочку, на которой лежали две сливы. Приятель взял одну из них и съел.

— Ты только что съел сто тысяч франков, — сказал Дюма.

— Сто тысяч франков?

— Ну конечно, эти две сливы — все, что у меня осталось от «Монте-Кристо»... А ведь он обошелся мне в двести тысяч франков...

Бальзак — Еве Ганской: «Я прочел в газетах, что в воскресенье все движимое имущество «Монте-Кристо» пойдет с торгов; сам дом продан или будет продан в ближайшем будущем. Эта новость повергла меня в ужас, и я решил работать денно и ночью, чтобы избежать подобной участи. Впрочем, во всех случаях я не допущу такого: лучше уеду в Соединенные Штаты и буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме^[128]».

Одна из прекрасных черт характера Дюма заключалась в том, что даже в крайней бедности он оставался для всех, за исключением своей супруги и кредиторов, самым щедрым из людей. Он, как мог, поддерживал великих актеров романтического театра, которые приближались к печальной старости. Мадемуазель Жорж, чья толщина приобрела угрожающие размеры, играла в Батиньоле^[129] и была так бедна, что у нее часто не хватало двадцати пяти су, чтобы нанять фиакр. Бокаж, став директором Одеона, с головой ушел в интриги и административные дела. Только Фредерик Леметр не сдался и, подобно Кину, шокировал публику, обращаясь к ней с подмостков:

— Граждане, сейчас, как никогда, время провозгласить: «Да здравствует республика!»

— Говори свой текст, фигляр! — обрывал его Мюссе.

Леметр играл в пьесе Огюста Вакеи «Tragaldabas»^[130] — последней романтической драме чистых кровей. Увы, «рапсодия часто оборачивается пародией». Трех десятилетий, за которые драма проделала путь от «Христины» и «Эрнани» до «Tragaldabas», было достаточно, чтобы загубить жанр. Почти сразу же после смерти горячо любимого внука Жоржа бедная Мари Дорваль, убитая горем, была вынуждена снова зарабатывать себе на хлеб тяжким ремеслом бродячей актрисы. Но в Канне она слегла, не в силах продолжать дальнейшую борьбу. У нее нашли болезнь печени. Когда умирающую Мари привезли домой, она послала за Жюлем Сандо, своим бывшим любовником, который стал трусливым буржуа и отказался прийти, и за своим «славным псом» Дюма, который тут же примчался. «Та, которая в «Антони» столько раз шептала: «Но я погибла, погибла», — чувствовала, что обречена. Родственники ее были слишком бедны, чтобы купить место на кладбище, и она очень боялась, что

ее тело бросят в общую могилу. Дюма поклялся, что не допустит такого позора...» Он достанет деньги.

Когда Дорваль умерла, Дюма отправился к графу Фаллу, министру народного просвещения, и обратился к нему за помощью. Но министр как официальное лицо не мог ничем ему помочь ввиду отсутствия кредитов, предназначенных для вспомоществования драматическим артистам, и дал сто франков от своего имени. Однако Дюма твердо решил сдержать обещание, данное умирающей, и, «так как его душевная доброта могла сравниться только с его беспечностью в денежных делах, он кинулся в ломбард, заложил свои награды и добыл таким образом двести франков на похороны». Жертва поистине героическая, потому что добродушный великан обожал свои усыпанные драгоценными камнями кресты и ордена. Затем он написал брошюру «Последний год Мари Дорваль», которую продавали *«по пятьдесят сантимов, с тем чтобы собрать деньги на надгробие»*, и открыл подписку, чтобы выкупить из заклада драгоценности актрисы и передать их ее внукам. «Артистическая подписка» дала 190 франков 50 сантимов. 20 франков добавил от себя Понсар.

Несчастья не умерили предприимчивости Дюма. И он вместе с Арсеном Гуссэ, тогдашним директором Комеди-Франсэз, предпринял любопытный эксперимент. Он решил, что до сих пор никто еще не писал комедий о закулисных нравах времен Мольера, и взялся за эту тему. Инженю, разучивающие роли, маркизы, дающие им советы, кокетки, флиртующие под прикрытием вееров, ламповщик, отпускающий шутки, — из всего этого можно было сделать очаровательный спектакль и сыграть его 15 января — на мольеровские торжества. Дюма предложил сочинить «Три антракта к «Любви-целительнице» и побился об заклад, что напишет их за одну ночь.

Он выиграл пари, и «Антракты» оказались более длинными, чем сама комедия. К сожалению, они были намного хуже ее и настолько запутанны, что публика в них ничего не поняла. Услышав слово «антракт», публика решила: «Пора прогуляться по фойе», Поэтому после первого акта настоящей «Любви-целительницы» все зрители покинули зал, говоря друг другу: «Недурную комедию написал Дюма, но он явно подражает Мольеру...» Когда поднялся занавес и начался первый акт «Антрактов» Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решили, что это продолжение предыдущей пьесы. Однако между обоими актами не было никакой связи: уж не превратилась ли Комеди-Франсэз в вавилонскую башню? Некоторое время публика недоумевала, чья же эта пьеса — Дюма или Мольера. Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за

администратором. Луи-Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные. Лишь актеры и критики знали, в чем дело, и немало потешались; но и они возмущались Дюма: «Посягнуть на Мольера! Какая профанация! Какое святотатство!» Зрители освистали второй акт «Любви-целительницы», как будто Мольер был начинающим автором. Они считали, что освистали Дюма.

Мадам Арсен Гуссэ дала обед, чтобы «вознаградить за все неприятности этого славного Александра Дюма, которого я люблю всем сердцем. Он так старался и был так остроумен... Мадемуазель Рашель была на обеде». Это происходило накануне возобновления «Мадемуазель де Бель-Иль» с участием Рашели. Неистовая Гермиона^[131] хотела доказать, что под оболочкой трагической актрисы в ней живет женщина. Она превзошла свои самые дерзкие надежды.

«По окончании пьесы Дюма заключил мадемуазель Рашель в объятия, поднял ее, поцеловал и сказал:

— Вы женщина всех веков, вам по плечу любые шедевры. Вы смогли бы играть всех моих героинь как в драмах, так и в комедиях

— Нет, не всех, — возразила, смеясь, Рашель — Мне бы вовсе не хотелось, чтобы меня убил Антони.

— Но Антони никогда не стал бы вас убивать!

— Однако какое самомнение! — сказала Рашель. — Антони — это вы; значит вы думаете, я не устояла бы перед Антони?

— Никогда, — сказал Дюма, — если бы сейчас был 1831 год... Но эти прекрасные дни миновали...»

Прекрасные дни и в самом деле миновали. Старый певец Беранже морализировал: «Мой сын Дюма так же расточал свой талант, как некоторые женщины — свою красоту, и я очень опасаюсь, как бы господину Дюма, подобно попрыгунье, не пришлось кончить свои дни на соломе». Беранже, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить о своих близких. У него хватало жизнерадостности сносить несчастья ближних.

Глава четвертая

ДАМА С ЖЕМЧУГАМИ

В мужчинах, известных своими победами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин.

БАЛЬЗАК



В 1850 году Дюма-отец, за которым гналась по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету «Ле Муа», в которой нападал на крайности демагогов и на гонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок театров»: Порт-Сен-Мартэна, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтобы его назначили суперинтендантом всех драматических театров: у этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация, что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы «все театры придерживались одного направления в истории, морали и религии, которое будет целиком соответствовать пожеланиям правительства». Однако эта программа коллективного конформизма не осуществилась.

Дюма-сын больше не жил с отцом. Они любили друг друга, часто ссорились и быстро мирились. Сын осуждал отца за то, что он берет себе в

любовницы все более и более молодых женщин. Последней фавориткой Дюма была двадцатилетняя актриса Изабелла Констан, хрупкая, бледная и белокожая девица, — приемная дочь парикмахера, чью фамилию она взяла своим сценическим псевдонимом. С незабвенных времен Мелани Вальдор Дюма ни разу не впадал в такую сентиментальность.

Дюма-отец — Изабелле Констан: «Любовь моя... Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело — ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви: первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью...

Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя [sic!] — человека, который в три раза старше тебя. Посуди сама, как тогда должен ревновать я, по целым дням не видя тебя. Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол... Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить — я не могу обладать тобой лишь наполовину. Я не говорю о физическом обладании, в моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца. Но именно поэтому я не могу обойтись без тебя... Еще раз повторяю тебе, подумай над этим, потому что наше будущее зависит от этого: конечно, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной. Мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне.

Есть и еще одна вещь, которую ты, мой ангел, в своей чистоте и целомудрии не можешь понять: в Париже сотни красивых молодых женщин, которые, желая приобрести положение, ждут не того, чтобы я пришел к ним, а чтобы я позволил им прийти ко мне. Итак, мой ангел, я отдаю себя в твои руки. Охраняй меня. Раскинь надо мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы.

Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с

которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина — даже мадемуазель Марс — не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года...»

Влияние приближающейся старости, которую у Дюма выдавала лишь сидящая шевелюра, странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки объясняют этот умиленный стиль письма. «Жеронт при новой Изабелле»^[132], Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными.

Сын метил гораздо выше. Успех «Дамы с камелиями» способствовал его престижу. Его светло-голубые глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастри с Бальзаком. Дюма-сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на «знатных дам» с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Мари Дюплесси.

«Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и сомнительное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи».

Как-то после обеда у одной особы легкого поведения граф Ги де ля Тур дю Пэн сказал ему:

— Дружеское расположение к вам и мой возраст — я лет на пятнадцать старше вас — позволяют мне дать вам один совет... Мы только что отобедали у этой прелестной и остроумной девицы. У нее бывают самые разные люди, вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но, когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме...

В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Любовницей его в ту пору была дама по фамилии Давэн (или Дальвэн), особа с весьма неблагоприятным прошлым, однако он вращался в обществе если не в более нравственном, то во всяком

случае более блестящем.

Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде тайного посольства красоты. Молодые женщины — Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина — собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи.

В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Очаровательная женщина, она была очень остроумна, очень богата и не любила своего мужа, который был на семнадцать лет старше ее. Отец Дмитрия — канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел сохранить свое положение при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить на юной наследнице с приданым в триста тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель.

Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды и лечить свои слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в Спа, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увезти ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис, которая давно рассталась со своим мужем греком, отдала дочь на воспитание в католический монастырь, что являлось достаточно приличным поводом для того, чтобы самой поселиться в доме № 8 по улице Анжу. Она обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиню Нессельроде тревожила семейная жизнь ее сына.

17 июня 1847 года «Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз, — он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного

пребывания вдвоем? Ведь их взгляды и понятия несхожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаясь. Повторяю, все это очень беспокоит меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер».

Прозорливость, свойственная любой свекрови, на сей раз была присуща и золовкам Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хрептович и Мария фон Зеебах, урожденные Нессельроде, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее (не без оснований) в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как «обожаемым дяденькой», ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Талейране. Мария Калергис, эта «снежная фея», слишком живо интересовалась поэтами и пианистами; кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния.

В феврале 1850 года Лидия, к великой радости могущественных семейств, родила сына Анатолия, которого звали Толли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Для одного бала, данного ею в особняке, который она снимала в Париже, она потратила восемьдесят тысяч франков только на цветы. Она шила все платья у Пальмиры, каждое стоило по полторы тысячи франков, и заказывала не меньше дюжины всякий раз, как отправлялась к портнихе. Она приобрела превосходные жемчуга длиной в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов (диадему, ожерелье, браслеты, серьги), к туалету из голубого бархата — убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам.

Лидия Нессельроде сперва захотела познакомиться с автором «Дамы с камелиями»; потом ей взбрело в голову стать его любовницей. Дюма-сын, не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто бы устоял?

Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная, кидается на шею бедному начинающему писателю. Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь?

Дюма-отец рассказывает в своих «Беседах» о том, как сын привел его «в один из тех элегантных парижских особняков, которые сдают меблированными иностранцам», и представил молодой женщине, «в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях». Ее распущенные роскошные черные волосы ниспадали до колен. Она «раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стянут корсетом... Ее шею обвивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в волосах...»

— Знаешь, как я ее называю? — спросил Александр.

— Нет. Как?

— Дама с жемчугами.

Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне.

— Я не люблю читать стихи в присутствии отца, я стесняюсь.

— Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть.

Александр начал слегка дрожащим голосом:

Мы ехали вчера в карете и сжимали
В объятьях пламенных друг друга: словно мгла
Нас разлучить могла. Печальны были дали,
Но вечная весна, весна любви цвела.

Затем в поэме описывалась прогулка в парке Сен-Клу, молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные аллеи, мраморные богини, лебедь, имя и дата, начертанные на пьедестале одной из статуй:

Раскроются цветы — и в сад приду я снова,
Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал:
Начертано на нем магическое слово —
То имя нежное, чьим пленником я стал.
Скиталица моя, где будете тогда вы?

Покинете меня? Вновь разлучимся мы?
О, неужели вы хотите для забавы
Средь лета погрузить меня в кошмар зимы?
Зима — не только снег, не только мрак и стужа,
Зима — когда в душе свет радости погас,

И в сердце песен нет, и мысль бесцельно кружит,
Зима — когда со мной не будет рядом вас.

Дюма, снисходительный отец, заключал: «Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля бога влюбленных последить за ними». Надо сказать, что бог влюбленных плохо следил за своими подопечными. Вьель-Кастель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передают под большим секретом: три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессельроде, будто бы «основали общество по разврату на паях» и вербовали для этой цели первых любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессельроде взяла себе в наставники Дюма-сына, Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюма-сын обрел в Нессельроде самую послушную ученицу. Но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец...»

Вьель-Кастель охотно раздувал слухи о скандалах, но требование мужа и приказание царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельроде «похитил» свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудствам. И все же *marito*^[133] не хотел поверить, что падение свершилось. Он защищал Лидию, «это неопытное и очаровательное дитя», от клеветы: «Один наглый французишко осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями, но его призвали к порядку».

В лагере Дюма эту историю представляли, естественно, в ином свете. Дюма-отец рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил:

— У тебя есть деньги?

— Должно быть триста или четыреста франков; открой ящик и сам посмотри.

Молодой Александр открыл шкаф.

— Триста двадцать франков... С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Куда больше, чем нужно, чтобы уехать. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию?

— Если хочешь, тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде.

— Хорошо. Да и потом, если понадобится, ты перешлешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место.

— Итак, ты едешь...

— Я расскажу тебе все по возвращении.

Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следуя по пятам за своей любовницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Корси (местечко неподалеку от Вилле-Коттре) и именовала себя Элизой де Корси. Тайная полиция перехватила письмо.

Александр Дюма — Элизе Ботте де Корси, 21 марта 1851 года: «Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает куда она повлечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее, она казалась бледной и печальной, глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен — и этим все сказано!..»

После Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к своему отцу и наперснику с просьбами о деньгах; отец, с готовностью участвовавший в любой аванюре, посылал ему все, что мог.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Мой дорогой друг, Вьейо обращался ко всем, кого ты указывал, но никто не захотел дать ни одного су. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестока и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть, и благодаря ему, живо доставить тебя до границы... Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу; через две недели я вышлю пятьсот франков, которые тебе нужны. Обнимаю тебя... Ты вырос на сто голов в глазах Изабеллы...»

От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался Дюма за четой Нессельроде, но, прибыв на границу с русской Польшей, в Мысловиц, обнаружил, что граница для него «закрыта, да еще на засов». Таможенники получили инструкции не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Нессельроде отдали приказ отказывать в проезде «наглому французишке». Дюма-сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе, за пятьсот лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жорж

Санд к Фредерику Шопену.

Дюма-сын — Дюма-отцу: «В то время, дорогой отец, как ты обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею... Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетняя переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, как здесь, в Мысловице, в глуши Силезии, я нашел переписку, родившуюся в центре Берри? Объясняется это очень просто: Шопен, как тебе известно, а может быть, и не известно, был поляком. Его сестра после его смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с надписями о днях получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их себе, но перед тем, как въехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в Мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне... Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек, ныне мертвый!.. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд, которая, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный (мой приятель), увы, пользуется завидным здоровьем, и, полагая, что уеду отсюда 15-го, я вернул ему переписку, которую у него не достало даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить, что он младший компаньон в одной экспортной фирме».

Дюма-сын — Жорж Санд, Мысловиц, 3 июня 1851 года: «Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим: ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным вам. Через несколько дней я буду во Франции и привезу вам лично, разрешит ли мне госпожа Едржеевич^[134] или нет, те письма, которые вы хотите получить. Некоторые вещи настолько справедливы, что не нуждаются ни в чьем разрешении... И счастливым результатом всех этих неделикатных поступков будет то, что вы получите ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было

профанации: сердце, которое из такого далека и так нескромно стало поверенным вашего сердца, уже давно принадлежит вам, и восхищение, которое я к вам питаю, по силе и давности ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить...»

Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки, а потом окрепла.

Однажды в июне в кабинет Дюма-отца вошел бородатый молодой человек и сказал:

— Как, ты меня не узнаешь?.. Я так скучал в Мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. Здравствуй, папа!

30 декабря он совершил паломничество в парк Сен-Клу и, вернувшись оттуда, протянул отцу лист бумаги:

— Держи! Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад. Дюма-отец прочел:

Год миновал с тех, пор, как в ясный день с тобою
Гуляли мы в лесу и были там одни.
Увы! Предвидел я, что решено судьбою
Нам болью отплатить за радостные дни.

Расцвета летнего любовь не увидала:
Едва зажегся луч, согревший нам сердца,
Как разлучили нас. Печально и устало
Мы будем врозь идти, быть может, до конца.

В далекой стороне весну встречая снова,
Лишен я был друзей, надежды, красоты,
И устремлял я взор на горизонт суровый,
И ждал, что ты придешь, как обещала ты.

Но уходили дни дорогами глухими.
Ни слова от тебя. Ни звука. Все мертво.
Закрылся горизонт, чтоб дорогое имя
Не смело донестись до слуха моего.

Один бумажный лист — не так уж это много.

Две-три строки на нем — не очень тяжкий труд.
Не можешь написать? Так выйди на дорогу:
Идет она в поля, и там цветы растут

Один цветок сорвать не трудно. И в конверте
Отправить лепестки не трудно. А тому,
Кто жил в изгнании, такой привет, поверьте,
Покажется лучом, вдруг озарившим тьму.

Уж целый год прошел, и время возвратило
Тот месяц и число, что ровно год назад
Встречали вместе мы, и ты мне говорила
Об истинной любви, которой нет преград.

Александр хотел написать свое «Горе Олимпио»^[135]. Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня: в двадцать пять лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подает никаких признаков жизни: ну, пусть прислала хотя бы записку без подписи, несколько засушенных лепестков или жемчужину!

Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в двадцатилетней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семействе Нессельроде происходили странные события. Дмитрию, раненному в руку при таинственных обстоятельствах (дуэль? попытка к самоубийству?), грозила ампутация, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, где снисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку.

Канцлер Нессельроде — своей дочери Елене Хрептович, 1 июня 1851 года: «Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города, трое из них настаивали на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твоему брату удалось сохранить руку... Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать завещание. Он вел себя необычайно мужественно... В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен: они

прибыли сюда, как только прослышали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не повидав твоего брата... Единственное, в чем я счел своим долгом не отказать им, это в удовольствии видеть ребенка, которого я посылал к ним каждый день...»

Канцлер, «фаталист, наделенный неистощимой терпимостью», ни словом не обмолвился о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом, государственному деятелю, находящемуся у кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну прийти к соглашению, но ни в коем случае не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла любовников: за Воронцовым последовал Барятинский, за Барятинским — Рыбкин, за ним Друцкой-Соколинский. Дюма-сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвала с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден, потратив на это много денег, Элизу де Корси, но все было напрасно.

Дюма-сын — Элизе де Корси, Брюссель, 12 декабря 1851 года: «Дорогая Элиза, пишу вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом.

Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана двести тысяч франков, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа... Я только что отправил письмо графине. Я сообщил ей, что нахожусь в Бельгии... Напоминаю о вашем обещании писать мне правду, *всю правду*... Красный воск — для ваших, воск другого цвета — для ее писем».

26 декабря 1851 года: «Постарайтесь увидеть графиню, это самое главное...»

Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее этот роман был давно забытым приключением. Дюма, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое ему когда-то казалось столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Всю жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда — искренне любящие женщины, на чувства которых он мог бы положиться.

На всю жизнь он сохранит отвращение к адюльтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, наперсница и соучастница Лидии Нессельроде, на словах передаст ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время.

Связь с Мари Дюплесси смягчила сердце Дюма-сына; связь с Лидией Нессельроде иссушила его. Неосторожное слово — и ребенок взрослеет, обманутая любовь — и человек ожесточается.

Часть седьмая ОТЕЦ И СЫН



Глава первая БЛЕСТЯЩИЙ ИЗГНАННИК

*Той старой набережной я не позабыл!
Теснее круг друзей, но не иссяк их пыл.*

ВИКТОР ГЮГО, «Александрю
Дюма»



1851 год принес Дюма-отцу, да и Дюма-сыну много огорчений. Служители правосудия ополчились на добродушного великана. Обычная жизнерадостность ему изменила. Государственный переворот подоспел очень кстати; он дал Дюма возможность ускользнуть от кредиторов и от суда, не уронив своего достоинства. Он эмигрировал в Бельгию подобно Виктору Гюго; однако Гюго, как говорили тогда, бежал от произвола и притеснений тирана, Дюма же — от повесток и предписаний судебных исполнителей. Суждение слишком поверхностное. Хотя покинуть Париж Дюма вынуждали прежде всего личные интересы, отношения его с новым властителем оставляли желать лучшего. Поначалу, когда принц Бонапарт стал президентом, Дюма, как Виктор Гюго, как Жорж Санд, возлагал известные надежды на бывшего карбонария. Позднее он решительно осудил государственный переворот. В Брюсселе он до конца оставался

самоотверженным другом изгнанников Не принадлежа к их числу, он мог, когда ему заблагорассудится, наезжать из Брюсселя в Париж, где он оставил свою новую юную подопечную — Изабеллу Констан, по прозвищу Зирзабель. Но всякий раз он оставался во Франции ненадолго, чтобы кредиторы не успели его настичь.

5 января 1852 года обстановка квартиры, которую Дюма занимал в Париже (и которую тщетно пытался перевести на имя своей дочери Мари, тогда еще несовершеннолетней), была продана «по иску владельца, в возмещение задержанной квартирной платы». Выручка от аукциона превысила сумму долга всего на 1870 франков 75 сантимов. Это был в то время весь наличный капитал семейства Дюма.

20 января 1852 года «Александр Дюма, писатель, которому постановлением апелляционного суда города Парижа от 11 декабря 1851 года присвоено звание коммерсанта», представил *in absentia*^[136] через своего поверенного господина Шерами список долгов. Он был объявлен несостоятельным должником.

Документы, относящиеся к этой драме в духе Бальзака, по сей день хранятся в архивах округа Сены. В списке долгов не значатся ни кредиторы Исторического театра, ни издатели-заимодавцы. Многие старые долги помечены там лишь «для памяти», без указания суммы, как, например, «долг, взыскиваемый госпожой Крельсамер, улица Клиши, 42-бис»^[137]. Хотя банкротство Исторического театра — лица юридического — и несостоятельность Александра Дюма — лица физического — были зарегистрированы порознь, объявленный пассив достигал 107215 франков, а рубрика, обозначенная словами «Общий актив, помеченный здесь для памяти», так и осталась пустой, временный посредник не смог проставить в ней ни единой цифры. Этот посредник просит гражданский суд «считать недействительной якобы произведенную Александром Дюма в 1847 году продажу с правом обратного выкупа его сочинений и авторских прав». Посредник рассматривает этот акт как скрытую форму залога и добавляет: «Поскольку не были соблюдены формальности, предусмотренные законом для такого рода сделок, залог нельзя считать действительным. Следовательно, гонорары, на которые предъявляют претензии преемники г. Александра Дюма, должны входить в имущество должника». Эксперт отмечает, что эти гонорары составляют «значительные элементы актива, ибо общеизвестно, что г. Александр Дюма — автор большого числа пьес; кроме того, он заключил множество договоров с книгоиздателями и газетами на публикацию его литературных произведений». Это было

неоспоримо.

Процедура так называемого *«предъявления долговых обязательств»*, начатая 12 июня 1852 года, была закончена лишь 18 апреля 1853 года актом о *«принятии долговых обязательств»*. Нет ничего удивительного в том, что тщательная проверка долговых документов длилась десять месяцев, ибо *«физическому лицу»* по имени Дюма вчинили иск пятьдесят три кредитора. Список этих Эриний позволяет понять, куда утекли гонорары за *«Трех мушкетеров»* и *«Графа Монте-Кристо»*:

Адэ, красильщик; Газовое управление; Бако, цветочник; Буссэн, столяр; Буррелье, стекольщик; Беше, подрядчик по мощению улиц; Бондвиль, скульптор; Брюно, жестянщик; Байони, плотник; госпожа Шазель, торговка кашемировыми шальями; Шаррон, кровельщик; Куапле, угольщик; Катали, медник; Клоар, обойщик в Париже; Дюме, виноторговец; Делольн, сапожник; Дюбьеф, торговец модными товарами; Дютайи, торговец скобяным товаром; Дагоннэ, продавец семян; Девисле, оружейный мастер; Деми Дуано, владелец фабрики ковров; Дюфлок, поставщик дров; Денье, портной; Феньо и Леруа, часовщики; Гандильо, дорожные товары; Жильбер, поставщик дров; Гуэз, шорник; госпожа Гиршнер, бакалейщица; Гюбетта, печник; Эртье, торговец обоями; Амон, булочник; Лоран, разносчик с рынка; Лемассон и Шевэ, съестные припасы; Лоран, портной; Левефр, виноторговец; Леви, белошвейная мастерская; Лион, цветочник; Марле, ювелир; Мишель, сапожник; Муэнзар, каретник; Марион и Бургиньон, ювелиры; Мареско, обойщик в Париже; Пуасго, садовник, Потаж-Иворэ, маслоторговец; Пети, художник-декоратор, Пьер и Водо, шитье ливрей; Планга, антрепренер; Руссо, слесарь; Санрефю, обойщик в Сен-Жермене; Сук, прачечная; Той, торговец фарфоровыми изделиями; Труйль, слесарь; мадемуазель Вероника, портниха; Вассаль, обойщик в Париже; госпожа Вайян, торговка цветами, и т. д. и т. п.

Французские изгнанники в Брюсселе — Гюго, Этцель, Дешанель, полковник Шарра, Араго, Шелькер — образовали в начале 1852 года группу воинственно настроенных людей, гордившихся своими лишениями и мытарствами. Гюго, которому жена недавно прислала триста тысяч франков во французских процентных бумагах, спал на убогой койке и

столовался в харчевне. Дюма, у которого не было ни процентных бумаг, ни капитала, нанял два дома на бульваре Ватерлоо, № 73, велел пробить разделявшую их стену, снести внутренние перегородки и создал необыкновенно красивый особняк с аркой и балконом. Пушистые ковры покрывали ступени лестницы; ванная комната была облицована мрамором; на темно-синем потолке большой гостиной горели золотые звезды, а занавеси были сшиты из кашемировых шалей. Все — в кредит. «В Брюсселе, — говорил Шарль Гюго, — Дюма пока что удерживается в колеснице Фортуны, которая его так часто выбрасывала».

Он взял в секретари стойкого республиканца, изгнанного из Франции, — Ноэля Парфэ. «Ни одного человека еще не называли так удачно: имя, данное при крещении, исполнено веселья, фамилия — благонаравия»^[138]. Этот славный малый с жидкой бородкой, всегда одетый в черное, но оттого вовсе не казавшийся мрачным, приехал в Брюссель с женой и двумя детьми. Дюма предложил гостеприимство всему семейству. В благодарность Парфэ принял на себя заботу о его делах и с утра до ночи переписывал романы, мемуары, комедии, которые их автор производил на свет куда быстрее, чем успевали воспроизводить переписчики-профессионалы.

Одиннадцать опусов, то есть тридцать два тома, в четырех экземплярах — для Брюсселя, Германии, Англии и Америки. Никто на свете, кроме Дюма, не мог бы написать этого; никто, кроме Парфэ, — переписать. Экономя время, Дюма никогда не ставил знаков препинания. Парфэ расставлял запятые и проверял даты. Кроме того, он играл роль министра финансов и силился в доме расточителя свести концы с концами. Ноэль Парфэ требовал своевременной выплаты авторских гонораров, добился возобновления на сцене «Нельской башни», опубликовал все, что осталось от «Путевых впечатлений», и сберег последние луидоры за «Монте-Кристо». С преданной скупостью защищал он деньги Дюма от самого Дюма. Монте-Кристо искал у себя в ящике деньги, но никогда не находил их. Дела его пошли несколько лучше. Однако он чувствовал себя под контролем, а значит — стесненно. Он восклицал со своей добродушной, сердечной улыбкой: «Удивительное дело! С тех пор как в доме моем поселился безупречно честный человек, я чувствую себя как нельзя хуже!»

Несмотря на такого сурового управителя (и благодаря ему), Дюма жил в Брюсселе на широкую ногу. Многие изгнанники — среди них Виктор Гюго — у него обедали. Он охотно принимал бы их как гостей, но они, дабы не уронить своего достоинства, предложили ему ту же плату, что в

харчевне, — 1 франк 15 сантимов. Дело решил Парфэ: 1 франк 50 сантимов. Однако еда была чересчур обильной, и чрезмерное хлебосольство принесло дефицит в сорок тысяч франков. Дюма устраивал у себя празднества в духе Монте-Кристо; одному из них он сам дал название: «Сон из Тысячи и одной ночи». Сешан, декоратор театра Ла Моннэ, соорудил сцену. В зимнем саду был устроен роскошный буфет. Пьетро Камера поставил испанские танцы. После спектакля Дюма роздал гостям индийские кашемировые шали, которые служили занавесом. Гюго не пришел (уважающий себя изгнанник не мог плясать на карнавале у Дюма), но в его честь был провозглашен тост.

Весь этот тарарам не мешал радушному хозяину с утра до ночи работать за столом из некрашеного дерева на верхнем этаже особняка. Любовные приключения — бесчисленные и одновременные — закружили его в водовороте интриг. Если к этому прибавить, что, неизменно отважный и готовый к услугам, он предоставил себя в распоряжение своих политических друзей, что он взял на себя труд отвозить письма Виктора Гюго к его жене, остававшейся в Париже, и доставлять ему ответы Адели, то нельзя не восхищаться тем, что этот загнанный, переутомленный человек вынашивал более обширные творческие планы, чем когда бы то ни было. Чтобы удовлетворить его аппетит под стать Гаргантюа, понадобилась бы история целой планеты. Вот какое удивительное письмо написал он издателю Маршану:

«Что сказали бы Вы о грандиозном романе, который начинается с рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле, распадаясь на пять отдельных романов: один разыгрывается при Нероне, другой при Карле Великом, третий при Карле IX, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем?.. Главные герои таковы: Вечный Жид, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Поппея, Нарцисс, Октавиан, Карл Великий, Роланд, Видукинд, Велледа, папа Григорий VII, король Карл IX, Екатерина Медичи, кардинал Лотарингский, Наполеон, Мария-Луиза, Талейран, Мессия и Ангел Чаши.

Это покажется Вам безумным, но спросите Александра, который знает эту вещь от начала до конца, каково его мнение о ней...»

Неизвестно, каково было мнение сына, но отец был уверен в себе.

Разве не мечтал он с ранних лет написать полную историю Средиземноморья? И почему эти сверхчеловеческие планы должны вызывать улыбку? Другой гигант, Бальзак, тоже любил носиться с титаническими замыслами. «Я мерял будущее, заполняя его своими сочинениями, — говорил Бальзак и прибавлял: — Оседлав свою мысль, я скакал по свету, и все было мне подвластно». Дюма даже в зрелые годы сохранил этот божественный огонь. Разница состоит в том, что у Бальзака не было потребности претворять свои мечты в действительность. Он грезит о любовницах, но в глубине души счастлив, когда они, подобно Эвелине Ганской, его «Полярной звезде», остаются на другом конце Европы. Дюма хочет, чтобы они были рядом с ним, во плоти. Бальзак мечтает о грандиозных спекуляциях; Дюма спекулирует, строит, обольщает. Отсюда — нагромождение обязательств. Поистине приходится выбирать что-нибудь одно. Нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого, терпит фиаско.

Во время пребывания в Брюсселе Портос еще выдерживает, не сгибаясь, огромную тяжесть, которая обрушилась на него. Кредиторы загнали его в глубь пещеры; глыба долгов вот-вот сломает ему хребет; женщины гроздьями виснут у него на шее. Выполнить обязательства, которые он принял на себя по отношению к издателям, не под силу не то что одному — десяти, ста человекам, а у этого неустрашимого великана есть только одно желание: затевать все новые и новые дела. Он готовит «Мемуары», пишет пьесы для театра, задумывает основать газету, покоряет новых женщин, не оставляя прежних. Дюма брюссельского периода словно говорит: «Я обременен долгами, связан договорами, и вот — я творю». Есть что-то благородное и подкупающее в силе этой уверенности, в облике этого стареющего человека, сохранившего иллюзии и безрассудство молодости. Монте-Кристо уже давно бы сдался, а его двойник Дюма ушел в партизаны. Он продолжал героически сражаться.

Он взял с собой в Бельгию свою дочь Мари (двадцати одного года), намереваясь сделать ее поверенной в своих любовных связях, бесчисленных и одновременных. Когда он инкогнито наезжал в Париж, то в промежутке между двумя поездками писал дочери в Брюссель, возлагая на нее странные поручения:

Дюма-отец — Мари Дюма: «Я возвращаюсь с г-жой Гиди. Если портрет Изабеллы снова в моей комнате, прикажи его убрать».

Правда, он говорил ей и другое: «Я люблю тебя больше всего на свете, больше самой любви». Но девушка очень плохо относилась к отцовским фавориткам и, притворяясь неловкой, ухитрялась вызывать целые сражения между дамами. Это было нетрудно. Анне Бауэр Мари говорила, что отец у госпожи Гиди; госпоже Гиди — что в Париже, в отеле Лувуа, Дюма один; на самом деле там жила с ним больная Изабелла Констан. Нередко Мари Дюма совершала ошибки умышленно. Отсюда вспышки ярости у отца, столь же бурные, сколь мимолетные. Впрочем, примирение наступало очень быстро.

Дюма-отец — своей дочери Мари: «Дорогая моя, любимая! С первого дня, что я здесь, я был сиделкой и работником, обе эти обязанности я выполнял так добросовестно, что не находил времени написать тебе, не желая делать это второпях и кратко.

Я уехал от тебя, родная, в немного расстроенных чувствах. Несколько дней до того у меня не клеилась работа, и я не представлял себе, где раздобыть денег. Но все обернулось к лучшему, и я даже надеюсь, что смогу завтра выслать вам тысячу франков и столько же привезти с собой, не сказав никому ни слова об этом. Из тех денег, что я пошлю тебе завтра, надо немного дать столяру и слесарю (столяру — чтобы иметь право заказать ему шкаф для маленькой зеркальной гостиной, слесарю — чтобы взять у него железную кровать такой ширины, как матрац, который находится в сарае).

Я надеюсь возвратиться в ночь с субботы на воскресенье. Наши дела идут чудесно. С г-жой Дюма и г-жой Ферран покончено. Теперь мы можем рассчитывать на соглашение. У нас будут деньги, может быть, много денег, и тогда мое дорогое дитя в первую очередь получит все, что только пожелает.

Тебе привезут мое пальто — не удивляйся! Дело в том, что сегодня вечером я сделал вид, будто уезжаю, и Изабелла (она не выходит) послала мне вдогонку пальто, которое я забыл у нее. Его передали одному человеку, который отправлялся в тот вечер, и человек этот (он тщетно искал меня по всем вагонам) вручит тебе сей предмет...»

В Париже связи налаживал Дюма-сын, возвратившийся из собственного «сентиментального путешествия».

Дюма-отец — Дюма-сыну. «Изабелла благодарит тебя миллион раз, она говорит, что ты был с нею очень мил. Она мне действительно необходима—иногда. Я не хочу здесь ничем обзаводиться. Завтра я въезжаю в дом. Он обставлен — и не единого су долга. Все квитанции на твое имя. Равно как и договор...»

Когда отец наезжал в Париж, они обедали у принца Наполеона (который слегка фрондировал против своего кузена-императора) в обществе Рашели, Биксио и Мориса Санда. Однажды вечером они отправились все вместе в Одеон смотреть пьесу их марсельского друга Мери «Дон Гусман Отважный». Спектакль успеха не имел, и в антракте Александр спросил: «Мы дождемся похорон?» — что привело в восторг Александра Первого, который всегда гордился остротами своего мальчика.

Он писал Мари: «Александр — голодранец, вечно без гроша в кармане», но был счастлив, что может воспользоваться помощью сына — этого надежного и ловкого друга, чтобы избавиться от прежней фаворитки Беатрис Пьерсон и освободить место для Изабеллы.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «М-ль Пьерсон не будет играть в «Асканио». Само собой разумеется, что я не хочу давать ролей людям, которые довели меня до банкротства... Изабелла будет играть Коломб — эта роль словно создана для нее. Если ее не хотят ангажировать на год, пусть ангажируют на одну роль, мне это больше по душе. Пятнадцать франков в день ей не повредят. Прошу тебя ничего не менять в условиях, а также уговорить Мериса, чтобы он поставил на афише *только свое имя*. Пусть получит мою долю гонорара вместе со своей и отдаст деньги прямо тебе, без расписки...»

Отказываясь подписать пьесу и получая гонорар тайком из рук своего соавтора Поля Мериса, Дюма избегал необходимости делиться с кредиторами. Все имеет свои границы, даже честность.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Мое дорогое дитя, Изабелла с каждым днем все больше восхищается тобою. При сем прилагаю письмо для г-жи Порше. Можно поручить ей продать билеты на «Асканио» при условии, что все деньги сверх тысячи двухсот франков, которые она должна послать мне, будут перечислены на

наш счет. Я видел г-жу Прадье. Посылаю тебе окончание «Совести». Условлено, что Антенор передаст тебе пятьсот франков. Что касается остальной тысячи, то 200 франков — Мари, 300 франков — Шерами, 300 франков — г-же Гиди и двести оставшихся по возможности мне...»

14 марта 1852 года: «Дорогой мой, раз уж мы перешли на язык цифр, считай:

Комната — 6 франков. Алексис — 4 франка. Лампы и уголь — 3 франка. Завтрак — 3 франка. Услуги — 1 франк. Письма — 2 франка.

— 19 франков в день (sic!).

Считай все 20 франков с непредвиденными расходами. Ты уехал 9 января. Значит, 9 марта было два месяца... Двадцать франков в день составят шестьсот франков в месяц, то есть тысячу двести франков за два месяца. Прибавь сюда расходы на две поездки г-жи Гиди (гостиница), две поездки Шерами и две поездки Изабеллы, и ты получишь ровным счетом тысячу семьсот франков. Но теперь особняк уже готов, и я не должен за него ни единого су...»

«Асканио», сыгранный 1 апреля 1852 года в театре Порт-Сен-Мартэн, в ходе репетиций был переименован и превратился в «Бенвенуто Челлини». Это была драма, написанная Дюма и Мерисом по роману, который Дюма издал в 1843 году. Главную роль играла Изабелла Констан; она служила моделью для статуи Гебы, над которой Мелинг — исполнитель роли Бенвенуто Челлини — почти весь вечер трудился на сцене. Этой актрисе, официальной любовнице своего отца, Дюма-сын взялся передавать более чем скромные субсидии.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Прежде всего прилагаю при сем письма к Морни. Затем: дал ли ты и можешь ли дать сто франков Изабелле? Она ждет не дождется этих несчастных ста франков! Сразу же, как получишь это письмо, постарайся передать Изабелле сто франков. Потрудись отправить мне вазы, скульптурную группу и две картины... Изабелла должна приехать ко мне сюда. Навести ее в утро отъезда, помоги ей — она неопытна в путешествиях... Если она поедет во вторник, как я надеюсь, ты сможешь проследить, чтобы вазы были отправлены в

ее багаже. Сделай надпись: «Обращаться с осторожностью: стекло».

Как на сей раз встретит незваную гостью? Мари Дюма, ненавидящая Изабеллу Констан? Неисправимый донжуан подумывал об этом не без тревоги. В своем особняке на бульваре Ватерлоо он написал письмо дочери, спавшей в том же доме, этажом выше, и ночью подсунул его под дверь ее комнаты.

Дюма-отец — своей дочери Мари: «Моя любимая детка, я так боюсь огорчить тебя, что решил письменно сообщить тебе то, чего не смел сказать: несмотря на все мои старания помешать приезду Изабеллы, она все же приезжает сегодня!

Что делать, дитя мое? Это печалит меня уже несколько дней, ибо я уже давно понял, что как только ей станет немного лучше, она примчится сюда. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы ты на меня сердилась, как в последний ее приезд. Я так люблю тебя, мое дорогое дитя, что в выражении твоего лица черпаю все: и радость и печаль. Так наберись же мужества и не огорчай меня в течение тех трех-четырех дней, что она пробудет здесь. Только вот как мы устроимся с завтраками и обедами?

Если тебя не будет со мной за столом, как обычно, это меня глубоко опечалит. Нельзя ли нам есть в твоей мастерской, чтобы надежнее спрятаться от возможных гостей?

Во всяком случае, на время трапез мы будем запираť двери... Наконец, если тебе это больше по душе, я воспользуюсь тем предлогом, что она больна, и велю подавать нам с ней в гостиную Александра.

Поступай, как хочешь, только постарайся причинить мне как можно меньше огорчений. Я люблю тебя больше и сильнее, чем самого себя, но и это еще далеко не выражает того, что мне хотелось бы сказать».

Дюма-сыну приходилось выколачивать из редакций газет суммы, которые причитались его отцу, подталкивать театральных директоров и время от времени усыплять подозрения Изабеллы, которая ревновала к госпоже Гиди, к Анне Бауэр, к Берте, к Эмме, к госпоже Галатри, к актрисам, выступавшим в Брюсселе, и ко всем женщинам Брабанта. Иногда он восставал против отцовских «комбинаций» или же против требований

госпожи Гиди. «Послушай, дружок, — отвечал отец, — у меня было много любовниц. Ты знал их всех. Со всеми ты поначалу был хорош. Со всеми ты в конце концов ссорился. У меня сохранилось письмо, где ты мне пишешь, что г-жа Гиди — очаровательная женщина!..»

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Изабелла собирается завтра прийти к тебе, и я намерен составить ей компанию. В котором часу? Этого я пока не знаю... Ни слова Изабелле о моей позавчерашней поездке. Предупреди своих друзей, чтобы они невзначай не обмолвились об этом...»

Мари Дюма, строптивая наперсница, была в курсе другой, более тщательно законспирированной связи. В 1850–1851 годах Дюма-отец признался ей, что молодая замужняя женщина, Анна Бауэр, ждет от него ребенка. Мари заняла в этом деле позицию, которая пришлась не по душе ее отцу.

Дюма-отец — своей дочери Мари: «Дорогая Мари... В ответ на твое письмо я хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями. Я совершенно не разделяю твоих взглядов в этом вопросе. Ты рассматриваешь его с точки зрения чувства. Я буду рассматривать его с точки зрения социальной и главным образом человеческой.

Каждый прежде всего сам отвечает за свои ошибки и даже за свои недуги и не имеет никакого права заставлять других страдать из-за них. Если какой-то несчастный случай или физический недостаток сделал того или иного человека импотентом, то он должен нести все последствия этого физического недостатка и мужественно встретить все события, могущие отсюда проистечь.

Если женщина повинна в ошибке, если она забыла о том, что почитала своим долгом, то ей самой надлежит искупить свою слабость проявлением силы, как искупают преступление раскаянием. Но женщина, совершившая ошибку, равно как мужчина, страдающий импотентностью, не вправе возлагать на третьего человека бремя своей личной вины или своего несчастья.

Я высказывал эти соображения еще до того, как был зачат ребенок. Они были взвешены и подытожены следующими словами: «*Ради того, чтобы иметь ребенка, я найду в себе силы*

все сказать и все устроить к лучшему». Именно в результате этого решения было зачато существо, которое пока еще не появилось на свет и которое наперед осуждается обществом.

Ничего не могло быть легче, чем не дать родиться ребенку, которого уже теперь, когда он существует, но еще не явился на свет, лишают места в обществе. Дети, родившиеся от адюльтера, не могут быть узаконены ни отцом, ни матерью. Этот ребенок родится от двойного адюльтера.

Как же сложится его жизнь, когда у матери такое состояние здоровья — она и сама считает, что может вот-вот умереть, — а отец уже настолько стар, что, испрашивая себе еще пятнадцать лет жизни, делает, пожалуй, слишком высокий запрос?

В четырнадцать лет этот ребенок скорее всего очутится на улице без всяких средств, во враждебном мире.

Если это окажется девушка, к тому же красивая, у нее будет возможность получить номер в полиции и стать дешевой проституткой. Если это будет юноша, ему придется играть роль Антони до тех гор, пока он, быть может, не станет Ласенером^[139].

В таком случае лучше уничтожить эту жизнь, но еще лучше было бы не создавать ее вовсе. Я был бы крайне огорчен, если бы под этим ханжески-сентиментальным предлогом было принято подобное решение. Оно опрокинуло бы все мои представления о справедливости и несправедливости. Оно лишило бы тебя значительной доли моего уважения, и я очень опасаюсь, что вместе с уважением испарилась бы и вся моя любовь.

Муж — импотент, тем хуже для него. Жена проявила слабость — тем хуже для нее. Но никто не посмеет сказать: «Тем хуже для того, кто обязан своим рождением этому бессилию и этой слабости». Каждый из нас шел в этом деле на известный риск. Г-жа Х. готова была разъехаться с мужем и так твердо решила на это, что собиралась прислать мне копию своего брачного контракта — правда, этого она не сделала. А мне грозил удар шпагой или пистолетный выстрел, и я по-прежнему готов принять любой вызов».

Дело не получило трагической развязки. Анри Бауэр родился в 1851 году. Ему суждено было всю жизнь носить имя мужа своей матери, но черты его лица и великодушные характера поразительно и неоспоримо

свидетельствовали об отцовстве Дюма.

Когда Дюма начал в Бельгии писать свои «Мемуары», он стал собирать документы. Все могло пригодиться, даже угасшая любовь.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Дорогой! Если ты еще помнишь стихи, которые я посвятил в свое время малютке Вальдор, пришли их мне. Я вставлю их в свои «Мемуары». Если ты можешь раздобыть ее «Эпитафию», я хотел бы получить и ее...»

Читатель помнит, что романтически настроенная Мелани в момент разрыва сочинила свою собственную эпитафию, но все-таки не пожелала умереть. Вопль скорби стал достоянием литературы.

В короткие часы досуга Дюма по-прежнему встречался с изгнанниками. В доме бельгийца Коллара он виделся с Гюго, Дешанелем, Кинэ, Араго. Зачастую он сживал с ними на террасе кафе «Тысяча колонн». Прохожие узнавали Гюго, Дюма и почтительно приветствовали их. Изгнанники колебались: ходить ли им в кафе «Орел», название которого напоминало об империи? Тогда Араго сказал: «Орел — эмблема всех великих людей». Гюго, с детства читавший орлов, согласился с этим. Кафе «Орел» тоже стало местом встреч великих изгнанников.

Позднее эта маленькая группа распалась. В июле 1852 года Гюго уехал на остров Джерсей. В Антверпене Дюма-отец посадил его на пароход. Сам он тосковал по Парижу. «Что останется от нашего века? — спрашивал он. — Почти ничего. Лучшие люди — в изгнании. Тит Ливий — в Брюсселе, а Тацит — на Джерсее». Он торопился оформить соглашение с кредиторами, чтобы Тит Ливий мог вернуться восвояси с высоко поднятой головой. Дюма предложил кредиторам половину гонорара за свои произведения, как настоящие, так и будущие. Бывший секретарь Исторического театра Гиршлер, опытный и преданный Дюма бухгалтер, добился для него несколько более выгодных условий: 55 процентов — ему, 45 процентов — кредиторам. Посредник писал в своем заключении: «Г-н Александр Дюма проявляет максимальную готовность и максимальные старания к выполнению своих обязательств». Это почти соответствовало действительности...

В начале 1853 года соглашение было подписано, и Дюма дал своим брюссельским друзьям превосходный прощальный завтрак. Так как дом на бульваре Ватерлоо был снят до 1855 года, Дюма предложил его Ноэлю Парфэ. Министр финансов потребовал счет; его монарх бросил все квитанции в кухонную печь. Должник Монте-Кристо не утратил чувства

долга.

Глава вторая

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ «ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»



Вернувшись в Париж, Дюма застал своего сына в ореоле новоиспеченной славы. В 1851 году Александр все еще влачил жалкое существование. И не потому, что последние несколько лет он мало работал. Он издал томик стихов («Грехи молодости»). «Это не плохие и не хорошие стихи — это юношеские стихи», — говорил он впоследствии. Нет, почти все стихи были явно плохими. Публика равнодушно встретила и другие его вещи: длинный рассказ, по замыслу — юмористический («Приключения четырех женщин и одного попугая»); исторический роман «Тристан Рыжий»; вычурную повесть «Регент Мюстель». Успех имела только «Дама с камелиями». Но пришлось ждать до февраля 1852 года, пока пьеса, написанная автором по его собственному роману, удостоилась постановки.

Читатель помнит, что Дюма-отец принял пьесу в Исторический театр. Директор его, Остэн, возражал. «Это та же «Жизнь богемы» минус остроумие», — говорил он. В 1849 году Исторический театр прекратил свое существование. Юный Александр предлагал рукопись во все театры: в Гетэ, Амбигю, Водевиль, Жимназ. Всюду он потерпел фиаско. «Не сценично», — говорили столпы театра. «Аморально», — говорили столпы общества.

Он пытался увлечь достоинствами роли знаменитую актрису Виржини Дежазе — остроумную гризетку, обожаемую публикой. Однако Дежазе уже

перевалило за пятьдесят, и она была полна здравого смысла. Она заявила, что роль превосходна, но она могла бы играть ее только в трех случаях: будь она на двадцать лет моложе, будь в пьесе куплеты и счастливая развязка. Она предсказала драме успех, однако для этого, по ее словам, требовались три условия: «чтобы произошла революция, которая уничтожит цензуру; чтобы Фехтер играл роль Армана и чтобы я не играла роль Маргариты, в которой буду смешна».

Шарль Фехтер, молодой обаятельный актер, с лицом меланхоличным и нежным, покорила Дежазе в один прекрасный вечер, когда играл капитана Феба де Шатопер в «Соборе Парижской богородицы». Вплоть до падения занавеса он не отрываясь смотрел на стареющую актрису; она пришла и на следующий вечер; она ходила всю неделю. Они стали любовниками. Фехтер совсем недавно женился; Дежазе была вдвое старше его. Но она была все еще привлекательна и в театре пользовалась неограниченной властью, а юного Фехтера снедало честолюбие.

Виржини Дежазе — Шарлю Фехтеру: «Ты собрал в Дьеппе всего девяносто шесть франков! Но ведь это ужасно, хоть я и знаю, что Дьепп — скверный городишко. Тамашние женщины предпочитают театру гостиные... При всем том 96 франков — это ничтожно мало! Так зачем же нам разъезжать вдвоем? Ты увеличиваешь тем самым свои расходы и лишаешь себя поэтического ореола. Публика не любит парочек... Надо быть одиноким, надо быть свободным, чтобы воздействовать на ее иссякшее романтическое воображение. Это ужасно, но это правда...»

Дежазе дала Дюма хороший совет — взять Фехтера на роль Армана Дюваля. Но этого было мало — требовался еще и театр. В 1850 году Александру не удалось его найти, и, поскольку отец теперь не мог ему помогать, он чувствовал себя все более и более стесненным в деньгах. Он стал очень мрачен. Иногда он проводил вечера в «Балах Мабий». Под звуки шумливого оркестра молодые девушки танцевали с приказчиками. Он пожирает глазами эти двадцатилетние создания, «источавшие сладострастие из всех пор», и предавался горьким размышлениям. «Как сделать, чтобы они перестали быть такими, перестали волновать всех этих самцов? Какие страсти они возбуждают! Сколько крови льется по их следам!.. Какую гнусную заднюю мысль таила природа, создавая красоту, молодость и любовь?»

Дело кончилось тем, что он с грустью сунул свою рукопись в ящик. Однако 1 января 1850 года он вновь перечитал ее. Рано утром он отправился на могилу Мари Дюплесси. Будущее его тонуло в тумане, он растрачивал силы своего ума и своей души на посредственные произведения и начинания. Покоясь в могиле, несчастная девушка приняла его исповедь. Вернувшись домой, он закрыл жалюзи, зажег свечи и снова взялся за пьесу. Позже, когда к нему зашел его приятель Миро, он прочел ему «Даму с камелиями». Оба плакали. Пьеса удалась. Но кто сумеет разглядеть ее достоинства и кто осмелится ее похвалить?

Немного времени спустя, весной 1850 года, проходя по Итальянскому бульвару, мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера Ипполита Бориса и толстяка Буффе, Лукулла богемы, одного из тех театральных директоров, которые никого не удивляют, став вдруг миллионерами или разорившись дотла. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол.

— Вормс сказал мне, что из вашей «Дамы с камелиями» вы сделали превосходную пьесу. Вскорости я стану директором Водевиля; поддержите для меня с полгода вашу пьесу — обещаю вам ее сыграть.

Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Нессельроде и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Буффе, как он и предсказывал; был уже директором Водевиля. Он начал репетировать «Даму с камелиями». Фехтер согласился играть Армана; роль Маргариты Готье была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала Дюма своей глупостью.

— Ах, скажите, — спрашивала она, — неужели эта девица все пять актов будет выплевывать свои легкие?

— Простите, мадемуазель, но ведь это происходит с ней только в пятом акте — когда она при смерти.

— Пусть так. Но коль скоро вы вращались в этом кругу, не откажите в любезности познакомить меня с нравами этих девиц — мне они неизвестны.

— Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока вы молоды, то не узнаете уже никогда.

Она стала до того невыносима, что автор и директор единодушно порешили искать другую Маргариту. Фехтер предложил госпожу Дош.

— Вот это мысль! — сказал Буффе. — Дош крайне соблазнительна. Это как раз то, что нужно. Но где, черт возьми, ее отыскать? Я не знаю, куда она девалась.

— А я знаю, — заявил Фехтер. — Она в Англии. Я поеду за ней.

Карьера госпожи Дош была весьма необычна. Урожденная Мари-Шарлотта-Эжени Планкет, она происходила из знатной ирландской семьи, обосновавшейся в Бельгии. Там она и родилась. Когда ей было четырнадцать лет, умер ее отец, и она решила «податься в театр». Ее приняли. В возрасте семнадцати лет она вышла замуж за композитора Александра Доша^[140], главного дирижера Водевиля, сорокалетнего вдовца, но этот брак окончился катастрофой. Два года спустя Дош эмигрировал в Россию, бросив жену-подростка, которая обманула его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать «малютке Дош», ее лебединой шее и осиной талии. Эта актриса-аристократка восхитительно одевалась, составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам.

Разочаровавшись в ролях, которые ей предлагали в Париже, она уехала в Лондон, по слухам, приняв решение больше не появляться на подмостках. Фехтер отправился к ней и рассказал о «Даме с камелиями». «Все актрисы Парижа отказались от этой роли. Не хочешь ли ты попытать счастья?» Она прослушала пьесу, аплодировала, плакала, немедленно уложила чемоданы и на следующий же день по приезде в Париж начала репетировать. «Все у нее было в избытке, — говорил позднее Дюма-сын, — молодость, красота, обаяние и талант... Когда она играла эту роль, казалось, будто она написала ее сама». Директор театра Буффе не очень-то обнадеживал.

— Ба! — говорил он госпоже Дош. — Вы будете играть Даму в очередь с Уистити, то есть через два дня на третий, а быть может, и всего только раз двенадцать-тринадцать.

Остальные исполнители проявляли беспокойство. Смелый сюжет казался им неприемлемым. И цензура — увы! — разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше, занимавший в 1851 году пост министра полиции, запретил пьесу. Это произошло до государственного переворота, и Дюма-отец был еще в довольно хороших отношениях с принцем-президентом. Сын, придя в отчаяние, послал на переговоры отца. Однако цензор, господин де Бофор, заявил, что не может допустить такого скандала, хотя бы ради репутации обоих Александров Дюма.

— Если мы разрешим представить подобную пьесу, то публика еще до конца второго акта начнет швырять на сцену скамейки.

— В один прекрасный день, — заявил Дюма-сын, — появится министр, достаточно умный для того, чтобы разрешить мою пьесу. Приглашаю вас на спектакль, он будет иметь грандиозный успех.

— Я желаю вам этого, сударь, но не могу в это поверить.

Госпожа Дош близко познакомилась в Лондоне с Луи-Наполеоном и

его министром внутренних дел Персиньи. Она принялась хлопотать за свою пьесу.

— Пусть этой девочке вернут ее роль, — заявил Персиньи.

На одну из репетиций явился Морни. Он был не робкого десятка, но потребовал «на всякий случай» свидетельство о морали за подписью трех видных писателей. Дюма-сын отправился к Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье; они прочитали пьесу и рекомендовали ее к постановке. Несмотря на тройное поручительство, Леон Фоше оставался непоколебим. Наступило 2 декабря. Луи-Наполеон провозгласил себя пожизненным президентом, затем — императором. Морни занял место Фоше. Три дня спустя после своего назначения сводный брат императора снял запрет с пьесы.

Успех ее был поразителен; автора наперебой вызывали, забрасывая его мокрыми от слез букетами, «которые женщины, — говорит Теофиль Готье, — срывали со своей груди».

«Мари Дюплесси удостоилась, наконец, памятника, которого мы для нее добивались. Поэт заменил скульптора, только вместо тела мы получили душу, и госпожа Дош дала ей очаровательное воплощение... Наивысшую честь поэту делает то, что во всех пяти актах его пьесы нет ни малейшей интриги, ни малейшей неожиданности, ни малейшего усложнения... Что касается идеи, то она такая же древняя, как сама любовь, и такая же вечно юная. По правде говоря, это не идея, а чувство. Должно быть, драмоделы крайне изумлены успехом этой пьесы, которого они не могут себе объяснить и который опровергает все их теории. Бессмертная история влюбленной куртизанки, ты всегда будешь искушать поэтов!.. Понадобилось немалое искусство, чтобы в наше время — время засилья англо-жениевского ханжества — представить на театре сцены современной жизни так, как они происходят в действительности, не сглаживая их никакими увертками... Диалог усеян свежими остротами, которые поражают своей неожиданностью, полон словесных стычек, реплики звенят и мечут искры, как скрещенные клинки. Во всем чувствуется молодой, ясный ум, который не маринует свои остроты по три года в записной книжке, дожидаясь возможности пустить их в ход».

Госпожа Дош на самом деле потеряла сознание, а Фехтер в

неистовстве отчаяния порвал ей кружев на шесть тысяч франков. У выхода Александра ждали друзья, чтобы вместе с ним отпраздновать успех. Но он попросил извинить его. «Я ужинаю с одной женщиной», — сказал он им. Эта женщина была его мать — Катрина Лабе. «В тот вечер мы пировали по-венециански! Чудесная еда — ломтик ветчины, чечевица с прованским маслом, швейцарский сыр и чернослив. В жизни своей так вкусно не ужинал!» Отцу, который не хотел покидать Брюсселя, пока не будет подписано его соглашение с кредиторами, он телеграфировал: «Большой, большой успех! Такой большой, что мне казалось, будто я присутствую на премьере одного из твоих произведений!» Дюма-отец ответил: «Мое лучшее произведение — это ты, мой дорогой сын!»

Некоторое время спустя Дежазе, находившаяся в Брюсселе, присутствовала там на премьере «Дамы с камелиями» и встретила в театре старшего Дюма. Он сиял от радости.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Дорогой друг! Весь вчерашний вечер я провел в обществе госпожи Паска. Мы только и говорили что о тебе, о твоём успехе, о твоих венках, о вызовах публики, о таланте госпожи Дош, о гении Фехтера. Все это великолепно. Г-жа Паска сказала мне, что ты дважды виделся с Морни. Постарайся все же получить крест^[141]: он тебе не помешает. Еще одно преимущество, какое я вижу во всем этом, — у тебя заведутся деньги, и ты сможешь немного развязать себе руки. Если ты упорядочишь свой бюджет, отнеси сто франков, что я однажды прислал тебе (с улицы Энгиен) на улицу Лаваль...»

Готье был не единственным критиком, восхвалявшим «Даму с камелиями». Жюль Жанен говорил «о живости тона, о безупречной правдивости, благодаря которым эта пьеса о легких связях стала событием в литературе». Господин Прюдом^[142] был шокирован и напал на автора за то, что он возвеличил куртизанку. В том же самом Водевилье, в следующем сезоне была поставлена пьеса-антитезис «Мраморные девы» Теодора Барьера и Ламбера-Тибу, где девиц легкого поведения ставили на место: «Черт побери! Этому пора положить конец. Ну-ка, барышни, отойдите в сторонку, откатите свои экипажи! Дорогу порядочным женщинам, которые ходят пешком!»

В действительности, когда Дюма-сын писал «Даму с камелиями», он не собирался ни нападать на куртизанок, ни защищать их. В то время он был глубоко удручен смертью обаятельного и беззащитного создания,

которое он любил. Он живописал жизнь и собственное сердце. Разве эта смерть была аморальна? Или эта попытка искупления достойна порицания? Почему? «Автор здесь не становится ни адвокатом, ни публичным проповедником; он всего только художник, и тем лучше...» Он трепещет от сочувствия к своей героине. Он не судит ее: он полон дружеских чувств и жалости. Лишь много лет спустя пьеса переродится в сознании автора, и романтический юноша, постарев, станет беспощадным моралистом.

Глава третья «МУШКЕТЕР»

*Творение твое, блестяще, необъятно,
Играет красками, исполнено огня.*

ВИКТОР ГЮГО



Случается, что исторические потрясения производят глубокие трещины в обществе. Тем, у кого хватает сил, удастся через них перебраться, но зачастую им приходится нелегко на другой стороне. Революция 1848 года обозначила четкий рубеж в жизни Франции. *Смена декораций*: небесный машинист спрятал в колосники двор Луи-Филиппа. *Смена актеров*: правят новые люди. Меняются вкусы публики. Виктор Гюго оказался на высоте: уйдя в изгнание, он обновил свое творчество, исполненное пафоса политической борьбы. Бальзак избежал новых треволнений, скончавшись в пятьдесят один год. Что касается Дюма-отца, то он вернулся из Брюсселя все тот же — полный надежд и планов.

Ему не терпится вновь увидеть друзей, бульвары, милую его сердцу сутолоку. Но на что жить? Первой его мыслью было основать ежедневную вечернюю газету «Мушкетер». Подписная цена — 36 франков для Парижа, 40 — для провинции. Редакция в «Золотом доме», улица Лаффит, № 1.

«Золотой дом» был знаменитый ресторан; в прилегающей к нему четырехугольной башне помещалась редакция, а этажом выше — квартира Александра Дюма. Название для газеты было выбрано удачно. Публика тотчас же вспомнила Дюма-отца и самый знаменитый из его романов. Над заголовком был нарисован сидящий мушкетер. Первый номер возвещал, что в ближайшее время выйдут в свет пятьдесят томов «Мемуаров» Александра Дюма. «Пятьдесят томов! — воскликнул Мери. — Это значит, что он выплеснет на публику двадцать пять бутылок воды...».

Не приходилось сомневаться, что в «Мемуарах» окажется «вода» и крепкое вино авторского темперамента будет разбавлено; однако публика любила «воду» Дюма, а кроме того, список остальных сотрудников редакции был блистателен: Александр Дюма-сын, Жерар де Нерваль, Октав Фейлье, Роже де Бовуар, Морис Санд, Анри Рошфор, Альфред Асслин, Орельен Шолль и Теодор де Банвиль. С первых же дней успех газеты стал очевиден.

— В наши дни основывать газету? Невозможно, — изрекали авгуры.

— Если бы это было возможно, разве я бы за это взялся? — отвечал Дюма.

На первом этаже «Золотого дома» на двери красовалась белая картонная табличка, надписанная рукою патрона: «МУШКЕТЕР». Пожалуйста, поверните ручку». Поворачивали ручку и попадали в небольшую прихожую, где помещался стол из некрашеного дерева, а за ним — двое-трое служащих. За так называемой кассой на соломенном табурете восседал Мишель, бывший садовник из замка «Монте-Кристо». Почему именно Мишель? Требовался бухгалтер — на его место посадили садовника. «Я нашел то, что мне нужно, — заявил Дюма. — Мишель не умеет считать. Я сделаю его кассиром «Мушкетера».

В самом деле, умение считать было здесь ни к чему: касса неизменно пустовала. Дюма основал «Мушкетера», имея капитал в три тысячи франков: ни один человек в редакции не получал жалованья.

И все же «Мушкетер» выходил ежедневно и неукоснительно. Каким чудом? Денег в редакции не видели, однако ни в бумаге, — ни в перьях недостатка не было. Сотрудники, не получавшие ни гроша, добросовестно сидели на своих местах. Дюма довольствовался тем, что сулил им всем славу, был с ними на «ты», — и все работали. Поначалу администратор Мартине в растерянности время от времени забегал к Дюма, чтобы сообщить ему:

— Мосье Дюма, у меня нет денег.

— Как? — восклицал Дюма. — А подписка? А розничная продажа?

— Дорогой метр, десять минут назад вы забрали у меня триста франков — все утреннее поступление.

— Конечно! Я отдал вчера тысячу франков за переписку.

В самом деле, Дюма, живший на третьем этаже, день-деньской просиживал за еловым столом, одетый лишь в панталоны со штрипками и розовую рубашку, и без устали строчил километры своих «Мемуаров». Он получал удовольствие, возрождая к жизни своего отца, свою мать, Вилле-Коттре, свое детство в лесной глуши, браконьеров, свои первые шаги в театре. Мимоходом он набрасывал портреты: портрет Левена, портрет Удара, портрет Луи-Филиппа, портрет Мари Дорваль. Он делал пространные отступления, рассказывая со всеми подробностями жизнь Байрона, юность Виктора Гюго. Все это было весьма бессистемно, но живо, красочно, увлекательно, а некоторые страницы (например, те, что посвящены Дорваль) просто превосходны. Одновременно с воспоминаниями он опубликовал романы «Парижские могики» (совместно с Бокажем), «Братья Иегу», серию очерков «Великие люди в домашнем халате», для которой с блокнотом в руках отправился интервьюировать Делакура. Тот стонал: «Этот ужасный Дюма, который не выпускает из рук свою добычу, явился ко мне в полночь с расспросами, размахивая блокнотом. Бог его знает, как он воспользуется подробностями, которые я по глупости ему сообщил! Я очень его люблю, но сам сделан из другого теста...»

Его читатели сохраняли ему верность, и тираж «Мушкетера» достиг десяти тысяч экземпляров. По тем тяжелым временам это было много. Самые серьезные люди интересовались газетой. Ламартин писал Дюма: «Вы спрашиваете мое мнение о вашей газете. У меня есть мнение о вещах, посильных человеку, у меня его нет о чудесах. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восклицательный знак! Люди искали вечный двигатель, вы нашли нечто лучшее — *искусство вечно изумлять!* Прощайте. Живите, то есть пишите. Вы всегда найдете во мне восторженного читателя...» Виктор Гюго прислал ему с острова Джерсей свое высочайшее благословение: «Дорогой Дюма, читаю Вашу газету. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной и загубленной Франции. Vale et me ama!»^[143].

Поначалу дела с газетой шли так хорошо, что влиятельные газетные директора Мильо, Вильмессан предложили Дюма купить у него «Мушкетера», сохранив за ним место сотрудника с очень высоким окладом. Это была неожиданная улыбка фортуны, надежная гарантия от его собственных сумасбродств. Он отказал не без высокомерия. «Мой дорогой

собрат, — писал он Вильмессану. — То, что предлагаешь мне ты и что предлагает Мильо — этот превосходный человек с поистине золотым сердцем, — великолепно... Однако я всю жизнь мечтал иметь свою газету, собственную газету, наконец-то она у меня есть, и самое меньшее, что она может мне принести, — это миллион франков в год. Я еще не взял ни одного су из гонораров за мои статьи; если считать по сорок су за строку, то со дня основания «Мушкетера» я заработал двести тысяч франков; я преспокойно оставляю эту сумму в кассе, чтобы через месяц взять оттуда сразу пятьсот тысяч. При этих обстоятельствах я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в директорах; «Мушкетер» — это золотое дно, и я намерен разрабатывать его сам...»

Чудеса не могут длиться вечно — тогда бы они перестали быть чудесами. Самым преданным сотрудникам надоело дружеское «тыканье» вместо жалованья. Они исчезали один за другим. Подписчики — тоже. Их потчевали одним только Дюма-отцом. При всей их любви к нему они не желали довольствоваться его стряпней в качестве единственной духовной пищи. В конце концов сотрудники и рассыльные обратились в массовое бегство. Дюма горько сетовал на их «неблагодарность». В 1857 году «Мушкетер» пошел ко дну.

В поисках утешения Дюма часто выезжал в свет, обедал в обществе, упивался собственным красноречием. Он «проговаривал» статьи, которые ему больше негде было печатать. Его можно было встретить у принцессы Матильды; будучи двоюродной сестрой Наполеона III, она тем не менее разрешала у себя в доме фрондировать против Второй империи. Дюма рядился там в тогу политического деятеля; он заявлял, что благодаря своей популярности столь же могуществен, как император. «Зовите меня просто Дюма, — говорил он принцессе Матильде, — вот уже двадцать пять лет, как я тружусь ради этого». Он сочинял политические эпиграммы:

На родственников этих глядя,
Мы видим разницу одну:
Захватывал столицы дядя,
Племянник захватил казну.

Это не нравилось ни принцессе, ни высокомерному Вьель-Кастелю, который злобно отмечал в своем «Дневнике»: «Большая ошибка — принимать Дюма и разрешать ему такой заносчивый тон». Но в глазах принцессы и в глазах толпы он оставался великим Дюма. Он с презрением

отзывался о Наполеоне III. «Гюго, — говорил он, — опубликовал великолепные вещи о Наполеоне; я посвящаю ему еще более сильные строки в своих мемуарах... Этот комедиант оказался попросту малодушным: будучи претендентом, он глупейшим образом позволил себя арестовать. Ему надо было поступить по-моему — вооружиться пистолетом. В 1830 году я один взял город Суассон, пригрозив коменданту, что раскрою ему череп...»

В конце концов он и сам в это поверил.

Он поносил императора за то, что тот недостаточно почитает художников. После одного из таких страстных выпадов против режима кто-то спросил у принцессы Матильды, не поссорилась ли она с Дюма. Она ответила с улыбкой: «Думаю, что поссорилась насмерть... Сегодня он у меня обедает». Начиная с 1857 года она стала принимать у себя Дюма-сына. Она хотела представить его императору, чтобы тот наградил его орденом. Дюма-сын отказался, ссылаясь на свою гордость, на свою робость. И все же 14 августа 1857 года он был награжден; в качестве поручителя он избрал своего отца.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Дорогой мой сын! Три дня назад я получил твой крест и разрешение произвести тебя в кавалеры. Когда ты вернешься, я обниму тебя нежнее обычного, если только это возможно, и церемония будет совершена».

У Дюма-отца поводов для гордости было хоть отбавляй. Когда во Францию прибыла английская королева и ее попросили назвать пьесу, которую можно было бы представить в ее честь в Сен-Клу, Виктория выбрала «Воспитанниц Сен-Сирского дома». Эту комедию сыграли на официальном приеме в замке, и монархиня изъявила свой восторг. «Я знаю, — говорил Дюма (которого император не удостоил приглашения), — я знаю, что было бы королеве еще приятнее, чем увидеть мою пьесу, — увидеть меня самого, и, по правде говоря, мне это было бы тоже приятно. Женщина столь замечательная, которая, быть может, станет самой знаменитой женщиной нашего века, должна была встретиться с величайшим человеком Франции. Досадно, что она уезжает, не увидев лучшего, что есть в нашей стране».

Для Дюма-отца не было тайной, что Дюма-сын частенько навещал Катрину Лабе. Бывшая белошвейка с Итальянской площади, уйдя на покой, достойно встретила старость. Большой успех «Дамы с камелиями» позволил молодому драматургу поселить мать в Нейи, Орлеанская улица,

№ 1. У нее была залитая солнцем комната-фонарь, выходившая в Булонский лес. В течение некоторого времени она держала небольшую читальню на улице де ля Мишодьер. Добродетельный Александр — примерный сын — оставался также преданным и почтительным другом Мелани Вальдор, которая публиковала книгу за книгой: ее романы и пьесы приносили ей славу и почести. Франсуа-Жозеф Вальдор, обреченный стараниями своей жены пребывать в дальних гарнизонах, завершил свою военную карьеру в качестве коменданта острова Экс.

Публикация нашумевших «Мемуаров» Александра Дюма Первого глубоко оскорбила двух женщин, которые только и любили его по-настоящему. Автор «Мемуаров» совершенно опустил Катрину Лабе. Чтобы ввести в повествование своего сына, он упомянул обиняком: «29 июля, в тот час, когда в Пале-Рояле явился на свет герцог де Монпансье, у меня, на Итальянской площади, родился герцог Шартрский». Мать он не назвал. Что касается Мелани Вальдор, то она прочла о себе следующие уничижительные строки: «Когда я создавал «Антони», я был влюблен в женщину далеко не красивую, но ужасно ее ревновал... так как она находилась в положении Адели и ее муж-офицер был в армии...»

Автор словно забавлялся, оскорбительно смешивая двух своих любовниц 1830–1831 годов. Читатель помнит, что Белль Крельсамер приняла в театре псевдоним Мелани Серре. В «Мемуарах» Александра Дюма мать его внебрачной дочери неизменно называется Мелани С***. «Моя дорожная спутница намеревалась взять подряд на девять месяцев. Бедняжка Мелани, быть может, это и не было ошибкой!...» Когда появился этот текст, госпожа Вальдор, почтенная бабушка, была на пороге шестидесятилетия, она только что потеряла единственную дочь и воспитывала внучку. Она негодовала.

Что касается его законной супруги Иды, то после долгой тяжбы с «господином Дюма Александром» она продолжала жить в Италии на средства ничего для нее не жалевшего князя де Виллафранка, более влюбленного и более щедрого, чем когда бы то ни было. Читатель помнит, что в начале своей связи с Идой Ферье Дюма привез ее в Ноан, где молодая актриса сумела понравиться Жорж Санд. Когда в марте 1855 года знаменитая романистка, путешествуя по Италии со своим сыном (Морисом Сандом) и своим личным секретарем (Александром Мансо), приехала в Рим, она застала там свою «дорогую Иду», которая встретила ее с цветами. «Записная книжка» Жорж Санд за 1855 год сообщает нам, что в пятницу 30 марта писательница была в гостях у своей подруги. Женщины бросились друг другу на шею и целый час злословили о своих мужьях (Дюма и

Дюдеване), затем отправились обедать к Фраскати в сопровождении Мориса, Мансо и князя де Виллафранка. 19 апреля Жорж обедала «в обществе», у госпожи Дюма, и охарактеризовала этот вечер четырьмя словами: «Поэтические истории. Музыка. Автографы».

Дневник Мансо, 22 апреля 1855 года: «Вечер у госпожи Дюма. Музыка Александро. Здесь барон де Гассио, принц дон Пьетро, какой-то скульптор и два священника, один из них — страстный гимнаст. Макароны в огромном количестве. Распрощались в одиннадцать часов, унося с собой окорок и пирожные. Прелестный вечер!»

В понедельник 23 апреля Жорж Санд покинула Рим. Она пометила в своей записной книжке: «Прощание отняло много времени. Пришли Ида, князь и барон. Душили друг друга в объятиях. Они очаровательны...»

В 1857 году князь де Виллафранка, которому хотелось провести несколько месяцев в Париже, снял там красивый особняк с колоннами (он существует и по сей день) на авеню Габриэль, № 38. Ида была больна, и вначале ее болезнь принимали за водянку; на самом деле это был рак матки, от которого ей вскоре суждено было умереть. Ее «очаровательный князь» (по выражению Жорж Санд) преданно ухаживал за ней и показывал ее самым знаменитым врачам. В течение этого последнего пребывания Иды во Франции ее отношения с Дюма были отношениями «кредитора и должника». Она возвратилась в Италию, где ее болезнь стала прогрессировать угрожающим образом. В Генуе (дом Пикассо, улица Аква Сола, приход церкви Утешения) она приняла последнее причастие и отдала богу душу. Это случилось 11 марта 1859 года.

Жорж Санд — князю де Виллафранка, 14 марта 1859 года: «Мой дорогой несчастный друг, мы безутешны. Боже мой, какой удар для Вас и какое горе, какая огромная скорбь для всех тех, кто ее знал! Такое большое сердце, такой обширный ум! Какую Вы понесли утрату. Что Вы намерены делать? Вы не можете оставаться там, где все, решительно все каждую секунду будет Вам напоминать ее. Надо вернуться во Францию, в Париж... Здесь Вы сможете говорить о ней с нами, как ни с кем другим. Если бы мы могли пожать Вашу руку, это было бы утешением в смертельной скорби, которую испытываем мы все...»

Овдовевший Дюма-отец некоторое время ничего не знал о своем вдовстве, так как в те дни он гостил у своей дочери в Шатору. 4 мая 1856 года Мари Дюма вышла замуж за беррийца Пьера Олинда Петель, и свидетелями ее бракосочетания были Ламартин и (через поверенного) Виктор Гюго.

Дюма-отец — Виктору Гюго: «Мой самый дорогой и самый великий друг!.. 28-го числа сего месяца моя дочь выходит замуж. Она просит Вас в письме, дорогой Виктор, чтобы Вы через поверенного были ее свидетелем вместе с Ламартином. Мы часто видимся с ним, и не было случая, чтобы мы не говорили о Вас. В конце концов Вы, мой дорогой Виктор, — частица моей души. И я, Ваш старый друг, говорю о Вас, как нескромный юный любовник о своей любовнице. Одно из великих и прекрасных таинств природы, одно из самых трогательных проявлений милосердия божьего заключается в том, что разлука бессильна расторгнуть духовные узы.

Как я говорил, как я писал, как буду говорить и писать без конца, мой великий и дорогой друг, тело мое — в Париже, душа — в Брюсселе и Гернсее, где Вы были, где Вы сейчас.

Я хотел бы, мой дорогой великан, чтобы Вы переписали на большой лист бумаги те прекрасные стихи, которые Вы посвятили мне. Я заключил бы их в рамку и повесил между двумя Вашими портретами, и тогда Ваш образ был бы всегда у меня перед глазами.

До свидания, мой друг. Мари ждет от Вас письма, в котором Вы сообщите ей, что согласны через посредство Буланже быть ее свидетелем. Это будет ее дворянской грамотой... Передайте госпоже Гюго, что я — у ее ног. Ее письмо — это письмо поэта, супруги и матери в одно и то же время. Я храню его, но не для того, чтобы заключить в рамку, а чтобы перечитывать подобно влюбленному, прижимая его к сердцу... До свидания, мой добрый Виктор. Да соединит нас бог — во Франции ли, в изгнании или на небесах...»

О смерти Иды Александр Дюма узнал от Альфонса Карра, поселившегося в Ницце, городе, расположенном поблизости от Генуи.

Дюма — Карру: «Мой добрый друг! Когда пришло твое

письмо, я находился в Шатору. Я нашел письмо по возвращении... Спасибо! Госпожа Дюма приезжала сюда год назад и заставила заплатить ей долг — 120 тысяч франков! У меня есть ее расписка. Я уезжаю в Грецию, потом в Турцию, Малую Азию, Сирию и Египет...»

Дюма, женившийся когда-то по принуждению и уже так давно расставшийся с женой, испытывал некоторое облегчение оттого, что стал совершенно свободным человеком. А князь де Виллафранка — безутешный любовник — горько оплакивал умершую, похороненную на кладбище в Стальено. Неисповедимы пути господни! Князь написал Жорж Санд, прося ее составить эпитафию, которая будет высечена на памятнике его погибшей подруги.

Жорж Санд — князю де Виллафранка: «Дорогой друг, самые лучшие слова — всегда самые короткие, и того, что Вы мне написали о Ней — достаточно. Если Вы хотите добавить к этому еще несколько слов, подводящих итог ее жизни, не пишите: «Здесь покойся» или «Здесь нашла упокоение», — ибо души не находят упокоения в земле, а напишите: «В память о...» — и после всех имен: «чей высокий ум и благородная душа оставили глубокий след в жизни тех, кто ее знал. Большая артистка и великодушная женщина, она ушла от нас молодой и прекрасной, обаятельной и самоотверженной... В этой гробнице похоронено сердце мужчины».

Добряк Тео, так восхищавшийся двадцать лет назад белокурой пышнотелой Идой, тоже горевал о ней: «После смерти г-жи Эмиль Жирарден и г-жи Дюма в этом мире не осталось ни одной умной женщины...»

Слова, свидетельствующие лишь о том, что Теофиль Готье постарел.

Глава четвертая

«ДИАНА ДЕ ЛИС»

- Ты не страдаешь желудком?
— Нет.
— Напишешь еще несколько пьес, тогда
посмотришь, что с тобой будет.

ЛАБИШ



«Дама с камелиями», несмотря на весь ее успех, не обогатила Дюма-сына, у которого хватило порядочности (глупости, как сказал бы его отец) воспользоваться этой улыбкой фортуны, чтобы расплатиться со всеми своими долгами. В 1853 году, снова оставшись без денег, он поселился на Сен-Жерменской дороге на вилле «Монте-Кристо», которую все еще оспаривали друг у друга кредиторы. Дом пустовал. Дюма-сын обставил его кое-какой мебелью, взятой напрокат, и устроился там вместе с тремя друзьями, одним из которых был художник Маршаль. «Расходы мы делили между собой; столовые приборы у нас были из простого металла; стряпал для нас садовник. Там-то я и написал «Диану де Лис».

Сын не обладал ни легкомыслием, ни жизнерадостностью отца. Творческий труд всегда вызывал у него настоящую физическую усталость, доводившую до головокружения и спазм в желудке. Раннее знакомство с

куртизанками, а вслед за тем мучительный роман с госпожой Нессельроде превратили его в человека разочарованного. Не отличаясь могучим воображением, которое позволяло ему отцу оставаться лучезарным в мрачном мире, он взирал на людей с печальной суровостью. У него был тот же идеал, что у его матери, — честность и прямота. Ему хотелось основать семью, которая была бы противоположностью его собственной.

Дюма-сын стремился найти в каждой женщине Прекрасную Даму рыцарских романов. Но живая женщина — не Дама, так же как живой мужчина — не Рыцарь. Самая лучшая по-своему сумасбродна. Шекспира и Мюссе это сумасбродство вдохновляло на стихи; Шатобриан восхищается «смешением слабости и лент». Дюма-сын был не столь мудр и не столь терпим. Вступив в связь с графиней Нессельроде, он узнал человеческую самку в ее самом соблазнительном и самом ужасном виде. Он прошел школу аморализма. Он наблюдал мир Второй империи, населенный бесстыдными распутниками вроде герцога де Мори, ограниченными и тупыми мужьями, ловкими и развращенными женщинами. Светский человек глуп, празден, безнравствен, в молодости он делает детей портнихам, а женившись, обманывает жену. «Женщина, несчастливая в браке, и соблазненная девушка; соблазненная девушка и женщина, несчастливая в браке, — из этого круга Дюма не выйти»^[144].

Кем хотел стать он сам? Честным человеком, счастливым отцом семейства. Этого не случилось, и он стал Вершителем Правосудия, Другом женщин, но также их Судьей. Его персонажи, подобно мушкетерам, готовы были служить тому, что он считал подлинной справедливостью. Удары они будут наносить словами, подчас жестокими. Какова их цель? Спасти наивных молодых людей от опасных любовниц, белошвеек — от прожигателей жизни, простодушных молодых девушек — от развратных отцов семейства. В нем появится что-то от полководца и укротителя. Дюма-сын будет с хлыстом в руках входить в клетку со львицами. Но прежде чем взять на себя эту видную и неприятную роль, он должен был окончательно изжить эпизод с графиней Нессельроде — рассчитаться с ним в своих произведениях.

В первый раз он сделал это в 1852 году в романе «Дама с жемчугами», где он повествовал о своем приключении, почти ничего не изменив в нем. Героиня — иностранная герцогиня, в восемнадцать лет вышла замуж за человека, который, как и Дмитрий Нессельроде, носил знатное имя и занимал в своей стране видное положение. Там было все: ненавистная золовка, «очаровательно-неразборчивый» почерк Лидии, наперсница любовников Элизабет де Норси, в жизни — Элиза де Корси. Автор книги

явно стремился к тому, чтобы его узнали в герое — Жаке де Фейле, так как герцогиня говорила последнему: «Если вы когда-нибудь опишете мою историю, вы назовете ее «Дама с жемчугами»; эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше и героиня которой — куртизанка...» Разница только в одном: развязка романа более лестна для Дюма, чем действительный конец его связи, ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно жила и успела забыть его.

«Диана де Лис» — поначалу короткая новелла, затем драма в пяти действиях. Это снова история несчастной патрицианки, влюбленной в художника Поля Обри. Покинутая мужем, Диана де Лис пускается в разгул. Поль Обри — еще один автопортрет — с благородной деликатностью удерживает ее от «позорных походов». Тогда в дело вмешивается муж. Он не любит свою жену, но это не важно. Он муж, у него есть права. Он намерен увезти Диану подальше от Поля «с помощью всех тех средств, какие предоставляет в его распоряжение закон», совершенно так же, как увез свою жену Нессельроде. Когда Поль и Диана пытаются бежать, чтобы обрести свободу, граф де Лис холодно дает им юридическую консультацию.

«ГРАФ: Сударь, возможно, что общество устроено плохо, что вам хотелось бы исправить его ошибки, что мне и графине не следовало вступать в брак. Все это возможно, но в действительности я — муж этой женщины, она останется со мной, и ничто не может этому помешать, ибо она — моя жена... Даю вам честное слово, что если когда-нибудь я застану вас с госпожой де Лис, как застал сейчас, — даю вам слово, что я воспользуюсь правом, которое дает мне закон, и убью вас».

Как закончить пьесу? Выстрелом из пистолета без комментариев? Такая концовка искушала Дюма-сына отчасти потому, что она была бы симметрична развязке «Антони». В «Антони» любовник убивал жену; в «Диане де Лис» муж убьет любовника. Отчасти же потому, что моралист при всем своем отвращении к невыносимому мужу в душе оправдывал его. Но публика, без сомнения, предпочитала, чтобы победа оказалась на стороне симпатичных любовников.

Автор долго колебался. После триумфа «Дамы с камелиями» директора театров охотно взяли бы у него вторую пьесу. Но цензура снова поставила рогатки. Не потому, что сюжет был аморален: Персиньи, когда-то покровительствовавший молодому Дюма, не мог простить ему, что тот

отказался написать для Оперы слова к верноподданнической кантате, приуроченной к какому-то случаю. Причины, которые выставил Дюма-сын, были основательны. Во Франции жили тогда великие поэты: Ламартин, Виньи, Гюго, Мюссе. Если они отказывались или если к ним не обратились, не подобало начинающему, к тому же очень слабому поэту, который пытался сохранить независимость, лезть на их место. Директор Оперы Нестор Рокплан настаивал: «В конце концов будете вы писать, да или нет?» — «Нет». — «Что же, — ответил он, смеясь, — вы правы».

За «Диану де Лис» вступился Монтиньи, директор театра Жимназ. Это был добрейший из людей, силач с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался Жимназ, ибо когда-то, на заре своего существования, должен был в силу дарованной ему привилегии стать театром-школой, где могли бы практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть водевили с куплетами. С 1844 года Монтиньи боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которой надоело видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канонисс. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Мари-Розе Сизо; родители ее тоже были актеры; совсем еще юная, она выступала под псевдонимом Розы Шери. Скриб — автор, которого много играли в театре Жимназ, взялся сделать ей предложение от имени Монтиньи.

— Я принес вам, — сказал Скриб юной Розе, — очаровательную и оригинальную роль.

— Драматическую?

— Надеюсь, что нет.

— Пьеса кончается свадьбой?

— Наоборот, со свадьбы она только начнется.

Директор и актриса составили образцовую чету.

Мягкая и сдержанная, Роза Шери оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике Жимназа. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя беспорядок, царивший в театре, поощрял свободу нравов. Артистическое фойе походило на неприбранную контору омнибусов с одним-единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи загромождали бархатный диван, стол и все углы. Монтиньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его.

За время репетиций между Монтиньи, Розой Шери и Дюма-сыном завязались прочные узы дружбы. Автор нашел обоих супругов столь

умными, надежными, справедливыми и добрыми, что Жимназ стал его «собственным» театром. Он способствовал созданию легенды, превратившей Розу Шери в святую покровительницу корпорации актеров. Монтиньи молил Дюма дать «Диане де Лис» счастливую развязку. Однако автор упрямо держался за выстрел из пистолета и сохранил его. Публика и критика были сбиты с толку; успех пьесы, хотя и значительный, не шел в сравнение с триумфом «Дамы с камелиями». Граф де Лис мог сколько угодно говорить: «Этот человек был любовником моей жены; я отомстил за себя; я убил его», — это свирепое правосудие ошеломяло.

Автор защищался от обвинений в том, будто он доказывал определенный тезис: «Разве искусство, в особенности театр, призвано очищать нравы трудящихся классов?.. Волнение, вызываемое зрелищем подлинной страсти, каков бы ни был ее характер, если только эта страсть говорит прекрасным языком, если она выражается пластическим движением, — такое волнение стоит больше, чем любые тирады... и оно совершенно по-другому воздействует на человека, заставляя его заглянуть в собственную душу, глубоко затрагивая самые глубины его существа...» До сих пор, в своих первых двух пьесах, он воспроизводил события собственной жизни. В пьесе «Полусвет», которая последовала за «Дианой де Лис», он описал среду, которую пристально наблюдал.

Это среда, в которой вращаются женщины, занимающие промежуточное положение между светскими дамами и куртизанками. Полусвет, по определению Дюма-сына, — это «не скопище куртизанок, а класс деклассированных». Когда позднее «дамами полусвета» стали называть женщин, сделавших любовь профессией, это слово потеряло смысл. Полусвет у Дюма — еще до некоторой степени свет. Там встречаются любовницы, которые не предъявляют счетов к немедленной уплате, ибо любовь здесь — добровольная. Но бесплатная ли? В основном — да, однако женщины, отвергнутые за неверность, молодые девушки «с пятном», составляющие полусвет, должны на что-то жить. Они ищут мужа-спасителя или же, если это необходимо, постоянного покровителя. «Этот свет начинается там, где кончается законный брак; он кончается там, где начинается продажная любовь. От порядочных женщин он отделен публичным скандалом, от куртизанок — деньгами...»

По отношению к несчастным созданиям, образующим полусвет и отделенным от так называемых светских женщин всего только барьером случая, Дюма-сын проявляет такую жестокость, которая вызывает возмущение. По его мнению, первейший долг — помешать порядочному человеку жениться на авантюристке. Долг столь настоящий, что для

исполнения его Вершитель Правосудия готов пойти на подлость. Чтобы вырвать своего друга Раймона де Нанжак, доверчивого и наивного любовника, из сетей баронессы д'Анж, Оливье де Жален (который здесь олицетворяет автора) не побрезгует никакими средствами. Он считает такую женщину ядовитой гадиной, ее надо безжалостно раздавить.

Оливье де Жален открывает собой блестящую плеяду резонеров в пьесах Дюма-сына. Это ясновидящие, прозревшие тайны сердца, воинствующие моралисты, раздражающие своим самодовольством, уверенностью в своей непогрешимости и присвоенным себе правом руководить совестью. На первый взгляд они кажутся скептиками и нигилистами; на самом же деле они защищают общепринятую мораль. Некоторые их черты есть уже у Поля Обри, однако Поль Обри еще сам участвует в игре. Оливье де Жален хочет быть вне игры и управлять ею.

В первой редакции пьесы он был еще более невыносим и догматичен. «Есть многое такое, чего человек моего возраста чаще всего не знает, но что я уже познал и оценил по достоинству. И, повторяю вам, это прежде всего любовь, как ее понимают в мире, где мы живем. Я признаюсь, что такую любовь — любовь, которую женщина ищет в браке, жажда которой заставляет ее опускаться до адюльтера, которая обрекает ее на повседневную ложь... признаюсь, что я не способен почувствовать такую любовь даже к вам, менее всего к вам... Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине...» Таким был в тридцать лет сам Дюма-сын, пресыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной; всецело занятый женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изображающий в театре героя, каким бы ему хотелось быть: д'Артаньяна, для которого любая авантюристка — Миледи.

«Полусвет» ужаснул Монтиньи своей «дерзостью», но вдохновил Розу Шери: она увидела в баронессе д'Анж выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр Ашиль Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для Французского театра, который он мечтал омолодить. Дюма, желая сохранить верность Жимназ, прибегнул к маленькой хитрости: он передал Фулю рукопись, вставив туда несколько крепких слов; сами по себе вполне безобидные, слова эти в то время считались неприемлемыми для сцены. Император и императрица приказали прочесть им пьесу; они вскрикивали от ужаса. Жимназ был спасен.

Во время репетиций Дюма восхищался чудесной интуицией, с какою добропорядочная Роза Шери, с лицом наивного и шаловливого ребенка,

угадывала и выражала чувства, казалось, ей совершенно неведомые; Оливье де Жален, несомненно, сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтиньи, то он был не способен отделить «госпожу Монтиньи» от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовал от актрисы ярких красок, Монтиньи сдерживал ее. За спиною мужа Роза делала Дюма знаки, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса приберегали для премьеры некоторые смелые эффекты, которые на репетициях могли бы испугать мужа. «Она заранее наслаждалась ими, как школьница — какой-нибудь проказой, и говорила: «Только бы патрон ни о чем не догадался!» Успех был ошеломляющий. Неожиданная развязка обеспечила триумф. Даже Дюма-отец был в восторге. Он только что вернулся в Париж и с приятной гордостью наслаждался успехом сына.

Моралист предполагает; случай и страсть располагают. В то время как Дюма-сын в своих пьесах присуждал адюльтер к смертной казни, сам он вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалась русская, на сей раз — княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавице Надежде Кнорринг, «сирене с зелеными глазами», было двадцать шесть лет, когда Дюма сделался ее любовником. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Этот неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперсницей и соучастницей Лидии Нессельроде. Так как она скучала под сенью икон, то без колебаний бросила все, чтобы открыто жить во Франции с молодым Александром Дюма. Однако, бежав из Москвы, она не забыла взять с собой ни свою дочь, Ольгу Нарышкину, ни фамильные драгоценности.

«Больше всего я люблю в ней то, — писал Дюма-сын Жорж Санд, — что она целиком и полностью женщина, от кончиков ногтей до глубины души... Это существо физически очень обольстительное — она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм. Все нравится мне в ней: ее душистая кожа, тигриные когти, длинные рыжеватые волосы и глаза цвета морской волны...» Было что-то опьяняющее в том, что в его власти оказалась эта «великосветская дама», готовая пожертвовать всем ради того, чтобы принадлежать ему. Если браком с Эвелиной Ганской Бальзак брал реванш у надменной маркизы де Кастри, то Надежда Нарышкина должна была искупить измену ветреной графини Нессельроде. Чтобы прочнее утвердить свою победу над русской знатью, Дюма-сын демонстрировал крайнее презрение к аристократии, владевшей необозримыми степями и

потерявшей счет золотым рублям. Это не уменьшало его нежной привязанности к «Великороссии» (Надежде) и «Малороссии» (Ольге) — так он называл их в письмах к Жорж Санд. «Мне доставляет удовольствие, — писал он владелице Ноана, — перевоспитывать это прекрасное создание, испорченное своей страной, своим воспитанием, своим окружением, своим кокетством и даже праздностью...» Пигмалион полагал, что изваял себе любовницу; позднее статуя отомстила скульптору.

«Я знаю ее не со вчерашнего дня, и борьба (ибо между двумя такими натурами, как я и она, это именно борьба) началась еще семь или восемь лет тому назад, но мне только два года назад удалось одолеть ее... Я изрядно вывалялся в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена навзничь. Последнее путешествие доконало ее...»

Поездки в Россию были для княгини неизбежны. Чтобы взять денег из своих личных доходов и получить новое разрешение на пребывание за границей, Надежда Нарышкина должна была раз в год ездить в Санкт-Петербург. Там один услужливый врач предписывал ей лечение в Пломбьере, объявляя русский климат «вредным для ее легких», и рекомендовал ей длительное пребывание на «юге Франции. Дюма-сын хотел жениться на своей иностранке, чтобы привести свое поведение в соответствие с собственными принципами, однако князь Нарышкин отказался дать ей развод. Царь, враждебно относившийся к открытому разрыву супружеских уз, требовал, чтобы среди аристократии браки были нерасторжимыми, а воспротивиться самодержцу — значило немедленно подвергнуться репрессиям. Развестись, сказал Нарышкин, значит лишить его дочь Ольгу части тех владений, коих она является единственной наследницей.

Замужняя любовница, мать семейства... Ничто не могло так противоречить идеям Дюма-сына, как его личная жизнь. Любовники страдали от сложившейся ситуации. Они скрывали свою любовь. В 1853 году мать княгини Ольга Беклешова, «проживающая в Москве, от имени своего мужа Ивана Кнорринга, российского статского советника», купила в Люшоне красивую виллу в английском георгианском стиле (ионические пилястры, треугольный фронтон). Этот дом, называвшийся тогда «Санта-Мария», известен по сей день под именем «виллы Нарышкиной». С 1853 по 1859 год можно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играют в мяч красивый молодой человек, красивая

девочка и женщина с глазами цвета морской волны.

Глава пятая

ПОЕЗДКА В РОССИЮ



После того как эпизод с «Мушкетером» завершился и газета перестала существовать, Дюма охватила охота к перемене мест. Он всегда любил путешествия и умел возвращаться домой с объемистыми рукописями. На сей раз его влекла к себе Россия.

Отношения Дюма-отца с Россией восходят ко времени его первых шагов в театре. С 1829 года в Петербурге с успехом шел «Генрих III и его двор». Великий актер Каратыгин играл роль герцога Гиза, его жена — герцогини Екатерины. Затем, после того как Каратыгин перевел на русский язык «Антони», «Ричарда Дарлингтона», «Терезу» и «Кина», драматургия Дюма произвела в России настоящую литературную революцию. Чтобы увидеть пьесы Дюма, в театры повалила знать. Позднее Гоголь — по соображениям эстетическим — и официальная критика — по соображениям политическим — холодно отозвались о Дюма. Все эти недовольные (Антони, Кин), объявлявшие войну обществу, противники брака, тревожили официальные круги. Однако демократы — Белинский, Герцен — приняли Дюма всерьез и восторженно хвалили его.

В 1839 году Дюма пришла в голову мысль преподнести Николаю I, императору всея Руси, рукопись одной из своих пьес, «Алхимик», в нарядном переплете. И вот почему: художник Орас Вернэ незадолго до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя

орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру, графу Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в тот момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством, — писал агент, — будет лучше виден на груди Дюма, чем на груди любого другого французского писателя». Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грудь.

Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью: «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена Почетного легиона и ордена Изабеллы Католической», Это была вызывающая просьба. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее государя, то я, со своей стороны, полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени...» На полях докладной император Николай написал карандашом: «Довольно будет перстня с вензелем».

Довольно будет? Кому? Уж никак не Дюма. Но дело было в том, что царь питал инстинктивное отвращение к романтической драме. Как-то раз он сказал актеру Каратыгину: «Я бы чаще ездил тебя смотреть, если бы не играли вы таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарезал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене?» Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня с вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно, посвятил «Алхимику» не царю, а Иде Ферье (тогда еще фаворитке) и вскоре напечатал в «Ревю де Пари» роман «Записки учителя фехтования», который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов — гвардейского офицера Анненкова и его жены^[145], юной французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. (В романе они выведены под вымышленными именами.) Рассказ велся от лица учителя фехтования Гризье, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в

России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица.

Таким образом, при жизни Николая I Дюма был в России *persona non grata*^[146]. Он не отдавал себе в этом отчета, и, когда в 1845 году его друзья Каратыгины приехали в Париж, он снова выразил желание увидеть Россию и быть представленным императору. Каратыгины поспешили отговорить его, и в течение нескольких лет он больше об этом не думал. Позднее, в 1851 году, любовные связи его сына, влюбившегося подряд в двух русских знатных дам — графиню Нессельроде и княгиню Нарышкину, снова напомнили ему о России.

Эти связи усилили искреннюю и глубокую симпатию Дюма к русским. Они были ему по душе. Мужчины-великаны пили горькую, женщины слыли самыми красивыми в Европе. История страны изобиловала борьбой страстей и кровавыми драмами, мало известными во Франции (где только Проспер Мериме, у которого был небольшой круг читателей, познакомил публику с некоторыми из них). Сочетание, заманчивое для Дюма как человека и как писателя.

И когда в 1858 году случай свел его в гостинице «Три императора» на Луврской площади с графом Кушелевым-Безбородко и его семьей, которые путешествовали по Европе, имея на два миллиона векселей на все банкирские дома Ротшильда в Вене, Неаполе и Париже, он увязался за ними следом. Кушелевы-Безбородко уже насчитывали в своей свите одного *illustrissime*^[147] — итальянского маэстро и одного шведского спирита — Дэниела Денгласа Юма (того самого медиума, которого любила Элизабет Баррет Броунинг), с детства обладавшего даром ясновидения и способностью заклинать духов. Они поспешили присоединить к этой свите такого знаменитого и занятого француза, как Дюма.

— Мосье Дюма, — заявила графиня, — вы поедете с нами в Санкт-Петербург.

— Но это невозможно, мадам... Тем более что если бы я и поехал в Россию, то не только для того, чтобы увидеть Санкт-Петербург. Я хотел бы также побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Севастополе и возвратиться домой по Дунаю.

— Какое чудесное совпадение! — заявила графиня. — У меня есть имение под Москвой, у графа — земли под Нижним, степи под Казанью, рыбные тони на Каспийском море и загородный дом в Изаче...

Это способно было вскружить голову путешественнику, который всегда держался в Париже только на волоске — да и то на женском.

Поскольку Николай I сменил Александр II, стало легче получить визу. Дюма-отец согласился. Через несколько дней поезд увез его в Кельн, Берлин и Штеттин, а оттуда на пароходе он поплыл в Санкт-Петербург. В дороге, читая книги и слушая рассказы своих спутников, он познакомился с историей Романовых, настолько трагической и скандальной, что лучшего нельзя было и желать.

Наконец пароход вошел в устье Невы. Дюма высадился на берег. Его привели в восхищение дрожки, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие «паштет из гусиной печени», и ромбовидные медные бляхи, висевшие у них на спине. Он познакомился с мостовой Санкт-Петербурга, которая в те времена за три года выводила из строя самые прочные экипажи. Вместе с графом и графиней он присутствовал в большой гостиной их дома на «молебствии по случаю благополучного возвращения», которое служил домашний поп. Хозяева Дюма были более Монте-Кристо, чем он сам. Их парк имел в окружности три мили. У них было две тысячи крепостных.

Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву, где его принял у себя граф Нарышкин, у которого была подруга — француженка Женни Фалькон, «грациозная фея», сестра знаменитой певицы Корнелии Фалькон. Дюма настойчиво ухаживал за своей хозяйкой. «Я целую вам только руку, завидуя тому, кто целует все то, чего не целую я». Пятьдесят лет спустя Женни Фалькон, которой было тогда уже восемьдесят, проговорила, что не устояла перед пылкими домогательствами Мушкетера.

Дюма пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Обещание было выполнено. В излучине Волги Дюма увидел, как река внезапно исчезла, — на ее месте вырос лес расцвеченных флагами мачт. На пристани стоял оглушительный гомон двухсот тысяч голосов. «Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишачем на берегах реки, — это вид улицы Риволи в день фейерверка, когда добрые парижские буржуа возвращаются восвояси...»

Александр Дюма сразу стал нижегородским львом. Генерал-губернатор Александр Муравьев представил его графу и графине Анненковым, которых Дюма, никогда не видев в глаза, сделал героями своего романа «Записки учителя фехтования», опубликованного в 1840 году. Супруги Анненковы были помилованы Александром II; они с распростертыми объятиями приняли человека, превратившего их в персонажей романа.

Самое большое счастье за время этого путешествия доставило Дюма открытие, что образованные русские знают Ламартина, Виктора Гюго,

Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась «Графом Монте-Кристо». Всюду и везде именитые князья, губернаторы провинций, предводители дворянства и помещики оказывали ему теплый прием. Чиновники величали его генералом, так как на шее у него всегда болтался по меньшей мере один орден. Он давал русским — и, в свою очередь, получал от них — уроки кулинарии, учился готовить стерлядь и осетрину, варить варенье из роз с медом и с корицей. Он оценил шашлык (ломтики баранины на вертеле, поджаренные на углях, после того как их сутки вымачивали в уксусе, с мелко нарезанным луком), но водка ему не понравилась.

Дюма-отец — Дюма-сыну: «Дорогой мой сын! Твое письмо догнало меня в Астрахани. Локруа сказал: *«Из Астрахани не возвращаются»*. Был момент, когда я подумал, что Локруа — пророк из пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Но успокойся, завтра я отправляюсь в путь.

Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России — не пожалеешь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить. На пути из Москвы в Бородино ты увидишь две скрещенные сабли. Так знай же, что здесь произошла знаменитая битва 1812 года. Из Бородина — в Москву, из Москвы — в Троицу. Ты найдешь Троицу, поднявшись на север. Возле озера, изобилующего сельдью. Ты ведь знаешь, что я люблю селедку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею.

Из Переславля — в Апатино (не ищи — не найдешь). Это имение в тридцать тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. Из Апатина — в Калязин (ты найдешь Калязин на «матушке» Волге, как говорят русские, они еще не настолько хорошо говорят по-французски, чтобы знать, что по-нашему Волга — мужского рода). Из Калязина в Кострому (смотреть «Лжедмитрия» Мериме; до самой Костромы — по Волге). Из Костромы — в Нижний Новгород: здесь — ярмарка из ярмарок, целый город, состоящий из шести тысяч ларьков, к тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу.

Из Нижнего, где я встретил Анненкова и Луизу — двух

героев «Учителя фехтования», возвратившихся в Россию после тридцатилетнего пребывания в Сибири... в Казань, неизменно вниз по «матушке» или по «батюшке» Волге. Затем — в Камышин. В Камышине — внимание! — я отправляюсь к киргизам... Найди на карте озеро, вернее — три озера; первое из них — озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином Беклемишевым, атаманом астраханских казаков. Из Астрахани привезли солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят... Хвост нам подали отдельно — он весил четырнадцать фунтов. За десертом Беклемишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь.

От озера Эльтон следуй за мной на озеро Баскунчак. Это очень красивое озеро, имеющее две мили в окружности. Когда мы объехали вокруг этого озера, меня спросили, не хочу ли я увидеть еще одно озеро, третье по счету. Но в тот момент я был по горло сыт водой и степью. Я снова поплыл по Волге и прибыл в Царицын. Ты найдешь Царицын на том месте, где Волга близко сходится с Доном. Там я сел на судно, которое доставило меня в Астрахань.

Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспия, где в таком же изобилии водятся дикие гуси, утки, пеликаны и тюлени, как на Сене — лягушки и каменки. Возвратясь, я нашел у себя приглашение от князя Тюмена. Это в некотором роде калмыцкий царь; у него пятьдесят тысяч лошадей, тридцать тысяч верблюдов и десять тысяч баранов, а сверх того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами; говорит она только по-калмыцки. Она принесла в приданое мужу полторы тысячи шатров — у него их было десять тысяч — со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого, кроме пятидесяти тысяч лошадей, тридцати тысяч верблюдов, десяти тысяч баранов и одиннадцати тысяч шатров, имеется двести семьдесят священников, из коих одни играют на цимбалах, другие — на кларнетах, третьи — на морских раковинах, четвертые — на трубах длиною в двенадцать футов, — прежде всего устроил нам в своей пагоде *Te Deum*^[148], огромное достоинство которого заключалось в его краткости. Еще пять минут — и я вернулся бы к тебе, лишенный одного из

своих пяти чувств.

После Те Деум он дал, ей-богу, отличнейший завтрак; главным блюдом была лошадиная ляжка. Если увидишь Сент-Илера, передай ему, что я присоединяюсь к его мнению, будто в сравнении с кониной говядина — та же телятина. Я говорю телятина, ибо я полагаю, что из всех сортов мяса ты более всего презираешь телятину. После завтрака для нас устроили скачки, в которых участвовало сто пятьдесят лошадей с юными калмыками обоего пола в качестве наездников... В этих скачках приняли участие четыре придворные дамы-княгини... Приз, состоявший из молодого коня и коломьянкового халата, получил тринадцатилетний мальчишка..

После этого нам показали скачки шестидесяти верблюдов, на которых без седла сидели калмыки в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет — один безобразнее другого. Если бы приз присуждался не за скачки, а за уродство, князю пришлось бы наградить их всех.

После этого мы переправились на другой берег Волги, которая перед дворцом князя Тюмена имеет не более полумили в ширину, и увидели табун диких лошадей в четыре тысячи голов... Князь извинился, что не может показать мне больше: его только накануне предупредили о моем приезде, и это все, что удалось согнать за ночь. Тут началось изумительное зрелище: ловля диких лошадей с помощью лассо. Неоседланные кони с всадниками-калмыками мчались прямо в Волгу. Десять, двадцать, пятьдесят лошадей бесновались в воде, катались по песку, лягались, кусались, ржали; целый шквал всадников; кто его не видел, не может даже представить себе этой картины.

Мы снова переплыли Волгу и приняли участие в соколиной охоте на лебедей. Все это — охота, костюмы князя, княгини и ее придворных дам — производило какое-то средневековое впечатление и привело бы тебя в совершеннейший восторг, хоть ты и поклонник современности. Потом сели за стол. Начали с куриного бульона, который живо напомнил мне наши ужины в Сент-Ассизе; будь он сварен из ворона, сходство было бы полное. Остальные блюда за исключением лошадиной головы, начиненной черепахами, были заимствованы из европейской кухни. Одновременно с нами триста калмыков поедали во дворе мелко нарезанную сырую конину с луком, мясо двух коров и

десять жареных баранов. Мне не довелось видеть свадебного пира Гамачо, но теперь, побывав на празднестве у князя Тюмена, я не жалею об этом.

Поверишь ли ты, что я ел сырую конину с зеленым луком и нашел ее необыкновенно вкусной? Не скажу этого о кумысе. Фу!!! Легли поздно; вечером пили чай в шатре у княгини. У меня в саду мы будем пить чай в совершенно таком же шатре. Поскольку я был героем праздника, меня обрядили в шубу из черного каракуля. Два калмыка изо всех сил затянули на мне серебряный пояс, и талия у меня сделалась, как у Анны. Наконец, мне вложили в руки хлыст, которым князь Тюмен одним махом убивает волка, ударив его по носу. Ты увидишь все это. Я одолжу тебе хлыст, чтобы прикончить Рускони, если он еще не помер.

Легли спать (о, это не такое простое дело!). Знаешь ли, с тех пор как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраца. Кровать здесь — совершенно неизвестный предмет обстановки, и я видел кровати только в те дни, вернее — ночи, которые проводил с французами. Но имеются спальни с прекрасным паркетом, и со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо спится. Я предпочитаю всем другим сосновый, несмотря на то, что он вызывает не слишком веселые мысли.

На другое утро каждому из нас принесли *прямо в постель* большую чашку верблюжьего молока. Я проглотил его, вручив себя Будде. Скажу тебе по секрету, что Будда — ненадежный бог, и если бы его алтарь находился на открытом воздухе, я воздал бы ему должное. Наконец после завтрака я распрощался с князем Тюменом, потерявшись своим носом о его нос, что означает по-калмыцки: «Твой навсегда», — распрощался также и с княгиней, прочитав ей следующий экспромт:

Для царства каждого бог начертал границы;
Там высится гора, а здесь река струится;
Но был всевышний к вам исполнен доброты:
Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилье
И трав и воздуха. Вы царство получили,
Достойное и вас и вашей красоты.

Сам понимаешь, что, когда эти стихи были переведены на

калмыцкий, сестра княгини, Груша (по-нашему — Агриппина), захотела, в свою очередь, получить мадригал. Я тотчас же отчеканил ей следующее:

Распоряжается господь судьбою каждой:
В глуши вы родились, мир одарив однажды
Улыбкой неземной и взором колдовским.
Так стали обладать пески счастливой Волги
Одной жемчужиной, а степь — цветком одним.

Все это вознаграждалось улыбками, которые ничуть не стали хуже оттого, что сияли не в Париже. Однако, как сказал своим собакам король Дагобер ^[149], и с самой лучшей компанией рано или поздно приходится расстаться. Пришлось расстаться с калмыцким князем, сестрой калмычкой, с калмыцкими придворными дамами... Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами.

Как я сожалел об этом!...»

Дюма никогда не отличался точностью, однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и такой убежденностью, что все верили, и прежде других — сам рассказчик.

Радость возвращения очень скоро остыла. Париж разочаровал Дюма. Навестившая его в эти дни Селеста Могадор, бывшая танцовщица из «Балов Мабий», а в прошлом — наездница в цирке Франкони, ставшая благодаря капризу одного знатного сынка графиней де Шабрийян, застала его печальным. «Денежные затруднения метра, — пишет она, — угадывались по разбитым стеклам на картинах, по высохшим и запыленным растениям, по грустно раскачивавшимся насестам, где уже не было разноцветных птиц...»

— Это ты, неверная? — спросил Дюма. Она протянула ему руку. Он обнял ее.

— Я пожимаю руку только мужчинам, — заявил он.

У него был как раз Александр Дюма-сын. Он совсем не понравился госте — она нашла его язвительным, ей показалось, что он твердо намерен удержать отца от всякой новой привязанности. Однако ловкой Селесте удалось впоследствии стать подругой обоих Дюма. Она предпочитала отца, которого находила более «добрым и порывистым». Дюма-отец учил ее, как обеспечить себе душевный покой: лучше быть снисходительным и великодушным, говоря себе: «Я болван», — чем, выкрикивая: «Mea culpa!»^[150], — бить себя в грудь и твердить: «Я негодяй, подлец!» Она пришла показать ему свой роман «Эмигранты и ссыльные» и спросить, не согласится ли он отредактировать рукопись, поставить свое имя и разделить с нею гонорар.

— Нет, — ответил он, — я проделываю это только с новичками. Кроме того, ты поступила бы лучше, взявшись за драму. В романах приходится делать отступления, это необходимо, но очень скучно... Гораздо легче сочинять для театра... Не надо рисовать пейзажи и портреты, не надо описывать наряды... Для этого существуют декораторы...

Тут же он предложил записать ее в качестве стажера в Ассоциацию драматических писателей, он даже согласился похлопотать за нее. Это было с его стороны большой любезностью: он терпеть не мог выезжать с официальными визитами и повязывать шею широким галстуком из черного шелка. Спускаясь вместе с ним по Амстердамской улице (Дюма нанял там небольшой особняк, который существует по сей день под № 77), Селеста отметила, что многие прохожие узнают седую курчавую гриву и почтительно приветствуют папашу Дюма.

— Как все эти люди рады вас видеть! — сказала она.

— Они приветствуют меня, — галантно ответил Дюма, — но восхищаются тобою.

На углу улицы Сен-Лазар он хотел нанять фиакр, Кучер оглядел пузатого великана, мысленно прикинул его вес и отказался «погрузить», опасаясь сломать рессоры своей колымаги. В это время мимо проходил один из друзей Дюма; он остановился и воскликнул:

— О, это вы, Дюма! А я как раз шел к вам!

Услыхав знаменитое имя, кучер просиял.

— А! Вы господин Дюма? Господин Александр Дюма? Садитесь! Я отвезу вас, куда вы пожелаете.

Селеста Могадор подметила, что великий человек не безразличен к

таким маленьким изъявлениям народной любви. Они его глубоко трогали и заглушали его внутреннюю тревогу. Светское общество Второй империи относилось к нему не столь благосклонно, как общество времен Луи-Филиппа. Принцесса Матильда заявляла теперь, «что он стал совершенно невыносим, что она всегда приглашала его к себе только как *скомороха*». Герцог Орлеанский и герцог Монпансье были более деликатны в своих речах и чувствах.

Глава шестая

ОТЕЦ СВОЕГО ОТЦА

Я знаю драматурга, чьи недостатки и достоинства почти в точности повторяет Дюма-сын, — это Дюма-отец.

ЛЕОН БЛЮМ



К 1859 году оба Дюма — отец и сын — были одинаково знамениты. Они походили друг на друга чертами лица, шириной плеч, тщеславием. Но во всем остальном они были очень несхожи и подчас даже осуждали друг друга. «Я черпаю свои сюжеты в мечтах, — говорил Дюма-отец, — а мой сын находит их в действительности. Я работаю с закрытыми глазами — он с открытыми. Я рисую — он фотографирует. — И он прибавлял: — Александр не сочиняет свои пьесы, а разыгрывает их словно по нотам: перед глазами у него сплошные нотные линейки». Отец создал великолепные образы Вершителей Правосудия, но его совсем не трогало то, что сам он отнюдь не праведник; сын даже в жизни играл роль великодушного Атоса.

Они нередко ссорились. Сын упрекал отца, что тот плохо воспитал его: «Само собой разумеется, я делал то же, что на моих глазах делал ты; я жил так, как ты научил меня жить». Он порицал отца — человека более чем зрелого — за долги и бесчисленные любовные связи. Иногда Александр

Второй адресовал Александру Первому поистине отцовские упреки. В таких случаях седеющий старый сатир сокрушенно опускал голову, а вечером отец являлся к сыну с дарами — с роскошными яблоками, подобно тому, как некогда явился с дыней к Катрине Лабе, чтобы вымолить у нее прощение.

Дюма-сын черпал в своих отношениях с Дюма-отцом сюжеты для пьес. Пьесы «Внебрачный сын» (1858 г.) и «Блудный отец» (1859 г.) автобиографичны в той мере, в какой это возможно для произведения искусства, то есть со значительными поправками. Дюма-отец аплодировал. Он знал, что сын любит его. Да сын и сам говорил об этом: «Ты стал Дюма-отцом для людей почтительных, папашей Дюма — для наглецов, и среди всевозможных выкриков ты порою мог расслышать слова: «Право же, сын куда талантливей, чем он сам». Как должен был ты смеяться!

Однако нет! Ты был горд, ты был счастлив, как всякий отец; ты хотел только одного — верить в то, что тебе говорили, и, быть может, верил. Дорогой великий человек, наивный и добрый, ты поделился со мной своей славой, так же как делился деньгами, когда я был юн и ленив. Я счастлив, что, наконец, мне представился случай публично склониться перед тобой, воздать тебе почести на виду у всех и со всей сыновней любовью прижать тебя к груди перед лицом будущего...»

Забыв всю свою злость и все обиды, Дюма-сын видел в отце своего лучшего друга, своего учителя и даже ученика. Ибо старый писатель, живое чудо, переживал обновление. Подобно тому как сын глубоко изучил структуру отцовских драм, так и отец под влиянием сына все больше склонялся к реализму. Он отказался от своих королей и герцогинь ради буржуа и маленьких людей. «Мраморных дел мастер» — пьеса бытовая и простая; «Граф Германн» — это «Монте-Кристо» без мести, без тирад. У отца и сына была «семейная жилка», на которой держались их драмы и комедии. Оба — а в особенности сын — считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Гюстава Флобера: «Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя «Бовари» стала «Дамой с камелиями». Вот те на!..» Гюго после смерти Дюма-отца сравнивал двух Дюма: «Отец был гений, — сказал он, — и у него было даже больше гениальности, чем таланта. В его воображении рождалось множество событий, которые он вперемешку бросал в печь. Что выходило оттуда — бронза или золото? Он никогда не задавался этим вопросом. Пыл его тропической натуры не остывал оттого, что он расточал его на свои удивительные произведения; он испытывал потребность любить, отдавать себя, и успех его друзей был его успехом».

«А Дюма-сын?» — спросили Гюго. «Тот совсем другой... Отец и сын находятся на разных полюсах. Дюма-сын — это талант, у него столько таланта, сколько его может быть у человека, но ничего, кроме таланта».

Такие же чувства примерно в 1859 году выразила графиня Даш. Вот что она сказала про Дюма-отца:

«На Дюма можно досадовать только издали. Являешься к нему в совершенно праведном гневе, исполнившись вражды; но, увидев его добрую и умную улыбку, его сверкающие глаза, его дружелюбно протянутую руку, сразу забываешь свои обиды; через некоторое время спохватываешься, что их надо высказать; стараешься не поддаваться его обаянию, почти что боишься его — до такой степени оно смахивает на тиранию. Идешь на компромисс с собой — решаешь выложить ему все, как только он кончит рассказывать.

Он в одно и то же время *искренен и скрытен*. Он не фальшив, он лжет, подчас и не замечая этого. Он начинает с того, что лжет (как мы все) по необходимости, из лести, рассказывает какую-нибудь апокрифическую историю. Через неделю эта ложь, эта выдуманная история становится для него правдой. Он уже не лжет, он верит тому, что говорит, он убедил себя в этом и убеждает других...

Чему никто не захочет поверить и что тем не менее истинная правда — это баснословное постоянство великого романиста в любви. Заметьте — я не говорю *верность*. Он установил коренное различие между этими двумя словами, которые, по его мнению, не более схожи между собой, чем определяемые ими понятия. *Он никогда не способен был бросить женщину*. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой. Никто так не держится за свои привычки, как он... Он очень мягок, и им очень легко руководить, он нисколько не возражает против этого.

Дюма искренне восхищается другими: когда заходит речь о Викторе Гюго, его физиономия оживляется, он счастлив, превознося Гюго, он крепко сцепился бы с теми, кто стал бы ему перечить. И это не наиграно — это правда. Он и себя ставит в тот же первый ряд, но хочет, чтобы и Гюго непременно стоял бок о бок с ним. Он испытывает потребность разделить с Гюго фимиам,

воскуряемый им обоим. Гюго и некоторые другие составляют частицу его славы, без них она показалась бы ему неполной...»

А о Дюма-сыне та же писательница заметила:

«Дети кондитеров и пирожников не бывают лакомками. Сын Александра Дюма, банкира всех тех, кто никогда не отдает долгов, не мог бросать на ветер ни своих экую, ни своей дружбы. Крайняя сдержанность Александра — следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него — фонарь, горящий на краю пропасти.

Дюма-сын прежде всего — *человек долга*. Он выполняет его во всем... Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма-отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей.

Его юность — я едва не сказала: его отрочество — была бурной... Он остепенился с того момента, как к нему пришел успех. *Он стал зрелым человеком за одни сутки*, в свете ramпы, под гром аплодисментов. Теперь это человек рассудительный и рассуждающий; подсчитывающий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, изучающий людей и вещи, остерегающийся всяких неожиданностей и увлечений и опасющийся привычек, даже если они приятны и сладостны.

Он человек чести. Он выполняет свои обещания... Он серьезен, положителен; он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготавливает свое будущее. Его мечта — жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое...

Он недоверчив. Он весьма невысокого мнения о роде человеческом. Он доискивается до причин всего, что видит... Ирония его глубока; он не насмехается — он жалит. У него есть друзья, которые любят его сильнее, чем он любит их. Его профессия — *разочарование*, горький плод опыта...

Неизменный предмет его нападков — страсть, как ее понимали двадцать пять лет тому назад. Женщины непонятые и неистовые не вызывают у него никакого сочувствия. Он готов сказать им, когда они плачут: «Что вы этим хотите доказать?»

Отец и сын были блистательными собеседниками, но разного стиля. Дюма-отец, говоря, сочинял, как бы набрасывал главу из романа.

«Я слышал, — вспоминает доктор Меньер, — как Александр Дюма рассказывал о Ватерлоо генералам, которые были в сражении. Он говорил без умолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял сказанные там героические слова. Одному из генералов удалось, наконец, перебить его:

— Но все это не так, дорогой мой, ведь мы там были, мы...

— Значит, мой генерал, вы там решительно ничего не видели...»

Дюма-сын, не столь многословный, достигал того же эффекта своими едкими, нередко — блестящими остротами.

Дневник Гонкуров, 20 мая 1868 года.

«Сегодня вечером у принцессы мы впервые услышали остроты Дюма-сына. Остроумие у него грубое, но неиссякаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не заботясь о вежливости, его апломб граничит с наглостью и обеспечивает его словам неизменный успех, и ко всему примешивается жестокая горечь... Однако бесспорно, что остроумие у него самобытное, жальщее, колющее, живое, на мой взгляд, оно выше сортом, чем то, которым насыщены его пьесы, благодаря краткости и отточенности, отличающим его только что родившиеся остроты...

Он защищал тезис, что у всех без исключения людей все чувства и впечатления зависят от состояния желудка — хорошего или плохого; в подтверждение он рассказал об одном из своих друзей, которого он привел к себе обедать в день смерти жены этого человека, горячо любимой жены. Он положил ему кусок мяса, но гость вдруг протянул свою тарелку и с нежной мольбой в голосе сказал.

— Дайте, пожалуйста, кусочек пожирнее!

— Что поделаешь, желудок! — добавляет Дюма. — У него был великолепный желудок, он не мог испытывать сильную скорбь... Вот и Маршаль... Маршаль при его желудке никогда не умел огорчаться...»

Частная жизнь Дюма с зеленоглазой княгиней была нелегкой. Но он по-прежнему восхищался «русскими дамами, которых Прометей, должно быть, сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера... женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе — азиаток и европейнок, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени... эксцентрическими существами, которые говорят на всех языках... охотятся на медведей, питаются одними конфетами, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе... самками с низким певучим голосом, суеверными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самобытность почвы, которая их взрастила, неизгладима, она не поддается ни анализу, ни подражанию...»

Эпоха накладывает свою печать на характеры. Дюма-отец поднялся на подмостки в те дни, когда фортуна щедро раздавала дары. Скучающий Париж 1828 года завоевать было легко. Только-только минули времена, когда солдат за четыре года становился генералом. Люди торопились все увидеть и всем овладеть. Всякая экстравагантность была по вкусу, ибо действительность превосходила самую смелую фантазию. Дюма-отец, бесшабашная богема, сочетавший в себе патетику и юмор, невзначай стал драматургом. Сын лелеял другой честолюбивый замысел: он хотел заставить людей отказаться от укоренившегося мнения, что Дюма — это несерьезно, и убедить их, что драматург может быть порядочным человеком в классическом смысле этого слова. Он стал защитником того, чего ему более всего не доставало, — семьи; безжалостным противником всего, что его оскорбляло, — прожигателей жизни, куртизанок, адюльтера.

К тому же все больше страданий причиняли ему скандальные выходки отца. В 1858 году разыгрался тягостный процесс, в котором противниками выступали Дюма и его бывший соавтор Маке. За десять лет до того Маке дал Дюма нечто вроде дарственной на все прежние произведения, но лишь в виде аванса за будущее сотрудничество, которого Дюма не продолжал. Дюма-отец, содержащий целый гарем и кормивший десяток бывших и настоящих любовниц, растратил вместе со своей долей авторского гонорара и то, что причиталось Маке — расчетливому буржуа, который довольствовался одной любовницей (замужней женщиной, отбитой им у мужа), был ей верен и прятал ее в деревне, чтобы не скомпрометировать. Отчаявшись, он в конце концов начал процесс против Дюма, требуя, чтобы тот признал за ним авторство «Трех мушкетеров», «Графини де Монсоро», «Графа Монте-Кристо» и всех других романов.

Многие взяли его сторону. Бывший, главный редактор газеты «Ле

Сьекль» Шарль Матарель де Фьенн писал ему:

22 января 1858 года: «Дорогой господин Маке! Пишу несколько строк, чтобы сообщить Вам, что я только что прочел отчет о Вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году «Ле Сьекль» публиковал «Виконта де Бражелона». Как-то раз в шесть часов вечера мне сообщили, что фельетон (за ним поехали в Сен-Жермен, к Александру Дюма) утерян! Но «Сьекль» не мог выйти без фельетона... я знал обоих авторов: один жил в Сен-Жермене, другой в Париже; я отправился к тому, кто был рядом. Вы как раз собирались сесть за стол. Вы были столь добры, что не стали обедать и устроились в кабинете дирекции. Я как сейчас вижу Вас за работой: Вы писали, отпивая попеременно то бульон из чашки, то бордо, которое редакция уделила Вам из своих запасов. С семи часов до полуночи ко мне непрерывно поступал лист за листом. Каждые четверть часа я передавал их наборщику. В час ночи вышла газета, где была глава из «Бражелона». На следующий день мне принесли сен-жерменскую рукопись — она была найдена на дороге. Разница между текстом Маке и текстом Дюма составила не более *тридцати слов* — на все пятьсот строк, которые насчитывал отрывок!

Такова правда. Делайте с этим заявлением все, что Вам угодно. На тот случай, если мои воспоминания будут сочтены неточными, я просил заведующего редакцией, мастера наборного цеха и корректора засвидетельствовать факты...»

Заявление Фьенна сочли недоказательным, и Маке проиграл процесс. Но переговоры между соавторами продолжались. Эти два человека нуждались друг в друге. Безупречный Ноэль Парфэ сделал попытку вмешаться.

Ноэль Парфэ — Дюма-отцу, 6 октября 1850 года: «Я твердо, искренне верю в то, что, советуя тебе вновь сойтись с Маке, даю хороший совет — никто из людей, любящих тебя, не осудит меня за это... Скажи только слово — и дело будет сделано, я на это надеюсь. Кому, как не тебе, пристало уступить добродушному побуждению? Я был бы несказанно удивлен — ведь я хорошо знаю тебя — тем, что ты ведешь процесс против Маке, если бы не

подозревал причину в твоём дурном окружении. Вырвись, наконец, из когтей деловых людей, стань опять самим собой, то есть добрым, превосходным Дюма, готовым открыть свое сердце даже тому, кто, быть может, не сразу его распознал...»

Дюма-отец было согласился, но потом одумался.

Дюма-отец — Дюма-сыну, Неаполь, 29 декабря 1860 года:
«Маке — человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего.

Маке по договоренности получал за меня гонорар и должен был его тут же мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть денег за «Гамлета»^[151], в создании которого он никогда не участвовал, и две трети денег за «Мушкетеров», он присвоил все. В моих глазах он — вор.

Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами».

Ноэлю Парфэ Дюма написал как раз обратное:

«Покажи Маке твое письмо и скажи ему, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение...»

Все эти грязные тяжбы претили Дюма-сыну. Приданое, обещанное отцом его сестре (120 тысяч франков), так и не было выплачено, и это ставило в очень трудное положение Мари, которая жила в Шатору, у своей свекрови, госпожи Петель, — та с утра до вечера попрекала невестку бедностью. Поскольку Дюма-отец всегда пребывал в путешествиях или в нежном уединении с какой-нибудь юной девицей, Дюма-сыну приходилось вести за него процессы, утихомиривать журналистов. Иногда он роптал. Санд успокаивала его.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 10 марта 1862 года:
«Поверьте, что избытком таланта папаша Дюма обязан лишь той

расточительности, с какою он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений; человека, олицетворяющего собой драму, — не думаете ли Вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни. Право же, Вам не удастся изменить его, и на Вас ляжет бремя двойной славы — его и Вашей: Вашей — со всеми ее плодами, его — со всеми шипами. Что поделаешь! Он передал Вам свое большее дарование и потому считает себя в расчете с Вами... Это жестоко, да и трудно — волей-неволей становиться иногда отцом своего отца...»

Как было не питать глубокую привязанность к этому великолепному человеку? С массивной золотой цепью на белом пикейном жилете, подпираемом огромным животом, он сидел в театре и рукоплескал «Блудному отцу»; когда публика вызывала автора, он стоя аплодировал сыну и своим радостным гордым видом словно говорил всем: «Знаете, ведь эту пьесу написал мой мальчик!»

Мальчик, в свою очередь, восхищался отцом, обожал его: «Он такой, какой есть, не осознавая себя. По этому узнается настоящий самобытный гений». Того, что отец расточителен и беспутен — увы! — нельзя было отрицать. Но сын не сомневался в том, что это лучший из людей, а из писателей — самый великодушный в наиболее полном смысле этого прекрасного слова. И в хорошие дни его жизни это делало его счастливым.

Часть восьмая

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Всякая роскошь укорачивает жизнь.

АЛЕН



Глава первая В КОТОРОЙ ДЮМА-ОТЕЦ ЗАВОЕВЫВАЕТ ЭМИЛИЮ И ИТАЛИЮ



Начиная с 1860 года Дюма-отец снова лелеял мечту покинуть Париж и Францию. Из каждого своего путешествия он привозил огромный ворох «Впечатлений», которые без труда заполняли от четырех до шести томов. Приключения развлекали и обогащали его. Двойная выгода. Сочинители эпиграмм высмеивали путешественника:

Дюма скитается по свету,
Чтоб путевые впечатленья
Весьма подробно описать.
Народ — в восторге! И за это
Хотел бы он без промедленья
Подальше автора послать.

У расточительного Дюма был тогда — о чудо! — текущий счет. Он только что заключил с издателем Мишелем Леви договор на все свои произведения, согласно которому ему причитался аванс в сто двадцать тысяч франков золотом. Любой другой на его месте остался бы богачом до конца своих дней. Но для Дюма такая туго набитая мошна была соблазном.

Как бы опустошить ее? Нет ничего проще. Почему бы и ему не совершить, подобно Ламартину и Шатобриану, путешествие на Восток? Это позволило бы ему удовлетворить давнишнее любопытство и увезти подальше от Парижа любимую женщину.

И на сей раз его избранницей была актриса — белокурая и хрупкая Эмилия Кордье. Ее отец мастерил деревянные бадейки для водоносов. В детстве она часто хворала и, лежа в постели, зачитывалась книгами Виктора Гюго, Бальзака, а в особенности Дюма-отца, которого обожала. Когда она немного окрепла, родители отдали ее в ученье, сначала к белошвейке, а затем — на Центральный рынок. Но Эмилия страстно мечтала поступить в театр. В 1858 году приятельница ее матери привела Эмилию к Дюма в надежде, что он даст ей какую-нибудь маленькую роль. Путешественник уезжал тогда в Россию, но он не забыл красивую девушку и по возвращении, в 1859 году, написал ей, приглашая зайти к нему в его маленький обветшалый особняк на Амстердамской улице, 77. Эмилия пришла и осталась. Ей было тогда девятнадцать лет, Дюма — пятьдесят семь. Вскоре она обнаружила пыл вакханки, и это привязало к ней Дюма — ненасытного любовника. К несчастью, ее артистический темперамент значительно уступал ее темпераменту любовницы.

Дюма, как всегда, наивно полагал, что его дочь (чей брак оказался неудачным) станет подругой его любовницы; однако Мари Петель, верная своей методе, все путала, якобы по ошибке, посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, роняла в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяла разлад. Надо было уезжать.

Весною 1860 года Дюма, построивший себе в Марселе небольшую шхуну «Эмма» (обыкновенную лодку с палубой), сел на нее в обществе Эдуара Локруа, Ноэля Парфэ и очень красивого создания в костюме опереточного матроса, которое на судне все звали Адмиралом. Это была Эмилия Кордье. Дюма выдавал ее то за своего сына, то за племянника.

Путешествие началось очень весело. Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдя в Геную, он узнал, что Гарибальди, борец за независимость Италии, собирается отобрать у Бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии (которой, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность). Дюма знал Гарибальди. Ему импонировали гордый взгляд, рыжая борода, *poncho*^[152], привезенный из кампаний в Южной Америке. Он ездил к Гарибальди в Турин и собирался писать о нем книгу. От генерала Дюма он унаследовал справедливую ненависть к неаполитанским Бурбонам. Он

решил поддержать благородное начинание Гарибальди. Что он искал в Италии? Ничего. Но, как говорит Шарль Гюго, Дюма никогда не упускал случая вмешаться в знаменательные события. Если где-нибудь ему встречалось временное правительство, он обращался к нему, не церемонясь, на правах старого друга. Он входил, раскрыв объятия, и восклицал: «Добрый день! О чем идет речь? Я к вашим услугам». Он считал себя настолько знаменитым, что надеялся везде быть желанным гостем.

«Революция — его профессия, — писал Шарль Гюго. — Борьба за национальное освобождение — его конек. В Париже, Риме, Варшаве, Афинах, Палермо он по мере сил помогал патриотам, когда они оказывались в отчаянном положении. Он дает советы мимоходом, с видом человека, крайне занятого, и пусть люди поспешат ими воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще двадцать пять томов. Таков Дюма в политике. С событиями он накоротке, как знаменитость, и церемонная госпожа История в часы досуга дружески похлопывает его по плечу, говоря: «Милейший Дюма!...»

Немедленно были составлены планы кампании. Два корабля, а также «Эмма» перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли, будут сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после отплытия из Марселя Дюма оказывается уже в Палермо. Гарибальдийская Тысяча встречает у сицилийцев восторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди рассказывает о прибытии Дюма:

«Возвращаясь во дворец Преторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели идущего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала (Гарибальди). Этот здоровяк был одет во все белое, голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями — синим, белым и красным.

— Угадай, кто это? — спросил меня Гарибальди.

— Кто бы это мог быть? — ответил я. — Луи Блан? Ледрю Роллен?

— Черта с два! — смеясь, возразил генерал. — Это Александр Дюма.

— Как? Автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров»?
— Он самый.

Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему, затем вместе с ним вошел во дворец, громко разглагольствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха.

Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой гризетки, одетой в мужское платье, вернее — в костюм адмирала. Эта гризетка — сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница, без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло.

— За кого принимает нас этот знаменитый писатель? — спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людьми, ни богами.

Великий Александр ел, как поэт, и оказался столь речистым, что никому не удалось и рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его затаив дыхание...»

«Адмирал» ожидала ребенка. За несколько недель до изложенных событий Дюма написал своему другу Роблену:

«Дорогой Роблен! Я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды, в бытность ее женщиной, с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Г-н Эмиль исчез, а м-ль Эмилия беременна и, следственно, вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между 15 и 20 июля она приедет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую меблированную квартиру за городом, поблизости от тебя?.. Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте в Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо... Само собой разумеется, что м-ль Эмилия, как только она вновь станет г-ном Эмилем, сразу же вернется ко мне...»

Дюма хотел жить по принципу «продолжение в следующем номере». Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть Мессинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалась его шхуна и пятьдесят тысяч франков; с обычной для него великолепной щедростью он предоставил все это в распоряжение «Italia Una»^[153]. Гарибальди принял предложение. 7 сентября 1860 года Дюма, без сюртука, в красной рубашке, вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца; он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздавшая месть в стиле Эдмона Дантеса.

В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве «служебной квартиры» Чьятамоне — летнюю резиденцию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету «L'Independente»^[154]. Неаполитанцев забавляет (поначалу) этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французов.

24 декабря 1860 года «адмирал Эмиль» произвела на свет в Париже маленькую девочку, «Дюймовочку», Микаэлу-Клелию-Жозефу-Элизабет. Селеста Могадор, графиня Шабрийян, была крестной матерью; Джузеппе Гарибальди, через поверенного, — крестным отцом.

Дюма-отец — Эмили Кордые: «Да пребудут с тобою радость и счастье, ненаглядная любовь моя!.. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему: я больше люблю Александра, чем Мари, — ее я вижу едва ли раз в год, Александра же могу видеть, сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу, таким образом, на мою дорогую крошку Микаэлу...»

В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь, некоторое время спустя вслед за нею прибыла кормилица с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца.

Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты, поистине ошеломляет. Политические передовицы, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи о легендарной Искии^[155], о Дандоло^[156] и, разумеется, фельетон — все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда

своим писарским почерком, могли бы составить пятнадцать-двадцать томов. Здесь можно найти воззвания, полемику, подстрекательские статьи:

«Двести учащихся школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их сторону против преподавателей, видимо забывших, к чему их призывает долг...» «Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр...»

Одновременно Дюма собственноручно писал историю неаполитанских Бурбонов в одиннадцати томах, роман («Сан-Феличе»), «Воспоминания Гарибальди». Бенедетто Кроче очень похвально отзывается об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски; она датирована 1862 годом и поднимает вопрос «О происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения». Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии.

Плодовитость писателя была по-прежнему неиссякаема; непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой.

Дюма-сын — Жорж Санд, 22 августа 1861 года: «Я получил письмо от папаша Дюма; и он уже потерял мужество. Вот что он пишет: «Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице, она не стареет и так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они убивают...» Если папаша Дюма примется сообщать мне все свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие Вы вправе дать, а я — нет... Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет Вам молодость и талант, и, быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный, а первое побуждение всегда так благородно...»

Что пользы быть сильным, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в нерешительности. Дюма, «более гарибальдиец, чем сам Гарибальди», был противником Кавура^{[157\]](#)}.

Французскому консулу в Ливорно он заявил (тот передал содержание этого разговора в депеше своему министру), что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонов, но и нового короля Виктора-Эммануила.

«— В драме, — сказал Дюма консулу, — когда какой-нибудь персонаж уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избавляются — его уничтожают. Как раз это мы и собираемся сделать...

— Но когда вы прогоните пьемонтцев, кто же сядет на их место?

— Мы, дорогой мой, мы!

— Кто это мы?

— Гарибальди...

— Но что вы сделаете с Италией?

— Мы, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику».

Жорж Санд, чувствуя, что он несчастен, предложила ему приехать отдохнуть в Ноан; папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо с отказом.

Дюма-сын — Жорж Санд, 12 сентября 1862 года: «Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и, быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в Вашем воробьином гнезде. Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобиют крыло.

Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дидье: «Я, право же, боюсь, как бы мой герой не полинял». Я не ошибся. Между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь речисты. «Бог толкает меня», — говорил Аттила и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная Вьеннэ^[158]. Ради его [Гарибальди] доброго имени я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором-Эммануилом и что он сказал королю: «Я слишком много говорил. Я слишком много обещал. Я вынужден

идти вперед. Арестуйте меня с оружием в руках, помешайте мне зайти еще дальше». Они дадут друг другу честное слово; Гарибальди получит какой-нибудь лен; из него сделают итальянского Абдэль-Кадера^[159], и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих «Воспоминаний» с предисловием Жюльа Леконта! Впрочем, я за это не поручусь...»

Увы! Неблагодарность — распространенный порок. Народ Неаполя, забыв о щедрой помощи Александра Дюма, устроил демонстрацию перед его дворцом, выкрикивая: «Прочь, чужеземец! Дюма — в море!» Добрый великан залился слезами: «От Италии я не ждал такой неблагодарности». Но пять минут спустя вновь принялся философствовать. «Требовать от человеческой природы благодарности, — заявил он, — все равно, что пытаться заставить волка стать травоядным». После того как Гарибальди передал Неаполь и Сицилию Виктору-Эммануилу II, Дюма установил, что в окружении короля не видно ни одной красной рубашки. Те, чьими руками все было сделано, оказались не в чести. Так бывает всегда.

В октябре 1862 года Дюма начал соблазнять другой проект — грандиозный и химерический. Некий князь Скандербег, президент Греко-Албанской хунты, написал ему из Лондона, прося его сделать для Афин и Константинополя то же, что он сделал для Палермо и Неаполя. Речь шла всего-навсего о том, чтобы изгнать турок из Европы. Дюма предоставил в распоряжение «Девятого крестового похода» свою шхуну «Эмма» и те деньги, которые у него еще оставались.

Взамен он был произведен в чин «суперинтенданта военных складов христианской армии Востока». Титул столь же лестный, сколь эфемерный, ибо князь Скандербег оказался обыкновенным жуликом.

Максим дю Кан, гостивший в то время у Дюма в палаццо Чьятамоне, восхищался наивным долготерпением этого по-детски добродушного геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых сидящих волос. Он продолжал раскопки в Помпее. «Вот увидите, — заверял он Максима дю Кана, — что мы там найдем. Ударом заступа мы извлечем из мрака всю античность». Но в конце концов и он устал. Гарибальди уехал из Неаполя; местные жители не простили Дюма его благодеяний. Он решил вернуться в Париж. Несмотря на все ее фокусы, Франция вовсе не так уж плоха. Сойдя с поезда в десять часов вечера, после недельного путешествия, Дюма попросил сына отвезти его в Нейи, к их другу поэту Теофилю Готье.

— Но, папа, уже поздно, и ты ведь устал с дороги!

— Кто, я? Я свеж, как роза.

Готье уже спал. Дюма принялся громко звать его. Добряк Тео показался в окне и запротестовал.

— У нас уже все легли спать! — сказал он.

— Бездельники! — заявил Дюма. — Разве я когда-нибудь ложусь в это время?

Проболтали до четырех часов утра, затем Дюма-сыну, вконец измученному, удалось пешком увести отца к себе, на Елисейские поля. Все то время, что они шли по проспекту Нейи и проспекту Великой Армии, отец без умолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу.

— Лампу — для чего?

— Чтобы ее зажечь: я собираюсь сесть за работу.

На другой день он временно поселился на улице Ришелье, 112 и снова вошел в обычный для него ритм фантастической симфонии. Он заканчивал одновременно два романа: «Гарибальдийцы» и «Сан-Феличе». Эмилия Кордье выпала из его жизни. Она слишком настойчиво говорила о браке, а Дюма не испытывал никакого желания вновь повторять этот опыт. Он предложил узаконить крошку Микаэлу, которую он называл «Бебэ» и которую нежно любил. В этом случае он уравнил бы ее в правах с Александром Дюма-сыном и Мари Петель.

Эмилии нужен был брак — или ничего. Досадуя на то, что на ней не женился ее «соблазнитель», которому, по ее словам, она «принесла в жертву цветок своей невинности», и, опасаясь, что она потеряет права на ребенка, которого она зарегистрировала, она восстала против проекта Дюма, лишив, таким образом, бедняжку Микаэлу ее доли наследства. Ибо после смерти расточителя и оплаты наследниками его долгов гонорары Александра Дюма-отца^[160] составят значительные суммы до тех пор, пока будет действовать посмертное авторское право.

Поссорясь с «Адмиралом в отставке», Дюма несколько месяцев спустя узнал, что молодая женщина произвела на свет близнецов, отцом которых был ее богатый покровитель из Гавра по фамилии Эдвардс.

Дюма-отец — Эмилии Кордье: «Я тебя прощаю... В нашей жизни произошел несчастный случай, вот и все. Но этот случай не убил мою любовь. Я тебя люблю с прежней силой, но только так, как любят нечто утраченное, мертвое, некую тень...»

Он не перестал из-за этого уделять нежное внимание Микаэле, его

«ненаглядной Бебэ» и задаривал ее куклами, книжками с надписями, а впоследствии — просто деньгами. Вступив в возраст деда, этот неверный любовник стал прекрасным отцом.

Глава вторая ДОРОГОЙ СЫН — ДОРОГАЯ МАТУШКА

Великий блестящий сын...

ЖОРЖ САНД



Когда в 1851 году Дюма-сын отыскал в городке на польской границе письма Санд к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Ноан. Быть может, она даже таила надежду привязать к себе этого великолепного парня более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма-сына заполонила и заполнила тридцатилетняя княгиня Нарышкина, пятидесятилетней Жорж Санд не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней: «Госпожа и дорогой метр». После того как она написала ему: «Я принимаю Вас в число моих сыновей», — он ответил: «Дражайшая матушка...» Отныне роли были четко определены. Иногда она встречалась с ним в Париже, но княгиня, очень дичившаяся людей, держалась вдали от света. В 1859 году она продала виллу в Люшоне и сняла недалеко от Клери (Сена-и-Марна) замок Вильруа. Несмотря на то, что это грандиозное сооружение насчитывало сорок четыре комнаты, Надежда жила в одной комнате с Ольгой — так она боялась, чтобы князь Нарышкин (приехавший в Съезд, на озере Леман, «для поправления здоровья») не организовал

похищение дочери.

Вспоминали ли когда-нибудь Александр Дюма и Надежда Нарышкина о Лидии Нессельроде, которая, будучи любовницей Александра и подругой Надежды, по сути дела, толкнула их друг к другу, поручив своей наперснице сообщить обманутому любовнику об окончательном разрыве? Одно удивительное известие неожиданно оживило их воспоминания о Лидии. Бывшая графиня Нессельроде, вторично выйдя замуж, стала 8 февраля княгиней Друцкой-Соколинской. Она не посчиталась с волей царя (официально воспретившего этот двойной развод в среде высшей придворной знати) и перед алтарем маленькой церквушки в деревне, принадлежавшей Закревскому, вынудила ничего не подозревавшего попа совершить незаконный обряд венчания.

Канцлер Нессельроде — своему сыну Дмитрию, 18–30 апреля 1859 года: «Свадьба Лидии — совершившийся факт, подтвержденный признанием самого Закревского, который содействовал этому браку. Он благословил новобрачных и снабдил их заграничными паспортами. Император вне себя. Закревский более не московский губернатор; его сменил Сергей Строганов. Вот все, что мне покамест известно... Будучи не в силах появиться вчера при дворе, я не видел никого, кто мог бы сообщить мне достоверные подробности о впечатлении, произведенном этой катастрофой. Подробности необходимы мне для того, чтобы я мог подсказать тебе, как действовать дальше. Предпримет ли правительство что-нибудь? Или же тебе, со своей стороны, придется принять меры, подать прошение в синод, чтобы испросить и получить развод?..»

Отчаянная и сумасбродная Лидия решилась послушаться императора всея Руси и тем погубила карьеру собственного отца. Безжалостная отставка генерала Закревского позволяет понять, почему князь Нарышкин так противился разводу. Что касается Надежды, то она надеялась покорностью царю выговорить себе право на свободный союз, то есть возможность жить во Франции со своим французом, не порывая связей с Россией. Час выбора пробил в 1860 году, когда княгиня Нарышкина забеременела от Александра Дюма-сына. Она стыдливо скрывала свою беременность в провинции, но рожать собиралась в Париже, чтобы прибегнуть к услугам знаменитого гинеколога, доктора Шарля Девилье. Она сняла под вымышленным именем «Натали Лефевюр, рантьерши»

квартиру на улице Невде-Матюрен. Здесь-то 20 ноября 1860 года и родилась у фиктивной матери и неизвестного отца девочка, которой, как предписывает закон о внебрачных детях, было дано тройное имя и сверх того прозвище «Колетта».

Автору «Внебрачного сына» было крайне тягостно иметь внебрачную дочь. Но что поделаешь, да и как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина, официального мужа, а значит, номинального отца?

Жорж Санд, женщина сильная, очень скоро стала наперсницей и утешительницей Дюма-сына, который начал страдать от ипохондрии...

Дюма-сын — Жорж Санд, февраль 1861 года: «Я разбит телом и духом, сердцем и душой и день ото дня все больше тупею. Случается, что я перестаю говорить, и временами мне кажется, будто я уже никогда не обрету дара речи, даже если захочу этого... Представьте себе человека, который на балу вальсировал что было мочи, не обращая внимания на окружающих, но вдруг сбился и уже не может попасть в такт. Он стоит на месте и заносит ногу всякий раз, как начинается новый такт, но уже не в силах уловить ритм, хотя в ушах у него звучит прежняя музыка; другие танцоры толкают, жмут его, выбрасывают из круга, и дело кончается тем, что он бормочет своей партнерше какие-то извинения и в полном одиночестве отправляется куда-нибудь в угол. Вот такое у меня состояние. Судите же сами, сколь сильно мое желание, более того — потребность быть возле Вас... Я никогда не высказывал Вам своего мнения о Вас, ибо я ставлю Вас так высоко, что Вы оказываетесь выше каких бы то ни было оценок — как дурных, так и хороших. Но должен Вам сказать: Вы — малый что надо, и еще не явился на свет тот парень, который мог бы занять Ваше место».

В 1861 году Дюма-сын совершенно бескорыстно трудился над переделкой в комедию романа госпожи Санд «Маркиз де Вильмер»: писательница попросила его помочь ей, так как по части исправления неудавшихся пьес он унаследовал от отца сноровку костоправа. Они часто виделись; она умоляла его привезти в Ноан «Великороссию» и «Малороссию», чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток. Жорж Санд, которая когда-то привязалась к графине д'Агу^[161] за то, что у той хватило мужества бежать с Листом,

разумеется, проявляла интерес к княгине с зелеными глазами и тяжелыми медно-золотистыми косами, бросившей в России могущественного вельможу и тысячи душ крестьян, чтобы открыто жить в Нейи-сюр-Сен с молодым французским драматургом. Однако иностранка боялась романистки.

Дюма-сын — Жорж Санд: «Княгиня требует, чтобы я непременно написал черновик ее письма к Вам. Я же не хочу этого делать... Эти княгини довольно-таки глупы, как подумаешь!..»

Княгиня нашла повод остаться в замке Вильруа, и Дюма гостил у Санд один с 9 июля по 10 августа 1861 года. Он переживал очередной приступ уныния. Вечерами на террасе гость и хозяйка изливали друг другу душу. Жорж слышала много дурного о Надежде. Дюма оспаривал слухи.

Дюма-сын — Жорж Санд: «Что касается «Особы», она мало походит на персонаж, который Вам нарисовали, и, к несчастью для нее, недостаточно *расчетливо* построила свою жизнь. Я столь же готов обожать ее, как ангела, сколь и убить, как хищного зверя, и я не стану утверждать, что в ней нет чего-то и от той и от другой натуры и что она не колеблется попеременно то в одну, то в другую сторону, — но (это надо признать) скорее в первую, чем во вторую. У меня есть доказательства *бескорыстной* преданности этой женщины, и она даже не подозревает, что я признателен ей за это; она сочла бы вполне естественным, если бы я об этом забыл. Короче, я говорю все это с таким волнением не потому, что открыл в ней нечто новое для себя, а потому, что я свидетель *ее обновления*, ибо я льщу себе, что преобразил это прекрасное создание... Я так привык непрестанно лепить и формовать ее, как мне заблагорассудится, так привык вслух размышлять при ней на какие угодно темы и повелевать ею, вместе с тем не порабощая ее, что не сумел бы без нее обойтись...»

Он сказал Санд, что хотел бы жениться на «Особе». Она поведала ему о своем супружестве и своих любовных невзгодах. Когда он слушал ее, в мозгу драматурга рождались сюжеты. Поначалу веселые и ребяческие забавы Ноана не могли расшевелить его. Жорж Санд нашла, что «трудно

развеять его скуку». Потом она сделала попытку внушить этому «великому и блестящему сыну» свою веру в жизнь, и ей удалось на какое-то время успокоить его. Он уехал, вновь обретя некоторое внутреннее равновесие, а Санд в письмах продолжала «курс хорошего настроения».

Жорж Санд — Дюма-сыну. «Все любят и приветствуют Вас. Продолжайте косить. Вот средство, которое чертовски усиливает действие железа. Обливания из лейки тоже полезны. Работа — тоже, деревня — тоже. Все полезно при здоровом уме и честной душе. С этими качествами плюс молодость и подлинное дарование можно преодолеть все... Я оптимистка, несмотря на все мои страдания, — пожалуй, это мое единственное достоинство. Увидите, и Вы его обретете. В Вашем возрасте я так же терзалась, как Вы, и была еще серьезнее больна — и телом и душой. Устав мучить других и самое себя, я сказала себе в одно прекрасное утро: «Все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. То, что мы считаем значительным, столь быстротечно, что не стоит труда над этим задумываться. Настоящих и серьезных вещей в жизни только две или три; и как раз этими-то вещами, такими ясными и простыми, я до сих пор пренебрегала. Mea culpa! Но я была наказана за свою глупость, я страдала так, как только можно страдать; я заслужила прощение. Заключим мир с господом богом...»

Дюма-сыну так полюбился Ноан, что он мечтал еще раз приехать туда с княгиней, и в конце концов ему удалось победить ее робость. В письмах из Вильюра он стыдливо называл ее своей «хозяйкой».

Дюма-сын — Жорж Санд, 20 сентября 1861 года: «Я Вас благодарю, как выразился бы господин Прюдом, за то, что Вы оказали мне честь Вашим письмом от 15-го числа, и берусь за перо, чтобы выразить Вам мою живейшую признательность. Я узнал, что моя хозяйка написала Вам... Не скрою от Вас, что к приезду в Ноан и к встрече с Вами она готовится, как к празднику. Если Вы добрая женщина, то она — вполне послушное дитя; к тому же она нисколько Вас не стеснит. Это главное. Буде Вы хоть в чем-то измените своим привычкам, — а они мне очень хорошо известны, — я сразу замечу это... Остается открытым вопрос о ее дочери, которую она *не желает*

оставлять одну в сорока четырех комнатах огромного барака; она просит у Вас разрешения представить ее Вам. Девочка будет спать в комнате матери, на кушетке. Как путешествующая москвичка, она это обожает! Так что не опасайтесь осложнений с этой стороны!

Однако трепещите!.. Вот и капля дегтя: у меня есть приятель, толстяк, он довольно-таки похож на ваших ньюфаундлендов; зовут его Маршаль Гигант, и весит он 182 фунта, а остроумия у него хватит на четверых. Этот может спать где угодно: в каком-нибудь курятнике, под деревом, у фонтана. Можно его захватить с собой?»

Санд, разумеется, ответила, что и юная славянка и толстый художник будут для нее желанными гостями. Шарль Маршаль, душевный друг Дюма, был художник эльзасец, бесталанный, но приятный в обществе; он нравился женщинам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощекого великана кто Былинкой, кто Мастодонтом. Его непринужденность порою граничила с бестактностью. Закоренелый блюдолиз и не слишком скромный донжуан, он налево и направо болтал о своих победах. Дюма-сын терпел его со снисходительностью, достойной Дюма-отца. Можно представить себе прибытие в Ноан каравана из Вильруа и то удивление, какое вызвала у княгини и княжны Нарышкиных веселая и бесшабашная жизнь богемы. Дюма привез Санд дурную весть: сообщение о смерти Розы Шери, которую оба они обожали. Она умерла от дифтерита — заразилась, ухаживая за своими больными детьми. «Не плачь, — сказала, умирая, очаровательная актриса своему мужу, — не плачь, ведь наши малютки спасены». Роза оставила по себе светлую память, как человек великого благородства и самоотверженности.

Записная книжка Жорж Санд, 15 сентября 1861 года:
«После обеда, в десять часов, прибыли госпожа и мадемуазель Нарышкины, Дюма и его друг Маршаль с очень добрым лицом. Беседуем в гостиной... Понемногу расходимся — один за другим... Все веселы и в то же время печальны и волей-неволей говорят о бедной Розе...

1 октября 1861 года. Дюма читает нам начало «Вильмера», его пьесы; она восхитительна. Я поднимаюсь к себе, чтобы немного поработать. Вечером Дюма читает стихи...

9 октября 1861 года. Дюма уезжает в семь часов утра.

Маршаль остается...

10 октября 1861 года. Долго сижу у Маршалья. Провожу с ним вечер, ведем умные разговоры, пока внизу репетируют...

16 октября 1861 года. Маршаль ставит вместе с Морисом спектакль марионеток...

19 октября 1861 года. Маршаль становится моим толстым Бебэ...»

Таким образом, Маршаль, прибывший в Ноан незванным гостем вместе с Дюма-сыном и всеми его «Россиями», долго оставался в Берри после отъезда своих друзей. Приехав на два дня, он пробыл несколько месяцев. Его увлечение марионетками завоевало ему симпатию Мориса Санда. Чувство Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало неудовольствие Мансо (бывшего уже в течение десяти лет принцем-консортом). Под тем предлогом, что он пишет портрет владелицы замка, Маршаль запирался с ней в мастерской. Дюма-сын прислал свое благословение.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 ноября 1861 года: «Я говорил Вам, какое хорошее влияние можете Вы оказать на него авторитетом таланта, примером и советом; влияние, которого не могу оказать я, слишком близкий по возрасту, характеру и полу к этому взрослому мальчишке. Я просто счастлив тем, что Вы оценили этого человека по достоинству, а также тем, что сам он открыл в себе новый талант. Много раз я советовал ему заняться портретом, но среди художников бытует непонятная недооценка этого жанра, которой я не могу себе объяснить...»

В декабре Маршаль, наконец, покинул Ноан. Он не прислал Санд ни одного письма, ни одного нежного приветия, ни слова благодарности. Напрасно ждала она весточки от него, посылая ему письмо за письмом. Ответа не было. Обезумев от тревоги, она обратилась к своему «дорогому сыну» Александру, чтобы узнать, что случилось с ее толстым Бебэ, ее придворном художником.

Дюма-сын — Жорж Санд, 21 февраля 1862 года: «Я никогда больше не решусь вводить кого бы то ни было в Ноанскую обитель, где все так слажено между друзьями, что малейшая песчинка может испортить весь механизм! Итак, наш друг

Маршалль уже выказал себя неблагодарным? Рановато! Он должен был хотя бы сказать Вам спасибо за полученный им заказ на шесть тысяч франков, который принц дал ему лишь благодаря Вам. Увы! Увы! Я весьма опасаюсь, что человечество — отнюдь не лучшее творение господа бога...»

26 февраля 1862 года: «Сегодня я в ярости, и молчание моего Мастодронта немало этому способствует! Я не лучше Вас знаю, где он. Пороки воспитания, укореняющиеся в зрелом возрасте, весьма схожи с душевной черствостью. Этот бедный парень еще не знает, что когда так долго пользуешься гостеприимством такого человека, как Вы, гостеприимством столь сердечным и столь плодотворным, то следует по меньшей мере отвечать на письма, которые ты в довершение всего получаешь!.. Этот негодяй эгоистичен, как сама природа, и отличается таким простодушием, наивностью, бесцеремонностью, которым нет равных. До тех пор, пока я один страдал от этого, я объяснял эти свойства простотой отношений между сверстниками, но от Вас, да и от других людей его отделяет слишком большое расстояние, — нельзя подпускать его к себе слишком близко. Когда я вез его к Вам, у меня была затаенная надежда, что простота и доброта, которые Вы сохранили, несмотря на талант и славу, произведут на него благоприятное впечатление и покажут ему, каким надо быть, когда и он, в свою очередь, станет величайшим мастером своего искусства, покажут ему, что полезно знать в ожидании этого далекого будущего. Но я убеждаюсь, что он, как обычно, увидел лишь внешнюю сторону вещей и что на Вас он смотрит как на товарища. Это уж чересчур, дорогая матушка!..»

В течение всего 1862 года между «дорогим сыном» и «дорогой матушкой» велась активная переписка. Дюма завершил «Маркиза де Вильмера» и великодушно отказался от гонорара за пьесу в пользу Жорж Санд. Он жаловался на жизнь:

«Минувшую неделю я провел в отчаянии и безделье. Не в силах был написать ни строчки — ни романа, ни пьесы. И потому я дал себе зарок: если мне удастся написать их, как я задумал, я пошлю ко всем чертям перо и чернила! Я барахтаюсь в них со

дня рождения, и с меня хватит. Если только художник не переживает за свою жизнь троекратного превращения, как Рафаэль и другие лица — не стоит их называть, — то искусство становится презренным ремеслом. Кроме того, я вообще не художник. Ни по форме, ни по содержанию. У меня зоркий глаз. Я вижу достаточно ясно и говорю достаточно четко — это так, но в том, что я пишу, нет ни энтузиазма, ни поэзии, ни волнения. Это иронично и сухо. Произведения этого сорта развлекают, удивляют, затем утомляют публику, автора же это убивает. Закончив обе вещи — сделав этот двойной выстрел, — я попытаюсь жить *для себя*, и если в этой второй жизни родится что-то новое, какое-то неведомое чувство, суждение, даже иллюзия, я поведаю с них другим; если же нет, то — нет. Как будет связана с этой второй жизнью «Особа», о которой мы столько говорили: номинально или фактически? Это не имеет значения. Не настолько я принимаю всерьез жизнь ее общества, чтобы цепляться за форму. Пусть я просто буду счастлив — больше мне ничего не надо, как тому герою из пьесы Мери, который ничего не требовал

...в награду за труды —
лишь проводить все дни на лоне наслаждений.

Поживем — увидим. Ни одно из всех добрых и справедливых слов, которые Вы говорили мне, не будет упущено в том великом совете, что я держу с самим собой...»

Короче говоря, он склонялся к женитьбе на «Особе».

«Остается девочка, и в этом вопросе Вы совершенно правы. Придется ждать ее замужества или хотя бы того времени, когда она сможет сознательно от него отказаться. Не буду ничего говорить Вам о ее характере. Надо, чтобы Вы сами длительное время наблюдали Ольгу в жизни, чтобы оценить его. Она в меру любит свою мать. Чувствует она себя хорошо только за городом. Она лакомка, целый день говорит о своем пищеварении — любимое развлечение породистых женщин. В своей бережливости она доходит до того, что отдает перешивать для

себя старые платья матери и штопает чулки! И она же с превеликой легкостью отдает свои деньги любому нуждающемуся. Очень гордая, очень высокомерная с равными себе, она мягка и снисходительна с простыми людьми, на какой бы ступени они ни стояли. *Имя* не производит на нее никакого впечатления, она готова называться госпожой Бенуа. Она увлекается науками, в особенности точными, и не из честолюбия, ибо она копит свои небольшие знания так же, как копит свои карманные деньги. Ольга хочет знать для самой себя. В общем она молчалива и говорит только в подходящий момент. Большая печень прибавляет к этому сочетанию немного туманной меланхолии, без всякой фантазии. Вот что я увидел в ней, дорогая матушка. Выводы делайте Вы — женщина.

Пока что мать и дочь намерены поселиться в Булонском лесу, в очаровательном доме с красивым садом, который тайным образом сообщается с владениями Вашего сына. Можно будет видаться сколько угодно, при этом каждый будет жить у себя, и приличия будут соблюдены. Теперь, когда все устроено таким образом, пусть бог и царь довершают остальное. Дело за ними...»

Глава третья В КОТОРОЙ ЖОРЖ САНД ДАРИТ ДЮМА- СЫНУ ДВОИХ ДЕТЕЙ



Сила и мудрость Санд всегда оказывали глубокое влияние на слабых мужчин. Она исторгла шедевры у Мгоссе, она поддерживала Шопена и утешала Флобера. Дюма-сын открылся ей в своем душевном смятении: «Жизнь была представлена мне с изнанки. Те, кому выпало на долю наставлять меня, были заняты совсем другими делами, и я не вправе упрекать их в том, что у них не нашлось для меня мудрости, которой им недоставало для самих себя...» В свою очередь, Жорж со свойственной ей мужской откровенностью описала ему физические тяготы своего замужества и дала ему понять, сколь ужасно первое плотское испытание для девушки, если мужу недостает деликатности. «Мы воспитываем их, как святых, — говорила Жорж, — а случаем, как кобылиц».

На эту тему после долгих размышлений Дюма написал пьесу «Друг женщин». Ее сюжет: госпожа де Симроз, напуганная первой брачной ночью, разошлась со своим незадачливым мужем, которого она, сама того не зная, все еще любит. И вот она одна в свете, беззащитная против домогательств всех тех, кто сулит ей «иную любовь». Она погибла бы, если бы ее не оберегал Друг женщин, господин де Рион, который, как в свое время Оливье де Жален, являл собою рупор автора. Господин де Рион все

знает, все понимает, все предвидит. Для него не составляют тайны ни женское сердце, ни мужские желания. Он устраивает или расстраивает свидания; угадывает намерения, изобличает ошибки. Короче говоря, он играет в мире Дюма-сына ту же роль, что граф Монте-Кристо в мире Дюма-отца. Он берет на себя миссии, расставляет ловушки, ведет допросы. Беспощадный к злодеям, он изрекает жестокие афоризмы. «Женщина, — говорит господин де Рион, — существо алогичное, низшее, зловредное». — «Молчите, несчастный! Ведь женщина вдохновляет на великие дела». — «И препятствует их свершению». Ему задают вопрос: «Значит, порядочных женщин нет?» — «Есть, их даже больше, чем полагают, но меньше, чем говорят». — «Что вы о них думаете?» — «Что это самое прекрасное зрелище из всех, какие довелось видеть человеку». — «Наконец-то! Значит, вы все же их встречали?» — «Никогда».

Пессимизм, которого не выказывали ни Гюго, ни Санд, ни Дюма-отец. Те верили в любовь-страсть, даже когда сами предавались любви-прихоти. Что касается Дюма-сына, то он твердо убежден, что *всякая* любовь — обманчивый мираж. Любить женщину — значит любить мечту нашего духа. Дюма-сын не верит в эту мечту. Отцы слишком наслаждались жизнью, у сыновей осталась оскомина. После развращенного XVIII столетия романтики воскресили христианский и рыцарский идеал женщины. Женщина оказалась чересчур слабой, чтобы подняться на высоту этого идеала. Дюма-сын обнаружил в своих взбалмошных княгинях существа, исполненные противоречий и хитрости. Романтики любили капризы этих несчастных. Господин де Рион презирает их, а быть может, и ненавидит.

Беспощадный тон диктует эпоха. Растиньяк и Марсэ уже вошли с хлыстом в руках в клетку с женщинами. С этого времени все ширится свобода нравов. Усиление разврата пробуждает скептицизм и отвращение. С приходом Морни торжествует фатовство. Куртуазность гибнет. Флобер, Готье, нимало не смущаясь, пишут «президентше» непристойные письма. Дюма-сын берет на себя миссию исправлять нравы.

«По той иронии, за которую прячется господин де Рион, — говорит Поль Бурже, — по насмешкам, которыми он разит направо и налево, неизменно начеку и неизменно во всеоружии, по той позиции морального бретера, которую он занимает при всяком столкновении — будь то с женщиной или с мужчиной, с юной девушкой или старцем, — по всему этому легко заметить, что для этого мизантропа общественная жизнь оказалась

слишком суровой. Он не сознается в своих обидах и не жалуется на них — он слишком горд. Но тон любой его реплики — насмешливый и намеренно беспощадный, его стремление с первых же слов покорить собеседника и установить свое превосходство, презрение, которое сквозит в каждой его фразе и каждом жесте, — все это своего рода признание, своего рода жалоба».

То была жалоба самого Дюма-сына. Он сообщал Жорж Санд, как поживает героиня, которую она помогла ему произвести на свет:

4 октября 1863 года: «Что касается г-жи Симроз, то наше сожительство стало постоянным. Мы больше не расстаемся. Она спит со мной. Она сопровождает меня в самые интимные места, наконец, она начинает мне надоедать. Поэтому я прилагаю все усилия к тому, чтобы поскорее от нее избавиться...»

Джейн де Симроз удивила и шокировала парижскую публику. «Друг женщин» в течение сорока дней пытался одолеть удивление, молчание, замешательство, а иногда и шумные протесты. Один зритель, сидевший в партере, после рассказа Джейн о ее брачной ночи поднялся и крикнул: «Это гнусно!» Некая куртизанка, знаменитая своими бесчисленными и открытыми любовными связями, заявила: «Это сочинение оскорбляет самую сокровенную стыдливость женщины!» И все же каждая женщина знала, что в пьесе есть значительная доля правды. Однако Дюма «предал Пол и разоблачил тайны Доброй Богини»^[162]. В те времена о таких вещах не говорили. Особенно в театре, где царила женщина. Чтобы иметь успех, пьеса должна была обожествлять женщину и приносить в жертву мужчину.

«Без подобного жертвоприношения прочный успех невозможен. Клитандр, Орас и Валер^[163] причиняют друг другу столько зла для того, чтобы в конце пьесы жениться на ней: Отелло становится убийцей оттого, что считает ее неверной; он не может больше жить потому, что убил ее. Это ради нее Арнольф^[164] катается по земле и рвет на себе волосы; это по ее вине Альцест^[165] стал мизантропом; это она сделала Цинну^[166] неблагодарным, Ореста — убийцей, Тартюфа — богохульником. Довольно того, что она любит — пусть даже кровосмесительной любовью, — чтобы Ипполит^[167] умер! Один только Родриго^[168],

несмотря на свою любовь к Химене, убивает ее отца; но ведь потом он приходит к своей возлюбленной, предлагая ей свою жизнь взамен той, что он отнял. Ведь он не может дышать воздухом, не напоенным *ее* любовью! Ведь он хочет, чтобы дон Санчо убил его, если *она* не пожелает его простить и не вернет ему свое доверие! Не имела успеха ни одна пьеса, где бы Мужчина не приносился в жертву Женщине. Здесь, в театре, она — божество, и, сидя в своей ложе или в своем кресле — красивая, гордая, торжествующая, спокойная, окруженная поклонением и лестью, она присутствует при этих человеческих гекатомбах».

Господин де Рион раздражал зрительниц. Следует признать — в нем было немало раздражающего. Но одного они ему не прощали — не того, что он укрощал их (они не питают ненависти к укротителям), а того, что не позволял хотя бы одной из них поработить себя. В первом варианте пьесы одна красивая девушка, богатая и умная, бросалась на шею Другу женщин, а он ее отталкивал. Возмущение публики подобной развязкой было так сильно, что по настоянию Монтиньи на следующем спектакле господин де Рион женился на мадемуазель Хакендорф.

Тэн, а следом за ним Бурже запротестовали. Они предпочитали непримиримого господина де Риона. В предисловии к пьесе, вдали от сверкающих золотом театральных зал, Дюма осмелился повторить свой тезис: *женщин надо держать в рабстве*.

«Женщина — существо ограниченное, пассивное, подчиненное, живущее в постоянном ожидании. Это единственное незавершенное творение бога, которое он позволил закончить человеку. Это неудавшийся ангел... Итак, природа и общество сошлись на том и будут сходиться вечно, как бы ни протестовала Женщина, что она — подданная Мужчины. Мужчина — орудие бога, Женщина — орудие мужчины. *Ilia sub, ille super*^[169]. И нечего с этим спорить...»

В жизни господин де Рион женился. Князь Нарышкин умер в Съезде 26 мая 1864 года, и Дюма мог жениться на княгине, наконец овдовевшей. В субботу 31 декабря 1864 года метр Ансель, опекун Бодлэра и мэр Нейи-сюр-Сен совершил в присутствии Александра Дюма-отца и Катрины Лабе (с согласия их обоих) бракосочетание Александра Дюма-сына с Надеждой

Кнорринг, вдовой Александра Нарышкина.

Новобрачная пригласила в качестве свидетелей адвоката Анри Миро и своего акушера Шарля Девилье. Дюма сопровождали двое друзей — художник Шанделье и помощник хранителя императорской библиотеки Анри Лавуа. Больше никого не было. Церемония совершалась втайне, так как весь акт бракосочетания должен был зачитываться вслух, а он содержал до крайности странный параграф:

«Будущие супруги заявили, что усыновляют ребенка женского пола, записанного в мэрии Девятого округа Парижа 22 ноября 1860 года под именем Марии-Александрины-Генриетты и родившегося 20-го числа того же месяца у Натали Лефебюр; при этом они подчеркнули, что имя матери — вымышленное...»

В течение четырех лет «малютку Лефебюр» выдавали за сиротку, подобранную и взятую на воспитание княгиней Нарышкиной.

Дюма-сын — Жорж Санд, 15 декабря 1864 года: «Дорогая матушка, через несколько дней я женюсь. Вот уже час, как я принял бесповоротное решение, о чем незамедлительно Вам сообщаю. Я не прошу Вашего согласия — я знаю, Вы мне его даете. Но, как покорный и почтительный сын, я делюсь с Вами этой новостью, прежде чем сообщить ее кому бы то ни было. Нежно обнимаю Вас и Мансо тоже».

В качестве свадебного подарка Санд послала вазу в форме урны. Не для того ли, чтобы собрать в нее пепел свободы?

Дюма-сын — Жорж Санд, 1 января 1865 года: «Когда я получил этот красивый сосуд, все вокруг спрашивали: «Кто мог это прислать? Какая красивая штуковина!» Но я сказал: «Бьюсь об заклад, что это от матушки...»

Получив, наконец, право афишировать свое отцовство, Дюма-сын делал это с упоением. Его письма к Жорж Санд изобилуют упоминаниями о Коlette, восхитительном и щедро одаренном ребенке. В возрасте пяти лет она знала французский, русский и немецкий языки. Вечернюю молитву она повторяла на трех языках.

28 марта 1865 года: «Коlette чувствует себя великолепно.

Она еще не способна оценить свою бабушку, но это придет».

21 августа 1865 года Санд потеряла Мансо, своего любовника-секретаря, давно болевшего туберкулезом легких. Кому, как не Маршалю, было заменить его? Жорж привязалась к нему и преследовала его избытком лестного внимания.

Жорж Санд — Шарлю Маршалю: «Дорогой малыш! Я ни разу не видела «Орфея в аду», а говорят, что это забавно и красиво. Я не решаюсь обратиться к Оффенбаху, несмотря на его любезность. Поскольку ты, должно быть, знаешь эту вещь наизусть, я не обрекаю тебя на то, чтобы еще раз смотреть ее со мной... Сбереги время и желание, чтобы посмотреть со мной какую-нибудь пьесу, которая тебя позабавит или по крайней мере будет тебе внове. Целую тебя... Знаешь ли ты, что г-жа Дюма разрешилась от бремени?^[170] Завтра я навещу ее. Сегодня я была в Палезо... Г-жа Плесси вчера сказала мне, что постарается достать нам два хороших места на «Влюбленного льва»^[171]...»

Другое письмо: «Слушал ли ты «ДонЖуана» в Лирическом театре? Я заказываю два билета на вторник. Не хочешь ли взять один из них? Если да, пообедаем вместе, где ты пожелаешь. Если нет, давай где-нибудь встретимся, чтобы я обняла и благословила тебя, прежде чем уеду в Ноан. Из Парижа я уезжаю в четверг, но еще раньше — в понедельник — отбываю из Палезо. Пришли мне в понедельник ответ на улицу Фельянтин, чтобы я отдала второй билет на «ДонЖуана» какому-нибудь другому приятелю, если ты почему-либо не сможешь им воспользоваться. Как ты поживаешь, мой жирный кролик? Я — хорошо. Только здесь дует восточный ветер, он меня раздражает. Целую тебя... О, смотри, какая я глупая!.. Я отложу на день свой отъезд, если ты меня предупредишь заранее. Постарайся освободиться. Правда, ты, быть может, уже видел «ДонЖуана». Поступай как знаешь, но напиши мне хоть словечко...»

Но Мастоdont упорно держался за свою независимость. В его мастерской ему позировали обнаженными красивые и доступные девушки. Когда Санд неожиданно приходила к нему, она наталкивалась на закрытую дверь. Тем не менее он охотно обедал у Маньи с нею, Дюма-сыном и

Ольгой Нарышкиной, которая к восемнадцати годам похорошела и стала очень красивой. Надежда (которую ее супруг перекрестил в Надин), еще не оправившись от преждевременных родов на пятом месяце, томилась в Марли, где готовилась к тяготам новой беременности, ибо чета желала иметь Дюма-внука.

Письмо Дюма-сына: «Г-жа Дюма обречена семь месяцев лежать в постели, если она действительно хочет произвести на свет нового Александра — потребность в нем ощутима, несмотря на то, что первые двое еще в расцвете сил и в зените славы... Да! Натворил я здесь дел! Проклятые морские купанья всегда приводят к этому. Фи!...»

Возраст и красота юной Ольги ставили ее по отношению к матери в щекотливое положение: любовнице, только что вступившей в новый брак, неприятно иметь дочь на выданье. Так как доктор Девилье прописал Надин пребывание на свежем воздухе, Дюма попросил у своего старого друга Левена разрешения занять его дом в Марли и поместил там свою больную супругу, в то время как Ольга, чтобы не прерывать занятий, оставалась в Нейи. Приехавшие из Москвы соотечественники взяли на себя миссию просветить «Малороссию», ставшую, в свою очередь, «Великороссией», относительно ее юридического положения. Она спрашивала себя, не причинил ли ей серьезного ущерба роман ее матери, заставив жить вдали от феерического двора, где она приходилась бы родней Романовым.

Записная книжка Жорж Санд, 3 февраля 1866 года: «Я отправляюсь к Маршалю. В половине седьмого мы идем обедать к Жоберам: там — родственники мужа и жены, Леман, отец и сын Дюма, несколько друзей дома. Весь обед, от супа до салата, приготовил папаша Дюма! Восемь или десять превосходных блюд. Пальчики оближешь! После обеда мы с ним беседуем; в общем он очарователен... Маршалъ провожает меня.

4 февраля 1866 года: Александр приехал в два часа. Я читала ему «Жана»^[172]. Ах, какое счастье! Он доволен всем в целом! И читаю я не слишком плохо. Он дал мне три превосходных совета. Как быстро он все подмечает и как хорошо умеет исправить! Я рада за Були^[173] и пишу ему, не сходя с места... Александр узнает, не возьмут ли пьесу на улице Ришелье; если нет — то устроит ее в Жимназ. Иду обедать к Маньи, погода собачья.

Невесело... В Одеоне — «Жизнь богемы». Какая прекрасная пьеса, душераздирающая и очаровательная!..

6 февраля 1866 года: Демаркэ только что сообщил мне, что у г-жи Дюма преждевременные роды и наш обед в четверг не состоится. Он ведет меня к Маньи, где я обедаю и затем нанимаю карету, чтобы ехать на проспект Нейи; у меня умопомрачительная мигрень. Кучер пьян, лошадь тоже. Но все-таки мы молодцы, нам удастся найти дом. Г-жа Дюма спокойна и бодра, она не страдает. Но как она будет чувствовать себя завтра? Родит ли она? Ребенок *жив* и готов появиться на свет. Это странно... Александр с ней очень ласков. Возвращаюсь к себе на той же лошади — она спотыкается, с тем же кучером — он спит. Но мигрень моя прошла...

9 февраля 1866 года: Мне удалось немного поработать, урвать час у гостей и писем. Г-жа Дюма пережила свои преждевременные роды болезненно, но благополучно... Я отправляюсь обедать к Маньи пешком...

11 февраля 1866 года: Еду в Нейи. Ночью это настоящее путешествие, и стоит оно десять франков! Г-жа Дюма настрадалась. Ей придется месяц лежать. Александр и Ольга от нее не отходят...»

В августе 1866 года Жорж Санд отправилась навестить Дюма-сына в Пюи — маленькую рыбацкую деревушку неподалеку от Дьеппа, где он купил дом, довольно безобразный и не вполне удобный, зато в восхитительном месте.

Записная книжка Жорж Санд: «У Алекса, в Пюи (*sic!*), воскресенье, 26 августа 1866 года: Чудесный край! Дивная погода. Очаровательные хозяева. Лавуа уезжает, Амеде Ашар здесь уже давно, г-жа де Беллейм только приехала. Прелестные дети. Хозяйка дома очень любезна, но не в должной мере хозяйка. Беспорядок немыслимый! Из ряда вон выходящая неаккуратность, ставшая привычной. Для мытья служат ваза и салатница, а вода есть только тогда, когда за нею сходишь! Окна не закрываются! Собачий холод в постели... Но день великолепный. Мы идем гулять в лес и к морю. Эти лесистые берега — сущий рай. Море — жемчужное, с голубыми бликами и белый песчаный берег, усеянный кремневой галькой в форме

полипов. Белые меловые утесы. Все в нежных блеклых тонах. В казино — детский бал. Разряженные женщины, довольно-таки уродливые. Дома — превосходный обед, однако в восемь часов мадам плохо себя чувствует, и Александр отправляется спать. Не знаешь, как читать при одной-единственной свече! Ночью поднимается буря. Потоки дождя, стужа. Я кашляю, надрывая горло.

У Алекса, Пюи, понедельник, 27 августа: Погода сырая, но вокруг красиво. Я остаюсь послушать предисловие и два акта. Они очень хороши и очень изящно написаны. Обед чертовски вкусный. После обеда все улизнули, а я осталась с г-жой Беллейм! Жизнь, которая замирает в восемь часов, мне совсем не по душе! Да еще спать приходится идти с переполненным желудком... Сколько мучений с туалетом и *тому подобным!* Господи, до чего же здесь скверно!.. И все-таки очень красиво...»

Из Пюи Жорж Санд поехала в Круассе, к Флоберу, где нашла «отличные удобства, чистоту, воду, *предупредительность* — все, что только можно пожелать». Мать Флобера, очаровательная старушка, была лучшей хозяйкой, чем «Великороссия».

Но Дюма любил Пюи до такой степени, что вскоре приобрел там еще одну виллу. Вокруг него образовалась небольшая колония. Феликс Дюкенель, навестивший Дюма, увидел однажды, как к нему явился какой-то рыбак с бородой, высокого роста, сутуловатый, но крепкого сложения. В куртке табачного цвета, фланелевой рубашке и грубошерстных панталонах он выглядел великолепно и держался непринужденно. «Добрый день, сосед, — сказал рыбак, — как поживаете?» — «Прекрасно, ваша светлость. А вы?» — «Я себя чувствую, как Новый мост. Так ведь, кажется, у вас говорят?» У рыбака был английский акцент. Когда он ушел, Дюкенель спросил: «Почему вы его величаете *светостью*?» — «Потому что это маркиз Сэлсбери. Он очутился здесь случайно и сам нанес мне первый визит: «Нельзя требовать от Александра Дюма, чтобы он кому-то представлялся. Позвольте мне представиться самому. Кроме всего прочего, я ваш должник. Читать романы вашего отца — мое любимое времяпрепровождение и лучший отдых для ума».

Знаменитый сын все еще пользовался покровительством отца.

Провал «Друга женщин» на какое-то время отдалил Дюма от театра. Сложности супружеской жизни с ноющей женщиной, «то равнодушной, то неистойвой», усилили его женоненавистничество. Беременная Надин

погружалась в сонное оцепенение, здоровая — страдала припадками ревности. Когда она видела Александра в окружении толпы поклонниц, то сравнивала его с Орфеем среди вакханок. С того момента, как госпоже Дюма исполнилось сорок лет, она подозревала в кокетстве всякую молодую женщину, даже собственную дочь. Издерганные нервы «Великороссии» сделали ее как спутницу жизни невыносимой. В это время Дюма-сын вступил в активную переписку с одним морским офицером, капитаном второго ранга Ривьером, который был также одаренным писателем. В письмах к нему Дюма изливал свое мрачное настроение.

Дюма-сын — Анри Ривьеру: «Дорогой друг!.. Я в восторге оттого, что Вы снова ведете жизнь моряка. Давно пора вернуться к ней и вырваться из-под власти чувств низшего порядка, совершенно недостойных ума, подобного Вашему. Лучше открытое море со всеми его штормами, чем бури в стакане воды, — ведь женщины убедили нас, будто мы непременно должны быть их жертвами. Поверьте человеку, который не раз спасался вплавь и в конце концов приплыл к надежному берегу: истина в работе и в солидарности с человечеством, на которое люди умные, как Вы и я, оказывают и должны оказывать влияние. Лучше командовать хорошим экипажем или написать хорошую пьесу, чем быть любимым, даже искренне, самой обворожительной женщиной. Аминь.

...Вы созданы для того, чтобы бодрствовать от полуночи до четырех часов утра на капитанском мостике корабля, а вовсе не в будуаре г-жи Канробер. Женщина — это стихия, которую надо изучить с детства, как я, чтобы уметь управлять ею неумолимо и уверенно, а все эти красивые богини издергали Вам нервы, не дав ничего нового, ибо они пусты, как погремушки... Море наводит на меня грусть, я люблю его, только когда ощущаю его под собой. В этом оно для меня схоже с женщинами. Эта несколько фривольная шутка покажет Вам, что его величество мое тело чувствует себя немного лучше, хотя оно не так уж часто пускается в сие рискованное плавание, как может показаться из моих слов... Пока что я работаю благодаря привычке или тренировке и терплю разочарования, неотъемлемые от этой странной профессии, которая превращает мысль в льнотеребилку...»

Пессимизм Дюма-сына распространялся не только на женщин, но и на весь род людской. Когда капитан Ривьер был ранен в голову веслом, Дюма написал ему:

«Вы, мой друг, вменяете в заслугу провидению, что оно убило Вас лишь наполовину, словно мы здесь, на земле, всего лишь глиняные фигурки в тире для стрельбы из пистолета... Куда лучше, дорогой мой, крепко вбить себе в голову, пока на нее не опустилось весло, что все это комедия, в которой мы исполняем свои роли, не ведая ни развязки, ни автора; суфлер меняется ежеминутно, и единственно ценное в этой комедии — любовь и дружба. В особенности дружба».

Одна-единственная женщина, оптимистка, по-прежнему пользовалась расположением Злопамятного — это была Жорж Санд. Дюма изумило, как быстро она воспряла духом после смерти Мансо.

Дюма-сын — Анри Ривьеру: «Я много раньше ответил бы на Ваше письмо, если бы мне не пришлось все эти дни посвящать свое время г-же Санд — у нее большое горе. Она потеряла Мансо, который в течение пятнадцати лет был спутником и распорядителем ее жизни. Он умер после четырех месяцев тягчайших страданий, в маленьком домике в Палезо, где они жили вместе... Три дня тому назад мы его похоронили и пытались отвлечь его подругу от горестных мыслей... Она обладает большой энергией и большой волей. Вот ум, способный унизить наш пол, ибо не многие из нас были бы в состоянии каждые десять лет начинать свою жизнь заново после таких потрясений, какие пережила эта женщина... Поскольку жизнь приносит одни огорчения, с этим надо свыкнуться раз и навсегда и стараться смотреть на происходящие события таким же равнодушным взглядом, каким быки, пасущиеся на лугу, смотрят на проезжающие по дороге экипажи. Уподобьтесь Минерве — богине с бычьими глазами. Этот эпитет, для многих непостижимый, по-видимому, имеет целью выразить бесстрастность наивысшей мудрости, которая, несомненно, есть не что иное, как предельное безразличие...

Дружба представляется мне единственным чувством, ради которого стоит дать себе труд жить...»

Поскольку безотчетный страх мешал ему в ту пору писать для театра, он работал над романом «Дело Клемансо». В нем он дал волю затаенной ярости против женщин. Это была исповедь убийцы, умертвившего некогда обожаемую им жену — не только за то, что она его обманывала, но и за то, что она была воплощением лжи и фальши под маской самой совершенной красоты. Скульптор Пьер Клемансо был, разумеется, внебрачным сыном и, конечно же, сыном белошвейки. Вся первая часть книги в значительной мере походила на автобиографию. Женщина, на которой женился герой, Иза Доброновская, была полька (что позволяло автору косвенно взять реванш у «вероломных славянок»). Дюма сообщает нам, что образ Изы восходит к госпоже Джеймс Прадье — его первой любовнице.

Дюма-сын — Жорж Санд, 26 мая 1866 года: «Эта штука — «Дело Клемансо» — начинает меня раздражать. Я очень скоро брошу ее и вернусь к моим маленьким пьесам, где можно не ломать голову над стилем, если не хочется. Я все еще плутаю в последних главах. Удар ножом никак не получается... Жизнь не всегда бывает веселой. До двадцати лет еще куда ни шло; потом — конец! Будем же любить друг друга в ожидании лучшего и строчить свои рукописи, ибо это единственное, на что мы способны...»

5 июня 1866 года: «Дорогая матушка! Только в четверг, в шесть часов двадцать минут вечера, Иза, наконец, скончалась, искупив по всей справедливости те гнусности, которые она совершила. До этого момента ее убийца, имеющий честь быть Вашим сыном, работал, как негр, как один из тех, от кого он ведет свое происхождение по отцовской линии. Уф! У меня нет никаких угрызений совести, но я так измотан, словно они у меня есть, и я еще чуть-чуть больше восхищаюсь Вами за то, что Вы создали столько шедевров и создали их так быстро...»

Читатели, знакомые с семейной жизнью скульптора Прадье, узнали героиню. Критик журнала «Ревю де Де Монд» писал: «Эту женщину, которая позирует своему мужу-скульптору, женщину, для которой стыдливость существует лишь как светская условность и которой не дают спать лавры Фрины, — эту женщину мы знаем или полагаем, что знаем, и, пожалуй, обозначение «чудовище» слишком сильно для этой прекрасной язычницы XIX века...» Иза — «грязная душа в мраморном теле, рожденная

для того, чтобы наслаждаться и чтобы лгать, куртизанка с головы до пят, одно из тех экзотических растений, которые опьяняют и убивают», — обезоруживает критика. Он обвиняет не столько ее, сколько ее мужа. Зачем он любил ее, когда с первых же дней ее порочная натура была очевидна? Затем, что для Пьера Клемансо, так же как для Дюма-сына и для всех его героев, любовь всегда была только физическим желанием. Без этой исходной точки сладострастная и магическая развязка (Пьер последний раз спит с Изой и затем убивает ее) была бы невозможна.

Современного читателя не может не удивлять, что в 1866 году этот роман превозносили как образец самого смелого реализма. «Все правдиво, жизненно, красноречиво, и когда г-н Дюма вступает врукопашную с действительностью, то перед нами два атлета, равных по силе... Г-н Дюма перешел от пьес к роману, так как возможности, предоставляемые прозой, позволяли ему поставить более сильные акценты, дать более осязаемое ощущение плоти. Это удалось ему...» Сцены лепки обнаженного тела и объятий нагих любовников посреди реки были сочтены «экспериментальной литературой», смелой и дерзкой. Говорили, что роман г-на Дюма в полной мере современник г-на Тэна, который, кстати, им сильно восхищался. Флобер был сдержан, но принял, книгу всерьез.

«Я не вполне разделяю Ваш энтузиазм по поводу «Дела Клемансо», хотя во многом это самое сильное произведение Дюма. Но напрасно он испортил книгу длинными рассуждениями и общими местами.

Романист, по-моему, не имеет права высказывать свое мнение о происходящем. В акте творения он должен уподобиться богу, то есть создавать и молчать. Концовка этой книги представляется мне в корне фальшивой: мужчина не убивает женщину *после*; после ощущаешь полную расслабленность, чуждую какой бы то ни было энергии. Это большая оплошность — физиологическая и психологическая...»

Все только и говорили, что о «Деле Клемансо». Толстяк Маршаль рассказал Гонкурам историю одной главы.

29 сентября 1866 года, Сен-Гратьен: «Маршаль сегодня вечером рассказал нам, что однажды около четырех часов утра он удил рыбу в Сент-Ассизе, у г-жи де Бово. И вдруг заметил двух купающихся девушек: одну брюнетку, другую рыжую.

Восходящее солнце ласкало их резвящиеся в Сене тела, и красота их сияла в розовом свете. Маршаль рассказал об этом Дюма; тот на следующее утро пришел взглянуть на девушек и, чтобы сыграть с ними шутку, уселся на их сорочки. Отсюда — сцена купанья в «Деле Клемансо»...

Что касается Дюма-сына, то он был удовлетворен своим успехом, хотя и изнурен напряжением.

Дюма-сын — капитану Ривьеру: «Вы увидите по моему почерку, что имеете дело с изможденным человеком. Перо не слушается меня — так я злоупотреблял им в течение двух месяцев. Но в конце концов эта тварь мертва и уже не воскреснет. Только что я два часа спал; нынешней ночью я спал одиннадцать часов. Больше я ни на что не способен. Г-жа Дюма спит не меньше. Если мы будем вдвоем отдыхать от книги, которую я писал один, то надеюсь, что через месяц буду в силах начать снова...»

Он в самом деле начал и вернулся к драме. Удивительно, что этот гигант чувствовал себя таким измученным, написав совсем короткий роман. Это объясняется силой страстей, которые проснулись в нем при размышлениях о бесстыдстве и сладострастии. Чтобы успокоиться, он должен был вывести на сцене хорошую женщину и отправиться на лоно природы. Он снял возле Сен-Валери-ан-Ко, в Этеннемаре, небольшой шале, напомнивший ему некоторые счастливые дни его холостяцкой жизни, и отправился туда работать.

Там он сочинил новую пьесу, которая также была вдохновлена Жорж Санд: «Взгляды госпожи Обрэ». Тема: женщина типа Санд придерживается самых широких взглядов на брак, на классы общества, на внебрачных детей. В один прекрасный день она внезапно оказывается перед мучительной дилеммой: либо она отречется от идей всей своей жизни, либо позволит своему собственному сыну жениться на Жаннине, любимой им молодой женщине, у которой был любовник и которая работает, чтобы вырастить внебрачного ребенка. Госпожа Обрэ какое-то время колеблется, мечется, потом принимает героическое решение: именем морали и веры она женит своего единственного сына на девушке-матери.

Дюма устроил у госпожи Санд первую читку, на которой присутствовали Эдмон Абу и Анри Лавуа. Шумный успех! Спиритуалистка

Санд и скептик Абу дружно плакали. Чтобы подвергнуть пьесу еще одному испытанию, автор поехал в Прованс читать ее другому приятелю — Жозефу Отрану. Тот же слезливый успех. Отран, у которого было больное сердце, даже упал в обморок. Большого уж нельзя было требовать. Монтиньи, директор Жимназ, принял пьесу с энтузиазмом. Однако Дюма не оставляло беспокойство. Как отнесется лицемерная публика к осуждению ее предрассудков? Он быстро успокоился.

Записная книжка Жорж Санд, 27 ноября 1866 года: «Вчера у Бребана Александр скакал на черном апокалипсическом коне: говорил, что хотел бы быть Рафаэлем или Микеланджело; что для него не может быть счастья без вдохновения, без радости творчества, без упоения славой и силой. Его бог — это сила. Маршалль, человек, полный здравого смысла, который ему никогда не изменяет, не касался столь высоких материй. А я вообще молчала. Того, что я думаю, когда я счастлива, не высказать. Что скажешь о неуловимых движениях души, о мимолетных, быть может даже пантеистических, впечатлениях? Нет, я не могу выразить себя. Когда я говорю одно, понимают другое. Почему? Этого я никогда не узнаю.

Ноан, 17 марта 1867 года: Добрая весть: «Госпожа Обрэ», как явствует из телеграммы Александра, имела колоссальный успех.

15 марта 1867 года: Статья Сарсэ о «Госпоже Обрэ». Письма о Дюма... Мне надо ехать в Париж!..

Париж, 23 марта 1867 года: Иду завтракать к Дюма. Возвращаюсь, читаю и пишу письма. Иду в Жимназ с Эстер^[174]; «Госпожа Обрэ» восхитительна, я плачу. Сыграно превосходно...»

Врачи предписали Надин Дюма с октября не вставать с постели, чтобы она могла в срок родить ожидаемого наследника.

Дюма-сын — Жорж Санд, 26 февраля 1867 года: «Малыш изо всех сил стучится в дверь этого света. Сразу видно — он еще не знает, чем это пахнет! Г-жа Дюма толстеет, как может...»

20 апреля 1867 года: «Возможно, в ту самую минуту, когда это, письмо придет к Вам в Ноан, маленький Дюма появится на свет».

Увы! 3 мая Надин разрешилась от бремени девочкой. Поскольку героиня «Взглядов госпожи Обрэ» звалась Жанниной, это имя и дали ребенку.

Отец в ту пору писал предисловия к полному собранию своих пьес. Предисловия эти получили шумное одобрение, какового они действительно заслуживали, так как были написаны живо, смело и много лучше, чем пьесы. Барбэ д'Ореви́льи, ненавидевший обоих Дюма — отца и сына, — признал успех предисловий, но причину его увидел лишь в умело замаскированной развращенности, которая всегда будет нравиться людям. «Ибо хотя удовольствие, доставляемое процессом развращения, само по себе не мало, еще большее удовольствие — вам это хорошо известно — любоваться собственной развращенностью... Что за собрание! Несмотря на самоуничижение, характерное для всех авторов предисловий, я не верю в эту скромность с первой страницы... Кто предваряется, тот притворяется... Но поскольку публика интересуется вами и слушает вас, вы хорошо сделаете, рассказав ей о себе... Надо заткнуть разинутые рты зевак».

Зеваки набросились на проповеди драматурга.

Глава четвертая СУМЕРКИ БОГА

*Теперь Жеронту надо
С любовью распроститься:
Зима к нему стучится,
Любовь ему не рада.*

Ж-П ТУЛЕ

*Как мы завершим свой путь? Седые волосы
предъявляют нам свои почтительные требования.*

БАЛЬЗАК



Если судить по внешнему виду, папаша Дюма почти не изменился за все время своей неаполитанской авантюры. Немного больше седых волос, немного больше торчит живот, но все та же лучезарная веселость, тот же бьющий через край талант, та же жадная чувственность. Сын наблюдал, удивлялся, сожалел.

Дюма-сын — Жорж Санд, Вильруа, 8 марта 1862 года: «Я

нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно. Средство, которым пользуется он сам, чтобы помочь доброй воле создателя, представляется мне противным здравому смыслу, — каким бы действенным оно ни казалось созданиям божьим. В конце концов, что бы ни случилось, этот могучий организм, который еще проявляет себя во всякий час дня и ночи с прежней щедрой силой, не перестанет быть одной из самых необычайных фантазий природы. Пытаться руководить им, в особенности теперь, наверняка бесполезно. Это то же самое, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа; либо он останется цел и невредим, либо убьется на месте. Если бы можно было поставить этот локомотив в момент его отправления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один бог знает, сколько бы он потянул за собою великих и полезных для человечества идей. Но раз уж этого не случилось, то, значит, и не могло случиться. Посмотрим, что будет дальше, а пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня... и для самого себя».

Возвратясь в Париж, Дюма привез с собой из Италии певицу Фанни Гордозу, «черную, как слива», но аппетитную и столь неукротимого темперамента, что ее муж итальянец, обессиленный, обматывал ей вокруг бедер мокрые полотенца. Дюма-отец избавил ее от этих повязок и утолил ее пыл. По этой причине она привязалась к нему с неистовой страстью. Сначала они жили на улице Ришелье, на углу бульвара, против ателье знаменитого фотографа Рейтлингера; затем в Энгиене, где Дюма снял на лето 1864 года виллу «Катина». И снова богемная жизнь, как в замке «Монте-Кристо». Гордоза заполнила дом трубами, скрипками, лютнями. С утра до вечера она пела вокализы в окружении льстивых нахлебников, которые обосновались в доме, шарили по буфетам и пожирали запасы. Олимпиец Дюма работал на втором этаже, покрывая большие листы голубоватой бумаги своим писарским почерком, а по вечерам он спускался в бильярдную, где его ждали старые друзья: Ноэль Парфэ, Нестор Рокплан, Роже де Бовуар, которых окружала компания незнакомых ему блюдолизов. Когда запасы, казалось, были исчерпаны, Дюма отыскивал в кладовой рис, помидоры, ветчину и мастерски стряпал для всех *rizotto*^[175].

Множество женщин побывало в Энгиене: Эжени Дош, которая все еще играла «Даму с камелиями» Дюма-сына, но отнюдь не пренебрегала Дюма-

отцом; очаровательная Эме Декле с бархатными глазами, за которой Дюма-отец ухаживал в Неаполе, где она играла в пьесах Дюма-сына; красивая дебютантка Бланш Пьерсон; великолепная трагическая актриса Агарь (ее настоящее имя — Леонида Шарвэн, но она взяла себе библейский псевдоним, чтобы походить на Рашель); Эстер Гимон, львица с хриплым рыком, и Олимпия Одуар, падавшая в обморок в самый неподходящий момент. Напрасно синьора Гордоза несла караул. *«Один женщина! — кричала она, когда вторгалась очередная нарушительница покоя. — Скажите ей, что господин Дюма есть больной!»* Дюма терпел эту живописную фурию, одетую в прозрачный пеньюар, который не скрывал ее прелестей.

Он объяснял Матильде Шебель, дочери французского ученого-ориенталиста, которую знал ребенком и которую называл «своей маленькой ромашкой»: «Фанни несколько взбалмошна, но у нее превосходное сердце». И добавлял не без бахвальства: «У меня много любовниц, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна — ей не прожить бы и недели!.. Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей».

Вернувшись осенью в Париж, он поместил Гордозу в своей новой квартире на улице Сен-Лазар, 70. В течение некоторого времени он каждый четверг устраивал званый обед, после которого дива пела, между тем как хозяин дома спасался бегством от «мяуканья» и работал. Вскоре разразилась буря. Пылкая колоратура застала Дюма на месте преступления в ложе театра и своими воплями взбудоражила весь зал. Дело кончилось тем, что он ее выгнал. Она уехала, заявив, что возвращается к мужу, и прихватила с собой те деньги, что еще оставались в ящиках.

Дюма поселился на бульваре Мальзерб, 107 вместе со своей дочерью Мари, которая оставила своего беррийца Олинда Петеля, страдавшего умственным расстройством. На какое-то время она нашла убежище в монастыре Успения, а теперь занималась тем, что разрисовывала старые требники. Сама Мари тоже производила впечатление слегка помешанной: она одевалась, как кельтская жрица, украшала голову венком из омелы и носила на поясе серп. Дюма гордился ею, как всем, что имело касательство к нему, хотя, конечно, не так, как Александром. Но сына он немного побаивался. «Александр любит тезисы и мораль, — делился он с Матильдой Шебель. — Вот возьмите одну из его последних книг. Посмотрите, какую он сделал на ней надпись. — Дюма прочел посвящение: — *«Моему дорогому отцу его большой сын и меньшей собрат»*, — и заключил не без горечи: — «Он ошибся в расстановке

прилагательных, чтобы доставить мне удовольствие; но он вовсе так не думает».

В этом Дюма как раз ошибался, но, страшась упреков «мальчика», принимал бесконечные меры предосторожности, чтобы сын не встречал у него полураздетых нимф, которыми старик окружил себя. Дюма-сын купил на авеню Вильер, 98 особняк с крошечным садиком, вызывавшим у отца насмешки. «Здесь очень хорошо, Александр, — говорил он, — очень хорошо, но тебе следовало бы открыть окно гостиной, чтобы пустить хоть немного воздуха в твой сад». Сына огорчала распутная старость отца, и он редко навещал его. Старик жаловался:

«Я теперь вижу его только на похоронах. Быть может, в следующий раз увижу на своих собственных».

Корделией этого короля Лира была маленькая Микаэла, дочь Эмилии Кордье, хилое создание с восковым цветом лица, безгубым ртом, но глазами невыразимой прелести. Он дарил ей кукол, которых наряжала Мари Петель. «Только бы она пришла, мое маленькое сокровище», — говорил он, когда у него бывала приготовлена для нее какая-нибудь кукла — маркиза Помпадур или Людовик XV. Маленькое сокровище являлось, он осыпал свою девочку поцелуями, сокрушаясь, что «глупый Адмирал» помешала ему ее удочерить.

Дюма-отец — Микаэле Кордье, 1 января 1864 года: «Моя дорогая маленькая Бебэ! Надеюсь, что через три-четыре дня смогу тебя обнять. Я очень рад, что увижу тебя, но не надо никому говорить о моем приезде, чтобы у меня было время вволю приласкать тебя. Мари и я принесем тебе двух красивых кукол и игрушки. До 5-го, жди меня.

Твой отец А. Д.».

Дюма-сын был недоволен присутствием в отцовском доме Микаэлы — «дочери распутницы». Он отказывался признать в ней свою сестру.

«Я видела Вашего отца в Одеоне. Боже мой, какой удивительный человек!» — писала Санд в 1865 году. В шестьдесят три года он оставался «стихийной силой». Его работоспособность не уменьшилась. Он только что поставил две драмы — превосходные в своем роде — «Парижские могикане» и «Узники Бастилии». «Парижских могикан» долгое время не разрешала цензура под тем предлогом, что пьеса, действие которой разыгрывалось в 1829 году, кишмя кишела весьма либеральными намеками. Письмо автора к императору нанесло поражение цензорам.

Наполеон III снял запрет. Тем временем Дюма-отец опубликовал один из своих лучших романов, «Сан-Феличе», действие которого разыгрывалось в Неаполе, во времена Марии-Каролины, леди Гамильтон и Нельсона. Это была эпоха, когда генералы французской революционной армии создавали и упраздняли королевства, эпоха молодых героев, опоясанных трехцветным шарфом, эпоха генерала Дюма. А место действия — своеобразный город, где автор не так давно провел четыре года. Дюма был полон совсем еще свежих воспоминаний о неаполитанских друзьях. Поэтому рассказ отличался живостью, стремительным ритмом, ослепительным блеском. Герой итальянец, достойный мушкетеров, в одиночку закалывал шестерых. Корабли в Неаполитанском заливе, рыбацьи лодки, застигнутые бурей в открытом море, — все эти картины играли естественными красками. Если автор хотел доказать, что не нуждается ни в Маке, ни в ком другом, чтобы называться Дюма, это ему удалось.

Жирардэн платил за «Сан-Феличе», который печатался в качестве романа-фельетона в «Ла Пресс», по сантиму за строчку. «Как г-же Санд», — с гордостью заявлял Дюма. «Сан-Феличе» был его лебединой песней, не орошенной слезами, но проникнутой необычайной нежностью.

Гонкуры набросали два очень живых портрета шестидесятилетнего Дюма:

11 февраля 1865 года: «Сегодня вечером за столом у принцессы сидели одни писатели, и среди них — Дюма-отец. Это почти великан — негритянские волосы с проседью, маленькие, как у бегемота, глазки, ясные, хитрые, которые не дремлют, даже когда они затуманены. Контуры его огромного лица напоминают те полукруглые очертания, которые карикатуристы придают очеловеченному изображению луны. Есть в нем что-то от чудодея и странствующего купца из «Тысячи и одной ночи». Он говорит много, но без особого блеска, без остроумных колкостей, без словесных красок. Только факты — любопытные факты, парадоксальные факты, ошеломляющие факты извлекает он хрипловатым голосом из недр своей необъятной памяти. И без конца, без конца, без конца он говорит о себе с тщеславием большого ребенка, в котором нет ничего раздражающего. Например, он рассказывает, что одна его статья о горе Кармель принесла монахам 700 тысяч франков... Он не пьет вина, не употребляет кофе, не курит: это трезвый атлет от литературы».

14 февраля 1866 года: «В разгар беседы вошел Дюма-отец —

при белом галстуке, при белом жилете, огромный, потный, запыхавшийся, с широкой улыбкой. Он только что побывал в Австрии, Венгрии, Богемии. Он рассказывает о Пеште, где его пьесы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему один из залов своего дворца для лекции, говорит о своих романах, своей драматургии, своих пьесах, которые не хотят ставить в Комеди-Франсэз, о своем «Шевалье де Мэзон-Руж», которого запретили; затем о том, что никак не может добиться разрешения основать театр, и, наконец, о ресторане, который он намерен открыть на Елисейских полях.

Непомерное «я» — под стать его росту; однако он брызжет детским добродушием, искрится остроумием. «Что же вы хотите, — продолжает он, — когда в театре теперь можно заработать деньги только с помощью трико... которые трещат по швам... Да, так ведь и составил себе состояние Остен. Он рекомендовал своим танцовщицам выступать только в трико, которые будут *лопаться*... и всегда в одном и том же месте. Вот тогда пошли в ход бинокли... Но в конце концов в дело вмешалась цензура, и торговцы биноклями теперь прозябают...»

Хотя талант его не потускнел, ему теперь с трудом удавалось пристраивать свои пьесы. Он стал похож на обедневшего старого актера, который ради хлеба насущного готов взять любой ангажемент в любом театре. В аркаде Венсеннской железной дороги для народного зрителя парижских предместий был построен Большой Парижский театр, такой же необычный по своей архитектуре, как и по местоположению. Дюма отдал туда одну из своих лучших драм: «Лесная стража», которая была впервые сыграна в Большом театре Марселя в 1858 году. Проходившие поезда сотрясали зал; гудки паровозов заглушали голоса актеров. Спектакль шел так плохо, что вскоре его перестали играть.

Чтобы помочь актерам, Дюма предложил им организовать турне и обещал сопровождать их всякий раз, когда у него будет возможность.

Здесь, в предместье, и в провинции он сохранил еще свой престиж, и его бурно приветствовали. На его родине в департаменте Эн энтузиазм публики дошел до исступления. В Вилле-Коттре пришлось дать два представления. После спектакля жители городка столпились перед гостиницей, где он остановился. В окна они видели, как Дюма в переднике и белом колпаке готовил соусы, поливал жаркое — стряпал обед для всей труппы. Овация стала еще более бурной. Этот прием примирил Дюма с той

благосклонной, но слегка насмешливой снисходительностью, которую выказывал теперь Париж своему бывшему любимцу. Он снова загорелся мыслью иметь свой театр и, пытаясь основать Новый Исторический театр, открыл подписку. Он разослал тысячи проспектов. Откликнулись только несколько молодых поклонников «Трех мушкетеров». Прежнее колдовство утратило силу. Будь Дюма благоразумен, он мог бы еще жить в полном достатке. В 1865 году Мишель Леви перевел на его счет сорок тысяч франков золотом; в 1866 году он подписал новый, весьма выгодный договор на иллюстрированное издание своих сочинений. Но деньги текли у него между пальцев. Десять раз он становился богачом и одиннадцать — разорялся. «Я заработал миллионы, — говорил он, — и должен был бы получать двести тысяч франков ренты, а у меня двести тысяч франков долгу». Он больше не в состоянии был выплачивать пенсию сестре, госпоже Летелье.

В июне 1866 года он покинул Париж, ставший для него негостеприимным, и посетил Неаполь, Флоренцию, потом Германию и Австрию. Из этого путешествия он привез роман «Прусский террор», хорошо написанный и полный точных наблюдений. Дюма подметил в Пруссии серьезную угрозу: «Тот, кому не довелось путешествовать по Пруссии, не может себе представить ненависть, какую питают к нам пруссаки. Это своего рода мономания, замутившая самые ясные умы. Министр может стать популярным в Берлине лишь в том случае, если он даст понять, что в один прекрасный день Франции будет объявлена война». Дюма нарисовал некоего Безевека — пророческий портрет Бисмарка. Как полагается, герой романа, молодой француз Бенедикт Тюрпэн, дерется с германскими националистами на пистолетах, на шпагах, врукопашную и одерживает победу над всеми... Бриксенский мост... Портос на Унтерден-Линден...

Автор был в наилучшей форме, и в другое время одной такой книги было бы достаточно, чтобы создать славу молодому писателю, но у публики были теперь другие запросы и другие божества.

Предостережения против Пруссии вызывали смех: «Ну и шутник же этот Дюма!» Как можно было принимать всерьез старого султана, который швырял своим диковинным одалискам «последнюю дюжину платков»?

Глава пятая

СМЕРТЬ ПОРТОСА

Александр Дюма не боялся смерти. «Она будет ко мне милостива, — говорил он, — ведь я расскажу ей какую-нибудь историю».

АРСЕН ГУССЭ



1867 год. Сумма долгов растет. Несмотря на верность читателей, счет Дюма у Мишеля Леви становится дебетовым. За квартиру на бульваре Мальзерб не уплачено. Большая часть мебели продана. Единственные драгоценные сувениры, с которыми Дюма не захотел расстаться, — эскиз Делакура для праздника, устроенного им в молодости и ставшего его триумфом, и полотенце, испачканное кровью герцога Орлеанского. Слуги требуют расчета. Он жалуется своей «маленькой ромашке», Матильде Шебель, что кое-кто из его «подруг» с чрезмерной жадностью роется в ящиках его секретера.

— Оставили бы мне хоть одну двадцатифранковую монету! — восклицал он с комическим отчаянием.

Матильда застала его больным, он лежал в кабинете, который служил ему и спальней. На стенах висело старинное оружие, портрет генерала Дюма и портрет Александра Дюма-сына кисти Ораса Вернэ.

— Как ты кстати! — сказал он. — Я нездоров, мне нужен отвар, а я не могу никого дозваться... По-моему, меня оставили совсем одного... И подумать только, что мне надо ехать в гости!.. Будь добра, загляни в ящики моего комода и скажи, не найдется ли там сорочки и белого галстука.

В ящике оказались только две неглаженные ночные рубашки.

— У тебя есть с собой деньги? Не можешь ли ты одолжить мне немного, чтобы купить вечернюю сорочку?

Девушка обегала весь квартал, но было уже поздно и такого гигантского размера не оказалось в тех немногих лавках, которые еще не успели закрыть. Наконец в магазине под вывеской «Рубашка Геркулеса» она отыскала белый пластрон в красную крапинку. Вечерняя сорочка с красной вышивкой! Дюма рискнул ее надеть и имел большой успех. «Это восприняли как намек на мою дружбу с Гарибальди».

Последним подвигом донжуана было покорение молодой американки, наездницы и актрисы Ады Айзекс Менкен^[176], которая на сцене театра Гетэ в спектакле «Пираты саванны» полуголая носилась верхом на горячем чистокровном скакуне. Она была очень изящна в своем розовом трико и недавно покорила Лондон, выступив в «Мазепе» — драме по мотивам поэмы Байрона. Затаив дыхание публика следила, как наездница, плашмя привязанная к спине коня, поднимала его в галоп. Заключительное сальто могло каждый раз стоить ей жизни. Толпа рукоплескала ее удивительной отваге и красоте.

Еврейка, родом из Луизианы (хотя она кичилась своим якобы испанским происхождением и подписывалась: Долорес Адиос лос Фуэртос), Ада стала цирковой наездницей после того, как сменила несколько профессий в поисках своего истинного призвания. Она перебивалась статисткой, актрисой, танцовщицей, натурщицей у скульпторов, сотрудничала в газете («Цинциннати Израэлит»), потом разъезжала с лекциями об Эдгаре По. Эта необыкновенная девушка знала английский, французский, немецкий, древнееврейский. Закончив беседу о бессмертии души, она залпом выпивала три рюмки водки. Влюбленная в поэзию, она сочиняла грустные стихи о своих кратких и несчастных увлечениях. Уолт Уитмен, Марк Твен и Брет-Гарт были ее друзьями.

После того как Ада разошлась с тремя мужьями^[177], она вышла замуж в четвертый и последний раз за Джеймса П. Бэркли, единственно для того, чтобы узаконить ребенка, которого она тогда ожидала. Ее четвертая свадьба состоялась в Нью-Йорке 19 августа 1866 года. Два дня спустя новобрачная в одиночестве села на пакетбот «Ява». Больше ей не суждено было увидеть

ни Америку, ни супруга.

Ее привлекал Париж. Она дебютировала 31 декабря 1866 года в театре Гетэ. Некоторое время спустя, в начале 1867 года, Дюма-отец явился к ней в уборную, чтобы поздравить ее. Она бросилась ему на шею. Одинаково жадные до рекламы, оба — и он и она — охотно выставили напоказ свою эффектную любовь с первого взгляда. Дюма торжественно возвестил о своей победе; Ада появлялась всюду рядом с ним. Он показывал ей старый Париж и открывал Париж современный. Она испытывала тщеславное удовлетворение оттого, что связала свое имя с именем писателя-титана. Любить его она не могла, но он развлекал ее и льстил ей. На несколько недель он вернул себе молодость, возя наездницу в кабачки Буживаля, куда сорок лет назад приходил с белошвейкой Катрин. С реки по-прежнему доносились песни лодочников.

В те годы фотография была еще в диковинку, и Аде Менкен доставляло удовольствие позировать перед объективом вместе со всеми знаменитостями, игравшими роль в ее жизни. Это был своего рода ритуал, к которому она была страстно привержена. Дюма допустил оплошность, позволив запечатлеть себя на фотографии без сюртука, со своей любовницей в трико на коленях.

На другой фотографии он обнимал ее, а она сидела, прислонясь головой к могучей груди старика. Он казался смущенным, но его живые глаза излучали бесконечную доброту. Он словно говорил: «Да, я знаю, это смешно, но ей этого хотелось, а я так люблю ее!» Фотограф Либерт, которому Дюма был должен небольшую сумму, решил, что, распродав эти фотографии как сенсацию, возместит себе потерянные деньги. Он выставил их во многих витринах Парижа. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу триолет:

С мисс Адой рядом дядя Том.
Какое зрелище, о боже!
Фотограф тронулся умом:
С мисс Адой рядом дядя Том.
Мисс может гарцевать верхом,
А дядя Том, увы, не может
С мисс Адой рядом дядя Том,
Какое зрелище, о боже!

Сатирический журнал «Суматоха» поместил балладу: «Всегда он!»

Эпиграфом к ней служила фраза Жан-Жака Руссо:

«Кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать: *«Вот докуда может идти человек, но ни шагу дальше!»*»

Она наездницей была,
Писателем был он.
Она цвела, его ж дела
Катились под уклон.

Она была свежа, легка,
Была в расцвете сил,
А он чуть меньше бурдюка
Животик отрастил.

Она брюнеткою была,
Был седовласым он.
И вот судьба их там свела,
Где слышен рюмок звон.

Как мушкетер и экс-герой,
Что неизменно мил,
Он, позабыв про возраст свой,
Ей поцелуй влил.

«Тубо! Не к месту этот жар! —
Воскликнула она. —
Хотя ты толст, хотя ты стар,
Добыча не жирна.
Какая выгода с тебя?»

«Всех выгод и не счесть:
Мое внимание привлечь —
Уже большая честь!»

Она в ответ: «Писатель мой,
Чтоб мне не сплеховать,
Ты на колени предо мной
Немедля должен встать.
Тебе поверю я тогда,

Мы славно заживем...»

Вы в лавках можете всегда
Увидеть их вдвоем.

Жорж Санд — Дюма-сыну, 30 мая 1867 года: «Как Вам, должно быть, неприятна вся эта история с фотографиями! Но ничего не поделаешь! С возрастом обнаруживаются печальные последствия божьего образа жизни. Какая жалость!...»

Выслушав сыновнее нравоучение, Дюма-отец ответил: «Мой дорогой Александр, несмотря на свой преклонный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дюваля».

Он был без ума от этой замечательной женщины, от ее голубых с поволокой глаз, длинных черных волос, великолепной фигуры; ее рассказы приводили его в восхищение. Эта неутомимая Шахерезада создала себе в воображении необычайное прошлое и рассказывала всякие фантастические эпизоды. Неправда, что на Дальнем Западе она охотилась на буйволов вместе с ковбоями, но правда, что она с одинаковой осведомленностью говорила о теологии и о верховой езде. Никогда не была она ни танцовщицей в Опере, ни трагической актрисой в Калифорнии (поскольку Ада Менкен во всех странах семь лет подряд играла одну и ту же роль — в «Мазепе»); зато сушая правда, что она свободно читала по-гречески и по-латыни. История о том, как ее захватили в плен краснокожие и как она их «загипнотизировала», исполнив перед ними «танец змеи», была всего только красивой легендой. Переодетая мужчиной, она была в Дайтоне (Огайо) вовсе не гвардейским капитаном, а всего-навсего карнавальным «гусариком». Вместе с тем Чарльз Диккенс и Данте-Габриель Россетти писали ей дружеские письма, которые она с гордостью демонстрировала своим французским поклонникам. Она выслушивала пылкие объяснения своего шестидесятипятилетнего любовника, Александра Дюма-отца: «Если правда, что у меня есть талант, как правда то, что у меня есть сердце, — и то и другое принадлежит тебе...» Отъезд Ады в Австрию, где она получила ангажемент (она должна была играть в «Мазепе» в Театр ан дер Вин), положил конец этой связи, которая своей скандальностью ухудшила и без того не блестящее положение старого писателя.

Из-за своих сумасбродств он переживал денежные затруднения. Сын охотно помог бы ему, но отец не любил признаваться в своих невзгодах. Он

основал новую газету — «Д'Артаньян», которая должна была выходить три раза в неделю. Он просил своих друзей создать ей рекламу: «Мне не приходится рассказывать вам, что это за ловкий малый. Он, слава богу, заставил достаточно говорить о себе; но важно, чтобы люди узнали следующее: он воскрес и снова обнажил шпагу, чтобы защищать прежние принципы...» Но «Д'Артаньян» не имел успеха. Дюма написал императору, еще раз прося помочь ему основать театр. Император отказал. Время чудес миновало. Старость жестока к чудотворцам.

В 1868 году в Гавре была устроена морская выставка, и Дюма пригласили туда прочитать несколько лекций. Он выступал также в Дьеппе, Руане, Казне. В Гавре он отыскал свою дочь Микаэлу — ее мать жила там со своим мужем Эдвардсом. Родив пятерых детей, «Адмирал» ухитрилась, наконец, выйти замуж. В Гавре Дюма встретил также Аду Менкен: в Англии судьба оказалась к ней немилостива, и теперь, едва оправившись после падения с лошади, она вернулась в Париж, где получила ангажемент в Шатле. Вначале речь шла о пьесе, которую собирался написать для нее Дюма. Однако директор театра Остэн счел более выгодным возобновить «Пиратов саванны», — декорации и костюмы еще сохранились. Во время репетиций наездница тяжело заболела. 10 августа 1868 года она умерла.

Ее горничная, грумы, несколько актеров (всего пятнадцать человек) и ее любимая лошадь — вот и весь похоронный кортеж, который следовал за ее гробом с улицы Комартэн на кладбище Пер-Лашез.

О смерти актрисы Дюма узнал в Гавре. Когда он возвратился домой на бульвар Мальзерб, чувствуя себя совершенно разбитым, он нанял секретаршу — маленькую робкую женщину; он пичкал ее сладостями и с утра до вечера рассказывал ей о задуманных пьесах и романах. Однако наступил день, когда мысли его утратили ясность и рассказы сделались сбивчивыми. Тогда он заперся в своей комнате и стал перечитывать свои старые книги.

«Каждая страница напоминает мне, — говорил он, — один из ушедших дней. Я подобен дереву с густой листвой, в которой прячутся птицы; в полдень они спят, но потом пробуждаются, и наполняют безмолвие гаснущего дня хлопаньем крыльев и песнями».

Сын пришел к нему и увидел, что он с увлечением читает какую-то книгу.

— Что это?

— «Мушкетеры»... Я давно решил, что когда буду стариком, то постараюсь уяснить себе, чего стоит эта вещь.

— Ну и как? Где ты читаешь?

— Подхожу к концу.

— И как тебе показалось?

— Хорошо!

Перечитав также «Монте-Кристо», он заявил:

«Не идет ни в какое сравнение с «Мушкетерами».

С того дня, когда Дюма-старший бросил Катрину Лабе с ребенком на руках, вся ее жизнь могла бы служить образцом добродетели. Не удивительно, что Дюма-младшему, доктринеру и моралисту, пришла мысль соединить своих престарелых родителей и, быть может, даже поженить их. Дюма-отец, уведомленный об этом проекте, поддался искушению. В Нейи он, наконец, обрел бы семейный очаг и хозяйку, способную содержать в порядке его дом и принимать его друзей. Несомненно, он надеялся и на то, что его престарелая сожительница, которой он долгие годы пренебрегал, будет покорно сносить его последние шалости.

Отказ исходил от Катрины Лабе. «Мне уже за семьдесят, — писала она приятельнице, — и вечно нездоровится; живу я скромно, с одной-единственной служанкой. Г-н Дюма перевернет вверх дном мою маленькую квартиру... Он опоздал на сорок лет...» История с Адой Менкен вызвала у нее улыбку. «Ах, — сказала она, — он все такой же; годы ничему его не научили». Катрина умерла 22 октября 1868 года; ей было семьдесят четыре года.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 октября 1868 года: «Дорогая матушка! Моя мать скончалась вчера вечером без всяких мучений. Она не узнала меня, а значит, не ведала, что покидает. Да и вообще, покидаем ли мы друг друга?..»

Дюма-сын в сопровождении своего друга Анри Лавуа, хранителя императорской библиотеки, отправился в мэрию Нейи, чтобы составить там акт о смерти. Он заявил, что усопшая была «незамужняя, без определенных занятий», и, назвав себя, отметил, что является «ее единственным сыном Александром Дюма Дави де ля Пайетри». Но в рубрике «дочь таких-то» в регистрационном листе значилось: «имена и фамилии отца и матери (усопшей) нам сообщены не были». Это свидетельствует о том, что Катрина была внебрачным ребенком

неизвестных родителей.

Дюма-сын — Жорж Санд, Сеньеле-Оксэrr, Ионн (конец октября 1868 года): «Мы в Бургони, у друзей. Здесь я узнал печальную новость и сюда возвратился, исполнив печальный долг. Я много плакал и до сих пор плачу. Мне надо выплакаться — вот уже двадцать с лишним лет, как я не плакал. От слез мне становится легче. Сказано, что мать продолжает делать сыну добро, даже испустив последний вздох. Книга Мориса лежала у меня на столе в ту ночь, которая последовала за горестным событием. Единственное, что я пока мог сделать, — это разрезать ее. Она здесь, со мной. Я начну читать ее, как только буду способен что-либо воспринимать.»

Дюма-отец провел лето 1869 года в Бретани, в Роскове. Он искал спокойный уголок, чтобы написать «Кулинарную энциклопедию», заказанную ему издателем Лемером. Он привез с собой кухарку Мари, которой Росков не понравился. «Ах, сударь, — сказала она, — в таком месте мы оставаться не можем». — «Весьма вероятно, что вы здесь не останетесь, Мари, но что до меня, то я останусь». — «Сударю нечего будет есть!»

Вечером жители Роскова, которых распирало от гордости, что к ним приехал великий Александр Дюма, притащили ему дары: две макрели, омара, камбалу и ската величиною с зонтик. Но если рыбы было вдоволь, то артишоки оказались твердыми, как пушечные ядра, зеленая фасоль — водянистой, масло — несвежим. «Вот и весь тот ассортимент продуктов, на основании которого приходится писать книгу о кулинарии». От этого Дюма работал с не меньшим пылом, чем обычно, но рассвирепевшая Мари взяла расчет. Тогда Дюма стал гостем всего Роскова: он обедал то у одних, то у других, и люди изошрялись, чтобы приготовить ему самые изысканные кушанья. «В этом старании угодить мне было нечто такое, что трогало меня до слез». В марте 1870 года рукопись (неоконченная) «Большой кулинарной энциклопедии» была передана издателю Альфонсу Лемеру. Это монументальное произведение было издано только после войны, при участии «молодого сотрудника Лемера» — Анатоля Франса.

Весною 1870 года Дюма уехал на юг; он чувствовал, что силы его на исходе, и надеялся, что солнце вольет в него новую жизнь. В Марселе он узнал, что объявлена война. Известия о первых поражениях доконали его.

Полупарализованный после удара, он с трудом добрался до Пюи и

позвонил у дверей сына. «Я хочу умереть у тебя», — сказал он. Его встретили с любовью. «Мне привезли отца, он парализован. Скорбное зрелище, хотя эту развязку и можно было предвидеть. Избегайте женщин — таков вывод...» То было возвращение Блудного Отца. Его поместили в самой лучшей комнате. Приехав, он сразу лег и заснул.

Его продолжал волновать вопрос о ценности его творчества. Однажды утром он рассказал сыну, что во сне видел себя на вершине горы, и каждый камень этой горы был его книгой. Вдруг гора осыпалась под ним, как песчаная дюна. «Послушай, — сказал ему сын, — спи спокойно на своей гранитной глыбе. Она головокружительно высока, долговечна, как наш язык, и бессмертна, как родина». Тут лицо старца прояснилось; он пожал руку своего мальчика и поцеловал его. Возле его постели на столике лежали два луидора — все, что осталось от заработанных им миллионов. Однажды он взял их, долго разглядывал, потом сказал:

— Александр, все говорят, что я мот; ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как все заблуждаются? Когда я впервые приехал в Париж, в кармане у меня было два луидора. Взгляни... Они все еще целы.

Юная Микаэла, жившая со своей матерью в Марселе, в семейном пансионе, написала отцу, чтобы узнать, как его здоровье. Ответил ей Дюма-сын.

Дюма-сын — Микаэле Кордьё: «Мадемуазель! Я получил те три письма, которые Вы написали моему отцу и которых я не мог ему передать, поскольку Вы говорите там о его болезни, а мы (елико возможно) скрываем от него, что он болен. То ласковое имя, каким Вы его называете, доказывает, что Вы любите его со всей силой, на какую способен человек в Вашем возрасте, и что он был привязан к Вам. Впрочем, мне кажется, что я несколько раз видел Вас у него, когда Вы были совсем маленькой.

Я взял на себя труд сообщить Вам о его состоянии, так как сам он не в силах этого сделать. Он был крайне тяжело болен. Теперь ему немного лучше... Если он поправится настолько, что сможет читать присылаемые ему письма, я Вас извещу об этом... Я перешлю Вам его ответ.

Так как Вы любите моего отца, мадемуазель, само собой разумеется, что я приложу все усилия, чтобы услужить Вам».

Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал. В хорошую погоду

его вывозили в кресле на пляж, и он целыми днями молча смотрел на море, которое в блеклом свете зимнего солнца сливалось на горизонте с серым облачным небом.

Время от времени какое-то произнесенное им слово, какая-то фраза показывали, что он думает о смерти. «Увы! — говорил он. — Я принадлежу к тем обреченным, которые, уходя, прощаются *навек*». О чем он думал, когда к ногам его подкатывала зеленая волна? Быть может, о своих героях, о Мушкетерах и Сорока Пяти, о Буридане и Антони, об актерах, игравших его пьесы, — о Дорваль и Бокаже, о Фредерике Леметре и мадемуазель Жорж, о мадемуазель Марс и Фирмене; быть может, о пыльной канцелярии Пале-Рояля, где, случайно раскрыв книгу, он нашел сюжет для своей первой пьесы; о маленькой комнатке, где он любил Катрину Лабе; о лесах Вилле-Коттре, о первой подстреленной дичи, о крытой шифером островерхой колокольне, о генерале Дюма — опальном герое, обезоруженном великане; быть может, о том дне, когда он скакал верхом на сабле Мюрата.

Александр Дюма-сын — Шарлю Маршалю: «Дорогой друг! В ту минуту, когда прибыло Ваше письмо, я собирался писать Вам, чтобы сообщить о постигшем нас несчастье, неизбежность которого стала ясна нам еще несколько дней назад. В понедельник, в десять часов вечера, мой отец скончался, вернее — уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый понедельник, днем, ему захотелось лечь; с этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти непрерывно спал. Однако когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один-единственный раз проснулся, все с тою же знакомой Вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку. Когда он испустил последний вздох, черты его застыли в непреклонной суровости.

Разум, даже остроумие не изменили ему до конца. Он высказал много интересных мыслей, — я спешу сообщить Вам некоторые из них, ибо Вы используете их наилучшим образом. Хочу дать Вам представление о желании шутить, которое не покидало его. Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал: «Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, — ведь это им очень скучно». Живущая у нас русская

горничная преисполнилась нежности к этому тяжелому больному, неизменно улыбчивому и доброму, который был беспомощен, как ребенок. Однажды моя сестра сказала отцу: «Аннушка находит тебя очень красивым». — «Поддерживайте её в этом мнении!» — ответил он.

Наконец он произнес едва ли не самые прекрасные и поэтические слова, какие только можно сказать, — они относились к Ольге, которая часто навещала его. Вы знаете, что она немного напоминает «Святую Деву» Перуджини — длинные платья, тонкие руки и наша малышка, которую она обычно водит за собой или носит на руках, еще усиливают сходство, это и прежде всегда поражало моего отца, и он соблюдал по отношению к Ольге церемонную, даже почтительную вежливость. В один прекрасный день, когда он дремал, она зашла к нему, но, увидев, что он спит, удалилась. Он открыл глаза и спросил: «Кто там?» — «Это Ольга», — сказала ему моя сестра. «Пусть войдет!» — «Ты любишь Ольгу?» — «Я почти не знаю ее, но ведь девушки — это свет».

Всякий день он находил веселые или трогательные слова в духе тех, что я только что Вам сообщил. Недавно я спросил его: «Хочется тебе работать?» — «О нет!» — ответил он с выражением, на которое ему давало право воспоминание о том, сколько пришлось ему работать в течение сорока лет.

Вот, друг мой, некоторые подробности, которыми Вы можете воспользоваться, если будете говорить о нем... Они послужат ответом на распространившиеся слухи о размягчении этого могучего мозга, который не требовал более ничего, кроме покоя. Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, видя перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя — детей. Он по-настоящему любил Колетту. Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ею всем своим существом... Нам сообщили, что пруссаки сегодня вступили в Дьепп! Итак, он жил и умер в историческом романе.

...Пишу Вам эти несколько слов впопыхах, перед отпеванием, которое состоится в маленькой Невильской церкви, недалеко от Дьеппа, сегодня, 8 декабря, в одиннадцать часов. Временно он будет покоиться там».

Микаэла узнала о смерти своего отца в марсельском пансионе из беседы за табльдотом. Она залилась слезами; мать одела ее в траур. Жорж Санд находилась в Ноане, отрезанная от Нормандии немецкой армией. Тем не менее ее «младший сыночек» попытался известить ее.

Дюма-сын — Жорж Санд, Пюи, 6 декабря 1870 года: «Мой отец скончался вчера, в понедельник, в десять часов вечера, без мучений. Вы не были бы для меня тем, что Вы есть, если бы я не сообщил Вам первой о его смерти. Он любил Вас и восхищался Вами более, нежели кем-либо другим...»

Она могла выразить свое сочувствие только много позже, по окончании военных действий.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 16 апреля 1871 года: «Вам приписывают следующие слова о Вашем отце: *Он умер так же, как жил — не заметив этого*». Не зная, что Вы это сказали или что это вкладывают в Ваши уста, я написала в «Ревю де Де Монд»: «Он был гением жизни, он не почувствовал смерти». Это то же самое, не правда ли?...»

Дюма-сын — Жорж Санд, 19 апреля 1871 года: «Слова эти подлинные. Я написал их Гаррису и вспоминаю о том, что они принадлежат мне лишь потому, что наши мысли — Ваши и мои — совпали, хотя и в разных выражениях. Я постараюсь найти здесь (или если не найду в Дьеппе, то выпишу из Лондона) Вашу статью о моем отце. Вы понимаете, что мне не терпится ее прочитать. Как это Вам не пришла в голову добрая мысль послать мне ее? Или хотя бы сообщить дату ее опубликования? Меня очень мало трогает мнение, которое может высказать г-н де Сен-Виктор или какой-нибудь другой насмешник о моем отце (которого он, вероятно, не читал), но Ваше суждение для меня очень ценно. Быть может, и я когда-нибудь, отринув свои сыновние чувства, выскажу то, что думаю про этого необыкновенного, исключительного человека, для которого у современников нет мерила, этого своего рода добродушного Прометея, которому удалось обезоружить Юпитера и насадить его коршуна на вертел. Здесь нашелся бы интереснейший материал для изучения вопроса о смешении рас, любопытнейший

феномен для анализа. Вправе ли я заняться таким физиологическим исследованием? Об этом можно будет судить, когда я его сделаю. Если оно окажется удачным, убедительным, полезным, я буду оправдан, в противном случае меня осудят. Пока что я читаю и перечитываю его книги, и я раздавлен его воодушевлением, эрудицией, красноречием, добродушием, его остроумием, милосердием, его мощью, страстью, темпераментом, способностью осваивать вещи и даже людей без подражания и без плагиата. Он всегда ясен, точен, ослепителен, здоров, наивен и добр. Он никогда не проникает глубоко в человеческую душу, но у него есть инстинкт, заменяющий ему наблюдение, и некоторые его персонажи испускают шекспировские крики. Впрочем, если он и не погружается в глубину, то часто воспаряет к высотам идеала. И какая уверенность, какая твердость линий, какая восхитительная композиция, какая перспектива! Каким свежим дыханием овеяно все это, какое разнообразие всегда безошибочно точных тонов!

Приглядитесь-ка: герцогиня де Гиз, Адель д'Эрве, госпожа де При, Ришелье, Антони, Якуб, Буридан, Портос, Арамис и «Путевые впечатления»... И все и всегда увлекательно! Кто-то однажды спросил меня: «Как это получилось, что Ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил: «Потому что ему это было бы скучно». Он весь, без остатка, перевоплотился в слово. На его долю выпало счастье написать больше, чем кто бы то ни было, счастье всегда испытывать потребность писать для того, чтобы воплотить самого себя и стольких других людей, счастье писать всегда только то, что его увлекало. Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего Вы, вероятно, никогда еще не читали: «Путешествие по России и Кавказу». Это чудесно! Вы проделаете три тысячи лье по стране и по ее истории, не переводя дыхания и не утомляясь... Вас всего трое в этом веке: Вы, Бальзак и он. А за вами больше нет, да и не будет никого!..»

Еще одна женщина после войны великодушно отозвалась о нем: то была Мелани Вальдор, пережившая на сорок лет все «сломанные герани».

Мелани Вальдор — Дюма-сыну, Фонтенбло, 20 апреля 1871 года: «Я думаю о тебе, мой дорогой Александр, когда думаю о

твоим отце, которого я никогда не забуду. Я увезла с собой два твоих письма, которые очень взволновали меня, проникли мне в самую душу, — в особенности то, что от 18 октября, столь прекрасное по своей простоте и правдивости, что я часто его перечитываю, стремясь мысленно вновь очутиться с твоим отцом и с тобой — с теми, кого я никогда не переставала любить.

Я знаю, ты веруешь в потустороннюю жизнь и изучил много священных книг. В них только и можно почерпнуть силу и утешение на долгие времена... Если жил когда-либо человек неизменно добрый и сострадательный, то это был, без сомнения, твой отец. Только его талант мог сравниться с его доброжелательностью и неизменной готовностью помогать другим. Господь благословил его, ниспослав ему в час тяжких бедствий для Франции безмятежную кончину в кругу его детей. Он не изведал безграничной, неутешной скорби — смерти существа, которому он дал жизнь.

Прощай, дорогой мой сын. Я еще очень слаба и не позволяю воспоминаниям увлечь меня... Когда же мы сможем без страха вернуться в Париж? Хочу, чтобы, дожидаясь этого более или менее отдаленного времени, ты знал, что видеть тебя и говорить с тобой будет для меня почти материнской радостью.

Твой старый и самый искренний друг

М. ВАЛЬДОР».

Дюма-сын написал Маке, чтобы сообщить ему о смерти своего отца и вместе с тем чтобы осведомиться о финансовых взаимоотношениях двух соавторов. В последних разговорах с сыном Дюма-отец бормотал что-то о «тайных счетах». Дюма-сын, высказывая свое недоумение, спрашивал, не заключили ли соавторы какого-либо тайного соглашения?

Огюст Маке — Дюма-сыну, 26 сентября 1871 года:
«Дорогой Александр! Печальная новость, которую Вы мне сообщили, глубоко огорчила меня. Что касается пресловутых «тайных счетов», то это плод воображения. Ваш отец не решался заговорить со мной об этом, а когда все же заговорил, довольно было и пяти минут, чтобы заставить его отступить...

В самом деле, дорогой Александр, Вы лучше кого бы то ни было знаете, сколько труда, таланта и преданности предоставил я в распоряжение Вашего отца за долгие годы нашего

сотрудничества, поглотившего мое состояние и мое имя. Знайте также, что еще больше вложил я в это дело деликатности и великодушия. Знайте также, что между Вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но что нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо для этого потребовались бы *полмиллиона*, которые он мне задолжал.

Вы деликатно просили меня сказать Вам правду. Извольте, вот она — я излил Вам свое сердце, надеясь тронуть Ваше. Примите уверения в моей давней и неизменной привязанности.

О. МАКЕ

Что касается каких-то «тайных счетов», о которых Вам говорил Ваш отец, не верьте этому. Он и сам никогда в это не верил».

Дюма-отец был похоронен в декабре 1870 года в Невилье-Поле, на расстоянии километра от Дьеппа. Директор Жимназ Монтиньи, также укрывшийся в Пюи, произнес надгробное слово от имени друзей. Когда война кончилась, Дюма-сын перевез останки в Вилле-Коттре. На похороны приехали барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсонье, сестры Броан, Го и даже Маке. Могила была вырыта рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы Лабурэ^[178].

После всех речей несколько слов сказал Дюма-сын: «Мой отец всегда хотел покоем здесь. Здесь у него остались друзья, воспоминания, и это его воспоминания и его друзья встретили меня здесь вчера вечером, когда столько преданных рук тянулось к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга... Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько скорбной, сколько праздничной, не столько похоронами, сколько воскрешением...»

Какая удивительная смесь людей и событий: нормандский маркиз, черная рабыня, трактирщик из Валуа, швед, помешанный на театре, помощник начальника канцелярии — знаток литературы, учитель, интересующийся историей, романтическая эпоха, демократическая пресса... И все это вместе дало жизнь величайшему рассказчику всех времен и народов.

Часть девятая

БОГ-СЫН

*Приобщил ли ты Дюма-сына к культу искусства?
Если это так, то ты великий волшебник.*

ГЮСТАВ ФЛОБЕР, Письмо к Фейдо.



Старого бога-сатира не стало. На его месте публика увидела благородного и столь же могучего человека, который унаследовал его славу. В сознании народа «Три мушкетера» были почти неотделимы от «Дамы с камелиями». Апофеоз отца стал апофеозом сына: он пользовался огромным престижем. Война 1870–1871 годов и разгром Франции разожгли гнев моралиста и дали ему новую пищу. Как Ренан, он станет теперь объяснять поражение упадком нравов. В своих пьесах он будет клеймить пороки времени, а в своих эссе предлагать от них лекарство. Он станет светским

национальным пророком.

15 июня 1871 года он писал в газете «Ла Сарт»: «Необходимо, чтобы Франция сделала могучее усилие, чтобы воля и энергия всех французов слились воедино, чтобы весь народ жил одной мыслью — неотвязной, маниакальной — оправдаться перед внешним миром, залечить раны внутри страны. Необходимо, чтобы Франция обрекла себя на лишения; чтобы она была собранной, скромной и терпеливой; пусть работает отец, пусть работает мать, пусть работают дети, пусть работают слуги — до тех пор, пока не будет восстановлена честь семьи. А когда во всем мире услышат шум этого усердного и неустанного всеобщего труда и кто-нибудь спросит: «Что это за шум?» — надо, чтобы каждый мог ответить: «Это Франция трудится ради свободы и благоденствия».

Самое трудное для моралиста — жить согласно своей морали. Частная жизнь Дюма была далека от его идеала. Без сомнения, он любил своих дочерей; у него были верные друзья, но Надежда — нервная, раздражительная, ревнивая и вспыльчивая — перестала быть для него настоящей подругой. Многие женщины, и нередко — очаровательные, претендовали играть в жизни человека, слывшего лучшим — знатоком женского сердца, ту роль, которую больше не могла играть его законная жена. Львицы ласкали укротителя. Дюма сопротивлялся, а если и уступал натиску, то это совершалось в такой тайне, что о его слабостях почти ничего неизвестно. И все же искушений было более чем достаточно. И некоторые искустельницы были прелестны. Один из наиболее интересных случаев — это история его отношений с Эме Декле.

Глава первая

ЭМЕ ДЕКЛЕ И «СВАДЕБНЫЙ ГОСТЬ»

*Что делаешь ты на поверхности,
О женщина из бездны?*

ЖЮЛЬ СУПЕРВЬЕЛЬ



Бывают актрисы, которые начинают свою карьеру блестяще, но никогда не достигают высоты гения; другие же после бледного дебюта расцветают в пламени страстей и изумляют критику. Такова была история Эме Декле. Дочь адвоката, она выросла в среде крупной буржуазии и воспитывалась, как все девицы ее круга. Но ее отец, запутавшись в делах, разорился. Надо было на что-то жить. Красивая Эме Декле была превосходной музыкантшей и могла бы стать певицей; она решила, что ей будет легче добиться успеха на драматической сцене. Она поступила в Консерваторию, но училась кое-как и, выступая на конкурсном экзамене в роли графини из «Женитьбы Фигаро», не получила никакой награды. Ее изящная фигура понравилась жюри, но красивые глаза ничего не выражали, — ей не доставало огня. И все же Монтиньи взял ее в Жимназ за красоту, надеясь, что она сможет дублировать Розу Шери в «Полусвете». Она не имела никакого успеха. Казалось, всем своим видом она говорит:

«Не знаю, зачем я сюда пришла». Неприязнь публики, автора и товарищей озлобила этого балованного ребенка. Она ушла из Жимназ в Водевиль, потом, ожесточившись, опускалась все ниже и дошла до того, что стала выступать полуобнаженная в каком-то ревю на сцене Варьетэ.

Ей было 23 года; она была очаровательна и окружена поклонниками. Она решила оставить театр и жить за счет своих обожателей. Зачем перегружать себя трудной и неблагодарной работой, когда столько мужчин предлагают ей состояние только ради того, чтобы удостоиться ее благосклонности? Она меняла одного любовника за другим; ее остроты стали цитировать, она прослыла одной из самых умных женщин Парижа. В 1861 году смерть Розы Шери, казалось, открыла ей возможность вернуться в театр на видные роли, но она уже чувствовала себя оторванной от искусства. Она исколесила весь мир; переезжала из Бадена во Флоренцию, из Спа в Санкт-Петербург. Многие женщины легкого поведения завидовали ей, однако после исполнения очередной прихоти ее прекрасные разочарованные глаза словно говорили: «Нет, это все еще не то». На костюмированном балу, который устроили артисты Жимназ и куда она явилась в костюме маркитантки, она встретила Александра Дюма-сына в костюме Пьерро. Это был грустный маскарад. Ни он, ни она не веселились. Она показалась ему ослепительной, рассеянной, мечтательной. «Она походила, — сказал он, — на принцессу из сказки, которую преследует злая судьба и которая ждет принца-избавителя».

«Я испытала, — сказала она ему, — какие-то удовольствия, какие-то радости, но никогда не знала счастья».

В 25 лет она пережила кризис и решила уйти в монастырь. «Священник, которому, по-видимому, была неизвестна притча о заблудшей овце, оттолкнул меня, сказав, что я недостойна войти в дом божий...» Наскучившая (как в свое время Жюльетта Друэ и Мари Дюплесси) капризами богатых покровителей, она решила снова пойти на сцену и стать независимой. Она вернулась в театр смирившаяся, готовая терпеть и покоряться, готовая играть самые маленькие роли. Но актрисе нелегко бороться с дурной репутацией. Ее не приняли всерьез. Никто не предложил ей помощи. Что делать? Отправиться в турне? Директор одного из театров, Мейнадье, увез ее в Италию и доверил играть лучшие женские роли в пьесах Дюма-сына. «Труппа Мейнадье привезла к нам сюда красотку Декле, — писала Бертону его мать. — Ты не представляешь себе, какие она сделала успехи...» Игра Декле отличалась теперь искренностью, ибо она страдала. В Италии она имела огромный успех как у публики, так и в свете благодаря своему обаянию, изяществу, уму и таланту. Дюма-отец,

находившийся тогда в зените своего гарибальдийского приключения, открыл ей в Неаполе «свои объятия, свое сердце, свой дом».

Эме Декле — Дюма-сыну: «Я представила неаполитанцам всех обаятельных женщин, созданных Вами; меня превозносят до небес. Мы часто говорим о Вас, и я от всей души благодарна Вам за то счастье, которое выпало на мою долю...»

Продолжая работать без устали, она вела в Италии с 1864 по 1867 год все такую же бурную жизнь и по-прежнему искала «принца» — человека, который мог бы ее спасти. Но пропасть между ее сокровенными желаниями и ее образом жизни становилась все глубже. В 1867 году импрессарио Декле привез ее в Брюссель, где она снова стала играть Диану де Лис в театре Галери Сен-Юбер. Она написала Дюма-сыну, который в то время также находился в Брюсселе в связи с тем, что в театре Парка начали репетировать «Друга женщин», и просила его прийти ее посмотреть. «Везде говорят, что я делаю успехи, но я не поверю в это, пока не услышу Вашего мнения...» Он пришел скорее из вежливости, чем из любопытства, и без всякой надежды. Но стоило ей пробыть на сцене пять минут, как он, к своему великому изумлению, открыл в ней большую артистку, «Необычный, протяжный, чуть гнусавый голос, напоминавший пение арабов, вначале казался монотонным, потом захватывал. У нее была изящная фигура, гибкая талия (она не носила корсета) и большие черные глаза; ее лицо отражало внезапные переходы от нежности к ярости, а под искусственными румянами можно было угадать мертвенную бледность от внутреннего страдания. Худые плечи, грудь почти плоская — короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых все другие говорят, что она безобразна, и рядом с которой все красавицы кажутся ничтожными...»

Он пошел поздравить ее и как только вернулся в Париж, заявил Монтињи, что тот должен немедленно пригласить Декле в Жимназ. Монтињи не проявил энтузиазма: Дюма говорил, как о новой Дорваль, о женщине, от которой у него, директора театра, осталось очень бледное воспоминание. Он предложил ей ангажемент на довольно невыгодных условиях. Дюма просил Декле принять их, обещая, что напишет для нее новую пьесу. Она ответила, что Париж внушает ей страх, что за границей она уверена в обожании публики, что там она играет, как считает нужным, без наблюдения и без контроля, что ей нравится жизнь богемы и что, кроме того, парижане найдут ее безобразной, глупой и т. д.

Дюма-сын — Эме Декле: «Вы не старая, не безобразная, не глупая; Вы женщина, а это значит — существо нервное, изменчивое и нерешительное. Стоит Вам совершить какой-нибудь поступок, и Вы сразу же спрашиваете себя, то ли Вы сделали, что нужно, и любопытство побуждает Вас испытать новое ощущение, которое даст тот же результат, что и предыдущее. Теперь Вы спрашиваете себя, стоит ли Вам в самом деле поступить в Жимназ, и, должно быть, Вы будете довольны, если кто-нибудь подскажет Вам другое желание, чем то, что было у Вас вначале. Не рассчитывайте на меня. Поскольку мы начали откровенный разговор, то уж поставим все точки над «и». Знайте же, почему я интересуюсь Вами лично и Вашим талантом. Вы не только не слишком старая и не слишком безобразная для того, чтобы играть в моих или еще чьих-то пьесах, — Вы как раз находитесь на той ступени, на которой женщина, уже десять лет пребывающая на подмостках, может и должна стать артисткой. Время от времени Вы грустите, и это происходит оттого, что Вы переживаете сейчас ту фазу жизни, когда человек уже чаще оглядывается назад, не решаясь смотреть вперед; Вы спрашиваете себя, не были ли Вы призваны Вашим инстинктом, Вашим вкусом, Вашим умом, Вашей душой к тому, чтобы заниматься совершенно другим делом. Быть красивой женщиной, выступать на сцене то здесь, то там, иметь одного или нескольких любовников, выходить на вызовы публики после четвертого акта, отдавать свою красоту, неизменно держа на замке свое сердце, до той поры, пока отыщется человек, достойный отомкнуть шкатулку, — а он никогда не отыщется, — все это может продолжаться какое-то время, может создавать иллюзию, заменяя действительную жизнь внешней суетой, но это не может длиться вечно. Наступает момент (и Вы подошли к нему), когда человек оглядывается назад, когда он спрашивает себя: «Для чего все это?» — когда он насчитывает на своем пути уже немало похорон всех разрядов, когда упряжь кажется ему тяжелой, когда он сокрушается о несбывшихся мечтах, когда его отчаяние нашептывает ему: «Слишком поздно!» И вот как раз в этот момент натуры поистине закаленные обретают новую силу, преобразуются, возрождаются — это период метаморфозы...

Теперь, вместо того чтобы оставаться кочующей актрисой провинциальных и заграничных театров, которой перепадают

лишь крохи после парижских премьер, Вы должны стать на твердую почву, сделаться интеллигентной и увлеченной артисткой. Когда же Вам посчастливится напасть на пьесу, где Вы обнаружите свои личные впечатления, свои интимные чувства, Вы достанете из шкатулки свое сердце, до тех пор дремавшее, и отдадите его на растерзание публике, а она потом вернет его Вам целым и невредимым для другого Вашего творения. Это не то счастье, мечту о котором Вы лелеяли в тайниках Вашей души, это не абсолютное благо, но уже и не зло. Вы будете воздействовать на ум, на чувства, на порывы, на самые благородные побуждения человеческой души. Ваши средства — нечто мимолетное, неуловимое, но действие их будет долгим, подобно действию солнечного луча или капли дождя, упавших в надлежащее время. Кто любит, тот знает, чего он хочет; тот, кого любят, чувствует, что не ради одного только наслаждения — большего или меньшего — один живой труп отдается другому живому трупу в пароксизме самовоспроизведения. Вы не ожидали этой маленькой лекции. Я прочел ее Вам, ибо считаю, что Вы способны понять ее и достойны выслушать. Вы как раз достигли той самой точки, так не упустите момента. Вы сейчас на перекрестке, откуда расходится множество путей, — выберите правильный, то есть тот, который я Вам указываю. Вы скажете мне спасибо, когда действительно будете старухой...»

В этой тираде была известная доля великолепной самоуверенности господина де Риона или Оливье де Жалена, но в основе своей она была искренней.

Декле повиновалась. Она возвратилась из Флоренции и отправилась с визитом к Монтиньи. Тот был разочарован.

— Что это за женщину вы заставили меня принять в театр? — спросил он у Дюма. — Она явилась ко мне в шерстяном платье в серо-зеленую клетку, в плаще со сборчатым капюшоном, какие носят нормандские крестьянки... Помилуйте! Меня страх берет. Никогда ей не быть ни Дианой де Лис, ни Фру-Фру!

— Терпение, терпение, — отвечал Дюма. — Вы еще увидите.

Он был прав: новый дебют Декле стал ее триумфом. Дюма-сын после нескольких репетиций возвратился к себе в Пюи. Напрасно Декле послала ему очаровательное письмо, прося его присутствовать 1 сентября 1869 года на премьерe.

Эме Декле — Дюма-сыну: «В среду в Жимназ дают прекрасную пьесу; небо затянуто тучами; самое время ходить в театр. Все больше и больше шумят о дебюте молодой актрисы; газеты в один голос объявляют ее очень милой. Будто бы в горле у нее — музыкальный инструмент. Те, кто слушал ее, хотят услышать вновь. Неужели это правда? Человек, который зайдет к Вам в Пюи и передаст это письмо, обещал мне привезти Вас, но можно ли верить обещаниям этого человека? Господин Александр Дюма-сын, я Вас люблю.

Ваша маленькая служанка
ЭМЕ ДЕКЛЕ».

Он не приехал. Она послала ему полный отчет:

«Свершилось. Уф! Я появлялась на сцене в красивейших платьях всевозможных цветов, с плюмажем в волосах, который делал меня похожей на дрессированную собачку. Зал был набит до отказа... Весь вечер я щупала свой пульс — не учащен ли он, — ничего подобного, он был спокойный и ровный. Ни тревоги, ни страха, ни радости — ничего. Мне казалось, я возродилась к новой жизни; и вот опять пустота. О я несчастная! После спектакля директор сказал мне: «Получилось не хуже, чем у Розы». Это немалый комплимент. Он хотел, чтобы я, не сходя с места, продлила контракт... Короче говоря, г-н Монтиньи собирается Вам писать, потому что я ничего толком не знаю, кроме одного: что мне доставляет несказанное удовольствие беседовать с Вами, мой нежный духовник...»

Возобновление «Дианы де Лис» закрепило успех Декле. «Какая метаморфоза! — писали критики. — Теперь это говорящая душа». Ее хвалили за верность тона, прелесть неожиданных переходов, безукоризненную технику. Говорили, что она много работала, пережила жестокие потрясения и что знание театра позволило ей «продемонстрировать свой суровый жизненный опыт». Дюма, гордый своей находкой, стал ее духовником. Ей хотелось бы большего: «Я так сильно и так давно люблю Вас...» Но он боялся любви из благодарности, которая кончается размолвкой; он поддерживал отношения на уровне нежной дружбы. Она не чувствовала себя оскорбленной и даже благодарила его за то, что он отверг в ней любовницу и сохранил друга.

«Как хорошо, что все устроилось таким образом! Мне не доставило бы ни малейшей радости предложить Вам жалкую рухлядь — тело старой женщины, но я испытываю бесконечное блаженство, любя Вас всей душой...» Этой *старой женщине* было тридцать лет.

Она не знала счастья.

«Если не считать те годы страданий, когда я была девой радости, хотя и казалась весьма благопристойной, — с тех пор как я сбежала с этой галеры, мне не на что и не на кого жаловаться. Сколько женщин на моем месте благословляли бы небо? Я чувствую себя хорошо; зал каждый вечер полон, цветов и оваций столько, что они могли бы насытить всех театральных минотавров — и что же? Мне все это безразлично... Как бы там ни было, этим относительным счастьем, отсутствием малейшей тревоги, независимым положением — всем этим я обязана Вам. Кроме того, нравится это Вам или нет, мне кажется, что я люблю Вас больше всего на свете...»

Он был бы рад, если бы мог стать для нее «принцем», но он изверился в любви вообще, а в особенности — в любви автора и актрисы. «Я прошел весь свой путь, не нарушая этого тривиального запрета».

В театре, полагал он, есть порядочные женщины; есть и такие, что способны увлечься офицером, финансистом, атлетом, актером; но между автором и актрисой существует профессиональный барьер. Актрисы слишком заинтересованы в авторе, чтобы верить в искренность своей любви к нему; он же, столько раз видевший, как они играли трагедию, вполголоса перебрасываясь шутками со своими партнерами, в то время как зрители плакали, — он не может в своей частной жизни принимать всерьез те излияния, которые сам же корректировал из суфлерской будки. Он должен взволновать не сердце, а ум актрисы. За гранью сердца он вновь находит простодушие и искреннюю дружбу.

Декле утешала себя, измышляя роман, который мог бы сложиться у нее с Дюма-сыном; он же видел в ней только гениальную актрису, чье дарование должно было развиться за счет подавленных страстей. Он рекомендовал ее своим друзьям Мельяку и Галеви на главную роль в пьесе легкого жанра, хотя и трогательной — «Фру-Фру». Она имела в этой роли необычайный успех и благодарила за него Дюма:

«Знаете ли Вы, чем я обязана Вам, дорогое мое провидение?

Во-первых, Вы меня придумали, во-вторых, были для меня поддержкой после всех моих неудач; Вы возвратили мне чувство собственного достоинства, уважение к себе Расплатившись за проезд, я, несчастная Мария Египетская^[179], брела ощупью в поисках дороги; Вы указали мне цель, и вот благодаря Вам я достигла ее. Многие люди, да и Вы сами, говорили мне, что меня считают богатой. Не знаю, откуда взялась эта басня Я и богатство! Это не вяжется. Разве может женщина, подобная мне, сколотить состояние? Не бывает мужчин, которые дают по доброй воле, но бывают женщины, которые умеют заставить их давать... Я бедна и горжусь этим. Однако г-н Монтиньи прислал мне уже третий контракт, условия — превосходные. Итак — долой сплин, долой монастырь! Я зарабатываю на жизнь! А еще — я Вас люблю и умоляю позвольте мне любить Вас, ибо если человеку обеспечен хлеб насущный, если желудок может спать спокойно, то его сосед — несчастное сердце переживает жестокий кризис. Огромное напряжение, необходимость тратить себя каждый вечер не только не утомляют его, а, наоборот, возбуждают. Любовный угар доходит у меня до мозга, дурманит меня, и слова любви готовы сорваться с моих губ. Я испытываю такую жажду нежности, ласки, что мне страшно. Это маленькое тощее тело таит в себе неисчерпаемые богатства, они душат меня. Кому отдать их? Кому они могут быть нужны? Их не оценят по достоинству. «Эти люди недостойны Вас», — не раз говорили Вы мне. Я верила этому; потом упрекала себя в гордости, в высокомерии и заставляла себя снизойти до какого-нибудь фата; но очень скоро я приходила в себя, вовремя вспомнив Ваши слова. Наконец-то я свижусь с Вами и Вы поддержите меня, ибо я хочу и впредь быть достойной Ваших благодеяний...»

В промежутках между спектаклями эта знаменитая и одинокая женщина жила за городом в обществе своих птиц, своего пуделя и своей старой служанки Цезарины. Она чувствовала себя несчастной, никому не нужной; ее переполняло горячее желание отдать себя кому-нибудь. Она просила Дюма вернуть ей силы и волю.

«Вы испытываете на себе теперь неизбежные последствия, логически вытекающие из положения независимой женщины — для женщины самого тягостного. Женщина рождена для

подчинения и повиновения: сначала родителям, затем — мужу, впоследствии — ребенку, и всегда — долгу. Когда по собственному побуждению или под дурным влиянием окружающих она выходит за рамки своих естественных функций, когда она совершает акт освобождения, то, если она по натуре своей порочна, она будет все больше и больше деградировать, пока не погибнет, истощив свои силы в разврате. Если же ее просто свели с пути, если она просто не устояла, то наступает минута, когда она вдруг чувствует, что у нее есть другое назначение, когда она страшится бездны, в которую увлекает ее стремительное падение, и когда она зовет на помощь...

...Так думают и говорят женщины в Вашем положении, и коль скоро в пределах их досягаемости или в поле их зрения оказывается мужчина, который не вполне походит на окружающих и который еще вырастает в их глазах из-за охватившей их экзальтации, они восклицают: «Вот он — спаситель, мессия! Спасите меня! Спасите меня!» Я не безумец и не бог и потому не могу быть ни Вашим любовником, ни Вашим спасителем, Вы хотели бы ребенка. К счастью, Вы не можете его иметь, ибо для Вас его появление на свет было бы весьма кратковременным развлечением, для него же — весьма большим несчастьем.

Дети становятся мужчинами — женщины не думают об этом ни когда они хотят детей, ни когда они их производят на свет... Вы бесплодны, тем лучше. Вы не подарите жизнь ни развратнику, ни несчастному...

Что Вам остается делать? Вам остается пользоваться преимуществами той жизни, которую Вы себе устроили. Вы еще молоды, Вы красивы... Вы обладаете большим запасом жизненных сил... У Вас самый обворожительный голос, Вы очень умны. Будьте кокетливы, предельно кокетливы — это и послужит Вам развлечением, станет Вашей защитой и Вашей мезью и, поскольку Вы обладаете настоящим талантом, очертя голову бросайтесь в работу... Воспользуйтесь своей независимостью, чтобы никогда больше не продавать себя, и старайтесь никому не жертвовать собой...

В заключение, дорогое дитя, скажу Вам: человек не меняется, он приспособливается к жизни. Приспособьте к жизни все свои достоинства и недостатки... Станьте большой артисткой,

то есть человеком, чье сердце — в голове, а душа — в голосе, человеком, который играет на людских чувствах, как на инструменте. Оставайтесь, наконец, «роскошной женщиной», по Вашему выражению, все более и более шлифуя себя в обществе людей интеллигентных, в среде которых Вы можете жить. Короче, не пытайтесь стать Лукрецией или Магдалиной. Довольствуйтесь тем, чтобы днем быть Нинон, вечером — Рашелью. Это будет прекрасно...»

Это был не добрый совет, но добрых советов не бывает. Никто не знает, что потребно другому, никто не может навязать другому определенный образ жизни. Иногда влияет пример, но стареющий писатель не может служить примером для молодой женщины, умирающей от тоски. Ею снова овладевает прежний демон, принявший облик человека из «высшего света», высокого, белокурого, с маленькой бородкой, сильного, мужественного.

Декле — Дюма-сыну: «Наконец-то, мой добрый духовник, я перестала быть ангелом... Теперь я думаю, что целомудрие несовместимо с моей профессией. Да и к тому же я слишком похудела...»

Добрый духовник ответил на это, как сделал бы Виктор Гюго, — доброжелательным нравоучением, не лишенным ораторского пафоса.

Дюма-сын — Эме Декле: «Ах, бедная душа, как ты бьешься!.. Насколько сильнее тебе хочется плакать, чем смеяться, и как хорошо ты знаешь, что все это обман!.. Ты потеряешь теперь первые перья из твоих крыльев, только начавших отрастать. А ты еще всерьез намереваешься уйти в монастырь. Зачем? Ты там не останешься. К тому же для человека, у которого есть воля, всюду монастырь. Настоящий монастырь — это уважение к себе. Здесь не нужны ни решетки, ни замки, ни исповедальни, ни священники. Ты не любишь человека, которому отдалась, и хочешь оправдать себя, насмехаясь над ним! Люби его по крайней мере, иначе запахи твоей постели — благоухание, когда есть любовь, зловоние — когда ее нет, — одурманят тебя и, проснувшись в одно прекрасное утро, не зная, как выбраться из всей этой грязи, ты напишешь красивое письмо, где перечислишь

все свои неосуществленные идеалы, и покончишь с собой. Это будет конец, а быть может, и начало...»

Жюльетта Друэ тоже однажды слышала слова «*Мой ангел, у которого отрастают крылья*».

Крылья беспомощно повисли, повисли навсегда, и Дюма перестал заниматься Декле. К тому же война и смерть отца на несколько месяцев отрезали его от Парижа. Но в октябре 1871 года он поручил Декле роль в одноактной пьесе, которую она называла «маленьким чудом» и которая по сей день сохраняет свою власть над публикой: «Свадебный гость». Пьеса отвечала одному из самых сильных чувств Дюма. Идею ее выражала фраза: «Вот все, что остается от адюльтера, — ненависть у женщины, презрение — у мужчины. Но тогда зачем это?» Приблизительно то же выскажет позднее в «Парижанке» Анри Бек. Требовалось известное мужество, чтобы защищать этот тезис перед изрядно развращенным обществом, считавшим, что любовь до гроба, которая в глазах Дюма только и была настоящей любовью, невероятна и смешна. Влиятельный критик Франсиск Сарсэ возражал. «Зачем? — повторял Сарсэ вопрос Дюма. И отвечал: — Ах, да хотя бы затем, чтобы быть счастливым полгода, год, десять лет — сколько-нибудь». Он восхищался твердостью руки, мастерством воплощения; он лишь упрекал Дюма в цинизме: «Его недостаток заключается в том, что он не любит женщин или — если хотите — Женщину. Для него она не что иное, как объект для вскрытия... Все это сухо, как веревка повешенного».

Диагноз был точный. Дюма-сын не любил женщин: на одних он жаловался, других осуждал. Что касается актрис, то они были для него только исполнительницами. Ему важно хорошо изучить женщину, чтобы добиться от нее, как от актрисы, нужных ему акцентов. Какое дивное искусство театр — оркестр из живых инструментов, палитра из трепещущих красок! Героиня «Свадебного гостя» Лидия, возмущенная трусостью своего бывшего любовника, который оставил ее, чтобы жениться, но был готов обманывать с нею свою жену, обмахивается носовым платком, словно ей нечем дышать, потом вытирает рот и бросает платок на стол с возгласом «Фу!». После этого она говорит: «Ах, если бы раньше знать то, что я узнала *потом!*.. Фу!.. Надо избавиться от этого господина, не так ли? Никогда больше не слышать о нем, считать его мертвым, забыть, что он когда-либо существовал! Мне не хватает воздуха! Я задыхаюсь!.. Никогда не думала, что можно так презирать человека, которого так любила...»

Это «фу!» на репетициях Декле произносила «поверхностно». Дюма

настаивал, чтобы она нашла «в самой глубине своего нутра» тот возглас, которого он от нее ждал. Она противилась, ибо чувствовала, что это будет для нее физиологическим потрясением.

«Однажды, когда задета была только *актриса*, а *женщина* молчала, у нас происходила настоящая борьба. Она страшилась того состояния, в какое ее повергла бы на весь остаток дня интонация, которой я от нее добивался, и с помощью всевозможных уловок от этого увиливала. Я не уступал, и в конце концов она исторгла из своего нутра нужный мне крик, — я знал, что найду его там. «Нате, вот он, Ваш крик, — сказала она мне усталым, голосом, — вы ведь знаете, откуда он исходит? Вы убиваете меня!» — «Какое это имеет значение, раз спектакль получается?» Тогда она в полуобмороке опустилась на стул, держась руками за сердце. «Он прав, — сказала она через несколько секунд, — так и надо со мной обращаться; иначе я ни на что не буду годна...»

Крик, вырванный автором у актрисы, был вознагражден тремя взрывами аплодисментов и вызовом после ее ухода со сцены в середине акта. И он и она хорошо знали, каков источник этого рокового «фу!»: отвращение к прошлому, которого она стыдилась; ужас, внушаемый ей мужчинами, ее недостойными; муки души униженной, тщетно сопротивляющейся унижению. Декле «пачкали, обливали грязью, позорили, оскорбляли». Из этого прошлого она слепила в конце концов произведение искусства. Но прежних страданий было бы недостаточно. Требовался огромный труд. Интонация была найдена; работа должна была закрепить ее. Искусство театра требует этой бесчеловечной химии, сердце здесь дает пищу ремеслу.

Эдмон Абу — Дюма-сыну, 10 ноября 1871 года: «Ах, друг мой, какой Вы восхитительный художник!

Я читал и перечитывал Вашу пьесу и все же не знал ее, ибо как нельзя более верно, что подлинные драматические произведения рождаются только в свете рамп! Рукопись очаровала меня; спектакль потряс. Эта Декле — я видел ее впервые — вначале показалась мне уродливой, худой, вульгарной, а голос ее — сиплым; но через несколько минут это была уже не она, а нечто в тысячу раз более значительное и прекрасное — Ваша

пьеса в сером платье...

Моя жена и я были одни в ложе бенуара; как эгоисты, мы не хотели делиться впечатлениями от такого спектакля с людьми равнодушными. Мы вышли из театра ошеломленные. Алекс сказала: «Твой друг устроил бал на полторы тысячи человек на туго натянутом канате, — я спрашиваю себя, каким чудом мы все не сломали себе шею; но это не имеет значения — я довольна, что пошла туда». Что касается меня, то я пока еще не рассуждаю и не размышляю; мне кажется, что на меня хлынул целый поток мыслей, что я попал в водоворот и опомнюсь не сразу. В ожидании этой минуты я наслаждаюсь вполне бескорыстной радостью, какую испытывает всякий честный человек, встретив личность более значительную, чем он сам, более значительную, чем все остальные, — совершенный ум, который природа творит один раз в пятьдесят лет...»

Это письмо характерно: в 1871 году Дюма-сын считался непогрешимым. У него самого было ощущение, что он выполняет некую священную миссию. Модной тогда художнице Мадлен Лемэр, которая попусту растрачивала силы своей души, он с невероятной суровостью писал:

Дюма-сын — Мадлен Лемэр: «Вы, без сомнения, наиболее достойны жалости из всех, кого я знаю. Письмо, которое я получил от Вас, новое тому доказательство. У Вас слишком мужской ум, чтобы Вы могли довольствоваться тем, чем довольствуется большинство женщин, но Вы и слишком женщина для того, чтобы не интересоваться этим вовсе. В итоге Вы сердитесь на женщин, чувствуя или даже думая, что они счастливее Вас, и сердитесь на мужчин, не сумевших дать Вам счастье, на которое Вы, по Вашему мнению, имеете право.

Отсюда та внутренняя горечь, которая пробивается сквозь Вашу напускную веселость, выражаясь иронией и подчас злословием, не достойным такого изысканного ума, как Ваш. Ибо в виде компенсации Вы получили от природы чрезвычайно изысканный ум, чрезвычайную широту взгляда и восприятия.

С Вами можно говорить обо всем. Вы способны все понять, хотя Вам и не дано все воплотить в Вашем творчестве. Вы — художник до кончиков Ваших красивых пальцев, и Вы цепляетесь

за работу, чтобы не впасть в отчаяние или в разврат, каковой есть не что иное, как отчаянье плоти. Вы испробовали многое, но все это опротивело и наскучило Вам, не дав того, что, казалось, сулило поначалу. Короче, Вы находитесь на распутье, которое лесники называют звездой. Десять дорог разбегаются в разные стороны от того места, где Вы стоите, словно спицы колеса, которые лучами расходятся от ступицы к ободу и, как быстро ни вертелось бы колесо, никогда не сойдутся.

У Вас слишком много таланта, и Вы слишком пристрастились к работе, чтобы позволить теперь любви занять в Вашей жизни первое место. Ибо любовь, будучи одним из начал, хочет быть полновластной хозяйкой и, подобно Цезарю, предпочитает быть первой в провинции, нежели второй — в Риме. Любовь ради развлечения — не любовь. Это флирт, и Вы достаточно много занимались им, чтобы знать, какое омерзительное чувство и какую пустоту он оставляет в душе. Вы не можете теперь отдаться свободно, душой и телом, как хотят и как должны отдавать себя те, кто любит по-настоящему. Обязательства перед обществом, которые Вы взяли на себя, заставили бы Вас любить урывками, в определенные часы и в определенном месте, с определенными ограничениями. Ваш разум, а иногда и чувство собственного достоинства подсказывают Вам, что этого недостаточно и что это грязь. Если бы Вы обладали чувственностью, то довольствовались бы этими мелкими радостями при условии их обилия; но Вы не обладаете чувственностью, Вы томитесь тоской, которая характерна для женщин, лишенных чувственности.

Что же должно служить Вам точкой опоры? Много ума и немного чувства. Чем можно удовлетворить и то и другое? Первое — работой, второе — ребенком. Вот почему я посоветовал Вам заняться Вашими картинами и Вашей дочерью. Ваша жизнь быстро обретет весомость, которой Вы еще не знали и которая, не мешая Вам смеяться, сделает Ваш смех более искренним и более веселым... Вы займете место среди значительных людей нашего времени. Это самый почетный выход. И тогда вы, без сомнения, встретите на своем пути ту большую мужскую дружбу, которая обычно венчает судьбу подобных женщин и которая поднимает их на такую высоту, куда не достигают уже ни глупость, ни пошлость, еще окружающие

Вас сегодня и мешающие Вам жить.

Вот Вам моя лекция, прекрасный друг. Она, быть может, чересчур торжественна, но она основана на множестве уроков, которые мне преподала жизнь и которыми я время от времени охотно делюсь с дорогими мне людьми — к их числу принадлежите и вы».

Эта высокомерная и любвеобильная суровость не отталкивала кающихся грешниц.

Глава вторая

ОТ «КНЯГИНИ ЖОРЖ» ДО «ЖЕНЫ КЛАВДИЯ»



Бедствия Франции довершили превращение Дюма в апокалипсического пророка. Он склонился «над котлом, где плавятся души», — Парижем — и увидел, как из бурлящего города вышел зверь с семью головами и десятью рогами. Этот зверь держал в своих руках, белых как молоко, «золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою» Вавилона, Содома и Лесбоса... А над десятью диадемами, среди всяческих «имен богохульных», ярче всех других пылало слово *проституция*...

Большинство людей одержимо какой-нибудь одной навязчивой идеей; врач обычно усматривает в любой болезни именно ту, которую открыл он сам.

Начиная с 1870 года Дюма обдумывал пьесу, где намеревался изобразить ученого патриота и честного человека; его предаёт распутная жена — она похищает у него одновременно честь и тайну государственной важности. Поскольку эта женщина должна была явиться новой Мессалиной, мужу надлежало зваться Клавдием^[180], жене — Цезариной; пьеса называлась «Жена Клавдия». Развязка была отдана в руки Мстителя. Надо было, чтобы мужчина уничтожил Зверя, чтобы муж убил жену. Но в ту минуту, когда Дюма собирался написать вверху чистого листа бумаги «Действие первое, сцена первая», ему внезапно представилась совершенно другая пьеса: безупречная женщина вышла замуж за слабого человека,

который позволил авантюристке увлечь себя. Муж последней узнает, что у нее есть любовник, и клянется убить его. Княгиня Жорж де Бирак (имя героини) знает, что граф Термонд (оскорбленный супруг) ждет в засаде человека, который должен прийти к его жене. Надо молчать; пусть Бирак отправится на это randevu со смертью — она будет отмищена, не подвергаясь ни малейшей опасности. Преступление без страха и упрека.

Но она предпочитает спасти и простить своего преступного мужа.

Именно эту пьесу, направленную против мужской измены, Дюма написал первой, в течение трех недель. В ней были две прекрасные женские роли — роль княгини Жорж Северины, которую получила Декле, и роль авантюристки Сильвании де Термонд, которую сыграла Бланш Пьерсон — обольстительная юная креолка, уроженка острова Бурбон; в то время она кружила всем головы. Красавец Фехтер, влюбившись в нее, руководил ее карьерой. Жокей-клуб в полном составе являлся рукоплескать ей. До «Княгини Жорж» Дюма считал ее изящной и необыкновенно красивой актрисой, но лишенной таланта. Здесь она внезапно стала «улыбающейся, дерзкой, бесстрастной и безжалостной самкой» — воплощением «вечной женственности», как ее понимал и живописал Дюма, невзирая на протесты самих женщин. «Тот, кто видел на сцене м-ль Пьерсон, никогда не забудет ее пышные волосы, казавшиеся прихотливым сплетением солнечных лучей, ее лазурные глаза с металлическим отсветом, сиявшие из-под аркады бровей, словно солнечные блики на льду пруда, ее прямой и тонкий, как у танагрских статуэток, нос. Ее обнаженные плечи были усыпаны бриллиантами. Ни рубины, ни сапфиры, ни изумруды не нарушали белизны этого мистического существа, которое словно было соткано из прозрачного света меркнувшей луны и первых лучей зари... Прибавьте к этому пружинящую походку, мелодичный голос, тон которого, впрочем, не менялся, чтобы казаться таким же непроницаемым, как лицо, взгляд затуманенный, блуждающий, озирающий все вокруг, словно для того, чтобы увидеть, с какой из четырех сторон может явиться враг. И стоит ей заметить врага или только почувствовать его присутствие, как взгляд ее становится пристальным, пронизывающим, будто хочет просверлить точку, в которую устремлен. Никогда еще я не видел, чтобы человек и персонаж до такой степени сливались воедино...»

Чем можно было объяснить это чудо? Дюма дает понять, что Бланш Пьерсон скрывала под своей совершенной красотой ту же холодность, какую выказывала Сильвания де Термонд.

«Поднимемся, — говорил Дюма, — в уборную м-ль

Пьерсон... Она снимает перчатки, чтобы протянуть руку тем, кто пришел ее поздравить... Возьмите эту руку и поднесите к губам... Пожмите ее — и вы будете удивлены. В чем дело? Эта детская ручка, ручка этой белокожей, белокурой, веселой красавицы в той же мере неподатлива и жестка, когда ее пожимаешь, в какой она нежна и шелковиста, когда к ней прикасаешься губами. Это еще не все, — она холодна, как хрусталь. А разве госпожа де Термонд не сказала вам только что: *«Руки у меня всегда как лед»*? Но ведь госпожа де Термонд и представляющая ее актриса — разные женщины. Кто знает? Что касается меня, то, когда я впервые коснулся этой руки, испытал то же волнение, что и вы, я в упор поглядел на женщину, давшую мне руку. Она поняла мой взгляд, расхохоталась и сказала: «Да, уж так оно есть!» Она сказала это с таким выражением, что, когда я писал роль госпожи де Термонд, я уже знал, где мне найти женщину, которая ее сыграет, и сыграет, как я впоследствии сказал актрисе, безупречно...»

В жизни между Эме Декле и Бланш Пьерсон установилось соперничество совершенно другого рода, но почти такое же страстное, как между Севериной и Сильванией. Речь шла о том, чтобы завоевать не мужчину, а публику. Как-то раз, когда Пьерсон в одной из пьес Дюма должна была выступить в роли, которую обычно играла Декле, последняя написала ей: «Дорогая Бланш, завтра ты будешь играть мою роль. Постарайся не затмить свою подругу. *Декле*». На следующий день после спектакля Бланш получила еще одну записку: «Дорогая малютка Бланш, ты поистине чудесный товарищ. Это хорошо с твоей стороны. *Декле*». Зло и не лишено остроумия.

Дюма писал «Княгиню Жорж» для Декле. Это подтверждает его письмо к другу — хранителю Национальной библиотеки и рецензенту Комеди-Франсэз Лавуа; то же письмо показывает, что автор его, хотя он был тогда еще не стар, чувствовал себя уже больным человеком.

Дюма-сын — Анри Лавуа: «Полагаю, сударь, что Вы — а также госпожа Декле — окажетесь довольны теми тремя действиями, над которыми я тружусь в настоящее время. Ей будет на чем показать себя. Вещь обещает быть оригинальной, живой, а развязка ее — необычной. Я бы уже кончил ее, если бы моя башка не принималась время от времени вновь терзать меня, а с

нею заодно все мои нервы — шейные, позвоночные, симпатические и прочие. Погода меж тем хорошая и весьма прохладная; но прежде я слишком много требовал от своей брэнной оболочки; теперь она взбунтовалась. В один прекрасный день я почувствую боль в виске, ткнусь носом в стол, и все будет кончено. Сарсэ наговорит обо мне кучу вздора, а «Иллюстрасьон» поместит мой портрет. А какой толк?

Мне осталось написать всего одно действие. На это требуется не более суток. Однако эти сутки наступят лишь через несколько дней. Дожидаясь их, я намерен хорошенько попотеть, чтобы облегчить свой мозг, и принять холодный душ, чтобы укрепить свой организм. Извольте обходиться со мной уважительно. Знайте: г-н Дюпанлу написал на днях письмо (я видел его) некоей даме — своей сестре во Христе, где заявил, что он прочитал «Взгляды госпожи Обрэ» и что там есть превосходные места!

Когда увидите Араго^[181], передайте ему мои поздравления. Нечего сказать, натворил он дел. Старый метод. Мы учтивы с нашими врагами. Отказываем в ордене (Полю) Шаба, который создал лучшие произведения прошлого года, имеет уже три медали и требует этот орден по праву, и подносим его художнику из Орнана^[182], который считает нас прохвостами и бросит нам этот крест в лицо... Надо поощрять талантливых живописцев. Подразните его слегка. Сделайте это для меня.

У нас все чувствуют себя хорошо, а Колетта — она цветет — на днях сказала мне забавную вещь. Я заявил ей: «Я собираюсь написать завещание. В случае, если мы все, кроме тебя, умрем, на чьем попечении хотела бы ты остаться?» Она подумала с минуту и заявила: «На попечении принцессы»^[183].

Дюма всегда отдавал предпочтение Шаба перед Курбе, это была одна из его слабостей.

«Княгиня Жорж» имела успех. «Жена Клавдия» провалилась. Дюма говорил, что женская часть публики, которая, собственно, и есть публика, никак не могла согласиться с тем, что главный женский персонаж пьесы — чудовище, и еще менее с тем, что Клавдий Рюпе присвоил себе право убивать. «Публика не любит, когда убивают женщину... Она продолжает считать женщину хрупким и слабым созданием, которое в начале пьесы

надо любить, чтобы в конце — жениться. Если она согрешила, надо ее простить; кто ее убивает, должен умереть вместе с ней...»

Даже Декле испугалась роли Цезарины, в чем призналась автору. В самом деле, пьеса эта немногого стоит. Похищение секретных документов, происходящее в совершенно невероятных условиях, отдает плохим полицейским романом. Клавдий — более чем совершенство, Цезарина — более чем чудовище. В начале своего творчества Дюма использовал личные воспоминания, интимные чувства и соединял, создавая вполне приемлемый сплав, субъективный взгляд с объективной реальностью. Теперь же, одержимый несколькими отвлеченными идеями, он написал тенденциозную пьесу, не имевшую ничего общего с действительностью.

В «Жене Клавдия» он вывел одно лицо — еврея Даниеля, мечтающего о возрождении своего народа на земле Палестины. Хотя он был изображен с симпатией, многие зрители-евреи заявили протест. В своем пылком французском патриотизме, особенно сильном в пору бедствий Франции (многие из них были эльзасцы), они и думать не хотели о другой родине.

Дюма-сын — барону Эдмону Ротшильду: «Если какой-либо народ сумел в десяти коротких стихах создать кодекс морали для всего человечества, он поистине может называть себя народом божьим... Я задавался вопросом: принадлежи я к этому народу, какую миссию возложил бы я на себя? И в ответ я сказал себе, что мною всецело владела бы одна мысль — отвоевать землю моей древней родины и восстановить Иерусалимский храм... Именно эту мысль я и воплотил в образе Даниеля...»

Критика наравне с публикой невысоко оценила «сложную символику» «Жены Клавдия». Кювийе-Флери, критик академического толка, не лишенный таланта, распекал автора пьесы в «Журналь де Деба», взывая к божественным и человеческим законам, которые запрещают убивать. «Но что же мне тогда делать?» — спрашивал себя Дюма.

«Если я прощаю Даму с камелиями — я реабилитирую куртизанку, если я не прощаю Жену Клавдия — я проповедую убийство... Принято считать, что я представляю и прославляю на сцене только негодяев, мерзких выродков, что тем самым я потерял право говорить о добродетели и о чести, что не кто иной, как я, развратил современное общество, до меня оно-де было стадом белых овец, и довольно было пастушьего посоха, увитого

розовыми лентами, чтобы направлять его от рождения до смерти. Я, мол, защищаю недоказуемые тезисы, а главное — в таком месте, которое создано для развлечения добропорядочных людей... Наконец, что я стал общественно опасным элементом, поскольку я нападаю на законы моей страны и дохожу до того, что рекомендую мужьям убивать своих жен...»

Кювийе-Флери спрашивал: «А по какому праву г. Дюма рядится в тогу моралиста? Живет ли он сам в согласии с той моралью, которую проповедует? Имеет ли он право на то доверие, которым пользуется законодатель, прорицатель и судья?» Отвечая сам на им же заданные вопросы — обычный полемический прием, — Кювийе-Флери заявил: «Нет». Дюма возмутился. Почему нет? Только потому, что он не судья, не священник, не член академии? Но судьи и священники осудили на смерть Жана Каласа^[184], — частное лицо, писатель Вольтер отомстил за убитого. По той же причине частное лицо, писатель Дюма, считал своим долгом говорить правду людям, собравшимся в театре. Мольер совершил свой подвиг — подвиг гения — без чьего-либо разрешения. Что касается его самого, Дюма, то он считал себя тем более вправе судить наши законы, что сам страдал от них. Адресуясь к Кювийе-Флери, он написал подробный рассказ о своей трудной жизни: об унижительном детстве внебрачного сына, об издевательствах товарищей по пансиону. «Родившись в результате ошибки, я был призван бороться с ошибками».

Затем он рассказывал о своей жизни с Александром Дюма-отцом:

«Вы, сударь, знали моего отца, Вы помните его жизнерадостность, его неизменную и неиссякаемую веселость, его расточительство в отношении к своим деньгам, своему таланту, своим силам, своей жизни. Он сердцем восполнил те отцовские права, в которых ему отказал закон, и я стал его лучшим другом... Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мы вместе с ним — его склонность к излишествам вступила в союз с моей молодостью и любознательностью — окунулись в светские развлечения, да и не только светские. Шокинг! Не правда ли?

Но, ей-богу, пища для наблюдений есть повсюду, а в тех местах, где бывали мы с отцом, пожалуй, можно почерпнуть больше жизненной мудрости, чем в пухлых философских трактатах...»

Тогда-то он и столкнулся с женщинами, которые сбились с пути.

«Так как у меня не было состояния, которое я мог бы проматывать с этими женщинами, то к тем тратам, что были мне по карману, я добавлял немного жалости. Я сочувствовал отчаянию, принимал исповеди, видел, как среди всех этих фальшивых радостей текут потоки искренних горячих слез... Роман «Дама с камелиями» был первым итогом этих впечатлений. Когда я написал его, мне был двадцать один год...»

Он осмотрительно выбрал тему, которой собирался посвятить все свое творчество, ибо как раз на эту тему он мог сказать больше всего. Темой этой была любовь. Научные проблемы? Политические проблемы? В этих вещах он признавал себя некомпетентным. Нравственные проблемы, отношения между мужчиной и женщиной? Вот здесь он почитал себя знатоком. Однако в театре он столкнулся с действительным положением вещей: там нельзя было показывать превосходство мужчины над женщиной. В театре женщина берет реванш у сильного пола, который угнетает ее в жизни. Она, всегда только она. Все ради любви и через любовь.

Дюма увидел, что он замкнут в этом круге. Напрасно пытался он из него выйти. В наделавшей много шуму брошюре «Мужчина — Женщина» он переходил в наступление:

«Женщина никогда не уступает ни разумным доводам, ни доказательствам; она уступает только чувству или силе. Влюбленная или побитая, Джульетта или Мартина^[185] — другого ничего нет. Я пишу это исключительно для сведения мужчин. Если после этих разоблачений они по-прежнему будут заблуждаться в отношении женщин, я буду в этом не повинен и поступлю, как Пилат...»

Существует два типа мужчин: те, кто знает, что такое женщина, и те, кому это неизвестно. Первые встречаются редко; их долг — просвещать остальных. Своего сына (воображаемого, того самого Дюма-внука, которого Надин так и не произвела на свет) он поучал, что совершенная чета, мужчина — женщина, может быть создана, только когда соединятся два безупречных существа, дав друг другу нерушимую клятву в абсолютной верности. Он, знавший столько развращенных, лживых или

полубезумных женщин, советует сыну избрать жену набожную, целомудренную, трудолюбивую, здоровую и веселую, чуждую иронии.

«И если теперь, несмотря на все твои предосторожности, осведомленность, знание людей и обстоятельств, несмотря на твою добродетель, терпение и доброту, ты все же будешь введен в заблуждение внешностью или двоедушием, если ты свяжешь свою жизнь с женщиной, тебя не достойной... если, не желая слушать тебя ни как мужа, ни как отца, ни как друга, ни как учителя, она не только бросит твоих детей, но с первым встречным будет производить на свет новых; если ничто не сможет помешать ей бесчестить своим телом твое имя... если она будет препятствовать тебе выполнять богом данное назначение; если закон, присвоивший себе право соединять, отказывает себе в праве разъединять и объявляет себя бессильным, провозгласи себя сам, от имени господа твоего, судьей и палачом этой твари. Это больше не женщина; она не принадлежит к числу созданий божьих, она просто животное; это обезьяна из страны Нод^[186], подруга Каина — убей ее...»

Такова была мораль Дюма-сына. Но драматург понимал, что теряет контакт с публикой. Он сошел со своего треножника и написал «Господина Альфонса». Главную роль в этой пьесе он предназначал Декле, но актриса чувствовала себя очень плохо. Она жаловалась на боли в боку; некоторое время спустя врачи определили у нее злокачественную опухоль. Несчастливая женщина, уставшая от своих триумфов, с печатью близкой смерти на лице, искала теперь только покоя.

Эме Декле — Дюма-сыну: «Я подпишу контракт только в том случае, если Вы мне категорически прикажете, да к тому же Вам придется поддерживать мою руку. Видите ли, в конце концов я уйду в монастырь, это твердо — у меня навязчивая идея. Что мне здесь делать? К чему мне вся эта суeta, ухищрения, бесполезные занятия, все это ремесло паяца?»

После провала «Жены Клавдия», сильно нуждаясь в деньгах, Декле дала тридцать представлений в Лондоне. Она вернулась оттуда без сил. «Я тону у самого берега», — сказала она. Ей прописали поездку на воды — в Салиде-Беарн. Насмешка над умирающей! Последние дни жизни она

провела в своей квартире на бульваре Мажанта, на четвертом этаже. Она ничего не могла есть. Лицо ее выражало теперь лишь самое жестокое страдание. «Покая! — молила она. — Убейте меня!» Пеан считал операцию бесполезной. Декле была обречена. Священник, который исповедовал ее, сказал: «Это прекрасная душа».

Она умерла 8 марта 1874 года. Со дня похорон Рашели Париж не видел ни такого стечения народа, ни такой всеобщей скорби. Тысячи людей остались за дверью церкви Святого Лаврентия. На кладбище Пер-Лашез Дюма-сын произнес речь: «Она трогала наши сердца, и это свело ее в могилу — вот и вся ее история...» Он закончил душераздирающей риторической фигурой: «Диана, Фру-Фру, Лидия, Северина! Где ты? Ответа нет. Закройте глаза, взгляните на нее последний раз очами вашей памяти — больше вы ее никогда не увидите. Вслушайтесь последний раз в далекий звук этого загадочного голоса, который обволакивал и опьянял вас, словно музыка, словно благовонное курение, — больше он никогда не зазвучит для вас».

Своей сопернице Бланш Пьерсон Декле завещала дорогой веер; Дюма она оставила другое наследство — достойный восхищения образец высокого искусства, питаемого всегда лишь подлинными чувствами.

Глава третья

НАБЕРЕЖНАЯ КОНТИ

Дюма-сына спросили, кому он наследует в Академии. Он отвечал: «Моему отцу».



1873–1879 годы. Францией правят нотабли. Третья республика с самого начала своего существования оказалась более солидной, нежели Вторая империя, от которой даже в годы благоденствия пахло авантюрой. В период президентства Адольфа Тьера власть принадлежала частью родовой аристократии, частью денежной олигархии. Средние классы под водительством Гамбетты только начинают завоевывать республику. Светская жизнь не утратила блеска; известные клубы — Жокей-клуб, Юньон — по-прежнему сохраняют свой престиж. Герои Дюма-сына еще не вышли из моды.

Сам Дюма-сын становится одним из персонажей своих драм. Журналисты, которые наносят ему визиты в его особняке на авеню де Вильер, 98, поражены «внушительным видом» дома. Строгий вестибюль кажется скорее порталом храма, чем входом в квартиру. Симметрично расставлены пузатые вазоны с экзотическими растениями. На потолке — чугунный фонарь, на стене — большое полотно Бонингтона «Улица Ройяль в 1825 году». Бюст Мольера. В столовой, обитой кордовской кожей, висят часы работы Буля. Стены гостиной, обтянутые атласом в золотую и

красную полосу, обрамлены деревянными панелями. В рабочий кабинет льется поток света сквозь два больших окна, открывающихся в сад. Посреди комнаты — огромное бюро в стиле Людовика XIV. «Океан бумаг загромождает бюро. В этом беспорядке есть свой порядок... Возле большого книжного шкафа вы видите восхитительную модель надгробия Анри Реньо^[187] из обожженной глины в натуральную величину. Главное украшение дома — большая галерея, очень просторная, разделенная на две гостиные: в одной стороне стоит бильярд, другую облюбовала для бесед госпожа Дюма». В этой галерее — бюсты Александра и Надин Дюма работы Карпо; в настоящее время они находятся в Малом дворце.

В доме более четырехсот картин, хороших и плохих: Диаса, Коро, Добиньи, Теодора Руссо, Воллона. Портрет молодого Виктора Гюго, кисти Девериа; кошечки Эжена Ламбера, розы Мадлен Лемэр, «Спящая девушка» Лефевра, «Чудесная» Лемана. Картина Мейсонье «В мастерской художника» изображает бесстыдную Луизу Прадье, которая нагая позирует своему мужу. Воспоминания «юных лет, так быстро минувших». Статуэтки Гудона рядом с набросками Прюдона. На бюро — бронзовая рука, рука Дюма-отца. На всех столиках и полках — руки, гипсовые, мраморные; руки убийц, актрис, герцогинь. Странная коллекция!

Дюма рано встает и рано ложится. Утром он сам разжигает огонь и греет себе суп — на первый завтрак он предпочитает кофе и чаю суп. Потом он садится за стол, на котором уже лежат приготовленные голубая шелковистая бумага и пучок гусиных перьев, и работает до полудня. За вторым завтраком он встречается с женой и двумя дочерьми: КоLETTE в 1875 году было четырнадцать лет, Жаннине — восемь^[188].

Он с гордостью цитирует их остроты, достойные того, чтобы звучать со сцены. Одна дама спросила у его старшей дочери, за кого она хотела бы выйти замуж.

— Я? — переспросила Коlette. — За дурака. Я пожалела бы об этом, только встретив еще более глупого, — пожалела бы, что не выбрала этого, второго.

— Успокойся! — воскликнула Жаннина. — Уж глупее того, кто на тебе женится, не найдешь!

Как-то после одной из семейных ссор Дюма-сын спросил у Коlette:

— Если твой отец и твоя мать в один прекрасный день разойдутся, с кем из нас ты останешься?

— С тем, кто не уедет отсюда.

— Почему?

— Потому что не хочу трогаться с места.

За столом он пьет простую воду, но велит подавать ее в бутылке из-под минеральной воды — «чтобы обмануть свой желудок».

После обеда он никогда не работает. Он присутствует на аукционах, заходит к торговцам картинами или вешает на стены приобретенные полотна. Когда его спрашивают, какой подарок доставил бы ему удовольствие, он отвечает: «Набор столярных инструментов». Да и на что ему подарки? Он богат, очень богат. Его гонорары весьма солидны, а гонорары его отца, с тех пор как старого сатира не стало и проматывать их некому, копят у Мишеля Леви, и текущий счет Дюма-отца снова стал вполне кредитным.

Хотя Дюма-сын выказывает изрядное презрение к господствующему режиму, новые законы его интересуют. У него все те же навязчивые идеи: защита порядочных девушек от негодяев, вместе с тем установление отцовства и наследственных прав для внебрачных детей; защита порядочных мужчин от негодяек, вместе с тем борьба с проституцией замужних женщин и кампания за разрешение развода. Политические или экономические реформы его не занимают. В этих вопросах он плохо разбирается. Любовь, взаимоотношения мужчины и женщины, родителей и ребенка — вот его неизменные темы. Как бы мог он правильно изображать рабочих, крестьян или мелких буржуа? Он живет в самом модном из элегантных кварталов (равнина Монсо), среди мягкой мебели, статуй, растений. Таков его мир и его обстановка; таковы его границы.

Он вполне овладел своим ремеслом. «Господин Альфонс», поставленный в 1873 году в театре Жимназ, где Бланш Пьерсон, разумеется, получила роль, предназначенную несчастной Эме Декле, — крепко сшитая пьеса. Она принесла Дюма особую честь; он обогатил французский язык новым словом. Слово «альфонс» будет впредь обозначать сперва продажного мужчину, потом — сутенера. Каков сюжет пьесы? Молодой развратник Октав сделал ребенка девушке по имени Раймонда. Он отвез ребенка в деревню и навещает его под именем господина Альфонса.

Раймонде удалось выйти замуж за морского офицера, значительно старше ее, капитана второго ранга де Монтельена; он ничего не знает о ее прошлом. Октав испытывает такую острую нужду в деньгах, что готов жениться на бывшей служанке кабачка Виктории Гишар, которая разбогатела, выйдя *in extremis*^[189] замуж за кабатчика. Он всячески старается скрыть от своей будущей жены, что у него есть внебрачная дочь. Но он вверяет ребенка попечению Монтельена, который, разумеется, не

подозревает, что маленькая Адриенна — дочь и его супруги тоже. Нетрудно догадаться, что Виктория Гишар и Марк де Монтельен узнают всю правду, что они прощают Раймонду, что ребенок остается с матерью, а Октав, или господин Альфонс, с презрением изгоняется всеми. Развязка была благополучная, и публика осталась довольна.

Предисловие — весьма существенное — содержит новую речь в защиту совращенной девушки и обличает совратителя, а в особенности — законодателя, который снимает ответственность с отца и заявляет ему: «Ты хочешь остаться в тени? Очень хорошо, ты останешься в тени, ты сможешь произвести на свет других детей (законных), и никто не посмеет что-либо сказать тебе по этому поводу».

Однако человек, который уклоняется от своих отцовских обязанностей, — это дезертир куда более опасный, чем тот, который уклоняется от служения родине. Где средство против этого? Равноправие женщины и мужчины в сфере гражданской и даже политической. «Почему бы нет? Она живое существо, мыслящее, трудящееся, страдающее, любящее, наделенное душой, которой мы так гордимся, платящее налоги, как вы и я...»

Разве такое равноправие не вошло уже в обычай в Америке? Разве оно не прокладывает себе дорогу в Англии?

Противники Дюма обвиняли его в противоречиях, ибо он хотел, чтобы женщина имела равные права с мужчиной в политической сфере и подчинялась мужчине в семье. Он отвечал, что подчинение супруги супругу-покровителю должно быть добровольным и что он, Дюма, выступает в защиту огромного числа женщин, *лишенных* семьи. Женщине он говорил: «Мужчина создал две морали: одну — для себя, другую — для тебя; такую, что разрешает ему любить многих женщин, и такую, что разрешает тебе любить одного-единственного мужчину, в обмен на твою навсегда отнятую свободу. Почему?» Потом, поддавшись своей склонности к апокалипсическим пророчествам, он предсказывал конфликты между Востоком и Западом, битвы миллионов людей, в сравнении с которыми война 1870–1871 годов покажется деревенской потасовкой; он предвидел сражения под водой, битвы в воздухе, «молнии, которые испепелят целые города, мины, от которых взлетят на воздух целые материки». Сколько родится внебрачных детей в этом неслыханном столпотворении народов? Так не следует ли правительствам составить единую огромную семью со всеми теми, кто лишен семьи?

Этим страницам нельзя отказать ни в красноречий, ни в мудрости. Одним из первых воздал им должное на редкость преданный Дюма

читатель, его преподобие господин Дюпанлу, орлеанский епископ и депутат Национального собрания. Епископ был незаконнорожденным, и это обстоятельство делает понятной снисходительность прелата к безбожнику. Господин Дюпанлу был внебрачным сыном бедной девушки из Шанбери, покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама, но и дала ему отличное воспитание. Поступив в возрасте двадцати лет в Сен-Сюльпис, он стал священником, директором семинарии, наставником сыновей Луи-Филиппа, членом Французской академии. В Национальном собрании и левые и правые одинаково уважали его за его достойное поведение во время войны. У него были грубые, словно топором тесанные черты лица, и в своей лиловой сутане он весьма внушительно выглядел на ораторской трибуне. Человек независимого ума, он сочувственно следил за борьбой Дюма-сына. Он беседовал с Дюма о том, чтобы ввести в гражданский кодекс закон об установлении отцовства. Гонкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма:

«— Как вы находите «Госпожу Бовари»? — спросил г-н Дюпанлу.

— Прекрасная книга.

— Шедевр, сударь!.. Да, шедевр, это особенно очевидно тем, кто исповедовал в провинции».

Г-н Дюпанлу всячески убеждал Дюма выставить свою кандидатуру во Французскую академию, где это предложение было принято чрезвычайно благосклонно. Имя кандидата было вдвойне прославлено, его человеческое достоинство — безупречно. Женщины, которых он так часто бичевал, стояли за него горой. «Этот Александр Дюма поистине счастливчик, — пишет Гонкур с некоторой горечью, — а всеобщая симпатия к нему безмерна...» Даже Гюго приехал в Академию, впервые по возвращении на родину, чтобы голосовать за сына своего старого товарища. Впрочем, эти двое не любили друг друга. Дюма-сын утверждал, что Виктор Гюго очень плохо вел себя по отношению к Дюма-отцу и что «Мария Тюдор» — плагиат «Христины». Гюго, считавший отца вульгарным, но гениальным, признавал за сыном только талант. Состоялось голосование. Дюма-сын был избран большинством в двадцать два голоса — в числе их был и голос Гюго. Вечером новоиспеченный академик приехал благодарить, но, не застав Гюго, написал на своей визитной карточке: «Дорогой учитель! Свой первый визит в качестве академика я хотел нанести Вам. Кесарю — кесарево... Целую Вас...» То был холодный поцелуй примирения.

Дюма-сын был причислен к лику «бессмертных» 11 февраля 1875 года графом д'Оссонвилем. Эдмон де Гонкур, никогда не присутствовавший при приеме в Академию, хотел «увидеть собственными глазами и услышать

собственными ушами всю эту китайскую церемонию». День выдался очень холодный, но Дюма «сделал аншлаг», и прикатившие в экипажах разодетые дамы теснили мужчин с орденскими ленточками. Принцесса Матильда, которая привезла Гонкура, занимала небольшую ложу, откуда был виден весь зал.

«Зал совсем невелик, а парижский свет так жаждет этого зрелища, что не увидишь ни пяди потертой обивки кресел партера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра — до того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады. А сквозь дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре изысканно элегантную женщину, которая сидит на ступеньке лестницы, — здесь она прослушает обе речи...

Люди, близкие к Академии — несколько мужчин и жены академиков, помещаются на круглой площадке, напоминающей арену маленького цирка и отделенной от остального зала балюстрадой. Справа и слева на двух больших трибунах рядами чинно восседают, словно выставленные напоказ, облаченные в черное действительные члены Академии. Солнце, решившее выглянуть, освещает лица, вздетые горе с той умильной гримасой, какая в церковных скульптурах обычно выражает небесное блаженство. Чувствуется, что мужчин обуревают восхищение, которое им не терпится выплеснуть наружу, а в улыбках женщин есть что-то скользкое. Раздается голос Александра Дюма. Тотчас же наступает набожная сосредоточенность, потом слышатся одобрительные смешки, ласковые аплодисменты, блаженные возгласы «ах!»...

Начиная свою речь, Дюма сказал, что если двери Академии сразу так широко распахнулись перед ним, едва он в них постучался, то объясняется это отнюдь не его заслугами, а фамилией, «которой вы давно уже собирались воздать почести и искали лишь повода для этого и которую вы можете теперь почитать только в моем лице... Позволяя мне сегодня возложить своими руками венец славы на этого дорогого усопшего, вы оказываете мне самую большую честь, о какой я только мог мечтать, и единственную честь, на которую я действительно имею право».

Воздав, таким образом, должное своему отцу, он перешел к своему предшественнику Пьеру Леброну, поэту стиля ампира, напыщенному и

жеманному, который в двенадцатилетнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кориолане; умер он в 1873 году, в возрасте восьмидесяти восьми лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. «Этот Ахилл мечтал иметь при жизни своего Гомера. Ему было суждено обрести его только после смерти». Комплимент Виктору Гюго Великой литературной битвой Лебрена была его драма «Сид Андалузский», однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и мадемуазель Марс, пьеса была сыграна всего четыре раза... Это послужило для Дюма поводом заговорить о другом «Сиде» — корнелевском, отзыва о котором Ришелье требовал у Академии.

«Замешательство было велико. Вы были всем обязаны основателю Академии и опасались не угодить ему, вам было известно, что он жаждет отрицательного отзыва, но вы в то же время не хотели своим пристрастным суждением преградить дорогу тому, чей первый опыт был произведением мастера...»

Дюма спрашивал себя, за что Ришелье преследовал Корнеля? Из зависти к собрату по перу? Следует ли подобным толкованием принижать двух великих людей?

«Я убежден, что великий кардинал призвал к себе великого Корнеля и сказал ему: «Как! В то самое время, когда я пытаюсь изгнать и истребить все испанское, теснящее Францию со всех сторон, ты намерен прославлять на французской сцене литературу и героизм испанцев! Присмотрись к твоему «Сиду» да, с точки зрения драматической — это шедевр; с точки же зрения моральной и социальной — это уродство. Какое общество смогу я основать, если девушки будут выходить замуж за убийцу своего отца, а командующие армией пожертвуют родиной, если их любовь останется без ответа?.. Ты и в самом деле утверждаешь, что храбрость великого военачальника и судьба великой страны в большей или меньшей степени зависят от того, насколько сильно любит молодая девушка?.. Ступай, поэт, и опиши героев, достойных подражания». И тогда Корнель замыслил «Горация», то есть антитезу «Сиду», и эту трагедию он посвятил Ришелье».

К несчастью, продолжал Дюма, верх одержала идея «Сида», а не

«Горация».

«В самом деле, все битвы, в которых сражаются герои наших произведений, ведутся ради обладания какой-нибудь Хименой; она — награда победителю. Добившись цели, он женится на своей Химене и счастлив — тогда это комедия, если ему это не удастся, он приходит в отчаяние и умирает — тогда это трагедия или драма... Театр становится храмом, где славят женщину; там мы восхищаемся ею, жалеем и прощаем ее, там она берет реванш у мужчины и слышит обращенные к себе слова, что вопреки законам, которые созданы мужчинами, она царица и повелительница своего тирана. Все благодаря ей! Все ради нее!

Да, господа, такова наша слабость. Между нами и театральной публикой существует молчаливое соглашение, что мы будем говорить о любви. Жизнь, даруемая любовью, или смерть от любви — вот наша тема, всегда неизменная, и вот почему некоторые серьезные люди считают, что мы — люди несерьезные. Но если и не все мужчины на нашей стороне, то у нас есть могучий стихийный союзник — женщина... Кто бы она ни была — девушка, любовница, супруга, мать, — ею владеет один инстинкт, одна мысль, одно стремление — любить... Вот почему она без ума от театра, вот почему, завоевав женщин, мы уверены в успехе, вот почему Корнель был прав, написав «Сида», а Ришелье, как государственный деятель, был прав, когда выступил против него...»

Когда Грез писал портрет Бонапарта, он придавал императору черты мадемуазель Бабюти^[190]; Дюма-сын, намереваясь говорить о Лебрене, возвратился к своим излюбленным идеям. Он напомнил, что Лебрен в 1858 году, посвящая в академики Эмиля Ожье, сказал: «В театре появилась склонность реабилитировать некоторых лиц, изгнанных из общества, склонность, которую я столь же мало могу понять, как и разделить. Вошло в моду предлагать вниманию публики павших и обесчещенных женщин, которых страсть обеляет и возвышает... Этих женщин возносят на пьедестал, а нашим женам и дочерям говорят: «Смотрите! Они лучше вас».

Это было недвусмысленное осуждение «Дамы с камелиями». Дюма-сын защищал творение своей юности.

«Театр, — сказал он, — не создан для молодых девушек. Ни

Агнеса^[191], ни Джульетта, ни Дездемона, ни Розина не могут служить для них нормой поведения... И все же было бы весьма прискорбно, если бы из-за родителей, которые непременно желают водить своих дочерей в театр, не существовало бы ни Агнесы, ни Розины, ни Джульетты, ни Дездемоны. Одним словом, господа, — это говорит вам человек театра, — никогда не приводите к нам ваших юных дочерей... Я слишком уважаю их, чтобы позволить им слышать все, что я имею сказать; я слишком уважаю искусство, чтобы низводить его до того, что им дозволено слышать...»

Так он взял некоторый реванш у своего предшественника. В конечном счете Лебрен не очень преуспел в театре. Не оттого ли, что он слишком считался с условной моралью? «Если быть откровенным до конца, господа, — но я говорю вам это шепотом, — то мы — революционеры». Лебрен слишком мало доверял своему искусству, публике и себе самому. В этом причина поражения и его преждевременного отхода от театра. «Да, господа, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память писателя, которого нельзя назвать гениальным. Боже упаси меня от того, чтобы не оказать ему должного уважения, — а я поступил бы так, поставив его выше того, что он есть на самом деле, пусть даже только в академическом похвальном слове».

Похвальное слово? Нет. То был смертный приговор. Но он был встречен аплодисментами и восторженным топотом зала, опьяненного энтузиазмом. После короткого перерыва, говорит Гонкур, до ложи принцессы донесся «скрипучий голос старика д'Оссонвиля».

«И тут началась... экзекуция кандидата, со всевозможными приветствиями, реверансами, ироническими ужимками и злобными намеками, прикрытыми академической вежливостью. Г-н д'Оссонвиль дал понять Дюма, что, по сути дела, он ничтожество, что молодость он провел среди гетер, что он не имел права говорить о Корнеле; в его насмешках презрение к творчеству Дюма смешалось с презрением вельможи к богеме. И, начиная каждую фразу с поношения, которое он выкрикивал звучным голосом, воздев лицо к куполу, жестокий оратор затем понижал голос и переходил на невнятное бормотанье, чтобы произнести под конец фразы пошлый комплимент, которого никто не мог расслышать. Да, мне казалось, что я сижу в балагане

и смотрю, как Полишинель приседает в насмешливом реверансе, стукнув свою жертву палкой по голове...»

Должно быть, это впечатление было вызвано тоном речи, так как текст ее не кажется суровым. Граф д'Оссонвиль прежде всего опроверг утверждение, что избрание Дюма в Академию — это дань его отцу. «Мы не чувствуем за собой никакой вины по отношению к автору «Антони»... Не мы забыли его... Ваш знаменитый отец, без сомнения, получил бы наши голоса, если бы попросил их у нас...» Что касается господина Лебрена, то его критика наверняка не была направлена против «Дамы с камелиями», ибо в 1856 году на заседании имперской комиссии он предложил присудить премию Дюма-сыну, «как самому нравственному драматическому поэту своего времени». Лично он, д'Оссонвиль, не боится в театре ни смелых выпадов, ни революционеров.

«Как это несправедливо — обвинять ваши пьесы в недостатке морали! Я скорее сказал бы, что мораль в них бьет ключом!.. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, чтобы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок... Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом... Поймите, однако, их смущение. В последнем акте «Антони» любовник, дабы спасти честь Адели, закалывает ее, восклицая: «Она сопротивлялась мне — я ее убил!» Вы говорите мужу недостойной супруги: «Убей ее немедленно». Но как же так? Если все женщины должны погибнуть — одни за то, что они сопротивлялись, другие — за то, что они этого не сделали, — то их положение становится поистине трудным...»

Анри Бек, не питавший особой склонности к Дюма-сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавароша герцогом де Ришелье. «Ибо у Дюма есть нечто от Клавароша — нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвастливого». Выходя, марселец Мери заметил: «Разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями — и вот один из них мертв. Они обмениваются речами — и вот один из них бессмертен». Марэ сказал: «Д'Оссонвиль считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Брольи на условиях общности имущества». Типичные парижские остроты.

Глава четвертая

ПЛОЩАДЬ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕАТРА



Долгие годы Дюма хранил верность театру Жимназ. Следом за Французской академией его пожелал заполучить и Французский театр. Он в одно и то же время хотел и боялся этого. *Боялся* — ибо широкая, покрытая ковром лестница, швейцары с цепью на шее, по-монашески строгие билетерши, фойе, уставленное мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира, дом Мольера, Корнеля, Расина, Бомарше. Дюма считал более благоразумным дебютировать там посмертно. *Хотел*, ибо дом был достославный. Классика служила для актеров этого театра постоянной школой мастерства, поддерживая их вкус и талант на очень высоком уровне. В другом месте отдельный одаренный актер — какой-нибудь Фредерик Леметр, какая-нибудь Мари Дорваль, Роза Шери или Эме Декле — мог достичь совершенства; но только в Комеди-Франсэз была труппа, был выдающийся ансамбль, способный на несколько вечеров придать современной пьесе очарование классики.

Подобно тому как барон Тейлор (которому теперь было восемьдесят пять лет) открыл некогда двери этого храма перед Дюма-отцом, так другой генеральный комиссар, Эмиль Перрэн, ввел во Французский театр Дюма-сына. Перрэн был высокий худощавый человек, неизменно одетый в черный пиджак. В театре его можно было застать с часу дня до шести вечера и с девяти до полуночи. Он принимал людей с ледяной

вежливостью. Из-за его необычайного косоглазия никогда нельзя было понять, куда он смотрит. Дебютант, поймав на себе косой взгляд Перрэн, начинал нервно теревить галстук. «Что это вы делаете? — спрашивал Перрэн. — Ведь у вас не в порядке ботинки». Его суровость порой оскорбляла, но он снял театр с мели — он ввел абонементы на определенные дни, которые очень охотно раскупали, и возродил трагедию, пригласив Мунэ-Сюлли^[192]. В его программу входило привлечь в Комеди-Франсэз современных авторов. Сначала он предложил Дюма снова поставить «Полусвет», потом, после блестящего успеха этой старой пьесы, потребовал у Дюма новую. Дюма дал ему «Иностранку» — еще одно воплощение апокалипсического Зверя.

Героиня — американка, миссис Кларксон. Будучи любовницей вконец разорившегося герцога де Сетмона, она ищет ему богатую невесту и встречает негоцианта Морисо, мультимиллионера, который предлагает герцогу свою дочь Катрину и значительное приданое. В первом акте Катрина дает благотворительный бал; у миссис Кларксон хватает наглости туда явиться, а у герцога хватает дерзости представить свою любовницу жене. С точки зрения Дюма, миссис Кларксон и герцог де Сетмон «способствуют гибели общества». Герцог — существо бесполезное, вредоносное — должен быть убит, это мера общественной безопасности. Муж миссис Кларксон, американец, стреляющий из пистолета так, как это умеют делать на Дальнем Западе, и совершает казнь. Таким образом Катрина получает возможность выйти замуж за инженера Жерара, сына своей учительницы, которого любит с юных лет. Все к лучшему благодаря лучшему из преступлений.

Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негоциант Морисо, который принес свою дочь в жертву снобизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку, — чем они лучше герцога де Сетмона? А этот последний — заслуживает ли он смерти? «Он мог бы ее избежать, — отвечал Дюма критикам, — в обществе, допускающем развод». Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель.

«Пусть Палаты, наконец, дадут нам закон о разводе, и одним из непосредственных результатов этого акта будет неожиданное и полное преобразование нашего театра. Со сцены сойдут мольеровские обманутые мужья и несчастные жены из современных драм, ибо в условиях нерасторжимого брака было возможно лишь тайное мщение или публичные сетования жены-прелюбодейки... Если Сганареля действительно обманула жена,

он с ней разведется; Антони больше не понадобится убивать Адель; полковник Эрве, узнав, что она изменила ему и ждет ребенка, вернет себе свободу и лишит ее своего имени. Клавдию уже не придется стрелять в Цезарину, словно в какую-нибудь волчицу, и нам не понадобится привозить из Америки мистера Кларксона, чтобы избавить бедняжку Катрину от ее гнусного супруга. Наконец, эстетика театра переживет полное обновление, и это будет не самое малое из благ, проистекающих из нового закона...»

Пресса негодовала. Сарсэ задыхался от злости. Даже «Ревю де Де Монд» выпустило залп. Однако все эти неистовые нападки разожгли любопытство публики. Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комеди-Франсэз предоставила новому автору свои лучшие силы: герцогиню де Сетмон играла Софи Круазет, женщина редкостной гордой красоты, с рыжей шевелюрой, удлиненными косящими глазами, грубым, отрывистым голосом. «У нее, — говорил Сарсэ, — такая постановка головы, такие модуляции голоса, что она способна околдовать крокодила». Ее девиз гласил: «*До победного конца!*» Она окончила Консерваторию, где ее преподаватель Брессан ради нее вскоре забросил всех остальных учеников ее класса. Получив ангажемент в Комеди-Франсэз, она привлекла множество зрителей на спектакль «Сфинкс» по пьесе Октава Фейе, где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стрихнином. Казалось, что Софи Круазет самым провидением предуказано играть миссис Кларксон, но Перрэн поручил эту роль Саре Бернар и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины. За то долгое время, что шли репетиции, автор и актриса стали добрыми друзьями.

Софи Круазет — Дюма-сыну: «Я считаю, что наше положение становится крайне тягостным; у меня совершенно такое же чувство, как если бы я находилась в зале ожидания и смотрела в окно на готовый к отправлению поезд. Мне хочется сесть в него, — ведь я для того и пришла на вокзал, и я не люблю ждать, но в то же время сердце у меня сжимается оттого, что я вот-вот уеду и впереди неведомое. И это неведомое для меня — герцогиня... Скажите, что будет, если я сойду с рельс? Ах, боже мой, боже мой!.. Что касается Вас, то я хорошо Вас понимаю. Все

это Вам безразлично. Пусть Ваши несчастные паяцы волнуются — Вы только смеетесь, упиваясь своей силой. Знайте же! Я думаю о Вас гораздо больше, чем Вы — о бедной Круазет...»

Актрисы считали Дюма очень сильным человеком, так как он держался от них на почтительном расстоянии.

В 1879 году Поль Бурже, молодой двадцатисемилетний критик, рано завоевавший авторитет, который все возрастал, нанес визит Дюма-сыну, собираясь писать о нем очерк. Он увидел человека «могучей и великолепной зрелости», с плечами атлета и взглядом хирурга, с повадкой военного. Голубые навывкате глаза словно заглядывали в душу собеседника. Полю Бурже, одержимому психологизмом, он сказал: «Вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю, сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина». И он разразился звонким смехом. Знаменитый драматург и молодой романист стали друзьями. Супруги Бурже были приглашены в Марли.

Дюма-сын — Полю Бурже: «Дорогой друг! Получив Ваше вчерашнее письмо, я послал Вам телеграмму, где указал время отправления поезда: 10 часов 5 минут. Но я не подумал, что для г-жи Бурже это слишком рано и лучше ехать поездом в 11 часов 15 минут. Только желание скорее увидеть Вас побудило меня совершить эту психологическую ошибку. Когда молодая женщина, живущая на улице Мосье и желающая позавтракать на лоне природы, имеет возможность выбрать один из двух поездов, которые отправляются с Западного вокзала с интервалом в час, ее не заставляют ехать первым. Еще раз простите меня за это. Итак, если Вы можете приехать, я буду встречать поезд, отправляющийся из Парижа в 11 часов 15 минут.

Ваше письмо тронуло меня до глубины души. Я Вас очень, очень люблю за Ваш талант, за Ваш характер, — все, что я говорил Вам в прошлый раз, служит тому доказательством. Я опасался — и не зря, ибо это едва не случилось, — что могут задеть Ваше писательское и человеческое достоинство. Что касается нас с Вами, то мы никогда не поссоримся. Когда такие люди, как мы, любят друг друга, они не ссорятся. Нежно любящий Вас...»

Он охотно завтракал также с молодым Мопассаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. «Ах, если бы ко мне в руки попало такое дарование, я сделал бы из него моралиста!» Флобер пытался сделать из него художника. «Флобер? — говорил Дюма. — Великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну шкатулку. Шкатулка превосходна, но обошлась она поистине дорого». Флобер, в свою очередь, ворчал:

«Господин Дюма метит в депутаты... Александр Дюма украшает газеты своими философскими сентенциями... В театре — то же самое. Его интересует не самая пьеса, а идея, которую он собирается проповедовать. Наш друг Дюма мечтает о славе Ламаргина, или, скорее, о славе Равиньяна^[193]. Не позволять задирать юбки — вот что стало у него навязчивой идеей...»

Очевидно, что морализующий пафос Дюма не мог не раздражать Флобера. «Какова его цель? Исправить род людской, написать прекрасные пьесы или стать депутатом?» Флобер с отвращением говорил о «позах великого человека, о нотациях публике, от которых несет Дюма». Бурже был более проницателен. За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Этот верный друг видел, как уходят друзья — один за другим. Несчастный «Мастодонт» — Маршаль, потеряв поддержку Жорж Санд и чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покончил с собой. Моралист, осуждавший адюльтер, имел любовницу, красавицу Оттилию Флаго. В ее замок Сальнёв, возле Шатийон-сюр-Луэн, в департаменте Луарэ, он частенько наезжал, чтобы поработать. «Я полагаю, — писал он капитану Ривьеру, — что если в жизни есть какая-то видимость счастья, то это любовь. Только кто любит?.. У всех женщин теперь одинаковый почерк, одинаковый цвет волос, одинаковые ботинки и одинаковый телеграфный стиль в любви...» Его враги говорили, что он «самый аморальный из моралистов», и называли его «Дунайским Тартюфом»^[194], что было совершенно несправедливо. Жизнь терзала его, как она поступает со всеми людьми. Княгиней овладевала все более черная тоска; у нее случались приступы отчаяния и ревности, граничившие с безумием. Тем не менее каждое утро он заходил к ней в комнату, садился к ней на кровать и подолгу терпеливо с ней беседовал. Каждый вторник они давали обед для друзей, восседаая за столом как хозяин и хозяйка.

Горести его падчерицы Ольги печалили Дюма, который предвидел их, но не смог предотвратить. Невзирая на предостережения отчима и матери,

«Малороссия», едва достигнув совершеннолетия, обвенчалась с неким охотником за приданым, расточительным и развращенным. От этого злосчастного брака родились две девочки, а отец семейства понемногу проматывал наследство Нарышкина. Ольга играла в жизни, ни мало, ни много, роль принцессы Жорж или Катрины де Сетмон и, без сомнения, обогатила эти персонажи некоторыми чертами.

Дюма выезжал в свет один. Он служил украшением салона госпожи Обернон, охотницы за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арман де Кайяве (за брата которой в 1880 году вышла замуж Колетта), исподволь подбиравшая знаменитостей для своего будущего салона, видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил также, как говорит Леон Доде, «систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тэна, Гонкура и Ренана...» За столом «он отпускал колющие словечки», сопровождаемые «охами» и «ахами» обедающих дам. Он разговаривал, как персонажи его комедий.

Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин: «Где вы могли их узнать?» — «У себя дома, сударыня», — отвечал Дюма. Какой-то скучный человек, которого Дюма прозвал «индийской почтой» за то, что рассказам его не было конца, начинает очередную историю, потом останавливается и говорит: «Простите, дальше не помню...» На это Дюма со вздохом облегчения: «Ах, тем лучше!». Говорят о Дюрантэне, чью пьесу «Элоиза Паранке» Дюма переделал. Кто-то спрашивает: «Кто он такой, этот господин Дюрантэн?» — «Видный адвокат, — отвечает Дюма, — и драматург — в мое свободное время». Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюверже, которую знал тридцать лет тому назад. «Да, — замечает он, — она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою».

После такого фейерверка Вистлер говорил с сатанинским смехом: «Он хочет подобрать гильзы, хе, хе, но некоторые из них уже отсырели...»

Леон Доде, слегка раздраженный нападками великого человека на адюльтер, находил, что в нем есть что-то от «неудавшегося протестанта», но признавал за ним отвагу и независимость: «Он не лизал пятки высокопоставленным лицам... Он твердо держался своей манеры — угрюмо принимать комплименты... В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния...»

Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лакуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был

откровенен. Дюма пригласил его к себе побеседовать. Лакур был очень взволнован встречаей с этим истинным королем французской сцены.

«Я воспользовался пасхальными каникулами (1879 г.), чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильер, 98, где у него был особняк средней величины и весьма простого вида — он напоминал загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже, но в первое свое посещение я ее не видел и должен сразу же сознаться, что в тот день, когда он повел меня туда, очень гордый своей коллекцией, мне понравилась в ней едва половина картин. Наряду с картинами, пейзажами и портретами бесспорной ценности (а именно, если мне не изменяет память после стольких лет, полотнами Теодора Руссо, Дюпре, Бонна) в большинстве своем там были вещи, ценные не сами по себе, а по стоящим под ними именам, которые высоко котиrowались во времена Второй империи. Они были не более чем любопытны. Но сам он — с той минуты, как мы с ним остались с глазу на глаз в его рабочем кабинете, где вместо каких бы то ни было украшений над обыкновенным черным бюро висела прекрасная картина Добиньи, — сам он восхитил меня необыкновенно. Я никогда не видел его раньше. Высокий, широкоплечий, очень стройный, он выглядел величественно; вьющиеся волосы с едва заметной проседью — ему было всего пятьдесят пять лет — обрамляли лицо властителя, лицо, о котором я уже писал и которое в такой мере способствовало его репутации гордеца. Впрочем, никакого сходства с отцом. Его незаконнорожденный брат, гигант Анри Бауэр — вот кто позднее явил мне живой портрет автора «Монте-Кристо»... После новых изъявлений благодарности, без всякой лести, он расспрашивает меня о моей преподавательской работе, о любимых книгах, затем вдруг, к моему изумлению, задает вопрос: «Известно ли вам, почему Иисус завоевал мир?» — «Прежде всего, — осмеливаюсь я возразить, — он завоевал не весь мир, а только его часть». — «Пусть так! Но эта часть как раз и представляет наибольший интерес с точки зрения современной цивилизации. Итак, я повторяю свой вопрос». — «Да потому, что Иисус был распят за проповедь своего учения о бесконечном милосердии и всеобщей любви». — «Несомненно, но главным образом потому, что,

проповедуя любовь, он умер девственником». (Дюма был одержим идеей — я не знал этого — написать пьесу под названием «Мужчина-девственник».)

«Лучшая из женщин, самая преданная, рано или поздно причинит Вам посильное зло. Г-жа Литтре, святая женщина, ждала сорок лет; к смертному ложу атеиста, которого она боготворила, она привела священника, и тот покрыл бы имя Литтре позором, вернув его в лоно церкви, если бы удалось обмануть общественное мнение^[195]. Существуют Далилы исповедальни и Далилы алькова. Непобедим только мужчина-девственник. Вот почему я повторяю вам: если бы Иисус не умер девственником, ему не удалось бы покорить мир».

«Мужчина-девственник» — Дюма давно мечтал об этой пьесе. «Я вложу в нее всего себя», — сказал он Леопольду Лакуру. «Всего себя? — подумал тот. — Для самоочищения? Но не подвергается ли искушению сам очищающийся?»

На деле Дюма любил и боготворил то, что на словах предавал анафеме; поэтому он был любим столькими женщинами. Удивительное зрелище являл собою этот драматург, выступавший перед актрисами в роли прорицателя, — зрелище в общем трогательное, ибо чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе.

В зрелые годы Дюма-сын беспрестанно возвращается к теме «Мужчина, бегущий от Искусительницы». Существует любопытная коллекция его писем к неизвестной Грешнице. Начинается она с ответа на просьбу устроить ангажемент: «Мое дорогое дитя... Я ничего не могу сделать для Вас во Французском театре. Вот уже два года, как я добиваюсь у Перрэна ангажемента для одной актрисы, который рассчитывал получить без всякого труда, но до сих пор так и не получил. Я больше не могу и не хочу у него ничего просить...»

За сим следует прекрасное письмо о мадемуазель Делапорт — очаровательной и скромной инженеру, одной из ближайших приятельниц Дюма, которую без всяких к тому оснований считали его любовницей.

«М-ль Делапорт имеет полное основание так говорить обо мне. Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной. Мы питали друг к другу очень

большую привязанность и очень высокое уважение. Каких только отношений нам не приписывали, — но ничего подобного не было; и я рад, что люди заблуждались. Вообще мнение о том, что для действительного обладания женщиной необходимо обладать ею физически, — одно из великих человеческих заблуждений. Как раз наоборот: материальное обладание — если только оно не облагорожено и не освящено браком, взаимными обязательствами, семьей — несет в себе причину и зародыш взаимного отталкивания. Правда, при сближении одних только душ не бывает опьянения; но нет также и пресыщения, и впечатления, возникающие при этом, такие чистые и свежие, что они, так сказать, не дают физически состариться двум людям, их испытавшим...»

Этот портрет, по мысли Дюма, должен был служить образцом для Грешницы, но какая женщина согласится признать, что другая достойна подражания? Грешница дала понять, что ей скучно, что любовник, а в особенности знаменитый любовник, мог бы вдохнуть в ее жизнь дыхание романтики. Ее поставили на место:

«Я много изучал жизнь; знаю ее не хуже, а быть может, и лучше других. Результат моих наблюдений таков — самые большие шансы на счастье таит в себе добро. Вы материально независимы; пользуйтесь этим. Вы питаете ко мне доверие, это единственное слово, которое я, в моем возрасте, могу употребить. Вы называете это любовью, потому что Вы женщина, Вы молоды и восторженны; а так как Вы восторженны, молоды и Вы женщина, то Вы способны понять что-либо только через любовь. Все, что есть в Вас хорошего и чему никто не нашел применения, открылось мне по первому моему зову — искреннему и доброжелательному, — и за это Вы благодарны мне настолько, что полагаете, будто никого, кроме меня, не любили. А я должен воспользоваться этим, чтобы попытаться сделать Вас в будущем более счастливой, чем Вы были в прошлом, и если мне это удастся, разве не все средства окажутся хороши? Доброй ночи, мадемуазель, спите спокойно...»

Она упрекала его, что он внушил ей любовь к себе. Он оправдывал это тактическими соображениями:

«Прежде всего надо было привлечь к себе эту душу, внушить ей доверие; а единственным средством, которым он располагал, чтобы воздействовать на женщину в Вашем положении, была любовь. Женщины лучше поддаются впечатлению, чем доводам рассудка, лучшая политика по отношению к ним — это внушить любовь к себе. Стоит им только полюбить, как они готовы все понять, ибо человек, которого они любят, в их глазах соединяет в себе все обаяние и весь ум...»

Это приключение кончилось так же, как история с несчастной Декле. Грешница, разочарованная сопротивлением своего кумира, отдалась недостойному фату, продолжая, по ее словам, любить Дюма. Моралист произнес над этой любовью суровое надгробное слово:

«Старая пословица гласит: «Из мешка с углем не добудешь муки». По отношению к Вам это значит: нечего сразу ждать любви, добродетели, верности, искренности и платонических чувств от женщины, которая целых пятнадцать лет жила так, как Вы. В такой жизни некоторые струны души неизбежно гложут. Вы жертва Вашей семьи (если такое можно назвать семьей), Вашего происхождения, Вашего нездорового воспитания, Вашей развращенной среды; жертва неудачной первой любви, продажной любви в дальнейшем. Поскольку Вы лучше большинства окружающих Вас женщин, поскольку у Вас еще осталось немного души, Вы прилагали немалые усилия к тому, чтобы вылезть из той грязи, в которой Вы увязли. Высоко над вершиной горы виднелся клочок голубого неба... но чтобы взобраться на эту гору в одиночку, у Вас не хватало сил. Женщина ни на что не способна, пока у нее нет партнера. В лице одного из наших братьев Вы обрели спасителя, спутника. Он, конечно, женился бы на Вас или хотя бы удержал возле себя. Но Вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фигляром, и Ваш спаситель покинул Вас; Вы пали снова... Ваше сердце, которое еще не до конца развращено, и чувство собственного достоинства, которое иногда пробуждается в Вас, в равной мере страдают от этой связи, а Ваше несчастное тело, служащее во всех этих перипетиях полем битвы, страдает в свою очередь. Вы зовете на помощь — напрасно. На дороге больше нет ни одного прохожего. Сделайте огромное усилие: спасайте себя сами, ибо

если Вы опуститесь и на сей раз, Вы, безусловно, пойдете на дно, туда, где тина...

Если у Вас не хватает мужества посвятить себя работе и ребенку — не Вашему ребенку — и если у Вас в самом деле есть мистические склонности, бросайте все и отважно идите в монастырь. Будьте Ла Вальер от сцены. Это место еще свободно...»

Последний листок из этой переписки содержит соболезнующие слова, которые Дюма адресует Грешнице в связи с каким-то несчастьем:

«Я никогда не верил в Вашу любовь; я никогда не сомневался в Вашем сердце. Поэтому я глубоко сочувствую Вам в постигшем Вас горе..»

По сути дела, он мало изменился со времен «Дамы с камелиями». Да и меняемся ли мы вообще?

Часть десятая

ЗАНАВЕС

Бог придумал начало; он сумеет придумать и развязку, и вряд ли она окажется в духе Анисе-Буржуа.

ДЮМА-СЫН, Письмо к Анри Ривьеру



Глава первая НА ПОКОЙ



До последнего года своей жизни Дюма-отец ни разу не почувствовал себя старым — ни как писатель, ни как любовник. Дюма-сын, еще не достигнув шестидесяти лет, начал поговаривать об уходе на покой. Уже в предисловии к «Иностранке» он выражал грусть и разочарование.

«С годами, — писал он, — по мере того, как драматург обогащается знанием человеческого сердца, его почерк теряет живость, яркость, энергию... Нам хочется тогда все глубже проникать в характеры и анализировать чувства. Мы часто становимся тяжеловесными, непонятными, напыщенными, утонченными — скажем без обиняков скучными. Когда драматург достигает определенного возраста — увы, того самого, в каком я нахожусь сейчас, лучшее, что он может сделать — это умереть, как Мольер, или отказаться от борьбы, как Шекспир и Расин. Это дает возможность хоть в чем-то уподобиться великим. Театр можно сравнить с любовью. Он требует хорошего настроения, здоровья, сил и молодости. Стремиться быть неизменно любимым женщинами или обласканным толпой — значит подвергать себя самым горьким разочарованиям».

Мрачная мудрость. Уходить на покой — тягостно и далеко не всегда благотворно. Дюма перестал писать предисловия, но заменил их открытыми письмами Альфреду Накэ (о разводе) или Гюставу Риве (об установлении отцовства). Вопреки своему решению он вновь обратился к драматургии, написав в 1881 году «Багдадскую принцессу». Пьеса имела посвящение: «Моей любимой дочери, г-же Колетте Липпман^[196]. Будь всегда порядочной женщиной — это основа основ». Мысль верная; стиль плоский.

Премьера пьесы вызвала большой шум; пресса была неблагоприятной. Дюма объяснял неудачу политической неприязнью: ему-де не могут простить его «Писем о разводе». Может быть, в этом действительно заключалась одна из причин возмущения светского и буржуазного общества; но главной причиной было другое: «Багдадская принцесса» страдала той нереальностью, которую сам Дюма так осуждал в творчестве стареющих писателей. Где и когда существовал набоб, подобный Нурвади? Этот Антони-миллионер казался более старомодным, чем Антони, созданный полвека назад. Разве какая-нибудь женщина когда-либо произносила такие слова, как Лионетта де Юн, как дочь багдадского короля и мадемуазель Дюрантон? Связь с действительной жизнью оказалась нарушенной.

Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими. «Дама с камелиями», «Диана де Лис», «Полусвет», «Внебрачный сын», «Блудный отец» были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Готье, баронесса д'Анж, как и всякий драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собою не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы. Иногда они были плодом непосредственных наблюдений. Лионетта де Юн (так же как миссис Кларксон — «Иностранка») была уже не типом, а символом, аллегорией. Как мог Дюма, ясно сознавая всю опасность такой ошибки, все же допустить ее?

«Достигнув определенного возраста, или скорее — определенного успеха, — писал Фердинанд Брюнетьер, — многие авторы изолируют себя от окружающего мира, перестают наблюдать и смотрят уже только в самих себя. Они покончили с тем, что Гёте называл «Годами учения»; они дают волю фантазии». Автор «Багдадской принцессы» дал волю фантазии. Однако фантазия плохо развивается в пустоте; так же как кантовской голубке, для полета ей необходимо сопротивление среды. Что знал, достигнув зрелого возраста, этот король сцены? Литературный мир и высший свет. Ничтожную часть Парижа. Общество «изысканное в пороке и

утонченности». Литература, создаваемая писателями этого мирка, есть не что иное, как «коллекция патологических случаев... Ничего по-настоящему здорового и по-настоящему простого».

В «Багдадской принцессе» вновь зазвучали навязчивые идеи Дюма — те же, что в свое время подсказали ему не имевшую успеха «Иностранку»: преклонение, смешанное со страхом, перед разлагающей властью денег; преклонение, смешанное с ужасом, перед властью женщины. Но идеи бессильны породить живые существа.

Барбз д'Ореви́льи сурово осудил «Багдадскую принцессу»:

«Пьеса провалилась, как будто написал ее не г-н Дюма. Вещь столь же удивительная, как если бы с потолка театрального зала свалилась люстра и разбилась вдребезги... На следующий вечер, на абонементном спектакле, провалившаяся пьеса так и не нашла костылей, чтобы подняться. Не означает ли это конец некоего царствования? По праву или не по праву, общественное мнение сделало из г-на Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, тоскующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что «Багдадская принцесса» — его битва при Ватерлоо, но это его «Прощание в Фонтенбло»^[197].

После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пера не вышло ни пьесы, ни романа. Жил он по-барски: зимой — на авеню Вильер, летом — в Марли, в имении «Шанфлур», которое предоставил ему в пользование старейший друг его отца Адольф де Левен, собираясь со временем завещать его Дюма. Он приобретал картины, давал обеды или, подобно Виктору Гюго, собирал у себя «элиту своего времени», а также писал своим «официальным» почерком, унаследованным от отца, бесчисленные письма. Письма, интересные своею откровенностью и высокомерным тоном. Это был Юпитер, громыхавший со своего Олимпа.

Неизвестному писателю: «Мой дорогой брат! Я не мог бы объяснить себе Ваше письмо, не зная, что бедность обидлива. Вы бедны, Вы трудолюбивы, у Вас в тысячу раз больше достоинств, чем у некоторых людей, которые преуспевают; поэтому у Вас есть все основания удивляться, обижаться, даже жаловаться, когда кто-либо из Ваших счастливых братьев, богатый, преуспевающий, по всей видимости, избегает Вас и не

делает для Вас того, что, по Вашему мнению, обязан был бы сделать, что было бы естественно от него ждать. Дело обстоит именно так, не правда ли?

Теперь соблаговолите войти в мое положение.

Таких писем, как Ваше, я получаю, без преувеличения, от сорока до пятидесяти в месяц. Вы не единственный в мире человек, кому приходится работать, ждать, чей талант пропадает втуне. Вы не единственный, кто обращается ко мне. Если я отправляюсь на два дня на охоту, то смею Вас заверить, — я это честно заслужил. Какой помощи хотите Вы от меня? Чтобы я предложил Французскому театру или еще какому-нибудь театру поставить одну из Ваших пьес? Знаете, что мне ответят? «Вы считаете ее хорошей?» — «Да». — «Ну что же, тогда поставьте под нею свое имя Мы немедленно ее сыграем». Однако ни Вы, ни я не хотим, чтобы я ставил под нею свое имя. Вы хотите побеседовать со мной? Я не желаю ничего лучшего. Назначьте день, час, я буду Вас ждать. Что еще? Скажите, чего Вы хотите от меня. Я готов это сделать. Я сделал бы это для Вас, если бы во всем мире были только Вы да я — и если бы мир принадлежал мне. Я с превеликим удовольствием отдал бы Вам полмира, даже три четверти его.

Но существуют другие люди, и у других людей есть свои интересы, свои пристрастия, свои заблуждения, свои привычки. Над другими я не имею никакой власти. Все, что я сам в силах сделать, я делаю, но я не люблю и не хочу получать отказ, даже прося за другого».

Написано не без изящества — лучше, чем «Багдадская принцесса». А вот письмо журналисту монархистского толка, которого шокировала пьеса, написанная Дюма-сыном по мотивам романа «Жозеф Бальзамо» Дюма-отца.

Пюи, 24 сентября 1878 года «Мы живем в такое время, когда никто не может сказать правду, не рискуя оскорбить убеждения какой-либо группы... Поскольку мы живем в республике, в настоящее время среди роялистов принято считать, что все монархи были ангелами — даже Людовик XV. Нашлись люди, заявившие мне, что г-жа Дюбарри была очень хорошо воспитанной особой и что, приписывая несколько скабрзные

слова этой женщине, говорившей королю «Франция, твой кофе сбежал ко всем чертям!» — а г-же де Лавальер, когда последняя после восшествия на престол Людовика XVI принесла ей приказ об изгнании: «Чертовски скверное начало царствования», — нашлись люди, заявившие, что я оклеветал эту бывшую публичную девку, о которой так замечательно сказал Ламартин. «Так умерла эта женщина, обесчестив одновременно и трон и эшафот».

Что я, по-вашему, должен ответить на это? С одной стороны, нарисовав Жильбера, я оклеветал народ, добрый народ, который, убив г-жу де Ламбаль [\[198\]](#), тут же отрубил ей голову и надругался над останками. В настоящее время считается также, что все люди из народа, поскольку все они избиратели, тоже ангелы. Всеобщий рай! Другие заявили, что, изобразив Марата и приписав ему слова, которые я, кстати, заимствовал из романа — ибо в конце концов пьеса написана по книге, которая принадлежит не мне, — я призывал к организации Коммуны. Все мы в настоящий момент ходим на голове, ногами кверху. Что я могу поделать? Это пройдет. Следующая революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо голов.

Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей Гамбетты и «Корневильских колоколов». Я не восстаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями...

Когда Накэ провел в Палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался Дюма-сын, сенатор от Воклюза в письме, опубликованном газетой «Вольтер», призвал Дюма отдать свои симпатии республике, которой Франция обязана такой важной реформой. Но писатель упорно держался за свою независимость.

«Я никому не давал никаких обязательств. Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой школе, ни к какой секте, не поддерживаю ничьих честолюбивых замыслов, ничьей ненависти, ничьей надежды... Вы, сударь, один из тех людей, которые особенно ратовали за всеобщую свободу, можете быть горды и счастливы: я обладаю этой свободой — полной, окончательной, неприступной, и каждый мог бы обладать ею, как я, без прокламаций, без шума, без мятежей и насилия. Для этого

требуется ни много, ни мало труд, терпение, уважение к себе и к другим...»

Он не верил в политические этикетки и отказывался носить на себе какую-либо из них.

«Что касается правительства, которое будет управлять нашей страной, то меня мало заботит его название и его структура. Пусть оно будет, каким хочет или каким может быть, — лишь бы оно сделало Францию великой, почитаемой, свободной, единой, покойной и справедливой. Если республика достигнет этого результата — я буду с республикой и готов поручиться, что в этом случае на ее стороне окажутся все честные люди».

И в этом он был искренен, хотя в глубине души и сожалел о мире Второй империи, который был миром его юности.

Глава вторая

«ДЕНИЗА»



Атлетическая фигура Дюма, его суровость, его слава, память о «Даме с камелиями», романтический брак с русской княгиней — все это продолжало притягивать к нему женщин, искавших общения с писателем. Среди них одной из самых интересных была Адель Коссэн, очень богатая коллекционерка, которая жила на Тильзитской улице в особняке с четырьмя фасадами и с сотней окон, смотревших на Триумфальную арку, особняке, заполненном произведениями искусства. Ей суждено было вдохновить Дюма на создание новой пьесы. Он вернулся в театр.

Адель Коссэн, которую чаще называли Кассэн^[199], дочь красильщика, родилась в Коммерси в 1831 году и в юности была чтицей у одной знатной сицилианки. Как подлинная героиня Дюма-сына, компаньонка забеременела от старшего из четырех сыновей семейства Монфорте (потомка того Монфора, которого Карл Анжуйский привез с собой в Сицилию в XIII веке). На время родов она укрылась в родной Мёзе и там появилась на свет девочка — Габриэль.

Тогда-то и началось существование «Госпожи Кассэн» — женщины умной, честолубивой и очень красивой. Банкир Эдуар Делессер, кое-кто из Ротшильдов и основатель Галереи Жорж Пети дали ей возможность приобрести один из прекрасных «маршальских особняков» между Елисейскими полями и площадью Звезды. Там она собрала свою

знаменитую коллекцию картин, где, кроме работ итальянских и испанских мастеров, были «Каштановая аллея» Теодора Руссо и «Саломея» Анри Реньо. Портрет самой Адели в атласном платье цвета слоновой кости и портрет ее дочурки с распущенными волосами были подписаны именем Гюстава Рикара^[200].

Госпожа Кассэн не была баронессой д'Анж. Она вела жизнь по видимости безупречную. У нее обедали люди из высшего света, правда, они не приводили на Тильзитскую улицу своих жен. Министры республики, например Гамбетта и Рибо, художники, например Гюстав Доре и Леон Бонна, были ее друзьями. Она добилась того, что некий благонамеренный бордосец, носивший полуаристократическое имя, узаконил ее дочь, и в 1869 году госпожа Кассэн выдала ее замуж за графа Руджьеро Монфорте — самого младшего брата ее собственного бывшего любовника, который теперь стал герцогом Лаурито. Таким образом, Габриель в замужестве получила то имя, которое должна была носить по рождению. Получив богатое приданое, она поселилась во Флоренции и почти порвала со своей матерью, которая сама дала себе прозвище «матери Горио».

В 1880 году госпожа Кассэн познакомилась с Дюма, чьи пьесы она давно любила. Они беседовали о живописи; она показала Дюма свою галерею; он ей — своего Мейсонье, Маршала и Тассера. Он очень носился с этим художником, который в 1874 году покончил с собой, будучи всю свою жизнь живописцем слез — как бы Грезом во вкусе Дюма. Полотна Октава Тассера назывались: «Несчастливая семья», «Старый музыкант», «Две матери». В течение второго периода своего творчества он писал обнаженных женщин («Купающаяся Сусанна», «Купающаяся Диана»). Самоубийство повысило его престиж: Дюма-сын, который купил для него навечно участок на кладбище Монпарнас, с гордостью заявлял: «У меня сорок полотен Тассера, в их числе его автопортрет, более прекрасный, чем прекраснейшие вещи Жерико». На авеню Вильер одна большая комната — все четыре стены — была расписана Тассером. Дюма чрезвычайно этим гордился.

После визита к Дюма Адель Кассэн отправила ему картину Тассера и свое первое письмо: «Позвольте мне положить эту вещь к Вашим ногам... Она принадлежит Вам по праву. *Весь Тассер должен быть у Вас*». Она добавляла, что не решилась принести картину сама: «Мой нотариус донес бы на Вас моим наследникам, а герцогам де Монфор любо все, что принадлежит мне...»

Дюма хотел, в свою очередь, преподнести дарительнице какую-нибудь

картину; она воспротивилась: «Прошу Вас, не посылайте мне никаких картин. Прошу Вас, оставайтесь для меня тем же, кем Вы были до сих пор, — человеком, который ничем не обязан мне, а которому, напротив, я обязана пережитыми волнениями. Как это плохо, что Вам ничего не надо от меня! Чем я заслужила такую суровость? Уделите мне хотя бы одну стотысячную долю Вашей дружбы — и это будет для меня щедрым даром...» Несколько дней спустя она писала: «Вы, сударь, самый справедливый и уравновешенный человек из всех, кого я знаю... А главное — Вы тот человек, которого я уже сильно люблю».

Потом она разоткровенничалась:

«Это будет благословение божье, если Вы уделите мне частицу Вашей дружбы, мне — женщине, которая всегда внушала мужчинам лишь то, что Вы называете *любовью!*.. Мне кажется, только я одна никогда не знала того, что испытывают другие женщины, — как следом за любовью приходит дружба. Я всегда вижу, как самые преувеличенные и фальшивые чувства сменяются *ненавистью*. Трудно представить себе, какую необычайную привязанность может внушить богатая женщина! Прошли годы. Я успела стать бабушкой, а вокруг меня по-прежнему разыгрываются все эти комедии, делающие мою жизнь до крайности печальной и пустой, ибо в основе ее нет искренности. Мне бы ничего не стоило считать себя счастливой, если бы я послушала тех, кто уверяет меня, будто деньги дают все! Господь бог, создавая меня, сказал: «Ты будешь богата, все твои начинания ждет успех, тебе будет нечего желать, но *сверх этого ты не получишь ничего...*» Вот Вам, сударь, совершенно интимное письмо. Г-жа Кассэн просит у Вас прощения за него — она вроде тех замерзших растений, что жаждут капельки тепла...»

Ей не повезло — она встретила с человеком, который обладал достаточной мерой тепла, но кичился тем, что не передает его другим. Напрасно рассказывала она ему о своих страданиях — страданиях «матери Горио» — и описывала жестокость Габриели. Дюма вперял в нее свои «стальные зрачки», которые, как она говорила, «насквозь пронзали душу». Позднее он сказал ей, что ответственность за воспитание дочери несет она одна. «Вы больно хлещете, когда беретесь за это дело!» — ответила она, но, как все другие, униженно покорялась.

Адель Кассэн — Дюма-сыну: «Через несколько дней я уезжаю в Биарриц. Вы будете очень любезны, если напишете мне, как Ваше здоровье, а также скажете, что за все это время Вы не забыли меня. Вы знаете, что *нужны мне*. Вы — могучее дерево, на которое я теперь опираюсь. Не оставляйте меня, это было бы поистине слишком печально. В великом одиночестве моей жизни в настоящее время Вы — *все*. Я знаю, что в наших отношениях нет ничего от секса, но я все-таки женщина и нуждаюсь в Вашей защите — чисто моральной...»

Она описывала ему своих многочисленных поклонников. В пятьдесят лет она была еще достаточно богата и красива, чтобы привлекать их. Лорд Паулетт, шестой earl^[201] Паулетт, увез ее в Хинтон-Сэнт-Джордж, графство Сомерсетшир, где у него был замок и поместье площадью в 22129 акров, приносящее ежегодный доход в 21998 фунтов стерлингов. Этот благородный лорд представил Адель своей матери и всему gentry^[202] графства и умолял очаровательную француженку выйти за него замуж (он дважды овдовел, обе его графини умерли молодыми). Госпожа Кассэн рассказала Дюма об этой победе. Хотя она и благодарила его за то, что он не ухаживает за ней, она выказывала бешеную ревность к госпоже Флаго^[203]. Он резко выговаривал ей за чрезмерную чувствительность; она возмущалась цинизмом, который он выставлял напоказ.

20 сентября 1881 года: «Неужели вы можете говорить подобные гнусности: *«Любовных огорчений не бывает»*? Вот опять что-то новое, и Вам придется взять на себя труд объяснить мне это. Я Вам поверила с грехом пополам, когда Вы написали мне, что не бывает моральных страданий. Это может показаться истиной, потому что Вы прибавили к этому: *«Бывают только органы, не способные переносить боль»* и т. д. Но заявить, что не бывает любовных огорчений! *«Какое варваричество!»* — сказал бы герцог Оссун^[204]. И это говорите Вы! И Вы смеее говорить это мне! Либо Вы смеялись, когда писали мне это, либо Вы были до сего времени счастливейшим из счастливых! Как? Вы никогда не знали сердечных мук?»

По правде говоря, он знал их, но гордость заставляла его их подавлять; он хорохорился, чтобы не впасть в отчаяние. Они долгое время оставались друзьями. Адели были известны нелады в семействе Дюма, капризы

«Княгини», которую она так же, как когда-то Жорж Санд, называла «Особой», постоянные угрозы свихнувшейся Надин покончить с собой. Быть может, Адель уже несколько лет лелеяла мечту занять место «Особы» в жизни Дюма. Но он развеял все ее иллюзии. Тогда она стала подумывать о браке с герцогом де Монфором, которого настоятельно требовала ее дочь Габриель.

Коммерси, 6 мая 1886 года: «Я ищу путь, который вывел бы меня из этого печального положения. Я вижу только одно средство: перестроить свою жизнь на совершенно новый лад, выйдя замуж за герцога, если он еще желает этого, — ведь я уже много лет вожу его за нос. Быть может, тогда я обрету покой, потребный моему несчастному измученному сердцу...»

Дюма резко порицал ее: «Бронзовые двери высшего света, — сказал он (как выразился бы Оливье де Жален), — окажутся закрыты перед Вами!» Она незамедлительно ответила:

Отель Кайзергоф, Киссинген: «Сдается мне, что Вы поставили себе целью унижать меня в моих собственных глазах. Ах, как Вы жестоки!.. Разумеется, мне не чужд дух смирения (он был у меня всегда), однако Вы заходите слишком далеко.

Я буду герцогиней, говорите Вы, только для моих поставщиков и слуг. Подобную вещь могла бы сказать себе я, но зачем *Вы* говорите мне это с такой жестокостью? Для моих внушек^[205] я наверняка буду герцогиней де Монфор, а это все, на что я могу трезво рассчитывать в этом мире. Если бы дядей моих дорогих девочек был какой-нибудь Жак или Жан, я испытывала бы те же чувства: он в такой же мере был бы корнем дерева, под сенью которого я должна укрыться. Но он ведет свой род от Плантагенета. Вы считаете, что я поступлю «глупо», выйдя за него замуж? Надеюсь, что мои внушки будут другого мнения. К своей незамужней бабушке они не придут никогда, а к супруге своего дяди герцога побегут бегом!

Возможно, что мое теперешнее положение внушает мне иллюзии; очень возможно также, что Вы из дружбы ко мне сгущаете мрачность того будущего, которое я себе уготовила. Но если я и заблуждаюсь, то во имя простительной цели, и если на меня обрушатся все те несчастья, которые Вы предрекаете, то

никто не будет страдать от них, а чтобы утешиться, мне достаточно будет вспомнить последние, недавно пережитые мною годы и убедиться, что все еще обернулось к лучшему.

Г-жа де Лавальер говорила. «Если в монастыре кармелиток я буду чувствовать себя несчастной, мне понадобится только вспомнить, сколько страданий причинили мне все эти люди...»

Как же Вы не понимаете этого и не помогаете мне своей дружбой, коль скоро Вы питаете ко мне дружбу? Что же это за дружба, если она отказывает мне в утешении?»

Авторитет Дюма взял верх. Госпожа Кассэн не вышла замуж за герцога. Тем не менее Дюма, отчасти вдохновленный воспоминаниями своей приятельницы — хотя после «Багдадской принцессы» он и поклялся порвать с театром, — написал, наконец, новую пьесу, «Дениза», которую отдал в Комеди-Франсэз. Клятвы драматурга стоят не больше, чем клятвы пьяницы. Сюжет? Вариант «Взглядов госпожи Обрэ». Молодая служанка, соблазненная сыном своих хозяев, родила ребенка; ребенок этот умер. Это обстоятельство хранится в тайне, известно оно только родителям Денизы Бриссо. Через несколько лет ей случилось полюбить порядочного человека — Андре де Барданна; и он полюбил ее. Она честно и откровенно рассказывает ему о своей ошибке. Он женится на ней — развязка, которая в 1885 году казалась чудовищной дерзостью.

В Комеди-Франсэз «Дениза» была поставлена очень хорошо. Совсем юная актриса Юлия Бартэ продемонстрировала в спектакле высокое и трогательное благородство; Вормс наделил Барданна своим красивым голосом; Коклен и Го оставались Кокленом и Го^[206]. Бланш Пьерсон, покинувшая Жимназ, показала себя достойной своих новых товарищей.

Публика приняла спектакль куда более благосклонно, чем «Багдадскую принцессу», потому что эта пьеса была более человечна и потому что — так объяснил бы Дюма — моралист на сей раз решал конфликт в пользу женщины.

Граф Примоли, старый друг автора, писал в одном из итальянских журналов: «Дама с камелиями» — произведение молодого человека. «Дениза» — произведение зрелого человека. Пьесы эти между собой никак не связаны, но, быть может, для того, чтобы понять Денизу, надо было любить Маргариту...» А главное — для этого надо было быть сыном одной Денизы, побежденной, не сумевшей начать свою жизнь заново, и поверенным другой Денизы — победившей и все же отчаявшейся.

Успех был такой блестящий, какого, по словам Перрэнэ, Комеди-

Франсэз не знала в течение тридцати лет. Во время последнего действия публика рыдала. Каждый раз, как давали занавес, Дюма вытаскивали на сцену и устраивали ему овацию. Президент республики Жюль Гриви пригласил его в свою ложу, чтобы поздравить. После спектакля автор поехал ужинать к Бребану со своей дочерью Колеттой, зятем Морисом Липпманом и своим другом Анри Каэном, который крикнул, садясь в фиакр: «Кучер, в Пантеон!»

Надин Дюма, вынужденная по нездоровью остаться в Марли, получила двадцать восемь телеграмм, в которых ей после каждой картины сообщались впечатления публики.

Министр почт Кошери приказал не закрывать телеграфа. Премьера пьесы Дюма стала событием национального значения.

Глава третья ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!



В 1880 году был организован комитет под председательством Адольфа де Левена для сооружения на площади Мальзерб памятника Дюма-отцу. Но публика выказала себя неблагодарной по отношению к писателю, который так сильно и так долго волновал ее чувства: подписка не оправдала ожиданий. Тогда Гюстав Доре великодушно предложил свой труд *в дар* и создал проект монумента, до воплощения которого он, к несчастью, не дожил: Доре умер незадолго до торжественного открытия памятника, состоявшегося 3 ноября 1883 года.

Гюстава Доре вдохновил сон Дюма-отца, когда-то рассказанный им сыну: «Мне приснилось, что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какую-либо из моих книг». На вершине огромной гранитной глыбы — точно такой, какую он видел во сне, сидит, улыбаясь, бронзовый Дюма. У его ног расположилась группа: студент, рабочий, молодая девушка, навеки застывшие с книгами в руках. С другой стороны, присев на цокоть, несет караул д'Артаньян.

Дюма-сын с глазами, полными слез, слушал речи ораторов, сидя рядом с женой и двумя дочерьми. Жюль Кларети сказал:

«Говорят, что Дюма развлекал три или четыре поколения. Он делал больше он утешал их. Если он изобразил человечество

более великодушным, чем оно, быть может, есть на самом деле, не упрекайте его за это он творил людей по своему образу и подобию».

Эдмон Абу:

«Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантим, эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы, вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников, искателя приключений — в любви, в политике, в войне, — который изучил больше книг, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил, сам того не ведая, королевское наследство. Это сияющее лицо — лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ради друзей, во имя родины, слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция.

Дюма-отец однажды сказал мне: «Ты не зря любишь Александра, это человек глубоко гуманный, сердце у него такое же большое, как голова. Не будем ему мешать, если все пойдет хорошо, из этого малого выйдет бог-сын». Сознал ли этот замечательный человек, произнося эти слова, что тем самым он присвоил себе имя бога-отца? Возможно, ведь у Дюма его собственное «я» никогда не вызывало отвращения, потому что он был всегда наивен и добр. Доброта составляет не менее трех четвертей в той удивительной, сложной и хмельной смеси, которую являл собой его гений. Этот писатель, могучий, пылкий, неодолимый, как бушующий поток, никогда не делал ничего из ненависти или из мести, он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам, потому что он оставил в этом мире одних только друзей. Такова, господа, мораль настоящей церемонии...»

Это был радостный день для Дюма-сына. После смерти Дюма-отца газеты поспешили опустить слово «сын», но он сразу же запротестовал: «Это слово — неотъемлемая часть моего имени; это как бы вторая фамилия, дополняющая первую».

Александр Второй увидел, как между его особняком и домом, где жил Александр Первый, вырос памятник его отцу, окруженному любовью, восхищением, поклонением. Все ораторы в своих речах объединяли этих двух людей. Сын на какое-то мгновение позволил себе быть счастливым. В тот день он пожимал руки тем, с кем накануне не хотел здороваться. Вспомнили, что отец называл его «своим лучшим произведением» и что он, почти единственный среди сыновей великих художников, не только не был раздавлен своим именем, но еще приумножил его славу. Отныне каждый день, возвращаясь домой, он будет видеть это широкое доброе лицо и говорить статуе: «Здравствуй, папа!»

Вечером в Комеди-Франсэз артисты возложили венок на бюст Дюма-отца и сыграли его пьесу «Мадемуазель де Бель-Иль».

Единственной фальшивой нотой прозвучал голос Гайярде, соавтора «Нельской башни», — он возражал против того, чтобы название этой пьесы в числе других было высечено на пьедестале Дюма ответил ему, что заранее разрешает использовать это название при сооружении памятника Гайярде.

В наши дни трудно даже представить себе, какое положение занимал Александр Дюма-сын в восьмидесятые годы в Париже. Всемогуший в театре, он царил также в Академии, где вел себя, как мушкетер.

Когда Пастер выставил свою кандидатуру, Дюма написал Легуве: «Я не допущу, чтобы он пришел ко мне, — я сам приду благодарить его за то, что он пожелал быть среди нас...»

Луи Пастер — Дюма-сыну: «Сударь, не могу выразить, как я тронут Вашей поддержкой и той поистине благосклонной и непосредственной манерой, с какою Вы по своей доброте мне ее предложили. Ваше письмо к г-ну Легуве стало семейной реликвией. Его с радостным рвением переписывают для отсутствующих... Благодарю Вас, сударь, и с нетерпением жду того дня, когда, бог даст, смогу с превеликой гордостью называть

себя и подписываться «Ваш преданнейший собрат...»

По четвергам в Академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил «чуткость этого сердца, которое открывалось тем шире, чем достойнее был повод...». Однажды Дюма, слушая прения, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле: «Одна из моих героинь, пока неизвестная».

Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл «прижимистым». Враги прозвали его «не слишком блудным сыном», и эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь; госпоже Санд лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который *написал* за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма-сын считал деньги. Благоразумие — не скупость.

Врагов у него хватало. Его остроты, подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля, барона Эдмона Ротшильда, он однажды спросил: «Не оттого ли, что я написал «Полусвет», вы сажаете меня за один стол с моими героинями?»

Госпоже Эдмон Адам (Жюльетте Ламбер), которая хотела свести его с Анри Рошфором, он написал:

«Дорогой друг! Говорю Вам совершенно откровенно... Этот человек, вечно восстающий против всех и вся только потому, что все и вся стоят выше его; человек, оскорбляющий всех и вся только потому, что он всех и вся ненавидит; человек, который брызжет ядовитой слюной на своих прежних друзей, когда не может их укунить; человек, самым своим существованием обязанный людям, которых он готов убить; чья признательность тем, кто его спас, выражается не иначе, как руганью и клеветой; человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная, — только ради того, чтобы зашибить деньгу и обеспечить себе благополучие, которым он попрекает других, — этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере, — это особое органическое свойство; что касается меня, то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха...

Вы находите очень забавным сажать за один стол бывших сторонников империи и Вашего монстра, с которым, пользуясь

случаем, Вы хотели бы примирить Вашего друга Дюма, так как Вам надоело и Вас раздражает, что первый так оскорбляет последнего. Но есть типы, чьи оскорбления — благо, ибо в конце концов существуют люди порядочные и наоборот. Ваш приятель Рошфор — среди последних, и как бы Вы ни старались, Вам не удастся извлечь его из этого круга.

Что может делать такое чистое и светлое существо, как Вы, в обществе этого детища хаоса и грязи? Неужели же Вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото?»

Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам (там бывали Детай, Мейсонье, Лавуа, Миро, Мельяк) и обеды у госпожи Обернон.

«— Я глухой, хоть и сенатор, — сказал ему маршал Канробер.

— Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору, — ответил Дюма».

Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему: «Потрогайте мое сердце, — слышите, как оно бьется? Как вы его находите?», — он ответил: «Я нахожу его круглым».

Когда ему сказали, что его приятель Нарре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил: «Да, он худеет с горя, что толстеет».

Принцу Наполеону, который за глаза поносил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил: «Ваше высочество поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне — о ее недостатках».

Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодили его.

Знаменитому стареющему писателю отрадно предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодых людей, таких, каким когда-то был он сам. Теперь «Даму с камелиями» играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, она сымпровизировала: «Не ищите — у меня ее сколько угодно». Дюма-сын ее баловал и задаривал конфетами с ликером, которые она очень любила.

Когда Комеди-Франсэз возобновила «Иностранку», Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пьерсон. Роль Круазет

получила Бартэ. Пьеса зазвучала по-иному — пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит — жить.

Комеди-Франсэз стала теперь, как в свое время Жимназ, домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрэнна была для Дюма большой утратой. Этих двух людей — холодных и высокомерных — связывала прочная дружба. Когда Перрэн заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1885 года Перрэн послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его: «Я умру с минуты на минуту — я хотел бы пожать Вашу руку, проститься с Вами и поблагодарить Вас за последнюю большую радость моей жизни — успех «Денизы». Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери: «Нельзя умереть более стойко, чем он».

Другим горем была смерть Адольфа де Левена — старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольере. Дюма приходил к нему три раза в день.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивал он.

— Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предвкушаю иной мир. Я прожил достаточно; ничто из нынешних событий меня не занимает.

Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи.

— Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю свои силы — кто знает, что со мною будет потом?

В свои восемьдесят два года Левен был худощавый, стройный старик с удлинённым, чуть красноватым лицом; он носил слегка набекрень шляпу с очень высокой тульей, большой отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи-Филиппа; его борода в восемьдесят лет упрямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он тем не менее отлично ладил сначала с Дюма-отцом, а потом и с Дюма-сыном. Он сделал Дюма-сына своим единственным наследником и оставил ему свое имение Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжке, тащить фиакр или телегу. Каждой из своих собак он назначил содержание. Отпевали его в Марли, похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из «Мемуаров» Дюма-отца, где автор «Антони» рассказывал о своей встрече со шведом,

который сделал из него французского драматурга.

«Все, кто знал Левена, — сказал Дюма-сын, — даже те, кто впервые увидел его в последние годы жизни, сразу же узнают его в этом портрете, где он изображен молодым. Напоминая ели своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными, — всегда, даже когда они покрыты снегом, — наш друг до восьмидесяти двух лет оставался все тем же невысоким, стройным человеком, с изящной осанкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом. Что касается достоинств его души и его ума, о которых мой отец так часто говорит в своих «Мемуарах», то с годами они только умножились. Несколько холодный внешне, как все те люди, которые хотят знать, кого они дарят своей дружбой, ибо не могут дарить ее без уважения к человеку, дабы не лишиться его потом ни того, ни другого, — несколько холодный внешне, Левен был самым надежным, самым преданным, самым нежным другом для тех, кому удалось растопить лед первого знакомства...

Утром 14 апреля мне показалось по некоторым признакам, что смерть решила вскоре дать ему покой, которого он от нее ждал. Я больше не отходил от него. «Если бы сегодня была хорошая погода!» — это последние слова, которые он был в силах пробормотать, и это единственное из его последних желаний, которое не могло быть выполнено. С этой минуты — только легкое пожатие руки, все более шумное дыхание, движения головы и взгляды, означавшие последнее прощание... День угас, умолкли птицы; наступили сумерки. Его спокойное лицо со строгими чертами освещал теперь лишь слабый свет ночника. Дыхание его становилось все ровнее, все реже, все тише, и мне пришлось склониться над ним, чтобы увериться, что он уснул вечным сном, без малейшего содрогания и без всякого усилия. Я закрыл ему глаза, поцеловал его и не покидал до тех пор, пока слуги, плача и читая молитвы, не одели его в костюм, в котором он пожелал покоем в вечном сне.

Вот как покинул мир этот бесценный человек. Невозможно представить себе смерть более простую, более спокойную, более благородную, более достойную того, чтобы служить поучительным примером для людей беспечных и слабых. Что касается меня, то я исполнил его волю: он покоится рядом со

своей женой. Друга моего отца, которого он более шестидесяти лет тому назад нашел на живописной дороге, окаймленной боярышником и маргаритками, я с благоговением похоронил там, где он пожелал, — среди друзей, под холмом из цветов...»

После смерти Тейлора и Левена остался в живых только один свидетель молодости Дюма-отца — самый великий из них, Виктор Гюго. И он, в свою очередь, покинул мир в 1885 году. Дюма-сын не слишком скорбел о нем. Сначала этих двух людей разъединили неприятные воспоминания, потом — политика. Гюго верил в прогресс, в республику; Дюма — в упадок, в тщетность всех усилий. Театральное шествие от Триумфальной арки до Пантеона раздосадовало Дюма.

«Если бы произведения Виктора Гюго, — сказал он, — были враждебны республике, вместо того чтобы быть враждебными империи, стихи его от этого не стали бы хуже, зато ему не устроили бы национальных похорон... Если бы он жил возле Тронной площади, а не возле площади Звезды, его талант не оскудел бы, но его тело не провезли бы под Триумфальной аркой. На похоронах Мюссе, который тоже был великим поэтом, не набралось и тридцати человек...»

В Академии по поводу похорон Гюго велись долгие споры. Должен ли Максим дю Кан, тогдашний старейшина, произнести речь от имени академиков? Некоторые из них полагали, что ввиду политических взглядов Максима дю Кана лучше не рисковать — возможна враждебная демонстрация.

«Академия, — сурово изрек Дюма, — должна быть выше общественного мнения. У нее есть свои правила. Пусть она их соблюдает». В этой высокомерной и воинствующей непримиримости был он весь.

Глава четвертая «ФРАНСИЙОН»



На место Перрэна в Комеди-Франсэз пришел Жюль Кларети. Это был еще не старый, ловкий человек с крючковатым носом. Он первым ввел раздел еженедельной хроники. Его «Парижская неделя», которую печатала «Тан», забавляла читателей резкими и неожиданными переходами. В Комеди-Франсэз он после сурового Перрэна казался бесхарактерным. Он всем все обещал. Ему дали несколько прозвищ: «Фридрих Барбарис», «Да-Если-Нет», «Антрепренер госпожи Церемонии». Карикатуристы изображали, как он бежит по коридору, спасаясь от сосьетеров. Но он продержался двадцать восемь лет.

Вступив на пост администратора, он первым делом обратился к Дюма за новой пьесой. «Гвардию, введите в дело гвардию!»^[207] — кричал он. Дюма — «последняя надежда и высочайший ум» — начал для него пьесу «Фиванская дорога», но работа подвигалась медленно. Он хотел довести замысел до совершенства. «Когда ты близок к тому, чтобы покинуть этот мир, надо говорить только то, что стоит труда быть сказанным...» Старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Близился срок, назначенный им самим для передачи театру «Фиванской дороги», Дюма понял, что пьеса не может быть готова к этому времени. Однако Кларети на него рассчитывал. Как быть? Он вспоминает, что когда-то написал один акт на смелый и легкий сюжет. Женщина говорит мужу: «Если ты мне изменишь,

я возьму себе любовника». Муж ей изменяет; она едет на бал, увозит первого попавшегося молодого человека, ужинает с ним и, возвратившись домой, заявляет: «Я отомстила». Это не правда, но муж верит. Жена довела бы свою игру до конца и пошла бы даже на развод, если бы тот самый молодой человек не появился вновь на сцене в качестве нотариального клерка, вызванного для составления необходимых для развода документов. Он лучше кого бы то ни было знает, что ничего серьезного не случилось. Он заявляет об этом, и ему удается убедить мужа. Драма исчерпана; комедия кончается, как ей положено.

Дюма послал Кларети «Франсийона» со следующей запиской:

«Кончено.
Очень опасно.
Очень длинно.
Очень устал.
Ваш
А. Д.»

Тема была не нова. Луи Гандера когда-то давал Дюма читать пьесу «Мисс Фанфар» на тот же сюжет. Дюма перестроил ее первое действие. Гандера, которому больше нравилась его собственная версия, сам разрешил Дюма воспользоваться для себя переделанным действием, которое и стало отправной точкой для «Франсийона». Шедевр ли это? Нет, но это удачная пьеса, одна из самых приятных в творчестве Дюма-сына. Сам Гандера великодушно одобрил мастерство виртуоза:

«Александр Дюма — третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось шестьдесят два года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек! Какой великолепный Негр! Он обращается с нами, как с белыми. Он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость; нас это вполне устраивает. Ведет он публику по правильной или по ложной дороге, он делает это рукою мастера. Он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если и есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее; она состоит в том, что, вволю насладившись своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражнения одновременно и более простые и более трудные...»

Мир, который Дюма живописал в «Франсийоне», был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню «небезызвестных девиц». Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью: тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг — завсегдатай клуба, но при этом философ, и приятельница-резонерка; тут и аппетитная особа — наполовину традиционная инженту, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя.

«Франсийон» прошел на «ура». При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику. «Станный аппарат из дерева и никеля» привлек все взгляды: еще ни разу до этого памятного вечера на сцене Французского театра не видели телефона! «Ну и смельчак этот Кларети!» — шептались зрители.

«Я был очарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика, — писал Сарсэ. — Первое действие ослепляет... Фейерверк острот. Остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры! Богатство, не поддающееся описанию!» Франсина де Ривероль в исполнении Юлии Бартэ походила на «задорную козочку», бьющую копытами».

Дюма-сын — Юлии Бартэ: «Все целуют Вам руки, Вам, победившей вдвойне, — получают стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать...»

«Ах, уж этот Дюма, этот Дюма! — злословили в гостиных. — Он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подцепить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история!» Другие усматривали в пьесе определенный тезис: «Око за око, зуб за зуб!» — вот девиз Вашей героини, и Вы его одобряете. Вы провозглашаете право женщины на возмездие. «Убей ее!» — говорили Вы прежде, и по Вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивались револьверы... «Измени ему!» — говорите Вы теперь — и ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты».

Дюма не говорил: «Измени ему!» Наоборот. Однако он утверждал, что, хотя адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк.

Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных

пьес, удивляет, что эту пьесу считали «грубой». В ней все же была правда. Общество, описанное в «Франсийоне», — это не общество Сен-Жерменского предместья, еще менее — общество квартала Марэ. Это мир Елисейских полей и равнины Монсо. «В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов добродетели. Файф-о-клок в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле, у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает г. Дюма...»

И в заключение Гандера еще раз напоминал о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу:

«Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор — его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности; его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все — кто бы мы ни были — восхищаемся г-ном Дюма; мы его любим, и если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем, ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет — или около этого — после своего литературного дебюта все еще являет вам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин».

Глава пятая

ЛЮБОВЬ И СТАРОСТЬ

Талант не возмещает того, что уничтожает время. Слава молодит только наше имя.

ШАТОБРИАН



Действительно, в то время Дюма иногда казался необычайно веселым. Этот созерцатель любви вынужден был, наконец, сознаться себе, что влюблен, как шестидесятилетний мужчина может быть влюблен в молодую женщину — с отчаянной страстью, внушающей последнюю надежду.

С очень давних пор он вел дружбу со старым, ушедшим на пенсию актером — почетным старшиной Комеди-Франсэз — Ренье де ла Бриером, которого называли просто *Ренье*. Трудно представить себе более привлекательную чету, чем супруги Ренье. Муж, в прошлом актер высокого класса, затем архивариус Французского театра, профессор Консерватории, режиссер и, наконец, заведующий постановочной частью Оперы, прошел хорошую школу у ораторианцев. Это был маленький человек, любезный и саркастичный; его непосредственная и отточенная актерская игра в свое время и волновала и развлекала публику. «Он не гнался за эффектами, они сами шли к нему». Он написал несколько превосходных книг, в том числе «Тартюф и актер».

Его жена, женщина удивительной красоты, была дочерью Луизы Гревдон из Жимназ, некогда обожаемой любовницы Скриба.

Его дочь — еще одно чудо — в восемнадцать лет вышла замуж за архитектора Феликса Эскалье, который был в то же время и живописцем. Дюма-сын знал восхитительную Анриетту еще ребенком. Он наблюдал, как вместе с нею растут ее очарование и изящество, — он восторгался ею. Ее брак с архитектором был прискорбной ошибкой. Казалось, только один этот каменный человек не боготворил эту женщину — свою жену, за которой безуспешно ухаживало столько других мужчин. Немало выстрадав, она разошлась с ним и теперь, разочарованная, упавшая духом, жила у родителей. Анриетта всегда восхищалась Дюма, но он внушал ей робость; перед ним она «чувствовала себя маленькой девочкой». Она спрашивала у него совета, что читать, и благодарила за жалость к ней. «Чувство, которое я питаю к Вам, вовсе не *жалость*, — отвечал он, — это самая безграничная нежность». Она жаловалась на одиночество и просила увенчанного славой драматурга, который, по ее мнению, был «прекрасен, как бог», чтобы он проводил с нею время и развлекал ее.

Дюма-сын — Анриетте Эскалье, ноябрь 1887 года: «Мой прелестный маленький друг! Вы просите у меня золотую монету на одну из Ваших благотворительных затей — но отчего же Вы просите так мало? Неужто Вы верите в легенду, что я скуп? Во всяком случае, по отношению к Вам я таковым не буду. Пользуйтесь моим кошельком вволю; он во всех случаях окажется больше, чем Ваши маленькие ручки. Я всегда буду счастлив творить добро вместе с Вами, потому что Вы не захотите делать зла. Мой прелестный маленький друг, я у Ваших ног, — они, наверное, не больше Ваших ручек...

Если у Вас есть фотографии, где Вы похожи на себя, — дайте мне одну. Я верну Вам ее в книге, рассказывающей историю богини, на которую Вы, по-моему, похожи. Вы увидите, что все Ваши друзья придут к тому же мнению, но первым открыл это сходство я. Передайте Вашей матушке мой самый почтительный привет».

Портрет действительно был возвращен Анриетте в книге Лафонтена «Психея». Дюма переплел два тома в бирюзовый сафьян и наклеил фотографию Анриетты на внутреннюю сторону верхней обложки. К книгам было приложено следующее письмо:

«Мой дорогой маленький друг! Созовите семь греческих мудрецов, соберите судей ареопага, присоедините к ним Фидия, Леонардо, Корреджо, Клодиона и скажите им: «Мой друг Дюма утверждает, что я похожа на Психею». Все они ответят — каждый на своем языке: «Что ж! Это правда».

Вот почему я преподношу Вам сегодня историю этой царской дочери, которую Амур сделал богиней, и прилагаю к ней Ваш портрет (который, я надеюсь, Вы мне возместите), дабы те, в чьи руки попадет эта книга, когда ни Вас, ни меня уже не будет в живых, убедились, что ни мудрецы, ни судьи, ни художники, ни я не ошиблись. Не ошиблись, открыв в Вас божественные черты той, что сделала Венеру ревнивой, а Купидона — постоянным.

Мой маленький друг, в награду за свои преподношения я позволю себе поцеловать Вам руки».

Пораженный тем интересом, который совершенно явно выказывало к нему столь молодое и столь желанное создание, он не смел сорвать цветок улыбнувшегося ему счастья. Давно уже он не верил в искреннюю любовь. Стоило ему начать анализировать чувства какой-нибудь женщины, как он обнаруживал гордость, тщеславие, потребность в защите, но никогда не находил той абсолютной и гордой верности, которая все еще оставалась для этого седовласого человека юношеской мечтой. Поэтому он безжалостно отталкивал от себя всех, кто его осаждал: актрис и светских женщин, грешниц и кающихся. Примерно в это же время он отвечал одной юной девушке из Сета, предложившей ему себя:

«Дорогое дитя! Я понял Вас, хотя не желал понимать, потому, что не должен... Боже упаси меня от того, чтобы поставить всю Вашу жизнь в зависимость от Вашего первого увлечения и от моей последней иллюзии! Я давно уже покончил с любовью, Вы могли быть моей дочерью. Вы обаятельны и обладаете тем, что я ценю превыше всего, — девственностью. Я не сделаю Вас похожей на других женщин, не ввергну во все беды, весь ужас падения и раскаяния. Я слишком хорошо знаю, что это такое и к чему ведет.

Я не хочу, чтобы Вы имели повод когда-либо жаловаться на меня или краснеть за себя. В сердце моем я отвел вам достойное место — единственное, какое Вы можете занять там с честью.

Не искушайте меня на что-либо, превышающее дружбу; Вам

принадлежит то, что есть во мне лучшего.
Обнимаю Вас...»

Однако Анриетта Эскалье, искренне влюбленная, ослепленная авторитетом, славой и внешностью Дюма-сына, не теряла надежды победить его сопротивление. Ее решимость укрепляли сведения о раздорах в семье Дюма, о княгине с расстроенными нервами, о том, что отношения Дюма с Оттилией Флаго (которая стала бабушкой) приняли характер дружбы, и она отважно устремилась на приступ своего героя. В 1885 году Ренье умер, и Дюма теперь часто виделся с его женой и дочерью, удрученными скорбью, помогал им советом и делом. Вскоре он уже не сомневался в возможности одержать победу — отсветы ее горели в глазах Анриетты.

Победа? Не было ли это для него скорее поражением? Конечно, его искушало лучезарное лицо Анриетты, ее восхитительное тело, пленительная молодость. Воспоминания о маленькой девочке, которая еще так недавно плескалась в море у него на глазах, невинная и не осознавшая себя, смешивались с образом находившейся рядом цветущей женщины. Но что сулит Анриетте, думал он, связь со старым любовником, слишком хорошо знающим женщин, чтобы не испытывать безумной ревности? Как она сможет вынести грусть, мизантропию, приступы отчаяния сложной натуры художника, считающего, что у него уже не хватает дыхания?

Он навсегда запомнит одну дату: 13 апреля 1887 года — день, когда она отдалась ему после первого поцелуя. *«13 апреля 1887 года я слил свою судьбу с твоею на твоих губах»*. Она могла бы ответить, как Джульетта: *«Я была слишком нежна, и Вы, пожалуй, могли опасаться, что, когда Вы на мне женитесь, мое поведение станет очень легкомысленным»*. — «Я все время спрашивал себя в тот день, искренне ли это смятение, или наигранно, или же с тобою так бывает всегда и надо было только решительно подойти к тебе, чтобы взять?... Ах! Если я впервые смутил твои чувства, то ты могла бы похвастать тем, что впервые посрамила мои психологические познания, ибо ты единственная женщина, которую я не могу постичь...» Единственная! О наивность Оливье де Жалена!

Позднее он старался увидеть в той удивительной легкости, с какою Анриетта предложила ему себя, счастливое предзнаменование: «Когда меня охватывают сомнения, то непосредственность, с какою ты отдалась мне душою и телом, убеждает меня в твоей невинности. Женщина, которая уже отдавалась другому мужчине, не отдалась бы так скоро... Она опасалась бы, что, уступив так легко, вызовет подозрения и выдаст себя...»

Дюма-сын — Анриетте Ренье, октябрь 1887 года: «До чего мы дойдем таким путем? До какого решения? До какой катастрофы? Я ничего об этом не знаю... Прошло уже полгода с того дня, как ты бросилась в мои объятия с тайным предчувствием, что во мне — твое счастье и несчастье. Все мои силы и весь мой ум в течение того времени, что мне осталось жить, я употреблю на то, чтобы сделать тебя счастливой. Не спорь, не задавайся вопросами, не мучай себя. Живи, не думая, и позволь обожать тебя, как женщину, как ангела, как богиню, как ребенка — как мне захочется. Ты больше не принадлежишь себе. Ты хотела иметь повелителя, и у тебя не может быть лучшего, чем тот, что есть. Чувствуешь ли ты, что ни одно создание в этом мире не любимо так, как ты?..»

Он действительно любил ее так, как не любил никого со времен Мари Дюплесси и Лидии Нессельроде, даже сильнее, ибо Анриетта Ренье больше всех походила на ту Сильфиду, которую он, как многие мужчины, тщетно искал. «Ты неожиданно вошла в мою жизнь, дав моему идеалу самое лучезарное воплощение... Ты была для меня не только женщиной, которую я обожал с момента ее появления, но и той, которую я всегда обожал втайне, вопреки всем образам, какие принимала человеческая самка, стоявшая между мной и Ею...»

Это была большая физическая страсть. Благодаря Анриетте он узнал на закате жизни счастье приходить с трепетом на свидания, которых она никогда не пропускала. К пылу любовника примешивалась почти отеческая нежность, с какою он опекал это молодое существо, следил за ее здоровьем, ее поступками. Если ему случалось присутствовать при том, как Анриетта, выйдя из себя, говорила резкости матери, которую она тем не менее обожала, на другой день он писал ей, предупреждая, что со временем она жестоко раскается, что огорчала госпожу Ренье. В 1890 году Анриетта развелась с мужем. Поскольку она уже много лет не жила с Эскалье, она, несомненно, надеялась сразу же связать свою жизнь с Дюма. Но как он мог на ней жениться? Мог ли он оставить шестидесятилетнюю, тяжело больную госпожу Дюма? Мог ли поставить под угрозу будущее их незамужней дочери Жаннины? Противник адюльтера увидел, что обречен на длительную тайную связь. Глубоко тревожась за репутацию своей возлюбленной, он обставил свои отношения с ней наивными предосторожностями и телеграммы, которые посылал ей, когда разлучался с нею, уезжая на отдых, подписывал именем «ДЕНИЗА».

Счастье его отравляло, как всегда в этом мире, полном разлада, смутное недовольство собой. Эта любовь, на которую у него уже не хватало сил, взбаламутила его жизнь — а ведь он хотел, чтобы она была безупречной!

«Вот уже семь лет, — писал он в 1893 году, — как не было ни единого часа, чтобы я не думал о тебе. Если бы звезда упала в море, она не произвела бы большего волнения, чем произвела ты, ворвавшись в мою жизнь. Все, что я думал о любви, будучи убежден в том, что никогда не познаю ее в действительности, я познал в тебе физическое совершенство и возможность морального совершенства, — если верить тому, что ты утверждаешь... Ах! Сюзон, Сюзон, как ты заставляешь меня страдать!..»

Человек театра цитировал Бомарше. Просто человек страдал. Почему? Потому что он не верил в свое счастье: «Вся моя жизнь уходит на то, чтобы воссоздать твою. Я ищу тебя в твоём прошлом, следую за тобой из года в год, говоря себе: «Что делала Анриетта в то время? Почему она была там-то и там-то?» И если мне что-нибудь неясно, если ты, как Феба^[208], у которой ты позаимствовала перламутровую белизну, скрываешься за облаком, я терзаюсь подозрениями, тревожусь, страдаю...»

Госпожа Ренье сняла на лето домик в Лионсюр-Мер, и дочь поехала туда с нею. Анриетта скучала на этом курорте, где безраздельно царила Жип^[209]. Дюма опасался молодых людей, игр на песке и в воде, ловушек, которые расставляет безделье. Чтобы успокоить его, Анриетта послала ему свой девичий дневник, где она уже много говорила о нём.

Дюма-сын — Анриетте Ренье, 22 сентября 1893 года:
«Напрасно ты не любишь море. Ведь как раз у моря я увидел тебя в первый раз на твоём ослике (в 1864 году)... Так начинаются английские романы. Почему Бог не дал себе труда спуститься и шепнуть мне на ухо: «В один прекрасный день эта девочка полюбит тебя. Береги себя для нее.» И тебе какой-нибудь ангел мог бы сказать: «Со временем этот человек будет бесконечно обожать тебя. Береги себя для него.» Бог не сделал того, что должен был бы сделать, ангел прошелестел крыльями над тобой, не сказав ни слова, но ты все же заметила его, и у тебя осталось предчувствие. Когда я возвращаюсь к твоему прошлому

благодаря тетрадям, которые ты мне дала читать, письмам, с которыми ты меня познакомила, я время от времени встречаю там свое имя, — оно притягивало тебя все более и более, пока ты не упала в мои объятия, чтобы никогда из них не вырваться...»

Но несмотря на эти трогательные предвестия, он продолжал терзаться. За свою жизнь он наблюдал столько поводов для ревности, что клятвы Анриетты ничуть его не успокаивали. «В самом деле, твои письма говорят за то, что это был *первый раз*, но Меркурий так коварен, а ты настолько женщина, от корней волос до кончиков ногтей...»

К кому он ревновал? К мужу? Меньше всего. «Тот, кому ты была отдана в семнадцать лет, не ведая, что за этим кроется, ничего для меня не значит...» Нет, он ревновал к мужчинам, которых она могла выбирать сама, — к композитору Паладиль, который обучал ее пению, к салонным тенорам; одинаково ревновал к прошлому и к настоящему, ужасно страдая при мысли о «малейшем осквернении». Она упрекала его в несправедливом недоверии к ней, в то время как она силилась избегать всех «искушений и покушений». Он оправдывался. Мог ли он быть другим?

«Я никогда не видел вокруг себя ничего, кроме порока, лжи, разложения во всех видах и формах. Мне удалось бессознательным, но могучим усилием вырваться из этого круга самому, без чьей-либо помощи. Но во мне осталось глубокое недоверие. Я встретил тебя в ту пору моей жизни, когда я должен был бы покончить со всеми иллюзиями, но ты в такой мере воплощала мечты моей равней юности, что я не мог сопротивляться... От того, как поступали со мной и как еще могут поступить женщины, прошедшие через мою жизнь, — *в том числе и та, что стала моей спутницей*, — я не страдал, ибо не любил их. Я не был счастлив, но благодаря работе я был покоен. Не встретить я тебя, я вскоре забыл бы вообще, что на свете существуют женщины. Я никогда не отдавал им и частицы моей души, а мое тело испытывало отвращение и омерзение... Я родился целомудренным... Я не встречал женщины, которая не лгала бы. Почему бы и тебе не лгать, как другие?»

Когда госпожа Ренье почувствовала, что она очень больна и конец ее недалек, она призвала к себе Дюма и с тревогой сказала ему: «Анриетта остается одна на свете...» Ему было крайне тяжело, что в такой момент он

не может стать постоянной законной опорой для растерявшейся молодой женщины. Он дал слово жениться на ней, если он когда-либо окажется свободным. Это было вероятное предположение, так как в 1891 году Надин Александр-Дюма, обезумев от ревности, покинула особняк на авеню де Вильер и поселилась у своей дочери Колетты. Тем не менее Дюма не мог требовать развода у женщины с расстроенной психикой, у которой врачи определили неизлечимую душевную болезнь. Да и кроме того, был ли он уверен в том, что желает этого? Оливье де Жален снова колебался в выборе развязки.

Дюма-сын — Анриетте Ренье: «Кроме всего, возникло еще это осложнение — возможность свободы для меня. Ты не заблуждаешься касательно того, на какие размышления навела меня эта возможность. Я стал бояться этого события как несчастья, хотя вполне заслужил право желать его как реванша... Вот уже двадцать восемь лет, как я имел глупость исполнить свой долг: это едва не стоило мне жизни и, что еще страшнее, разума, но меня спасло сознание, что я чему-то посвятил себя, и я верит в свой труд, в славу...»

Этому гордому человеку понадобилось пережить сильное потрясение, чтобы сознаться в том, что он всегда скрывал от своих друзей, даже от Жорж Санд, — в трагической неудаче своего брака с зеленоглазой княгиней.

Глава шестая

«ФИВАНСКАЯ ДОРОГА»



После «Франсийона» Дюма не написал ни одной новой пьесы. Восемь лет молчания — большой срок для знаменитого драматурга, находящегося еще в расцвете сил и настойчиво осаждаемого лучшими театрами. Но этого великана всегда легко было обескуражить. Внезапно нападавшая на него усталость напоминала неожиданные приступы подавленности, которые переживал в Италии и в Египте его дед-генерал. «С семилетнего возраста, — говорил он молодому Полю Бурже, — я сражаюсь с жизнью. В моем тоне не надо искать меланхолию — это усталость. Бывают моменты, когда я сыт всем этим, сыт по горло, и я охотно улежусь бы лицом к стене, чтобы не слышать больше никаких разговоров, в особенности разговоров обо мне».

Его интимная жизнь усугубляла его мрачность, но, кроме того, он сомневался и в своем искусстве. Некоторые из его младших собратьев преследовали его ядовитой ненавистью, в которой была и доля зависти.

В кулуарах Французского театра, поставившего недавно «Парижанку», Анри Бек, «коренастый, с жестким взглядом из-под густой соломой бровей, с усами щеткой и кривой усмешкой», читал эпиграммы, пересыпая их звучными: «А? Каково?»

Как было два Корнея,

Так есть и два Дюма,
Но эти двое схожи
Не с Пьером, а с Тома.

Дюма ответил на это:

Тома Корнель, прости за дерзость Бека,
Ему и Пьер Корнель не по зубам:
Зевает Бек. Так повелось от века,
Когда зевать всех заставляешь сам.

Однако, если Бек находил горькую сладость в таких шутках, то Дюма, уставший от всего, считал их жалкими и пустыми. Он слишком хорошо знал, что восходит звезда Бека и Ибсена. Он знал, что молодые критики теперь с презрением говорят о «хорошо сделанной пьесе», слишком хорошо сделанной. Успех его прежних пьес — «Свадебного гостя», в котором Бартэ играла вместо Декле и талантливо выплевывала знаменитое «Фу!»; «Друга женщин», где она воплощала Джейн де Симроз, умело соединяя нежность и дерзость, — не вернул ему веры в себя. Старая пьеса — не новая. Он написал одно действие пьесы «Новые сословия», о котором говорил: «Это будет мой «Фигаро» — и четыре действия «Фиванской дороги», где их должно было быть пять, — но так и не закончил ни одной из этих пьес.

Дюма-сын — Полю Бурже: «Я снова взялся за «Фиванскую дорогу», но я не вижу развязки и очень боюсь, что никогда ее не увижу. Нет больше ни энтузиазма, ни увлеченности. Я хорошо знаю, что хочу сказать, но я без конца повторяю себе: «К чему говорить что бы то ни было?» Все дело в том, что я слишком давно знаю род человеческий...»

В действительности он проецировал на человечество свою собственную неудовлетворенность и считал весь мир дурным оттого, что, несмотря на весь свой жизненный и творческий успех, он много страдал. Он мог бы отнести к себе реплику одного из своих персонажей: «Вы, несомненно, человек очень сильный. — Да, но очень несчастный».

Был ли он сам очень сильным человеком? Леопольду Лакуру, который

в 1894 году спрашивал его о «Фиванской дороге» — ее с таким нетерпением ждали в Комеди-Франсэз, — он ответил:

«Окончу ли я ее когда-нибудь? Я все больше и больше сомневаюсь в этом. В нее надо вложить так много, слишком много! Для театрального писателя, который стремится не только развлекать зрителя, но и заставить его думать, ибо сам он думал, жизненный опыт, со всеми размышлениями, которые он влечет за собой, понемногу становится чересчур требовательным советчиком. Ведь у него же нет той бесстрашной уверенности в себе, которая двадцатью годами раньше, возможно, позволила бы ему удовлетворить эти высокие требования. И, кроме того, я никогда не был гордым, заверяю Вас в этом, вопреки легенде, которая прищлась по вкусу слишком многим людям, чтобы ее можно было уничтожить. Но все-таки, даже не будучи слишком самоуверенным, я мог бы строить себе иллюзии насчет действительной ценности моих произведений, мог бы надеяться, что, умирая, не все их унесу с собой, я мог бы заблуждаться по причине — боже мой! — да, по причине моего успеха, а в особенности из-за того уважения, которое выказывали мне светлые и могучие умы, как, например, Тэн. Однако я вижу, как меняется вкус публики, как одна часть молодежи переходит на сторону Бека и его учеников, другая приветствует Ибсена. Я присутствую при том, как приходят в упадок определенные формы искусства. Мой театр, весь мой театр погибнет...»

Его отец тоже говорил подобные вещи в последние месяцы жизни, но рядом с Дюма-отцом, утешая его, находился сын, который им восхищался. Леопольд Лакур был растроган слабой и печальной улыбкой, которой сопровождались эти признания. Он сказал старому метру, что «Даму с камелиями», «Полусвет» будут играть всегда. Разве Сара Бернар не возобновила с успехом «Жену Клавдия»? Разве некий критик не писал: «Дюма был Ибсеном до Ибсена»? Грустная улыбка появилась снова.

«Вы говорите искренне, — сказал Дюма, — и я Вам благодарен. Но только я жил слишком долго; я слишком часто видел, как удача возвращается к человеку, чтобы потом покинуть его снова, уже навсегда. Наверное, только Саре — она много выше Декле — я и обязан этим реваншем, и было бы

неблагоразумно считать его окончательным. Победы великих артистов, неожиданно возрождающие уже погибшую пьесу, сладостны для автора. Они не должны вводить его в заблуждение. Ему надо знать, подтвердит ли их будущее... Что случилось с драматургией Вольтера? Ее теперь даже не читают. А вместе с тем, каким драматическим поэтом восхищались больше, кому еще так курили фимиам, как автору «Заиры» и «Меропы»? Да и означает ли это продолжение жизни для драматурга, если у него еще находятся читатели и если в том некрополе, который нередко представляет собою история литературы, красуется, с позволения сказать, его памятник в прозе?

Продолжать жить в искусстве для такого автора не значит остаться в книгах; это значит жить на сцене по крайней мере в двух или трех подлинных шедеврах. И во французской драматургии XIX века я нахожу едва три-четыре таких шедевра; это не «оперы» Виктора Гюго — их словесное величие не спасет их для вечности — нет, это некоторые комедии Люссэ. Я ничего не говорю о моем отце; его талант был так же присущ ему, как хобот слону...»

Возвратившись к себе, Леопольд Лакур отметил, что, несмотря на грустные речи, эта высоко поднятая голова была по-прежнему величественна:

«Холодный блеск его светло-голубых глаз не потускнел. Слегка покачивающаяся походка, когда-то модная, напоминающая идеал изящества во времена Наполеона III, заставляет его по-военному резко размахивать руками. Стало все-таки несколько меньше гибкости в движениях этого «кавалера», речь его теперь не так стремительна». Меланхолия сгущала сумерки этой жизни, прежде казавшейся столь блестящей.

Другой журналист, Филипп Жиль, вынес такое же впечатление. Он спросил Дюма:

— Мы увидим «Фиванскую дорогу»?

— Подумайте сами! — ответил Дюма. — В моем возрасте отважиться на борьбу, зная, что меня ждут только колотушки! Нет! Лучше уж я оставлю «Фиванскую дорогу» у себя в ящике. Я полагаю, что это одна из самых удачных моих пьес; я полагаю также, что никогда не отдам ее в театр.

Потом он заговорил о своих опасениях:

— Перед лицом никчемности нашей жизни, тщетности наших усилий, безнадежности обращений к так называемому провидению, которое ничего не провидит для нас, я всерьез помышлял о том, чтобы уйти в монастырь... Там по крайней мере человек далек от жизни. О! Успокойтесь: у меня никогда не хватит на это мужества... Стали бы говорить, что я ударился в религию под влиянием священников и женщин... И кроме того, я бы до смерти скучал.

Тем не менее Эмиль Бержера, зять Теофиля Готье, нашел, что Дюма одержим идеями христианства.

— Дорогой друг, вы совершаете две ошибки — курите и исповедуете пантеизм... Свет идет с Голгофы.

— Да, — ответил Бержера, — Магдалина — это Дама с камелиями в пустыне.

— Не будем говорить о «Даме с камелиями» — это юношеское произведение... Настоящую женщину вы найдете в евангелии.

Вошел лакей и сказал, что Х. просит луидор.

— Ах, бедняга! — сказал Дюма. — Дайте ему пять, это избавит его от четырех хождений.

Жюлю Кларети, комиссару Комеди-Франсэз, он прочитал четыре акта «Фиванской дороги», которые были уже написаны, и рассказал содержание пятого. Каков сюжет пьесы? На Фиванской дороге Эдип встретил Сфинкса... Ученый-медик Дидье в конце своего жизненного пути встречает загадочную и опьяняющую красавицу Милиану Дюбрейль, сестру всех тех чудовищ женского пола, которыми изобилует драматургия Дюма-сына. Знаменитый врач Дидье олицетворяет автора. Писатель, дабы не изображать писателей, превращает их в художников и врачей, но маски оказываются прозрачными.

У Дидье, материалиста-безбожника, есть верующие жена и дочь ^[210] и неверующий ученик Матиас. Дочь Дидье, Женевьева, любит Матиаса, но тот груб с нею и насмехается над ее верой.

— Твоя душа, — говорит он ей, — это лишь совокупность функций мозгового вещества... Если я ударю тебя вот сюда, в висок, что скажет твоя душа?

— Она простит тебя, — отвечает Женевьева.

В первом действии в доме Дидье, который в это время отсутствует, Матиас принимает молодого провинциала Доминика де Жюниака, переживающего тяжелый душевный кризис. Его отец по материальным соображениям противится его женитьбе.

Будучи страстно влюблен, молодой человек без колебаний нарушил бы запрет, но его невеста дала ему понять, что не выйдет за него замуж вопреки воле его отца. Потом она скрыпась вместе со своей матерью, не оставив адреса. Доминик разыскивает беглянок в Париже, где, как он подозревает, они прячутся. Он сообщает врачу свою навязчивую идею овладеть любимой девушкой или убить ее. Матиас дает чрезмерно возбужденному юноше несколько добрых советов и отпускает его, ни в чем не убедив. Возвращается доктор Дидье, и почти в ту же минуту на улице раздаются выстрелы. Матиас бросается к окну и узнает в стрелявшем Доминика, тот убегает.

Вводят пострадавшую — очаровательную молодую девушку. Дидье осматривает ее. Рана не опасна. Доктор предлагает девушке остаться у него в доме до выздоровления. Появляется полицейский комиссар. Выясняется, что имя молодой особы — Мириана Дюбрейль, ей двадцать лет. Ее мать уклоняется от прямого ответа, она якобы не знает стрелявшего. Она дает заведомо неверное описание молодого преступника.

Три недели спустя, во втором действии, выздоровевшая Мириана вместе со своей матерью живет в загородном доме Дидье. Никто и не помышляет об отъезде. Дидье поручает Мириане переписывать его труды, Матиас охотно беседует с нею на философские темы. Женевьева признается своей матери, что ревнует к незнакомке. Госпожа Дидье умоляет мужа не оставлять у них этих двух женщин. Он просит совета у Матиаса, который отвечает: «Вы влюблены в Мириану, сами того не зная». И действительно, доктор, которому и в голову не приходит просить девушку уехать, говорит ей: «У меня есть потребность чувствовать ваше присутствие». Возмутительница спокойствия соглашается отложить свой отъезд.

Тем временем Дидье принимает делегацию скандинавских студентов, прибывшую засвидетельствовать ему свое почтение. Руководитель делегации, по имени Стефен, производит на учителя прекрасное впечатление и он невольно начинает думать о том, что такой славный парень мог быть прекрасным мужем для его дочери Женевьевы.

Проходит два дня *В третьем действии* снова появляется Доминик де Жюниак. Отец его умер, теперь ничто больше не препятствует его женитьбе. Матиас спешит сообщить об этом

Милиане, та, неприятно удивленная, решительно отказывается выйти замуж за человека, который хочет ее убить. Доминик размахивает на сей раз не револьвером, а письмами своей невесты, как будто бы очень нежными и обличающими известную близость. Тогда Милиана смело нападает на Матиаса.

— Вы принимаете меня за сфинкса и стараетесь разгадать мою загадку. У меня ее нет. Вы уверены, что я полна коварных и преступных замыслов. Вы ошибаетесь.

И все же ассистент ее спрашивает, как бы она поступила, если бы ей предложили пятьсот тысяч франков, с тем чтобы она убралась отсюда. Она холодно отвечает — Потребовала бы миллион.

Четвертое действие. Женевьева изливает перед отцом душу, поверяет ему свое смятение. В ее сердце закрались сомнения. Она спрашивает ученого:

— Что находится за гранью этой жизни?

— Неизвестность.

— Неужели твоя наука не подтверждает ни одну из надежд, которые нам дает религия?

— Ни одну.

— Это может привести в отчаяние?

— Иногда.

Тем не менее Дидье сдается утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом он обращается к неизменно загадочной Милиане. Конечно, она заметила его восхищение, она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет, *все*. И он отвечает:

— Я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметит, что мне было двадцать. Вы молоды, а я уже нет. Вы свободны, я — нет. Вы не можете меня любить. Так уезжайте, уезжайте и найдите благословенного богами молодого человека, который станет вашим супругом и которого я буду любить как сына...

Здесь рукопись обрывается.

2 апреля 1895 года в возрасте шестидесяти восьми лет на авеню Ньель, в доме своей дочери Колетты, умерла госпожа Дюма, а через несколько дней началась агония у госпожи Ренье, в маленьком, построенном Эскалье

особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой Дюма похоронил княгиню в Нейли-сюр-Сен, рядом с Катриной Лабё, а 26 июня, меньше чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марлиле-Руа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей. И тем не менее от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что, предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое видение Греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкостной красоты! Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суровое понятие о чести.

27 июля 1895 года он написал завещание:

«Сегодня я вступаю в семьдесят второй год своей жизни. Пришло время составить завещание, тем паче что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что я не увижу конца этого года, в который вступаю. И все же ровно месяц назад я женился на женщине много моложе себя, я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя все то время, что ей суждено носить его, когда меня уже не будет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании.

Я желаю категорически, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда, я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей, и освобождаю Академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться.

Я желаю быть похороненным на кладбище Пер-Лашез^[211], в склепе, содержащем только два отделения, где — чем позднее, тем лучше — рядом со мною упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих одноцветных рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми.

Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить...»

Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетты, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пюи Жюлю Кларети:

«Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия — главной сцены для всей пьесы и для Мунэ Сюлли. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене, если же она удастся — нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку...»

В другом письме он писал о «Фиванской дороге»: «Вы получите ее через год, или я умру». Жорж Кларети, сын Жюля, рассказал в одной статье содержание пятого акта, который Дюма в его присутствии «читал в совершенно законченном виде» генеральному комиссару Французского театра:

«Внезапно Милиана влюбляется в Стефена — красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником Ибсена. Любовь — это привилегия молодости, — такова мораль драмы. Кризис миновал. Сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет:

— Быть может, и в самом деле существует душа?

А Матиас в своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих II между двумя сражениями, и отвечает учителю насмешливыми звуками своего визгливого инструмента...»

Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но 1 октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной.

«Представьте себе, что я уже умер, — сказал он Кларети, — и больше на меня не рассчитывайте».

Своей дочери Колетте он признался: «Не пойму, что со мной; весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утратившие эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли,

и временами он впадал в странное забытие, пугавшее его жену. Консультанты не могли поставить диагноз. Одни предполагали кровоизлияние, другие — опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли у его постели, объявили, что он безнадежен. Как когда-то его отец, умиравший на морском берегу Пюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях.

Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаяньем:

«Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира — или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденная нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили...»

Потом он вспоминал о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем, в братской дружбе:

«Ах! То было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось сорок два года, а мне — двадцать. Наши веселые разговоры, взаимные излияния чувств!.. Мне кажется, это было вчера... А ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями кладбища в Вилле-Коттре, между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам, всегда считал ребенком в сравнении с тобою, сейчас сед как лунь, — так, как ты никогда не был... Земля вертится быстро. До скорого свидания».

Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парка. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям.

— Ступайте завтракать, — сказал он, — оставьте меня одного.

Врач только что вышел из комнаты, когда Колетта позвала его:

— Идите скорей! У папы конвульсии...

Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв.

На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью:

«В нем была властная сила — воля... Он не уступал, будучи совсем иным, величайшему гению своей династии. До появления «Дамы с камелиями» девицы легкого поведения были отверженными, париями... Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других — прощать... И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем, трепещущим от любви, будут оплакивать Маргариту Готье...»

Оттого, что с первых дней своей жизни он был жертвой, оттого, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял на себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей. Он должен был укротить львиц или быть растерзанным ими. Гордость покрыла его сердце — самое уязвимое из сердец — тонким слоем льда. Его последняя любовь — пылкая и мучительная — была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке Марли теснились друзья, братья, журналисты, политические деятели, элегантные женщины и толпы простонародья. Поезда, приходившие из Парижа, выплескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любопытных, которые вереницей устремлялись в «Шанфлур».

Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. Ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лабе на смертном одре.

В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм — свою жизнь. Последний из трех остался один «перед опущенным занавесом, в молчании ночи». Его

молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем. Эпическая мелодрама завершалась буржуазной комедией, а быть может, и трагедией.

ТРИ ДЮМА И АНДРЕ МОРУА

— Руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего!

Так ответил Александр Дюма на митинге человеку, назвавшему его аристократом.

Эта фраза есть в книге Андре Моруа, но образ, вырастающий из этой фразы, — не тот образ Дюма, который нарисовал всемирно известный писатель, один из создателей особого жанра — «романизированной биографии».

Человек и его творчество. Разве можно разделить то, что в нашем представлении слито воедино? Ведь именно в подвиге, совершенном человеком — писателем, художником, ученым, политическим деятелем, раскрывается его подлинная биография. Андре Моруа утверждает, что можно, утверждает как теоретик созданного им жанра и пытается подтвердить это своим творчеством.

Но Моруа-теоретик — не совсем то же самое, что Моруа-художник. Он слишком большой писатель, чтобы уложиться даже в им самим созданную схему. И если в своем «Байроне» он полемически заострял те черты героя, что шли вразрез с каноническим образом великого английского поэта, и рисовал не романтического юношу, но склонного к полноте денди, не революционера в поэзии и жизни, но щедрого английского лорда, то позже он уже не следовал своим теориям, но, увлеченный своими героями, стоял рядом с ними, когда они сидели за письменным столом, разучивали с актерами свои пьесы или, погруженные в размышления, обдумывали решающий опыт в своей лаборатории. Таков поздний Моруа, и так написаны его «Три Дюма».

Но Моруа по воспитанию и взглядам — аристократ. Поэтому в своих героях он прежде всего ищет аристократизм духа: гений и талант. Упорный и вдохновенный труд, благодаря которому блестящая звезда гения взлетает над миром, он оставляет в тени, он его не интересуется (или Моруа делает вид, что это его не интересует). Во всяком случае, все это остается за пределами его книг.

Сколько книг написал Андре Моруа? Он кокетливо утверждает, что точно не помнит. Но библиографы, перечисляя его книги, часто забывают упомянуть менее важные его работы и путают годы выхода в свет его произведений. Только сопоставляя данные разных биографических и

библиографических справочников, можно, да и то с некоторой неуверенностью, подсчитать, что им создано семьдесят три книги, вышедшие отдельными изданиями, не считая журнальных и газетных публикаций, а также выступлений по радио и телевидению.

Среди этих книг есть романы, сборники рассказов, популярные исторические книги («История Англии», «История Соединенных Штатов», «История Франции»), путевые очерки, политические памфлеты, эссе, сказки, стихи («Мои песни — вот они»), максимы. Но главное в этом огромном творческом труде — биографии. Именно благодаря им он стал знаменит, и о них раньше всего вспоминают, когда произносят имя Андре Моруа.

Андре Моруа не только талантливый и интересный писатель. Он колоритная фигура и как человек. В нем весьма причудливо соединились влияния культур разных народов, и в то же время он один из лучших представителей того блестящего французского стиля, который является главным критерием при избрании в академию. Он начал свою деятельность администратором текстильных фабрик, участвовал в двух мировых войнах, был профессором в английских и американских университетах — в частности, в Кембридже и Принстоне, выполнял важные дипломатические поручения. Но всегда и везде он в первую очередь был и оставался писателем. И недаром он однажды сказал «Писать — это самое лучшее занятие на свете».

Сейчас ему семьдесят семь лет. Он уже давно достиг «бессмертия», как называют во Франции избрание в академию. Он один из старейшин этого высокого собрания он занял академическое кресло в 1938 году. Но он продолжает писать — с холодной и неистовой страстью, столь похожей и не похожей на страсть «Александра Первого». Только за последние десять лет он опубликовал семнадцать книг. «Три Дюма», где сочетаются нерастратенный им энтузиазм юности и блестящий стиль зрелости, написаны в 1957 году, когда Андре Моруа было семьдесят два года!

Он родился и провел детство в маленьком нормандском городке Эльбеф, неподалеку от Руана. Его отец Эрнест Герцог был выходцем из Эльзаса и переселился в Нормандию в 1871 году, когда Эльзас и Лотарингия были захвачены Германией. В городке была целая колония эльзасцев, сохранивших свои своеобразные песни, танцы и выговор. После окончания местной школы мальчик поступил в Лицей имени Корнеля в Руане. Здесь один из профессоров подарил ему книгу «Душа России». Произведения Пушкина, Гоголя и Толстого произвели на молодого Моруа — этот галльский псевдоним, избранный очень рано, давно стал его

фамилией — огромное впечатление. Первой женой Моруа была эмигрантка из царской России, поэтому его интерес к русской культуре усилился. Позже, уже будучи знаменитым писателем, он сказал: «Романистами, в которых я нашел образец, подлинными мастерами, по мнению моего сердца, были русские — Толстой, Тургенев, Чехов и Гоголь». И он никогда не уставал повторять, что считает «Войну и мир» величайшим романом на свете.

Еще будучи студентом, он обычно проводил каникулы в Англии, Швейцарии, Испании, Италии. Во время первой мировой войны он был прикомандирован к английской армии, сражающейся во Франции. Его друзьями, а позже героями его книг стали англичане, шотландцы, ирландцы.

Так на стыке многих культур, на скрещении всех ветров эпохи сформировался этот своеобразный ум человека, считающего себя не только французом, но и европейцем.

В 1918 году, тотчас по окончании войны, вышла в свет книга «Молчаливый полковник Брамбл» — первый роман Андре Моруа. Он стал профессиональным писателем.

Вначале книги Моруа не имели большого, успеха. Но в 1923 году случилось нечто такое, что определило всю его дальнейшую жизнь и сделало его знаменитым: он написал книгу «Ариель, или Жизнь Шелли».

Когда он принес рукопись издателю, тот сказал:

— Вы сошли с ума. Французы ничего не знают о Шелли. Никто не будет ее читать. Что это? Научный труд, популярная книга, роман?

— Это романизированная биография, — сказал Моруа.

Биография... Мы очень привыкли к этому слову, но если вдуматься, то вряд ли мы легко сможем определить, к какому жанру художественной литературы она относится.

Мы хорошо знаем биографии научные, написанные на материале архивных документов и писем, воспоминаний современников и опроса свидетелей, лично знавших героя биографии. Они могут быть написаны лучше или хуже, но сами авторы никогда не назовут их художественными произведениями: это серьезный научный труд.

Популярные книги чаще всего являются компиляцией ранее опубликованных научных трудов. Авторы таких книг обычно привлекают и посторонний материал: исторические события, на фоне которых протекала жизнь героя, быт того времени, биографические сведения о людях, с которыми встречался герой. Но авторы популярных книг преследуют обычно не эстетические, а просветительские задачи.

Книги, подобные книгам Ю. Н. Тынянова «Кюхля», «Смерть Вазир Мухтара», «Пушкин», уже подлинно художественные произведения. Но это романы, где материал, быть может и достоверный, подчинен эстетическим задачам.

Обратимся к самым знакомым примерам, к историческим романам — так все будет гораздо нагляднее. В «Войне и мире» Толстой нарисовал такого Наполеона и такого Кутузова, каких нигде не существовало. Волнует ли это читателя? Нет, потому что он ищет в этой книге не биографий исторических деятелей, а биографии Пьера, князя Андрея и Наташи Ростовской.

Петр Первый Алексея Толстого нарисован со всей доступной автору исторической точностью, но читатель смотрит на него не глазами писателя, а глазами его героев. Его несколько не беспокоит то, что в этих книгах встречается и домысел и вымысел, — ведь он ищет в книге не достоверные факты, а художественную достоверность, и психологическую правду он предпочитает правде исторической.

Исторические романы Вальтера Скотта — это в значительной степени романы биографические. Одним из героев каждого из них — и не будем слишком притворяться, ради чего и написан роман, — всегда является какой-нибудь знаменитый исторический деятель. Но не он является центральной фигурой, протагонистом произведения. Мы видим его глазами главного героя повествования, обычно маленького человека. На его ответственность и ложится нарисованный писателем образ. Пусть автор согласен с героем, но читатель снова — и всегда будет так! — ищет не исторической, а художественной достоверности. Ведь английский писатель не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румянами, а убеждает нас в том, что благородные предрассудки прошлого так же любопытны, как крепкие латы и пышные султаны из перьев на клювовидных шлемах рыцарей...

Но ведь все это не биографии и даже не биографические повести, а исторические романы. А что такое биография как самостоятельный художественный жанр? Существует ли она?

Античность не оставила нам никакой традиции. Правда, биография-панегирик Плутарха, как и биография-донос Светония живы и в наши дни. Но великое наследство — как и во всех других областях — оставил нам в биографической литературе девятнадцатый век. Это наследство огромно и по объему и по значению. Однако мы должны изучать его критически: принимая и отвергая. Ведь в каждом народе живут две культуры и в каждом литературном направлении борются две тенденции, две генетические

линии.

Томас Карлейль — знаменитый английский историк, чью великолепную прозу (именно прозу, потому что английская традиция считает историка прежде всего писателем, художником), чью прозу, с ее неукротимой энергией, великолепными и пышными, хотя порой и темными, причудливыми, странными образами, чтят не только англичане, но и весь мир, — стал знаменитым из-за своей книги «О героях и героическом в истории». Он утверждал, что всякая эпоха имеет свою идею, и тот человек, который выражает ее всего полнее, и есть герой эпохи. Общества же, лишённые великих идей и руководимые посредственностью, обречены на разложение. Его великая тень падает на весь девятнадцатый век, и отзвук его культа героев достигает и наших дней. «Всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, — писал он, — есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей... История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории». Но «разум человека неясен и шаток, на одного плодотворного деятеля в среде людей приходится тысячи, миллионы служителей мрака».

Отвечая ему, знаменитый историк и тоже блестящий писатель демократ Мишле утверждал, что в истории нет цельного человека: «Мы найдем здесь только чиновников, завоевателей, законодателей. Знакомя нас только с публичной жизнью, история всегда будет показывать нам людей такими, какими они желали казаться». Мишле хотел видеть в истории не героев, но народ, человека не тогда, когда он приглашает посмотреть себя, но застигнутого врасплох. Но в трудах даже лучших биографов девятнадцатого века мы все же видим идеализацию героев, сглаженность острых углов, уход от конфликтов и противоречий современности, подчеркивание всего внешне значительного. Ко всей этой литературе можно было бы взять эпиграфом слова Дизраэли: «Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной...»

Что мог противопоставить этому тяжкому викторианскому, наполеоновскому величию молодой двадцатый век, склонный к иронии, к импрессионистическим оценкам, с его интересом к эстетическим проблемам и пренебрежением — на Западе по крайней мере — к просветительским? Только то, что уже зрело в умах людей в эту эпоху войн, революций и освобождения народов. На место Героя и Истории (с больших букв) он поставил человека и время.

Справедливость требует сказать, что почти одновременно с Моруа (и даже немного раньше) с новым типом биографии выступил английский писатель Литтон Стрейчи. Но интерес к биографии как жанру

художественной литературы был всеобщим, почти всемирным. В первом эшелоне шли два блестящих представителя советской литературы: Юрий Тынянов и Анатолий Виноградов.

Ю. Н. Тынянов был великолепным исследователем. Его мало назвать литературоведом: кроме того, что он был теоретиком, он умел мыслить образно, и собранный им материал, где ни один ученый не смог бы обвинить его в недостатке скрупулезности, вдруг возникал в его воображении с необыкновенной силой одушевленных образов, со всем живым цветом и ветрами времени и эпохи. Читая его книги, можно подумать, что он жил в одну эпоху со своими героями, знал их лично, любил или ненавидел. И его никогда не охватывал благоговейный ужас оттого, что его герои жили на самом деле, что они были его друзьями или недругами, поэтому он не стесняется наделять их теми пороками и недостатками, которыми они действительно обладали. Но разве это хоть сколько-нибудь унижает или уменьшает их величие?

Но книги Юрия Тынянова блистательные романы, а не та художественная биография, о которой мы говорим сейчас. Пусть он не ошибся и в характеристике Кюхельбекера, Грибоедова, даже Пушкина. Остальные персонажи его книг — пусть они носят исторические имена действительно существовавших лиц — ведь все они им *выдуманы*. Выдуманы потому, что о них в отличие от главных, знаменитых героев мы (и писатель) знаем мало, и все диалоги, которые мы встречаем в повести, хотя и могли быть произнесены, но этому нет свидетелей!

Анатолий Виноградов пишет суше и строже. Он тоже писал биографические романы, и его книга о Стендале «Три цвета времени» — великолепна. Но, кроме того, он был и биографом — как в книге о том же герое «Стендаль и его время». Здесь он исходит из положения, что сюжет книги не есть изобретение писателя, но он предопределен выбором героя и его жизнью, причем именно жизнь героя определяет развитие этого сюжета, его «сквозное действие» (по терминологии Станиславского). Величайшее достоинство подобной биографии заключается в том, что мы воочию наблюдаем рост героя, становление его характера, конфликт человека с самим собой, с другими людьми, с судьбой в конце концов. И в подобной биографии не может быть ничего выдуманного, поскольку если писатель не моралист (в дурном смысле этого слова), он никогда не будет переделывать историю человечества и отдельного человека.

Таковы аспекты (или типы) биографических книг. Жанр художественной биографии не выдуман Моруа, как это кажется ему и некоторым критикам. Жанр этот существует, хотя и не имеет собственной

поэтики и истории. Но французский писатель — яркий его представитель, и его романизированные биографии имеют всемирный успех. Рассмотрим поэтому те теоретические принципы, которые он положил в основу своей работы, и то, как он воплотил их в жизнь.

Андре Моруа написано пятнадцать больших биографий: одиннадцать посвящены писателям, три — государственным деятелям и одна — ученому. Кроме того, его перу принадлежат две книги литературных портретов писателей — его современников, английских и французских, а также два тома «Воспоминаний», где перед читателем проходят сотни людей, с которыми встречался за свою жизнь Моруа, нарисованных бегло, но ярко. Сюда примыкает теоретическая работа Моруа «Типы биографии».

Любопытно перечислить главные из этих работ в хронологическом порядке:

- 1923 — «Ариель, или Жизнь Шелли».
- 1927 — «Жизнь Дизраели».
- 1930 — «Байрон».
- 1931 — «Лиотей» (французский маршал, завоеватель Марокко, а впоследствии верховный комиссар этой страны).
- 1931 — «Тургенев».
- 1932 — «Вольтер».
- 1933 — «Эдуард VII и его время».
- 1938 — «Шатобриан».
- 1949 — «В поисках Марселя Пруста».
- 1949 — «Алэн» (малоизвестный французский писатель, товарищ Моруа по лицу, оказавший на него огромное влияние).
- 1952 — «Лелия, или Жизнь Жорж Санд».
- 1952 — «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго».
- 1955 — «Роберт и Элизабет Броунинг».
- 1957 — «Три Дюма».
- 1959 — «Жизнь сэра Александра Флеминга».

Как видим, все биографии героев Моруа укладываются в сравнительно узкий промежуток времени: конец восемнадцатого, девятнадцатый и начало двадцатого века. Больше того, многие герои его разных книг тесно связаны между собой. Арена, где они действуют, — Франция и Англия. Один Тургенев как будто выпадает из этой небольшой, отчетливо очерченной вселенной. Но он так долго прожил во Франции, что стал для французов почти родным писателем. Как видим, Моруа пишет только о

том, что хорошо знает.

Есть много способов собирать материалы для биографии, и для каждого писателя это начальный этап работы.

Эккерман всю жизнь разговаривал с Гёте и дословно записывал эти разговоры. Босвелл всю жизнь ходил следом за доктором Джонсоном и записывал каждый его шаг, каждое слово. Но в «Разговорах Гете с Эккерманом» мы не видим самого великого писателя, а лишь его слова и мысли. И книга может претендовать только на то, чтобы быть приложением к собранию сочинений Гёте. «Жизнь Сэмюела Джонсона» — лишь неуправленная стенограмма, и герой предстает перед нами только как болтливый старикашка, которому, к удивлению читателя, хотя и редко, но все же удается высказать умную мысль.

Современный американский писатель Ирвинг Стоун считает, что автор должен хоть на время превратиться в своего героя, чтобы понять его мысли и чувства. Он сидит для этого в том же сумасшедшем доме, что и Ван-Гог, живет в «Доме Волка», принадлежавшем Джеку Лондону, ест ту же пищу и в те же часы, что и Микеланджело; носит платье своих героев, подражает их походке, манере говорить, почерку. Быть может, это ему иногда и удается, но тогда его герои становятся — уже не на время, а навсегда — похожими на Стоуна, своего автора.

Андре Моруа поступает иначе. Он начинает не со сбора материала. Он сначала выдумывает своего героя. «Выдумывает», конечно, не очень точное слово. Большой знаток литературы девятнадцатого века, он, конечно, хорошо знает и Байрона, и Гюго, и Жорж Санд, и тем более своих современников — Пруста или Флеминга.

Он читал их книги, знает их стихи, знаком с их трудами. Поэтому у него в воображении уже сложился образ этих людей, а непосредственному и мгновенному впечатлению Моруа отводит огромное место в творчестве биографа-художника. И когда он начинает собирать фактический материал, то у него уже есть стержень, на который нанизываются все факты. А при таком методе работы материал сам начинает идти ему в руки, так как он отбирает то, что подтверждает его концепцию, и отбрасывает ненужное.

Он сам рассказал о том, как он работал над книгой о Флеминге: «В дни юности я создал образ замкнутого шотландца в романе «Молчаливый полковник Брамбл». И я подумал: «Почему бы мне не написать книгу «Молчаливый профессор Флеминг»?..»

В своем теоретическом труде «Типы биографии» Моруа характеризует героев биографий девятнадцатого века как «просто сконструированные характеры: один человек добр, другой — слаб, Диккенс был домоседом,

Байрон — донжуан...». Он противопоставляет этому проникновение в глубину человеческого характера, поиски той «таинственной жизни», по его выражению, которой не знает даже сам человек. Фрейдизм? Нет, Моруа отрицает фрейдизм — бессознательное в человеке не является непознаваемым, считает он. Это только еще не изученное, факты, еще не сцепленные между собой. Но писатель, создавший первоначальный образ, превращается в исследователя и снова становится художником, который синтезирует исследованного человека в его целостности. Однако у Моруа это не гармоничный человек античности или Возрождения. Это — современный человек во всех его противоречиях и непоследовательности.

Ясному, трезвому уму Андре Моруа чужд изощренный, а иногда болезненный психологизм многих современных писателей. Конечно, и он анализирует в процессе изучения характера героя, но, когда работа закончена, крышка ящика должна быть закрыта, а читатели могут видеть лишь результаты: живую жизнь во всем ее великолепном и пламенном кипении, воссозданную неизвестным читателю способом.

Поль Бурже, создатель психологического романа во Франции, всю жизнь был просто одержим психологизмом. Однажды во время разговора Дюма-сын сказал ему:

— Вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю, сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина.

Для Моруа главное не внутренние, иногда таинственные пружины, а сам человек. Поэтому эти слова можно было бы поставить эпиграфом к основной концепции творчества Андре Моруа. Страсти, разные настроения, антагонистические противоречия так перемешаны в творчестве Моруа, что их невозможно разделить. «Пессимизм разума, оптимизм сердца», — писала Моруа одна итальянская студентка. Но это неверно! Разве можно противопоставить разум чувству? Сохраняя спокойный, слегка иронический, порой даже бесстрастный тон летописца, он переселяет свои страсти в своих героев. Иначе как бы мог он понять неистовую страстность Дюма, тоску Пруста, веселый цинизм праздного гуляки Эдуарда VII, упорное вдохновение Флеминга?

Андре Моруа сам признается, что ему чужда философия экзистенциализма, «этих Сартров и Камю». Да и в самом деле, разве может быть ему близок Сартр, утверждающий, что человеческое существование состоит из страха, неуверенности в будущем, бессмысленности жизни? Разве может быть миром гармоничного и светлого Моруа мир Сартра, куда человек «брошен» и «осужден на свободу»? Или Камю, у которого человек

живет лишь рядом с миром — миром вечной и неотвязной абсурдности, Камю — восклицаящим: «Я хочу знать, можно ли жить, не вызывая о помощи», Камю, для которого символ жизни — Сизиф?

Нет, конечно же, Андре Моруа должен был бы стать оптимистом хотя бы из протеста, из противоречия, если бы он не был им благодаря природной ясности ума, унаследованной французской литературой от великого века классицизма!

Так же как и философия экзистенциализма, Андре Моруа чужда позиция чистого эстетизма. В своей иронической утопии «Остров эстетов» он рассказал о мифическом острове Майана, расположенном в центре Тихого океана. Население острова делится на два класса: эстетов — писателей, художников, музыкантов, актеров, полностью освобожденных от жизненных забот, и целиком преданных творчеству, и класса беотов, обязанностью которых является удовлетворять все требования эстетов и восхищаться ими. Но происходит странная вещь. Поскольку у эстетов, переселившихся на обетованный остров, еще не исчерпался их прежний жизненный опыт, их творчество имеет корни и расцветает. Но уже второе поколение эстетов неспособно к творчеству, так как не связано с жизнью и обречено на бесплодие. И итогом майанской литературы является исповедь знаменитого писателя Ручко объемом в 16900 страниц под заглавием «Почему я не могу писать»...

Герои Моруа не стоят на страшной высоте принципов, они походят на нас, по крайней мере слабостями, — дело ведь, по мнению самого Моруа, только в масштабах их пороков и их величия! Писатель слишком хорошо знает человека, чтобы предполагать бóльшую последовательность в его поступках, он щедро наделяет героев человеческим безрассудством и хорошо знает, что не все слабости постыдны. Он любит своих неблагодарных героев, хотя и склонен иногда над ними иронизировать. И вместе с ним любим их и мы, и нам интересно читать его книги. Однажды Дюма-сына спросили: «Как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» — «Потому, — ответил младший Дюма, — что ему это было бы скучно...»

Книга «Три Дюма» естественно распадается на три части, неодинаковые по величине и неравноценные по значению. Характер генерала Дюма, который весь пропитан идеями французской революции и дышит ее воздухом, чужд Моруа, который судит его с позиций своего времени. Ироническому уму Моруа трудно понять принципиальность и бескорыстие генерала, которые он принимает за простодушие и сентиментальность. Поэтому портрет этот ярок, но неточен. Или, вернее,

мы не можем с ним согласиться. Дюма-сын, холодный резонер и светский моралист, также не может вызвать не только любви, но даже симпатии.

Но он нужен Моруа лишь для контраста, как тень своего великого отца.

Зато сам «Александр Первый» действительно великолепен! Он показан во всех противоречиях, в минуты величия и в часы слабости. Быть может, свет и тени распределены здесь неравномерно, но художник не может быть не только бесстрастным, но и беспристрастным: ведь он рисует *своего* Дюма!

В этой книге хорошо видно, каким огромным материалом владеет Моруа. О Дюма-отце написано множество книг, архивы, казалось бы, исчерпаны окончательно, и на долю писателя остается лишь истолкование фактов. И вдруг Моруа публикует в книге огромное количество документов и писем, доселе неизвестных исследователям. Пусть они касаются главным образом незначительных фактов биографии знаменитого писателя и сколько-нибудь не изменяют уже сложившейся концепции, но они создают у читателя ощущение удивительной достоверности, а это самое главное в художественной биографии.

Дюма окружает множество людей: писатели, журналисты, художники, режиссеры, актеры и актрисы, издатели — весь тот маленький мирок, в котором вращался Дюма. Здесь сотни портретов, иногда выписанных тщательно, иногда данных бегло, но всегда точных и ярких, как бенгальский огонь. В погоне за полнотой, может быть излишней, Моруа касается фактов интимной жизни писателя. Но он не смакует их и не морализует по их поводу. С беспристрастностью летописца он лишь описывает их — вот и все.

Можно вступать в спор с теоретическими положениями, которые писатель кладет в основу своего произведения, можно критиковать его концепции. Но судить произведение можно лишь с позиций, которые выбрал сам автор. Единство «человек — время», провозглашенное самим Моруа, сведено здесь к формуле «художник — среда». Мир Дюма в книге Моруа велик: от дворца герцога Орлеанского до публичных домов Парижа и Леванта, от приемов, похожих на феерии «Тысячи и одной ночи», до будней газетных редакций. Но — да пусть это мне будет позволено сказать! — Дюма-труженика здесь нет!

При всей документальной правде блестящего эрудита Моруа в его книге есть и неправда. Ведь подлинная правда выше фактов, правда должна быть такой же пристрастной, как суд, который судит великого человека от имени Истории.

Дюма действительно пользовался чужим трудом, не только своих сотрудников, помощников, но и своих предшественников и современников; он и сам не скрывал этого, только называл это не заимствованием, а «завоеванием». «У меня столько помощников, — говорил он, — сколько было маршалов у Наполеона!»

Обычно Дюма приглашал своих сотрудников в отдельный кабинет первоклассного модного ресторана и угощал фантасмагорическим ужином. Когда столы были убраны, за кофе (которого писатель не пил; несмотря на гомерические излишества своих героев, Дюма был очень воздержанным человеком: не курил, не пил ни вина, ни даже кофе) Дюма, воодушевляясь, рассказывал своим друзьям какую-нибудь романтическую повесть, которую, распределив ее главы между собой, они должны были потом изложить на бумаге. Этот устный черновик писателя имел для него огромное значение, — недаром Дюма обладал чудовищной памятью и помнил свои произведения (по крайней мере написанные в этом году) почти наизусть. Все словечки, рождающиеся при устном рассказе, все жесты, весь динамический стиль повествования, все мелодраматические эффекты, появляющиеся иногда лишь на мгновение, — все вновь возникало перед автором, когда он, после того как все было написано и отдельные части сведены воедино, брал огромный карандаш и редакторской рукой проходил по рукописи. Он вычеркивал отдельные сцены, писал черновики новых, правил слишком причесанный стиль своих сотрудников и там, где нужно, вписывал маленькие сценки, которые, как бенгальским огнем, освещали все произведение.

Так рождались романы, в которых в каждой строчке была видна неповторимая индивидуальность Дюма — кто бы ни помогал ему над ними работать. И верным было мнение современников писателя: «Маке был только каменщиком, Дюма же — архитектором...» И сам Маке после всех ссор и судебных процессов писал: «Пока я жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудником и другом самого блестящего из французских романистов».

Признать Дюма подлинным автором почти всех подписанных его именем романов мы должны даже в тех случаях, когда он использовал (часто по-своему) готовые образцы и широко черпал материал из чужих произведений. Ведь бродячие сюжеты всегда считались ничьей собственностью, пока они не попадали в руки гениев или даже просто талантливых людей. А то, что Дюма был талантлив, не отрицали даже его враги.

Но Моруа не враг — он друг Дюма, может быть, и того самого Дюма,

каким он представляется лично мне. Поэтому вполне оправдано появление на русском языке книги «Три Дюма»: ведь советской биографии прославленного французского писателя никто еще не написал, а книга Андре Моруа — лучшее из того, что опубликовано во Франции. Книга, написанная сверкающим пером большого мастера.

В этой книге автор адекватен своему герою: как бы он ни скрывал этого, как бы ни стыдился, он также великий труженик. И пока читатель читает «Три Дюма», Андре Моруа продолжает писать. Вот его последний портрет: он, как всегда, сидит за своим большим письменным столом. Удлиненное лицо с твердо сжатым ртом и широко прорезанными глазами, коротко подстриженные усы, гладко зачесанные седые волосы. Общий облик аристократический и несколько аскетический. Его взгляд устремлен вперед. Мы знаем, что там, за окнами, — плавное течение Сены, на берегу которой стоит дом, расположенный в Нейи, пригороде Парижа. За спиной писателя полка, на которой теснятся многие сотни, если не тысячи, книг на множестве языков — плоды его труда и вдохновения...

Автор, первый из буржуазных биографов, не умолчал еще об одном. Александр Дюма всегда хотел быть близким ко всем революционным движениям своего века: будь то Великая революция, в которой участвовал его отец, революции 1830 и особенно 1848 года. В этом также одна из сильных сторон книги Андре Моруа.

Конечно, советский писатель, вне зависимости от его таланта и творческой индивидуальности, написал бы книгу о трех Дюма иначе, чем Моруа. Советский читатель куда меньше знает романы Дюма, чем французский, и почти совсем не знает его драм. У нас совсем нет исследований творчества Дюма, на которые молчаливо ссылается французский биограф. Поэтому в этой гипотетической книге было бы немало глав о творчестве Дюма. Это, вероятно, сделало бы книгу более скучной, но и более точной. Но, главное, в центре работы советского исследователя стоял бы не Дюма-человек, а Дюма-писатель, неотделимый от человека. В нашей биографической литературе мы меряем каждого героя — или по крайней мере стараемся это сделать — мерой того подвига, который он совершил — в литературе, в искусстве, в науке — и из-за которого стал бессмертным. Советский писатель ни на минуту не забывал бы, что при всех слабостях, противоречиях, непоследовательности и ошибках Александр Дюма был большим писателем и великим тружеником.

Внешняя пышность и пестрая мишура, в которую он так по-детски любил рядиться, не должны заслонять от нас подлинного лица писателя. Торжественные приемы, витиеватые речи, обильные обеды, встречи с

великими мира сего, суды с издателями, ссоры с сотрудниками — все это было мишурой, которая забавляла, льстила самолюбию, но занимала лишь очень малую долю его жизни.

Александр Дюма становился самим собой лишь за своим девственно белым письменным столом, перед стопкой разноцветной бумаги, с гусиным пером в руках.

Сколько образов теснилось в его голове, сколько вымышленных героев толпилось около него, сколько эпитетов, метафор и метонимий висело на кончике его пера! И все они жаждали освобождения, мечтали воплотиться в буквы, строки и страницы каллиграфически написанной рукописи!

Пусть же те, кто прочтет книгу Андре Моруа «Три Дюма», вспомнят, что писателя нужно судить не по его ошибкам и неудачам, но по тому, что он сделал лучшего, что осталось в жизни. Пусть он останется в нашей памяти таким, каким был только наедине с самим собой, — неистовым, потным, страдающим одышкой, с пером в руках. Его обступают тени созданных им героев, сквозь тени просвечивает простая обстановка его мастерской: белая, чисто обструганная доска стола, плотно сбитый стул, железная кровать, камин со стоящими на нем книгами, стопки разноцветной бумаги на столе. Тени, еще не воплотившиеся, требуют, чтобы он дал им вечную жизнь на страницах романов. Писатель поднимает перо, как шпагу; он прокалывает им злодеев, посвящает в рыцари любимцев и пишет, пишет, покрывая огромные листы бумаги своим быстрым, легким почерком. Александра Дюма читают уже свыше ста лет, прочли сотни миллионов читателей и будут читать много лет и любить его героев. А о какой более высокой и славной судьбе еще может мечтать писатель!

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Дюма-отец

Полное собрание романов. Под ред. П. В. Быкова. В 24 тт. (84 кн.). С портретом автора и критико-библиографическим очерком. Спб., изд. П. П. Сойкина, 1912–1913.

- Т. 1. Тайный заговор. — Ущелье дьявола.
 - Т. 2. Граф Монте-Кристо.
 - Т. 3. Три мушкетера.
 - Т. 4. Двадцать лет спустя.
 - Тт. 5–7 Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя.
 - Т. 8. Женская война. — Черный тюльпан.
 - Тт. 9–10. Записки врача (Жозеф Бальзамо).
 - Т. 11. Сальтеадор. — Женщина с бархоткой. — Корсиканское семейство и др.
 - Т. 12. Ожерелье королевы.
 - Т. 13. Капитан Поль.
 - Т. 14. Две Дианы.
 - Т. 15. Асканио. — Приключения Дж. Девиса.
 - Т. 16. Королева Марго.
 - Т. 17. Графиня Монсоро.
 - Т. 18. Сорок пять.
 - Т. 19. Анж Питу.
 - Т. 20. Тысяча и один призрак. — Повести и рассказы.
 - Т. 21. Графиня Шарни.
 - Т. 22. Эмма Лионна и др.
 - Т. 23. Шевалье д'Арманталь.
 - Т. 24. Шевалье де Мезон-Руж.
- Избранные сочинения. Перевод под ред. М. Лозинского и А. А. Смирнова. Л., изд-во «Academia», 1928–1929 (тт. 1–9).
- Три мушкетера. Под ред. М. Лозинского. Вступ, статья А. А. Смирнова. С 70 рис. М. Лелуара.
- Двадцать лет спустя. Роман в 2 ч. Перевод под ред. А. А. Смирнова. С рис. Фред-Монэ. Гравюры на дереве Виктора Дютертра. Тт. 1–2. 1928.
- Десять лет спустя. Виконт де Бражелон. Перевод А. А. Франковского.

В 3 частях. Тт. 1–3. Суперобложка работы А. А. Ушина. 1928–1929.

Граф Монте-Кристо. Роман. В 3 т., 6 частях. Перевод под ред. М. Лозинского. С 90 рис. Фред-Монэ. Тт. 1–3. Суперобложка работы А. А. Ушина. 1929.

Три мушкетера. Перевод В. С. Вальдман и др. М.–Л., Гослитиздат, 1949.

Двадцать лет спустя. Перевод под ред. Е. А. Лопыревой и Н. Я. Рыковой. М., Гослитиздат, 1956.

Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Перевод под ред. Н. А. Таманцева, И. Д. Гликмана и А. С. Бобковича. Кн. 1–3. М., Гослитиздат, 1956.

Королева Марго. Перевод Е. Ф. Корша. Предисловие Т. Вановской. М.–Л., Гослитиздат, 1952.

Учитель фехтования. Перевод Б. И. Гордон. Л., «Время», 1925.

То же, Горьковское книжное изд-во, 1957.

Черный тюльпан. Перевод Е. Л. Овсянниковой. Л., Детгиз, 1955.

Мадемуазель де Бель-Иль. Перевод Н. С. Надеждиной и Э. Б. Шлосберг. Л.–М., «Искусство», 1958.

Шевалье д'Арманталь. Перевод Л. Лунгиной и К. Наумова. М., Детгиз, 1962.

Наиболее полным французским изданием произведений А. Дюма считается издание Мишеля Леви в 301 томе.

А. Дюма-сын

Из произведений А. Дюма-сына в последнее время был напечатан роман «Дама с камелиями». Тбилиси, «Цодна», 1959, 200 стр.

ЛИТЕРАТУРА О ДЮМА

К. Андреев, Хозяин замка Монте-Кристо. В книге: «Мир приключений», альманах, кн. 4. М., 1959, стр. 365–382.

В. Г. Белинский, «Королева Марго». Полное собрание сочинений, т. IX. М., 1955, стр. 322–323.

П. Боборыкин, Дюма-сын в новом освещении. «Вестник Европы», 1886, октябрь, стр. 458–500.

Е. Брандис, Предисловие. В кн.: А. Дюма, Черный тюльпан. Л., 1955,

стр. 5–8.

П. Бурже, Очерки современной психологии. Этюды о выдающихся писателях нашего времени. Спб., «Пантеон литературы», стр. 184–223.

Т. Ваковская, Исторические романы Александра Дюма. Ученые записки Ленинградского государственного университета, № 64, серия «Филологические науки», выпуск 8, 1941 г., стр. 125–152.

Ее же, Роман А. Дюма «Королева Марго». В кн.: А. Дюма, Королева Марго., М.–Л., 1952, стр. 3–21.

Ю. Веселовский, А. Дюма-отец. В кн.: «История западноевропейской литературы» под редакцией Ф. Батюшкова. М., 1912–1914, стр. 477–481.

Ю. Данилин, Торговый дом А. Дюма и К°. «Новый мир», 1930, № 2, стр. 233–244.

С. Дурылин, Путешествие А. Дюма по России. «Огонек», 1937, № 12, стр. 21–22.

Его же, А. Дюма-отец и Россия. «Литературное наследство», 1937, стр. 491–562.

Э. Золя, По поводу приема А. Дюма-сына во Французскую академию. «Вестник Европы», 1875, кн. 3, стр. 441–459.

А. Куприн, А. Дюма. (Историко-литературный очерк. Публикация. Подготовлен к печати Л. Усенко.) «Театральная жизнь», 1960, № 4, стр. 23.

А. Луначарский, А. Дюма как директор театра. «Красная нива», 1923, № 6, стр. 24.

Н. Никитин, Восход. Рассказ. «Звезда», 1946, № 2–3, стр. 102–110.

Его же, А. Дюма и его путешествие в Россию. «Ленинград», 1946, № 1–2, стр. 34–35.

Его же, Закат. Рассказ. «Звезда», 1945, № 8, стр. 47–53.

Его же, Новеллы о Дюма-отце. «Тридцать дней», 1941, № 6, стр. 42–51.

С. Орлов, Роман А. Дюма «Записки учителя фехтования». В кн. А. Дюма, Учитель фехтования. Горький, 1957, стр. 5–14.

Ю. Родман, «Три Дюма». «Иностранная литература», 1958, № 5, стр. 264–265.

М. Трескунов, «Три мушкетера» А. Дюма. В кн.: А. Дюма, Три мушкетера. М., 1949, стр. III–XXVII.

«Три мушкетера и д'Артаньян — кто они?» (Об исторических прообразах героев произведений А. Дюма.) «Юность», 1960, № 1, стр. 100–101.

В. Чудовский, Дюма-отец. Очерк. Петроград, 1919, 15 стр. *В. Чуйко*, А. Дюма-сын как драматург. «Наблюдатель», № 3, стр. 94–122.

В. Шор, Драматургическое искусство А. Дюма. В кн.: А. Дюма, Мадемуазель де Бель-Иль. М., 1958, стр. 81–87.

Ю. Юзовский, О «Даме с камелиями» и красоте жизни. «Литературный критик», 1934, № 6, стр. 132–155.

Aimeras (Henri d'): Alexandre Dumas et les «Trois Mousquetaires» (Paris, Edgar Malfère, 1929).

Banville (Théodore de): Camées parisiens (Paris, Pince-bourde, 1866). — Mes Souvenirs (Paris, G. Charpentier, 1882).

Blaze de Bury (Henri): Mes Etudes et mes Souvenirs: Alexandre Dumas (Paris, Calmann-Lévy, 1885).

Clouard (Henri): Alexandre Dumas (Paris, 1955),

Descottes (Maurice): Le Drame romantique et ses grands créateurs (Paris, Presses Universitaires de France, s. d.).

Endore (Guy): King of Paris, lives of Alexandre Dumas père et fils (New York, Simon and Schuster, 1956).

Gautier (Théophile): Histoire de l'Art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, 6 volumes (Paris, Hetzel, 1858–1859). — Histoire du Romantisme (Paris, Charpentier, 1874). — Portraits contemporains (Paris, Charpentier, 1874).

Launay (Vicomte de), pseudonyme de Delphine Gay, madame Emile de Girardin: Lettres parisiennes (Paris, Calmann-Lévy, 1882).

Parigot (Hippolyte): Alexandre Dumas père (Paris, Hachette, 1902).

Иллюстрации



Генерал Дюма.



Наполеон Бонапарт, первый консул. *С портрета работы Энгра.*



Генерал Клебер.



Иоахим Мюрат. С картины А. Ж. Гро.



Луи-Александр Бертье. С картины Пажу.



Полина Бонапарт, княгиня Боргезе. С портрета работы Лефевра.



Тальма.



Тальма в роли Нерона («Британник»). С современной гравюры.



А. Дюма-отец. С гравюры Лекутьеве.



А. Дюма-отец. С рисунка Ашиля Левериа.



Мадемуазель Марс. С картины Кинсозна.



Комеди-Франсэз.



Луи-Филипп. С портрета работы Винтергальтера.



Шарль Нодье.



Здание Арсенала.



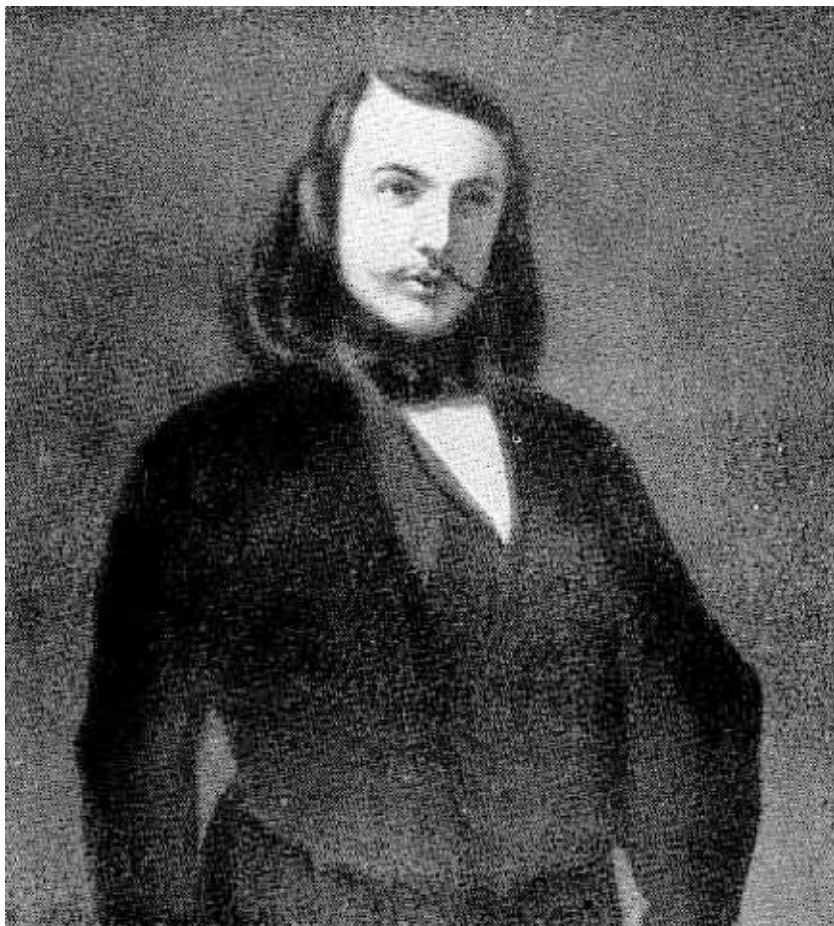
Дельфина Гэ. С современной литографии.



Виктор Гюго.



Альфред де Виньи. С литографии Ашиля Деверюо.



Теофиль Готье. *С портрета работы Шатийона.*



Мелани Вальдор.



Ида Ферье.



Иллюстрация к «Христине Шведской» (акт V). С литографии Ашиля

Девериа.



Мари Дорваль. С литографии Фрея по портрету Леона Ноэля.



Мари Дорваль в роли Марион Делорм. С цветной литографии Ашиля Девериа.



Пьер Бокаж.



Пьер Бокаж в роли Антони.



А. Дюма-отец в охотничьем костюме. С литографии Платье.



Фредерик Леметр.



Фредерик Леметр в роли Робера Макера («Трактир Адре»).



Мадемуазель Жорж. С картины Жироде Тиосона.



Одеон.



А. Дюма-отец в 1832 году.



Порт-Сэн-Мартэн. С гравюры А. Тессара.



Нельская башня. С гравюры Израэля Сильвестра (середина XVII века).



Шатобриан. С портрета работы А.-Л. Жироде Тиосона.



Жюль Жанен. С портрета работы Шанмартена.



Сент-Бев. С портрета работы Немарка.



Мирселина Деборд-Вальмор. С портрета работы Илера Ледрю.



Альфред де Мюссе. *С портрета работы Шарля Ленделя.*



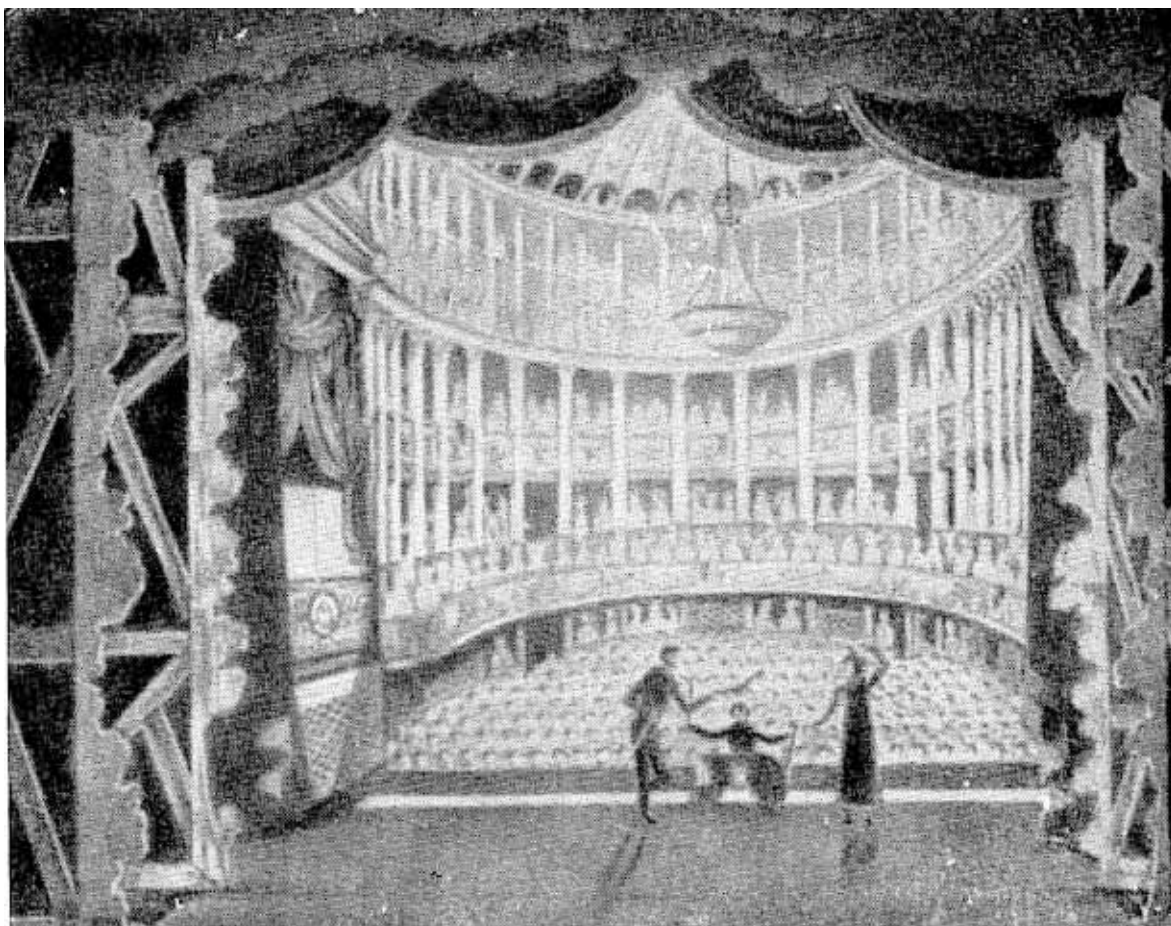
Эмиль де Жирардэн.



Эдмунд Ким.



Иллюстрация Босэ к роману «Три мушкетера». Париж, Кальмин-Леви, 1884.



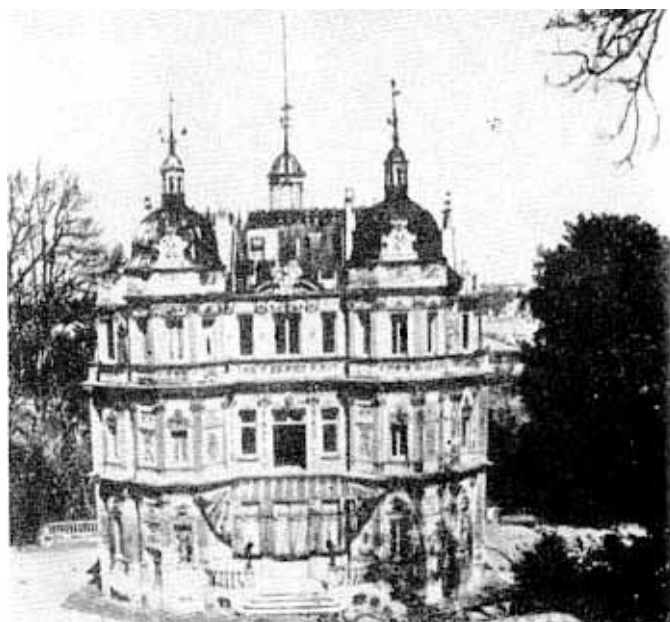
Театр Варьетэ.



А. Дюма сын в молодости.



Мари Дюплесси.



Замок «Монте-Кристо».



А. Дюма-отец. С портрета работы Беллуа.



Исторический театр. С офорта Марсиаля.



Афиша к спектаклю «Юность мушкетеров» (пьеса А. Дюма и О. Маке)
в Порт-Сен-Мартэне 26 июня 1863 года.



Бальзак. С литографии Жюльена.



Ламартин. С портрета Гонзаго Привата.



А. Дюма-сын в молодости. С литографии. Риоса по рисунку Ноэля.



Рашель. Портрет работы Амори Дюваля.



Александр Дюма-сын в 1864 году.



Надежда Нарышкина.



А. Дюма-сын.



Дош.



Эме Декле.



Сара Бернар и роли миссис Кларксон («Иностранка»).



Сара Бернар. Фотография.



Ноам — имение Жорж Санд.



А. Дюма-сын. *Бюст работы Карно.*



А. Дюма-сын. С портрета работы Леона Бонна.



А. Дюма-отец с Адой Менкен.



Анриетта Ренье де ля Бриер.



Сиена из «Франсийона» с участием Ю. Бартэ и Б. Персон.



А. Дюма-сын в 1891 году в своей квартире на улице Ампер.

notes

Примечания

Думик, Рене (1860–1937) — французский литератор и критик, директор «Ревю де Дё Монд».

Брюнетьер, Фердинанд (1849–1906) — писатель и критик, автор многочисленных трудов по истории французской литературы, секретарь редакции, а затем директор «Ревю де Дё Монд».

Клуар, Анри — французский литературовед. Написал книгу о Дюма-отце, вышедшую в 1955 году. Книга А. Клуара представляет собой наиболее полную биографию писателя. Наряду с обширным биографическим материалом содержит детальный анализ творчества Дюма.

Сан-Доминго — старое название острова Гаити. С конца семнадцатого века и до 1793 года западная часть острова была французской колонией.

Сен-Жорж, шевалье де (1745–1799) — сын негритянской рабыни и французского дворянина. В 1792 году организовал егерскую роту, с которой присоединился к Северной армии.

«В термидоре второго года Республики...» — Республиканский календарь был введен Конвентом 24 ноября 1793 года. Дата основания Республики — 22 сентября 1792 года — объявлялась первым днем новой эры. В республиканском календаре осенние месяцы назывались — вандемьер, брюмер, фример; зимние — нивоз, плювиоз и вантоз, весенние — жерминаль, флореаль и прериаль; летние — мессидор, термидор и фруктидор. Республиканский календарь просуществовал до 1 января 1806 года, когда был официально восстановлен грегорианский календарь.

«14 вандемьера 4-го года Республики Конвент, боявшийся «золотой молодежи»...» — В октябре 1795 года (10–13 вандемьера 4-го года Республики) Париж был охвачен роялистским мятежом. На подавление мятежа Конвент направил Барраса и Бонапарта. Бонапарт, который командовал артиллерией, встретил мятежников картечью и подавил восстание.

Вурмзер, Сигизмунд де (1724–1797) — австрийский генерал, сдался войскам Наполеона под Мантуей вместе со своей армией.

Баярд, Пьер дю Тераи, сеньор де (1470–1524) — национальный герой Франции. За свою храбрость получил прозвище «рыцарь без страха и упрека».

Гош, Лазарь (1768–1797) — французский генерал. Шестнадцати лет вступил в армию. Участвовал в штурме Бастилии, в разгроме Вандейского мятежа. Один из самых замечательных военачальников Французской революции.

Марсо, Франсуа-Северен (1769–1796) — сын адвоката, с 16 лет находился на военной службе. Участвовал во взятии Бастилии. За борьбу с вандейскими мятежниками получил звание генерала. Сыграл важную роль в разгроме контрреволюционной оппозиции (битва при Фтерюсе 26/VI 1794 г.).

Гораций Коклес — римлянин, в одиночку защитивший мост Сублиция в Риме от вражеской армии. В этом бою он потерял глаз, откуда его прозвище Коклес — Кривой.

13 февраля 1796 года генеральша Дюма произвела на свет еще одну девочку, Луизу-Александрину, которая умерла, когда ей не было и года.

«Парфенопейская республика» — В 1798 году король обеих Сицилии Фердинанд I присоединился к антифранцузской коалиции. После этого французские войска по приказу Директории взяли Неаполь и основали на территории королевства республику. Однако в феврале 1799 года французам пришлось эвакуировать войска из Неаполя, и 20 июня Парфенопейская республика прекратила свое существование.

«После Абукирской катастрофы» — имеется в виду битва, состоявшаяся на абукирском рейде (Абукир — деревня в Нижнем Египте) 1 августа 1798 года, между французской эскадрой под командованием адмирала Брийеса и английским флотом под командованием Нельсона, в которой англичане наголову разбили французов.

«*Бонапарт разогнал Советы*» — имеется в виду государственный переворот 18 брюмера 8-го года республики 9/XI 1799 г., когда Бонапарт разогнал Совет пятисот и Совет старейших.

Корвизар, Жан-Никола (1755–1821) — знаменитый французский врач, лейб-медик Наполеона.

Жак Коллар (1758–1833) — депутат Законодательного корпуса с 1807 по 1811 год.

Жанлис, Стефани Фелиситэ, графиня де (1746–1830) — французская писательница, воспитательница детей герцога Орлеанского, автор ряда трудов по воспитанию. При Бонапарте была инспектрисой начальных школ.

Лальман, Франсуа-Антуан (1774–1839) — генерал от кавалерии и *Лальман, Анри-Доминик (1777–1823)* — генерал от артиллерии. После Ста дней оба были заочно приговорены к смерти. Младший бежал в Соединенные Штаты, где и умер, старший вернулся во Францию после свержения Карла X.

«*Похождения шевалье де Фоблаза*» — галантный роман Жана Батиста Лувэ де Куврэ.

Дюси, Жан Франсуа (1733–1816) — французский драматург, переделывавший для французской сцены Шекспира по плохим переводам Летурнера.

«Здесь не обошлось без влияния *«Рене» Шатобриана»* — В романе Шатобриана *«Рене, или Следствия страстей»* (1802 г.) изображен молодой француз Рене, разочарованный в жизни и обуреваемый мировой скорбью.

Все биографы утверждают обратное, но, чтобы выяснить истину, достаточно посмотреть документ об усыновлении и свидетельство о смерти Катрины Лабе.

Приписав в «Генрихе III» приключения графини де Монсоро герцогине де Гиз, Дюма на основе этого эпизода создаст еще и роман «Графиня де Монсоро», который выйдет в 1846 году, и драму того же названия, которая будет поставлена в 1860 году. В обоих произведениях он называет Франсуазу де Монсоро Дианой.

Рокплан, Луи Виктор Нестор (1804–1870) — французский журналист и критик. Был директором многих театров Пантеона, Варьетэ, Оперы, Опера Комик и др.

Дельвиль, Мари Виржини Катрина, по сцене Бурбье (окончила консерваторию в 1821 году, умерла в 1857 году) — посредственная актриса, всю жизнь исполнявшая мелкие роли.

«...коварную *Селимену*» — Селимена — персонаж пьесы Мольера «Мизантроп» — жестокая и лицемерная кокетка. Роль Селимены считалась коронной ролью мадемуазель Марс.

«...своего салона в Арсенале» — с XVI века вплоть до Великой Французской революции здание Арсенала служило квартирой генерал-фельдцейхмейстерам Франции (начальникам артиллерийского управления). Один из них, Антуан Рене де Поми, собрал большую библиотеку, которую в 1785 году продал графу д'Артуа. В 1793 году библиотека была национализирована и в 1797 году превращена в публичную библиотеку.

Гэ, Мари Софи-Франсуаза (1776–1852) — французская писательница, автор исторических романов, комедий и опер. *Гэ, Дельфина (1804–1855)* — дочь Софи Гэ. Французская писательница и журналистка, выступала под псевдонимом— Виконт де Лонэ. Вышла замуж за известного издателя и журналиста Эмиля Жирардена.

Буланже, Луи (1806–1867) — французский художник, писал картины на исторические и религиозные темы. Гюго вовлек его в кружок романтиков. Известны его портреты Гюго, Бальзака, А. Дюма сына.

Девериа, Ашиль (1800–1857) — известный рисовальщик и литограф. Написал ряд интересных портретов своих современников. *Девериа, Эжен (1805–1865)* — брат Ашиля Девериа, художник, писал картины на исторические и библейские темы: «Рождение Генриха IV», «Бегство из Египта», «Смерть Джейн Сеймур», хороший портретист.

Рекамье, Жюли Аделаида (1777–1849) — знаменитая красавица, у которой был один из самых блестящих салонов Франции.

Одеон был дважды уничтожен пожаром в 1808 и 1818 годах.

Маскариль — плутоватый, ловкий и остроумный слуга в пьесах Мольера («Сумасброд, или Все невпопад», «Любовная размолвка», «Смехотворные жеманницы»).

Жорж Данден — главный герой комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668 г.), богатый крестьянин, взявший в жены дочь разорившегося барона, которая ни в грош его не ставит и наставляет ему рога. Сама фамилия Данден по-французски означает — «простофиля», «увалень». Данден служит нарицательным именем для обозначения глупого, одураченного человека.

Бузенго (фр. — *фемагоги*) — так после революции 1830 года стали называть во Франции молодежь, высказывавшая резко демократические мнения. В это время парижская артистическая и литературная молодежь разделилась на два лагеря — бузенго и членов «Молодой Франции». Бузенго принимали активное участие в политической жизни и даже сражались на баррикадах в 1832 и 1835 годах. «Молодая Франция» интересовалась преимущественно вопросами искусства и проповедовала теории чистого искусства.

Стихи в книге переведены М. Кудиновым.

Дилекта — прозвище Лауры де Верни (1777–1836), первой любовницы Бальзака.

«после июльских дней». — 26 июля 1830 года министерство Полиньяка опубликовало ордонансы, которые упраздняли свободу печати, объявляли палату распущенной, на три четверти сокращали число избирателей и лишали палату права вносить поправки в законопроекты. Париж восстал. 27, 28 и 29 июля в городе строили баррикады и велись перестрелки между войсками, сохранившими верность правительству, и народом. 27, 28 и 29 июля 1830 года вошли в историю под названием «Три славных дня».

«Монитор» — официальный орган правительства.

«*Насьональ*» — политическая газета, основанная в январе 1830 года, орган оппозиции. Выступала против политики министерства Полиньяка.

Лафайет, Мари-Жозеф, маркиз де (1757–1839) — французский политический деятель, участник американской революции, Великой Французской революции и революции 1830 года. По взглядам — конституционный монархист.

Существующее положение вещей (*лат.*).

«сыграв Робера Макера в «Трактире Адре». — «Трактир Адре» — трехактная мелодрама Б. Антье, Сент-Амана и Полианта. Впервые поставлена в Амбигю-Комик 2/VII 1823 года, возобновлена в Порт-Сен-Мартэн 23/1 1832 года. Главный герой пьесы — Робер Макер — разбойник с большой дороги, убийца и циничный зубоскал. Робер Макер в исполнении Леметра настолько понравился публике, что в 1834 году Леметр вместе с Сент-Аманом и Антье написали продолжение «Трактира Адре», назвав пьесу по имени главного героя. В этой пьесе Макер переезжает в Париж и становится преуспевающим капиталистом. Имя Макера стало нарицательным: в 1834–1837 годах появилось множество пародий, водевилей и романов о Робере Макере. Домье создал серию рисунков «101 Робер Макер», которая в 1837–1838 годах публиковалась в «Шаривари».

«*Тридцать лет, или Жизнь игрока*» — трехактная мелодрама Дюканжа и Дино. Одна из самых популярных в XIX веке мелодрам. Премьера в Порт-Сен-Мартэн состоялась 19 июня 1827 года. Леметр исполнял роль игрока Жоржа де Жермани, Дорваль — роль его жены Амели, которая ради своего преступного мужа жертвует всем и следует за ним в изгнание.

Белль Крельсамер родила 5 марта 1831 года дочь.

«*Ревю де Дё Монд*» — журнал, основанный в 1829 году, сначала только литературный, затем также философский и научный. С тех пор как им стал руководить Бюлоз (1831 г.), сумевший привлечь к сотрудничеству в журнале талантливых молодых писателей и критиков (Сент-Бёва, В. Гюго, А. де Виньи, А. Мюссе, А. Дюма и др.), журнал завоевал особую популярность.

«Озеро» — стихотворение А. де Ламартина (сб. «Первые раздумья», 1818 г.), в котором поэт описывает чувства, охватившие его при посещении тех мест, где он некогда бывал со своей ныне покойной возлюбленной. Стихи эти, очень популярные, были положены на музыку композитором Нидермейером. Очевидно, Мелани Вальдор просила Дюма вернуть ей ноты этого романса. Нам неизвестно, что скрывается под названиями «Молитва» и «Ревность», но можно предположить, что это тоже ноты каких-нибудь романсов.

Либо — ты, либо — смерть! (*итал.*).

Грум маленького роста.

Фонтанэ, Антуан-Этьенн (1803–1837) — поэт и литератор, друг Гюго, Бальзака, Нодье.

«Молодая Франция» — группа писателей и художников, принадлежавших к романтикам и проповедовавших теорию чистого искусства. Они старались шокировать буржуа эксцентричностью нарядов и юношеской дерзостью мнений; принимали непосредственное участие в битве за «Эрнани». В этот кружок входили Теофиль Готье, Жерар де Нерваль, Селестен Нантейль, Петрюс Борель.

Борель, Жозеф-Петрюс (1809–1859) (псевдоним — Ликантроп, греч. — оборотень) — поэт, один из самых пылких сторонников романтизма. Писал стихи, воспевавшие революцию: «В ночь с 28 на 29» (об июльских днях).

Мелинг, Этьен-Марэн (1808–1875). — Мелинг был по профессии скульптором, но, случайно сыграв роль Буридана в «Нельской башне», стал одним из самых любимых актеров бульваров. Часто играл те же роли, что и Фредерик Леметр. Отличался в пьесах плаща и шпаги. Играл во многих пьесах Дюма: «Три мушкетера», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Графиня де Монсоро».

Позор! (*англ.*).

Нантейль, Селестен (1813–1873) — французский художник и литограф, иллюстратор произведений В. Гюго, А. Дюма-отца, Т. Готье, П. Бореля.

Декан, Александр-Габриэль (1803–1860) — художник-ориенталист.

Бари, Антуан-Луи (1796–1875) — французский скульптор-анималист. Известны его работы «Тигр, пожирающий крокодила», «Лев, убивающий змею».

Жоанно, Тони (1803–1852) — французский художник и гравёр, одним из первых начал делать иллюстрации к тексту книги. Наиболее известны его иллюстрации к пьесам Мольера, «Хромому дьяволу» Лесажа и «Дон-Кихоту». Иллюстрировал произведения романтиков. *Жоанно, Альфред (1800–1837)* — французский художник, писал батальные и исторические картины.

Барро, Одилон (1791–1873) — французский политический деятель, по взглядам конституционный монархист.

Верон, Луи-Дезире (1798–1867) (псевдоним — доктор Верон) — получил медицинское образование, но, увлекшись журналистикой, бросил медицину. Основал «Ревю де Пари» (1829 г.). Некоторое время был редактором «Конститусьонеля». С 1831 по 1835 год был директором Оперы. Написал «Воспоминания парижского буржуа».

«перед этим меркнут и брак в Кане Галилейской и свадьба Гамачо».
— В библии Христос на свадебном пиру в Кане Галилейской превратил воду в вино. Свадьба Гамачо — эпизод из «Дон-Кихота». Богатый крестьянин Гамачо в честь своей свадьбы задает пышный пир, изобилие и роскошь которого вошли в поговорку.

Глупость — символический персонаж, обычно изображается в облике молодой смеющейся женщины, на голове у которой остроконечный колпак, в руке погремушка; она одета в платье, украшенное фестонами и увешанное бубенчиками.

Дизраели, Бенджамин лорд Биконсфильд (1804–1881) — английский государственный деятель и романист.

Герцогиня Беррийская, Мария Каролина Бурбонская (1798–1870) — жена сына Карла X, убитого в 1820 году Лувелем. Сын этой четы граф Шамбор почитался роялистами как король Генрих V. Герцогиня Беррийская последовала за Карлом X в изгнание, в Англию, но в 1832 году вернулась во Францию и пыталась поднять мятеж в Вандее. Попытки ее не увенчались успехом, и она была на некоторое время заключена в тюрьму.

Людовик X Сварливый (1289–1316 гг.). Все события пьесы вымышлены. Точно известно лишь то, что Маргарита и ее золовки Бланш де ля Марш и Жанна де Пуатье были преданы суду по обвинению в супружеской измене. Людовик X, которому по политическим соображениям необходимо было вступить во второй брак с Клементиной Венгерской, приказал задушить свою жену между двумя матрасами в замке Шато-Гайяр, где она содержалась в заключении Королеве тогда едва исполнилось двадцать пять лет.

В 1293 году Маргарита Бургундская никак не могла иметь ни любовника, ни незаконнорожденного ребенка, ей было всего 3 года.

Графиня Даш (1804–1872) — псевдоним Габриэли-Анны де Систерн, виконтессы де Пуалу де Сен-Мар, автора «Воспоминаний о других», писательницы и журналистки. Другой псевдоним — Жак Рейно.

Мария Манчини (1640–1715) — племянница кардинала Мазарини, которой в молодости увлекался Людовик XIV.

Жан Орлеанский, граф Дюнуа (1403–1468) — незаконнорожденный сын герцога Орлеанского Людовика I. Сражался вместе с Жанной д'Арк против англичан.

Бальма, Жак (1762–1834) — французский проводник-альпинист, первым совершивший восхождение на Монблан.

Каллипигийская (греч. — *прекраснобедрая*). — Газета издевается над грузной фигурой Иды Ферье: Венера Каллипигийская (античная статуя, найденная в Золотом доме Нерона) изображает женщину с весьма пышными формами.

«...истории студента Карла Занда, убийцы Коцебу...» — Немецкий патриот, студент Карл Занд (род. в 1795 году) убил драматурга Августа Коцебу, которого считал русским шпионом. Был казнен в 1820 году.

Достопочтенной супругой (*нем*).

«*Амфитрион*» — трехактная комедия Мольера (1668 г.), написанная свободным стихом.

«*Психея*» — пятиактный трагикомический балет Мольера, Пьера Корнеля и Кино на музыку Люлли (1671 г.), написанный белым стихом с прологом и интермедиями.

Кино, Филипп (1635–1688) — французский поэт, стихи которого отличались большим изяществом стиля.

Вьель-Кастель, Орас (1802–1864) — хранитель Лувра, оставил интересные мемуары об обществе Второй империи.

Письмо адресовано: «Мадам Лабё (sic!) для г. Дюма-сына. 63, улица Шайо, Елисейские поля».

Дюма-отец снял на улице Риволи, в доме № 22, две смежные квартиры.

Мари Дюма, которой в то время было восемь лет, жила у отца и воспитывалась Идой Ферье, к которой она, впрочем, испытывала искреннюю привязанность... Она никогда не виделась со своей матерью Белль Крельсамер.

Вильмэн, Абель-Франсуа (1790–1870) — французский писатель и государственный деятель. Профессор французской словесности в лицее Карла Великого и в Сорбонне, пользовавшийся большой популярностью. Автор ряда работ по истории французской литературы. Министр народного просвещения в кабинете Гизо (1839–1844).

Биографы Александра Дюма утверждают (как и Клодэн), что свадьба состоялась 1 февраля; документы свидетельствуют о том, что она состоялась 5 февраля.

«...позорную капитуляцию в Кавдинском ущелье...» — В 321 году до н. э., во время второй самнитской войны, самниты заперли римскую армию в Кавдинском ущелье. Римлянам пришлось сдаться без всякого сопротивления и пройти под ярмом с двумя консулами во главе. Выражение это означает — капитулировать на унижительных условиях.

«...слова великого епископа Реши, обращенные к королю Кловису: «Склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал...» — Епископ Реми (437–533), канонизированный католической церковью, в 496 году обратил в христианство короля франков Кловиса (465–511) вместе с тремя тысячами его воинов. Кловис принадлежал к германской народности — сикамбрам, которые жили по среднему течению Рейна. Друз покорил их и перегнал на территорию теперешней Бельгии, где они смешались с франками.

Недоразумения (*лат.*).

«...воспитанница госпожи Ментенон...» — Ментенон, Франсуаза д'Обиньи, маркиза де (1635–1719) — любовница, а затем тайная супруга короля Людовика XIV. Основала «Сенсирский дом», в котором воспитывались благородные девицы из бедных семейств.

Ансело, Арсен (1794–1854) — французский драматург, написал множество посредственных пьес, которые ставились во второстепенных театрах. Был избран во Французскую академию в 1841 году.

«...если только не считать блаженного Августина в ранней юности».
— Блаженный Августин (354–430) — один из самых почитаемых католической церковью святых, в молодости вел беспутный образ жизни, о чем сам писал в своих «Признаниях».

Луиза Д'Арсэ — жена известного скульптора Джеймса Прудье, который развелся с ней в 1845 году из-за ее скандального поведения.

Дюма путает Сарру, бесплодную жену Авраама, с молодой рабыней Агарью, которая, напротив, родила патриарху сына Измаила.

Теофиль Готье только что опубликовал книгу «Путешествие по Испании. Через горы».

Дочь генерала Дюма вышла замуж за Виктора Летелье.

Тьерри, Огюстен (1795—1856) — крупный буржуазный историк. Написал много работ по истории Франции. Наряду с Гизо, Минье и др. открыл в истории классовую борьбу. Блестящий рассказчик и скрупулезный исследователь.

«Дневник с острова Святой Елены» генерала Монтолона». — Монтолон, Шарль Тристан, граф де (1783–1853) — наполеоновский генерал. Сопровождал Наполеона на остров Святой Елены. Опубликовал «Дневник с острова Святой Елены» в 1823 году.

Туше, Мари (1549–1638) — фаворитка Карла IX.

Действующее лицо романа Дюма «Графиня де Монсоро».

Действующие лица романа Дюма «Шевалье де Мэзон-Руж».

«Виконт де Бражелон» и «Жозеф Бальзамо» (Записки врача) были опубликованы в одном году (1848).

Тальман де Рео, Геден (1619–1692) — французский историограф. Автор «Анекдотов», в которых он живо рассказывает о людях и нравах своей эпохи.

Некоторое сожаление приличествует тому, кто приносит жертву
господу (*лат.*).

Так предлагал называть их Альберт Тибоде, который хотел, чтобы это двойное имя стало столь же употребительным, как Эркманн-Шатриан.

Фуке, *Никола* (1615–1680) — верховный интендант финансов Франции. Используя свой пост, сумел скопить огромное состояние, которое щедро тратил на поддержку писателей, художников и на постройку замка Во. Кольбер сообщил о его злоупотреблениях королю, Фуке был арестован как растратчик и в 1661 году заточен в крепость Пиньероль, где и умер. Аристократические круги общества относились к Фуке сочувственно.

Поль де Гонди, кардинал де Ретц (1613–1679) — французский политический деятель и писатель. Играл важную роль в беспорядках фронды, как один из главарей оппозиции, был ярким противником Мазарини. Оставил интересные мемуары.

«Запомни!» (англ.).

Альцест и Филит — персонажи «Мизантропа» (1666 г.), пятиактной комедии в стихах Мольера. *Альцест* — страстный и непримиримый правдоискатель, восстающий против пороков аристократического общества. Он желчен и непримирим. *Альцесту* в комедии противопоставлен покладистый *Филит*, разумный скептик, который легко примиряется со всем.

Оттавио и Челио — персонажи комедии Мюссе «Прихоти Марианны» (1833 г.). Челио, искренний и наивный юноша, влюблен в Марианну, но она предпочитает ему игрока и кутилу Оттавио, скептика, разочарованного в жизни.

«Дюма вовсе не был «ленивым королем», передавшим власть ловким «мажордомам». — Ленивыми королями называли последних королей из династии Меровингов, при которых страной фактически управляли высшие должностные лица, так называемые мажордомы. Мажордом Пипин Короткий, заточив в монастырь последнего короля династии Меровингов — Хильдериха III, сел на престол, основав династию Каролингов.

Мюллер, Шарль-Луи (1815–1892) — декоратор зала Штатов в Лувре, автор «Последних жертв террора», «Марии-Антуанетты в Консьержери» и портрета княгини Орели Гика, принадлежащего госпоже Теодор Руссо.

Доза, Адриен (1804–1868) — иллюстрировал «Живописные путешествия» барона Тейлора, который написал в соавторстве с Дюма-отцом «Две недели в Синае».

Диас, Нарсис (1807–1876) — знаменитый пейзажист, писал лес Фонтенбло.

«...не Антигону, как Эдип, а Вирсавию, как Давид». — Антигона, дочь Эдипа и Иокасты, была проводницей слепого отца и заботилась о нем. Вирсавия (в библии) — жена Урии, одного из военачальников Давида. Давид влюбился в Вирсавию и убил ее мужа, чтобы жениться на ней.

Буффэ, Юг-Дезире-Мари (1800–1888) — один из самых популярных комедийных актеров своего времени.

Брендо, Поль-Луи-Эдуар (1814—?) — актер Комеди-Франсэз, весьма старательный, но малоталантливый, не пользовавшийся любовью публики и в то время подвергавшийся нападкам критики.

«Мушкетеры» (пятиактная пьеса, подписанная Дюма и Маже) была поставлена четырьмя годами раньше драмы «Юность мушкетеров», продолжением которой она являлась и первое представление которой состоялось 17 февраля 1849 года.

Валер — персонаж нескольких комедий Мольера («Ревность Барбулье», «Летающий врач», «Любовная досада», «Школа мужей», «Тартюф», «Скупой») — молодой влюбленный. Нельзя с точностью сказать, какого Валера имеет в виду Дюма. Подобный эпизод встречается в «Скупом», где одним из действующих лиц является Валер, но грабит отца не он, а сын Гарпагона Клеант.

Сид — испанский герой XI века Родриго Диас, по прозвищу Сид, победитель мавров, многочисленные подвиги которого воспеты в ряде литературных памятников средневековья. Корнель сделал Сиду главным героем своей пьесы того же названия (1636 г.).

Трактиров (*исп.*).

Божьей матери Аточской (*исп.*).

Арисия — персонаж трагедии Расина «Федра» (1677 г.), «голубой» образ добродетельной и кроткой девушки.

В последний момент (*лат.*).

Жирный четверг — канун великого поста и последний день карнавала.

«Медуза» — судно, потерпевшее кораблекрушение у берегов Западной Африки 2 июля 1816 года. На плоту спаслись 149 человек, но когда через двенадцать дней их подобрал проходящий бриг, в живых осталось всего 15 человек, остальные погибли от голода и жажды. Жерико написал картину «Плот «Медузы» (1819 г.), которая находится в Лувре.

Гужон, Жан (род. 1510–1514 — умер 1566–1568) — французский архитектор и скульптор. Мастер барельефа. Один из первых французских скульпторов, порвавших с традициями средневековой архитектуры. В его работах чувствуется влияние итальянской школы и античного искусства.

Пилон, Жермен (1537–1590) — французский скульптор. Наиболее известные его работы: гробницы Франциска I и Генриха II и скульптурная группа «Три грации».

Дюма — стрекоза, *Маке* — муравей. Дом расточителя *Дюма* продавался с молотка, а *Маке* приобрел себе виллу в Буживале. Он умер богачом в своем собственном замке в Сен-Меме, неподалеку от Дурдана. (Прим. автора.)

«...буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме». — Бальзак, очевидно, имеет в виду знатное французское семейство Бокарме. Бокарме долгое время жили в Америке и вели фермерское хозяйство.

Батиньоль — 17-й округ Парижа. Во времена Дюма один из самых отдаленных от центра округов.

«Обжора» (*исп.*).

Неистовая Гермиона. — Роль Гермионы («Андромаха» Расина, 1667 г.), гордой и мстительной дочери Менелая, заставляющей Ореста убить ее жениха Пирра, который предпочел ей рабыню Андромеху, была коронной ролью Рашель. Она дебютировала ролью Гермионы в 1838 году и в 1855 году, покидая сцену, тоже выступила в роли Гермионы.

Жеронт (искаж. греч. *geron* — старик) — персонаж итальянской комедии, старик или резонер. Со временем Жеронта стали изображать скупым, упрямым, но до крайности доверчивым стариком. Таким он предстает в пьесах Мольера «Лекарь поневоле» и «Плутни Скапена». — *Изабелла* — персонаж пьесы Мольера «Школа мужей». Молодая девушка ловко обманывает своего опекуна Сганареля, который хочет на ней жениться: Изабелла притворяется влюбленной в Сганареля и хитростью заставляет его помогать ее браку с Валером.

Муж (*итал.*).

Луиза Шопен, сестра и наследница композитора, вышла замуж за Юзефа Едржеевича.

«Горе Олимпио» — поэма Гюго (1837 г.), посвященная Жюльетте Друэ.

Заочно (*лат*).

Эта госпожа Крельсамер — мать Мари Дюма.

Слово «ноэль» (noël) означает по-французски праздник рождества; возгласом «ноэль» в старину французы приветствовали всякое радостное событие; слово «парфэ» (parfait) означает — безупречный. (*Прим. ред.*).

Ласенер — профессиональный убийца, казненный в 1836 году. После его смерти были опубликованы «Воспоминания, признания и стихотворения Ласенера», написанные им в тюрьме.

Александр-Пьер-Жозеф Дош (1799–1849 гг.). Его жена, которая ухитрялась всю жизнь уменьшать свой возраст на два года, родилась в Брюсселе в 1821 году; умерла она в Париже в 1900 году.

Дюма-сын был награжден орденом только 14 августа 1857 года.

Господин Прюдом — персонаж сатирических сочинений французского писателя Анри Монье — комедии «Величие и падение господина Прюдома» (1852 г.) и «Мемуары Жозефа Прюдома» (1857 г.). Имя его, ставшее нарицательным, служит для обозначения тупого, самодовольного мещанина.

Будьте здоровы и любите меня (*лат*).

Заметки к лекции «Театр Александра Дюма-сына», которую Бек должен был читать в Марселе 27 ноября 1895 года. Лекция эта была отменена, так как Дюма находился при смерти. Он умер на следующий день.

Супруги Анненковы. — Анненков, Иван Александрович (ум. в 1877 г.) — декабрист, по возвращении из ссылки — видный земский деятель Нижегородской губернии. Анненкова, Прасковья Егоровна (урожденная Полина Гебль, 1800–1876) последовала за мужем в сибирскую ссылку. Оставила «Рассказы — воспоминания», опубликованные в «Русской старине» в 1888 году.

Нежеланное лицо (*лат.*).

Знаменитейшего (*итал.*).

Тебя бога славим (*лат.*).

Дагобер I — король франков из династии Меровингов (ум. в 638 г.), популярный герой многих народных легенд и песен. По преданию, Дагобер никогда не расставался со своими любимыми собаками и, умирая, обратился к ним со словами, которые Дюма приводит в своем письме.

Моя вина (*лат.*).

Драма в 5 актах, 8 картинах, представленная в Историческом театре 15 декабря 1847 года.

Накидка (*исп.*).

Единая Италия (*итал.*).

Независимый (*итал.*).

Иския — живописный и плодородный остров в Тирренском море, у входа в Неаполитанский залив. По преданию, на этот остров был выброшен бурей Одиссей, где его подобрала Навсикая.

Дандоло — древняя патрицианская фамилия в Венеции. Дож Энрико Дандоло (1108–1205) заложил основы торгового и военного могущества Венеции. Ученый и политический деятель Винченцо Дандоло (1758–1819) боролся за восстановление в Венеции республиканского режима, но после Кампоформийского мира (1797 г.), отдавшего Венецию под власть Австрии, вынужден был покинуть родину.

Кавур, граф Камилло-Бенцо (1810–1861) — итальянский государственный деятель. Будучи первым министром Сардинского королевства, объединявшего в своем составе Савойю, Пьемонт и Сардинию, Кавур содействовал освобождению Италии от австрийского ига и объединению ее под властью сардинского короля Виктора-Эммануила II.

Вьеннэ, Гильом (1777–1868) — второстепенный французский поэт, эпигон классицизма.

Абдэль-Кадер (1808–1883) — вождь национально-освободительной борьбы алжирского народа против французского владычества. Нанес ряд серьезных поражений французским войскам, но позднее вынужден был отступить, попал в плен и был отправлен во Францию, где его долгие годы держали в заточении. Наполеон III возвратил ему свободу и назначил пенсию.

Позиция Эмилии объясняется следующим: благодаря тому, что Дюма узаконил своего сына, ему удалось в 1831 году отнять маленького Александра у беззащитной Катрины Лабе. «Адмирал» упоминает об этом случае в письме к Пьеру-Франсуа Кордье. Она не хочет, говорит она, чтобы ее лишил «материнских прав» внебрачный отец, имеющий предпочтительное право на ребенка перед матерью (незамужней).

Д'Агу, Мари де Флаеины, графиня — французская писательница (выступала под псевдонимом Даниель Штерн), автор ряда сочинений на исторические и философские темы.

«...разоблачил тайны Доброй Богини...» — Добрая Богиня (Bona Dea) — божество плодородия в древнем Риме. В ее честь ежегодно устраивались празднества, в которых могли принимать участие одни женщины. Со временем эти празднества превратились в разнузданные оргии. Однажды некий юноша, переодевшись женщиной, пробрался на пир в честь Доброй Богини и затем «разоблачил ее тайны».

Клитандр, Орас и Валер — персонажи комедий Мольера, влюбленные молодые люди («Мизантроп», «Школа жен», «Скупой» и др.).

Арнольф — персонаж комедии Мольера «Урок женам». Богатый и кичливый буржуа Арнольф тиранит свою юную воспитанницу Агнесу, стремясь сделать ее в будущем своей покорной женой.

Альцест — Влюбленный в Селимену Альцест не находит в ней той беззаветно любящей, верной подруги, о которой мечтал, и, оскорбленный ее легкомыслием, отказывается от брака с ней, еще больше утверждаясь в своей мизантропии.

Цинна — герой трагедии Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа». Цинна возглавил заговор республиканцев против императора Августа. Корнель изображает Цинну слабым, безвольным человеком, которого заставляет действовать любовь к его невесте Эмили, мечтающей о возрождении республики.

Ипполит — персонаж трагедии Расина «Федра». Мачеха Ипполита Федра влюбилась в него, но так как он не ответил на ее чувство, оклеветала его перед отцом, афинским царем Тесеем, и Ипполит погиб.

«Один только Родриго... убивает ее отца...» — Родриго мстит обидчику своего отца графу Гормасу и убивает его в поединке, невзирая на то, что граф — отец его возлюбленной Химены.

Она внизу, он наверху (*лат.*).

У Надежды незадолго до того случился выкидыш на пятом месяце беременности.

«Влюбленный лев» — комедия в стихах французского драматурга Франсуа Понсара (1814–1867), высмеивающая нравы времен Директории.

Пьеса Мориса Санда и Жорж Санд; в окончательном виде была названа «Деревенские донжуаны».

Прозвище Мориса Санда.

Госпожа Эжен Ламбер, урожденная Эстер Этьенн.

Рисовая каша с мясом и пряностями (*итал.*).

Ее метрика пропала, так как во время войны Севера и Юга в Новом Орлеане сгорели все акты гражданского состояния. Ее биограф Бернард Фальк полагает, что она явилась на свет в 1835 году. Другие авторы считают, что в 1832 году. Она сама утверждала, что родилась в 1841 году, но многие ее фотографии опровергают это утверждение, ибо последние ее портреты изображают уже не очень молодую женщину. Представляется куда более вероятным, что она умерла в возрасте тридцати трех или тридцати четырех лет.

В 1856 году она вышла замуж за музыканта Александра И. Менкена; в 1859 году — за боксера Джона Кармела Хинэна; в 1862 году — за импрессарио Роберта Х. Ньюэла. Двое детей, которых она произвела на свет, умерли. Младшего (родился в 1866 году, умер годом позже) она хотела символически сделать крестником Жорж Санд, то есть согласно американским обычаям дать ему в качестве второго имени фамилию его крестной. Аде Менкен было известно, как и всем, что Аврора Дюдеван вступила в литературу под псевдонимом Жорж Санд, однако она не знала того, что девичья фамилия романистки была Дюпен. Записав в метрической книге ребенка мужского пола под именем Луиса Дюдевана Бэркли, она фактически сделала его крестником номинального мужа писательницы, Казимира Дюдевана.

На четвертой надгробной плите теперь можно прочесть: «Жаннина д'Отерив, урожденная Александр-Дюма (1867–1943)».

Мария Египетская (V в.) — блудница, которая покаялась и стала вести суровую, богобоязненную жизнь, изнуряя себя постом и молитвами. Отправившись с группой паломников в Иерусалим, Мария на корабле снова стала торговать своим телом, чтобы собрать сумму, необходимую для уплаты за проезд.

Клавдий — римский император (II в. н. э.) Его жена Мессалина прославилась своей развращенностью и была казнена за попытку свергнуть Клавдия и посадить на трон одного из своих любовников.

В то время — министра.

«Художник из Орнана» — Гюстав Курбе (1819–1877), французский художник-реалист, родившийся в городе Орнана, автор ряда портретов, пейзажей и жанровых полотен. Курбе, враждебно относившийся к режиму Наполеона III, неоднократно отказывался от ордена, которым его хотел наградить император.

Принцесса Матильда Бонапарт.

Калас, Жан (1698–1762) — купец из Тулузы, обвиненный по доносу в убийстве собственного сына, которого он якобы заставлял принять протестантизм. Казненный в 1762 году, Калас был посмертно (в 1765 г.) оправдан благодаря страстному памфлету Вольтера.

Мартина — персонаж комедии Мольера «Лекарь поневоле», жена героя комедии Сганареля, которая спорит с мужем и пытается отстоять свою независимость лишь до того момента, пока он ее не побьет.

Страна Нод — легендарная страна, лежавшая к востоку от Месопотамии, куда согласно библии удалился Каин, проклятый богом после убийства Авеля.

Реньо, Анри (1843–1871) — талантливый французский художник. Погиб в одном из сражений франко-прусской войны 1870–1871 годов.

Ольга Нарышкина 28 августа 1872 года вышла замуж за Шарля-Констана-Никола маркиза де Тьерри де Фаллетан.

В последний момент (*лат.*).

Мадемуазель Бабюти — девичья фамилия жены французского художника Жана-Батиста Греза (1725–1805). Грез считал ее образцом совершенной красоты, написал с нее много портретов и нередко придавал ее черты лицам, которых изображал на полотне.

Агнеса — имеется в виду Агнеса Сорель, возлюбленная французского короля Карла VII, персонаж трагедии Шиллера «Орлеанская дева» и драмы Александра Дюма-отца «Карл VII у своих вассалов».

Мунэ-Сюлли, Жан (1841–1916) — знаменитый французский трагический актер, один из «последних могикан» традиционного трагического стиля игры.

Равиньян, Ксавье (1795–1858) — иезуит, выступавший в роли предсказателя.

Дунайский Тартюф. — В такой же степени, как имя героя комедии Мольера Тартюфа стало символом лицемерия и ханжества, имя другого персонажа французской литературы — героя басни Лафонтена «Дунайский крестьянин» — стало обозначением грубой прямооты. Называя Дюма-сына «Дунайским Тартюфом», его недоброжелатели, видимо, хотели этим сказать, что он соединяет в себе ханжество Тартюфа с грубостью дунайского крестьянина.

Литтре, Поль-Максимилиан-Эмиль (1801–1881) — французский философ-позитивист и филолог, составитель толкового словаря французского языка, который до сего времени считается ценным пособием. Литтре был воинствующим атеистом и лишь на смертном одре по настоянию своей набожной жены согласился допустить к себе священника. Современники не верили в возможность религиозного обращения Литтре.

2 июня 1880 года Колетта Дюма вышла замуж за Мориса Липпамана (1847–1923 гг.), брата госпожи Арман де Кайяве, урожденной Леонтины Липпман (1844–1910 гг.). От этого брака у нее родились два сына, которые еще живы: Александр и Серж Липпман. 25 мая 1892 года Колетта разошлась с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за румынского врача Ашиля Матца (1872–1937 гг.).

«Прощание в Фонтенбло». — 28 апреля 1814 года Наполеон, отрекшийся от престола, перед отбытием на остров Эльбу простился, со своей гвардией во дворе замка Фонтенбло (в 60 километрах от Парижа). Двор этот с того памятного дня носит название «Двор прощания».

Ламбаль, Мария-Луиза де — приближенная французской королевы Марии-Антуанетты. В сентябре 1792 года была умерщвлена толпой.

«Адель Коссэн, которую чаще называли Кассэн...» — слово «cassin» по-французски означает чан для разведения краски, которою окрашиваются ткани. Адель Коссэн была дочерью красильщика. Переименовав ее в «Кассэн», светские остряки тем самым намекали ей на ее «низкое» происхождение.

Эти две картины были переданы в Малый дворец маркизом Мандольфо Каркано. «Каштановая аллея» Руссо находится в Лувре; «Саломея» Реньо — в нью-йоркском музее «Метрополитэн».

Граф (*англ.*).

Дворянство (*англ.*).

Оттилия Гендли вышла замуж за художника Леона Флаго. У госпожи Флаго, женщины бесспорной, скульптурной красоты, был длинный нос. Ее прозвали «дочерью Венеры и Полишинеля».

Педро де Алькантара — тринадцатый в роде герцогов д'Оссуна, испанский гранд (1812–1898 гг.), был своим человеком на Тильзитской улице.

У госпожи Кассэн были три внучки (Джованна, Каролина, Маргарита), старшей из них в 1886 году было шестнадцать лет.

Коклен и Го — Бенуа-Констан Коклен (Старший, 1841–1909) и Франсуа-Жюль-Эдмон Го (1822–1901) — выдающиеся комические актеры, выступавшие в то время на сцене Комеди-Франсэз.

«Гвардию, введите в дело гвардию!» — С этими словами к Наполеону обратились его генералы во время Бородинского сражения, когда французские войска несли большой урон и требовалось подкрепление. Наполеон отказал, не желая вдали от Франции рисковать своей гвардией.

Феба — одно из имен Артемиды, богини Луны, сестры бога Солнца — Феба.

Жип — модная в то время писательница, автор ряда романов из светской жизни (литературный псевдоним графини Сибиллы де Мартель де Жанвиль, 1850–1932).

Жаннина Дюма, воспитанная в духе вольнодумства, с большой горячностью приняла католическую веру. Ее бракосочетание с родовитым офицером Эрнестом де Отерином было совершено по обряду в приходской церкви Марли преподобным д'Юльстом. Одна фраза в проповеди этого священника, произнесенной во время венчания, вызвала безудержный смех публики: «И когда наступит час неизбежного расставания...» Колетта Дюма в то время уже была близка к разводу; ее родители разошлись и больше не жили под одной крышей; ее мать когда-то бросила Нарышкина, а ее сводная сестра Ольга жила в постоянном разладе со своим развратным мужем.

Не на кладбище Пер-Лашез, а на кладбище Монмартр покоятся Александр Дюма-сын и его вторая жена (умершая в 1934 году) под каменным сводом монумента, созданного скульптором Сен Марсо. По странной случайности могила Мари Дюплесси находится в нескольких шагах от этого внушительного мавзолея.